ISSN 0130-6545

5.1994

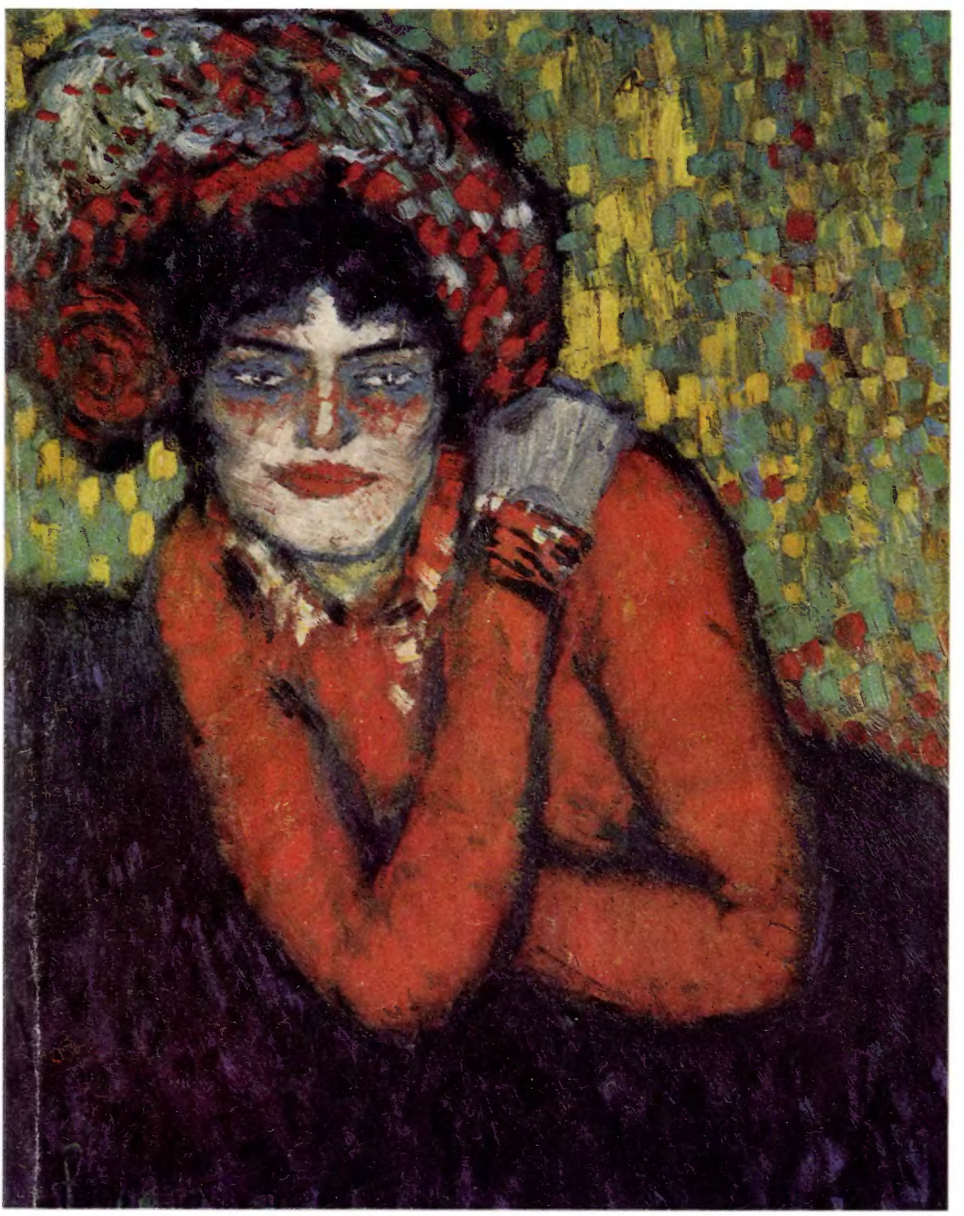
ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

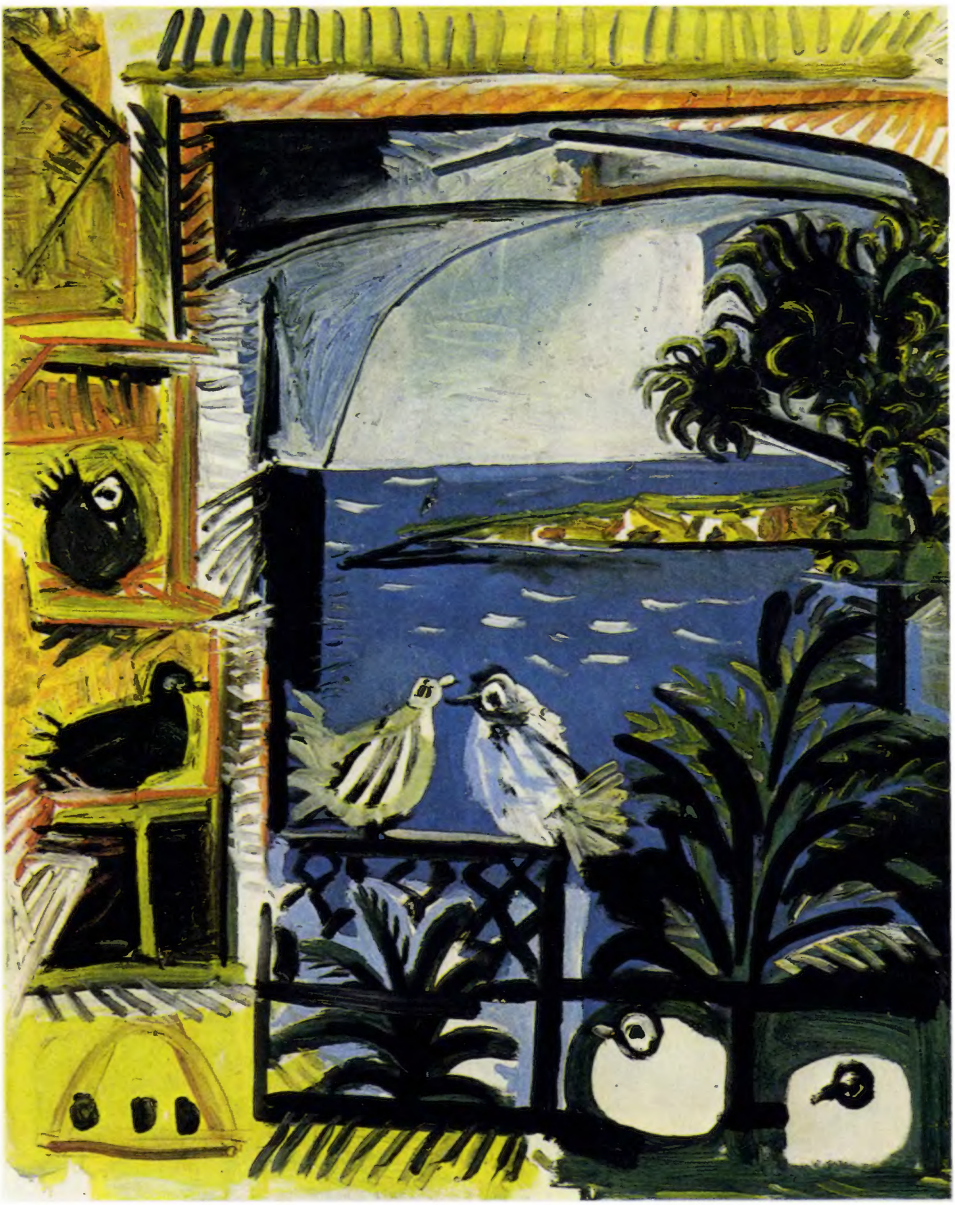
В номере:

ИНГМАР БЕРГМАН
Благие намерения

ПАВЕЛ КОГОУТ
Мерзость

ЭМИЛИ ДИКИНСОН
Стихи





МОСКВА

Главный редактор

А. Н. СЛОВЕСНЫЙ

Редакционная коллегия:

Л. Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
Н. Н. СКУРСКАЯ — ответственный секретарь
Г. Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заместитель главного редактора

Общественный редакционный совет:

С. С. АВЕРИНЦЕВ, В. П. АКСЕНОВ, С. К. АПТ, М. Н. ВАКСМАХЕР,
Е. Ю. ГЕНИЕВА, А. А. ГЕНИС, В. П. ГОЛЫШЕВ, Т. П. ГРИГОРЬЕВА,
А. Н. ЕРМОНСКИЙ, В. В. ЕРОФЕЕВ, А. М. ЗВЕРЕВ, Вяч. Вс. ИВАНОВ,
В. Б. ИОРДАНСКИЙ, Т. П. КАРПОВА, Л. З. КОПЕЛЕВ, А. С. МУЛЯРЧИК,
М. Л. САЛГАНИК, Е. М. СОЛОНОВИЧ, Н. Л. ТРАУБЕРГ,
М. А. ФЕДОТОВ, Б. Н. ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ — председатель Совета
ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия), ЭРВЕ БАЗЕН (Франция),
КРИСТА ВОЛЬФ (Германия), ТОНИНО ГУЭРРА (Италия),
МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания), ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа),
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (Германия), АРТУР МИЛЛЕР (США),
АНАНТА МУРТИ (Индия), КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония),
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария),
НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения),
РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР (Куба),
СЕМБЕН УСМАН (Сенегал), УМБЕРТО ЭКО (Италия)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА
УЧРЕДИТЕЛЬ ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

5 май 1994

СОДЕРЖАНИЕ

ИНГМАР БЕРГМАН — Благие намерения *(Роман. Перевод со шведского А. Афиногеновой)* 5
ЛЮБОМИР ФЕЛЬДЕК — Стихи *(Перевод со словацкого и вступление Олега Малевича)* 180
ПАВЕЛ КОГОУТ — Мерзость *(Пьеса. Перевод с чешского В. Каменской. Вступление О. Малевича)* 185
МЭРИ МОРРИС — Отдых в складчину *(Рассказ. Перевод с английского Татьяны Ивановой)* 209

Литературное наследие

ЭМИЛИ ДИКИНСОН — Три стихотворения *(Переводы с английского. Вступление А. Зверева)* 216

Публицистика

ПОЛ КЕННЕДИ — Готовясь к XXI веку *(Глава из книги. Перевод с английского Елены Богатыренко)* 225
БОРИС ПИНСКЕР — Предсказание катастрофы — всегда бестселлер. *(Заметки о жанре прогноза)* 236
БОРИС ХЛЕБНИКОВ — Полдень галактики *(О книге в прошлом и настоящем. Заметки германиста)* 241
АЛЕКСАНДР ГЕНИС — Гипертекст — машина реальности 248

Наши интервью

Книга должна найти своего читателя *(Директор издательства «Художественная литература» Г. А. Анджапаридзе о своем издательстве)* 250

У книжной витрины . 251

Авторы этого номера . 256

© «Иностранная литература», 1994

В следующем номере «ИЛ»

ХЕРБЬЁРГ ВАССМУ **«В поисках Дины» («Сын счастья»).** Произведения норвежской писательницы Х. Вассму разошлись по многим странам мира. «Книга Дины» была переведена на двенадцать языков, а роман «В поисках Дины», вышедший в Норвегии в конце 1992 г., к концу 1993 г. был переведен уже на пять европейских языков.

Роман АЛАНА АЛЕКСАНДРА МИЛНА **«Двое»** — «взрослая» книга автора «Винни-Пуха» и «Баллады о королевском бутерброде». Это очень английская и очень милновская книга о любви и о том, как скромный сельский житель Реджинальд Уэллард неожиданно для всех — и для себя самого — написал замечательный роман...

«Англичане всегда первые ругают самих себя, чтобы опередить критиков со стороны»,— считает ДОНАЛЬД РЕЙФИЛД, автор **«Заметок об Англии».**

В рубрике «Трибуна переводчика» — одна из последних лекций А. КАРЕЛЬСКОГО **«Творческая индивидуальность переводчика и его «стилистический слух».**

Цветные иллюстрации номера — работы ПАБЛО ПИКАССО (1881—1973):

на 1-й стр. обложки — «Ожидание Марго»;
на 2-й стр. обложки — «Голуби»;
на 3-й стр. обложки — «Портрет Жаклин»;
на 4-й стр. обложки — «Ваза с фруктами».

По вопросам, связанным с доставкой нашего журнала, обращаться в Агентство по распространению печати издательства «Известия» по адресу: 103791, ГСП, Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.

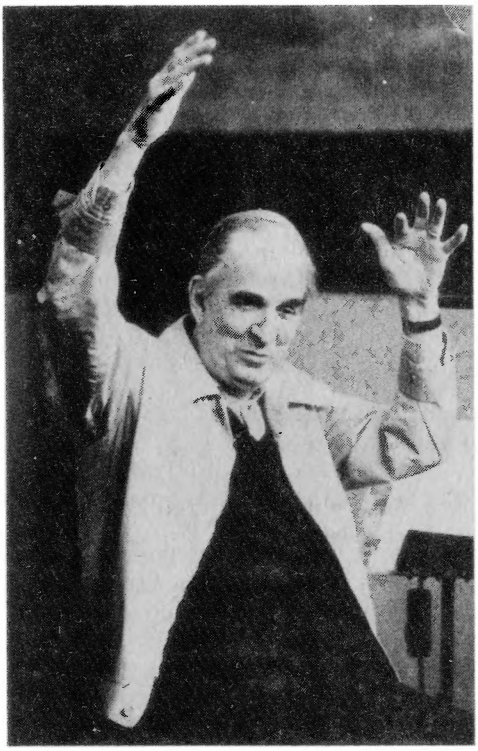
В Москве журнал можно приобрести в редакции, в Доме книги на Новом Арбате и в киоске Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы.

Художественный редактор **С. И. МАРТЕМЬЯНОВА**
Технический редактор **С. В. БЕЙЛЕЗОН**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41. Телефон 233-51-47, факс 233-50-61
Сдано в набор 05.02.94. Подписано в печать 05.04.94.
Формат 70 × 108 1/16. Печать офсетная. Бумага газетная. Усл. печ. л. 22,4.
Усл. кр.-отт. 23,4. Уч.-изд. л. 26,35. Заказ № 4374.

Тираж 67 000 экз. Цена по подписке 330 р.

Российский государственный информационно-издательский центр «Республика».
Полиграфическая фирма «Красный пролетарий». 103473, Москва, Краснопролетарская, 16.



ИНГМАР БЕРГМАН

Благие намерения[1]

РОМАН

Перевод со шведского А. АФИНОГЕНОВОЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Очень любили фотографироваться. После смерти родителей я унаследовал весьма приличное количество альбомов, из которых самые ранние относятся к середине XIX века, а самые последние — к началу 60-х годов. Эти фотографии без сомнения обладают сильным магическим воздействием, особенно если рассматривать их в гигантскую лупу: лица, лица, руки, осанка, одежды, украшения, лица, домашние животные, виды, освещение, лица, занавеси, картины, ковры, летние цветы, березы, речки, прически, зловредные прыщи, выпирающие груди, пышные усы — продолжать можно до бесконечности, посему лучше остановиться. Но больше всего лиц. Я погружаюсь в фотографии и прикасаюсь к людям — к тем, кого помню, и к тем, о которых ничего не знаю. Это чуть ли не увлекательнее, чем немые ленты, утратившие пояснительные надписи. Я сочиняю собственные истории.

Уже с тех самых пор, как я написал свою автобиографическую книгу «Laterna Magica» [2], мне хотелось поставить фильм о юности моих родителей, первых годах их брака, их надеждах, неудачах и «благих намерениях». Я смотрю на фотографии и испытываю непреодолимое влечение к этим двум людям, у которых нет практически ничего общего с замкнувшимися в себе, разросшимися до мифических размеров существами, владычествовавшими в моем детстве и юности.

Поскольку моим специфическим способом выражения являются кино и изображение, я, взяв за основу рассказы, документы и, как я говорил, фотографии, начал, в общем-то без особой цели, вычерчивать определенную линию поведения. Я совершал воображаемые прогулки по улицам Уппсалы, в те времена еще остававшейся маленьким, замкнутым, полусонным университетским городком. Посетил Дуфнес в Даларна, когда Воромс, дача родителей мамы, еще была особым иллюзорным раем, находившимся далеко от проезжих дорог.

Я писал так, как пишу уже пятьдесят лет: используя форму кинематографа, форму драмы. В моем изображении актеры произносили свои реплики на ярко освещенной сцене в окружении несколько размытых, но тем не

© 1991 by Cinematograph AB, Fårö,
Norstedts Förlag, Stockholm

[1] Роман выйдет отдельной книгой в издательстве «Художественная литература».

[2] См. «ИЛ», 1989, № 9, 10, 11.

менее удивительно четких декораций. В центре этого грандиозного спектакля были мои родители, воплощенные Перниллой Эстергрен и Самюэлем Фрёлером.

Не стану утверждать, будто я в своем повествовании так уж скрупулезно придерживался истины. Я надставлял, добавлял, выбрасывал и переставлял местами, но, как это часто бывает с подобного рода играми, игра, похоже, стала достовернее действительности.

Сознавая без всякой горечи, что не мне предстоит ставить мою сказку, я старался быть особенно точным в описаниях, вплоть до самых незначительных деталей, даже таких, каких камера все равно бы не зарегистрировала. Они могли бы лишь, возможно, помочь актерам проникнуться нужным настроением.

Таким вот образом и разворачивалась эта история — шесть теплых месяцев на Форё. Я осторожно прикасался к лицам и судьбам своих родителей, и мне казалось, что я немало узнал о самом себе. То, что было скрыто под наслоениями замшелых вытеснений и скользких формулировок без определенного содержания.

Эта книга ни на йоту не подгонялась к уже завершенному фильму. Она существует в том виде, в каком была написана: слова остались неопровергнутыми и будут, надеюсь, жить своей собственной жизнью, создавая собственный спектакль в сознании читателя.

Форё, 25 августа 1991 г.
Ингмар Бергман

I

Выбираю один весенний день в начале апреля 1909 года. Хенрику Бергману только что стукнуло 23 года, он изучает богословие в Уппсальском университете. Сейчас он направляется вверх по Эстра Слоттсгатан в сторону Дроттнинггатан к Городской гостинице, где ему предстоит встреча с дедом. На Слоттсбаккен еще лежит снег, но в водосточных канавах уже бурлят талые воды, а небо затянуто тучами.

Гостиница представляет собой длинное двухэтажное здание, придавленное громадой Домского собора. Над башнями орут галки, с пригорка осторожно спускается голубой трамвайчик. Вокруг ни души. Субботнее утро, студенты спят, а профессора готовятся к лекциям.

За стойкой портье — сановного вида пожилой господин читает «Уппсала нюа тиднинг». Он заставляет Хенрика подождать приличествующее время, затем складывает газету и с отменной вежливостью, в нос, говорит, что, да-да, дедушка господина студента ожидает в номере 17, это налево по лестнице. После чего, поправив пенсне, возобновляет чтение. Из кухни доносятся громыхание и женские голоса. Кислый запах погасшей сигары и жареной салаки смешивается с чадом от расположенной в углу внушительных размеров круглой угольной печи.

Первый порыв Хенрика — сбежать, но ноги несут его вверх по устланной ковром скрипучей деревянной лестнице, по коридору грязного желтого цвета к двери номера 17. У порога стоят вычищенные дедушкины ботинки. Хенрик делает вдох, потом выдох и стучит. Приятный, довольно высокий голос приглашает войти, дверь открыта.

Комната большая, с тремя окнами, выходящими на выложенный булыжником двор, конюшни и пока еще голые вязы. По продольной стене — две кровати со спинками из красного дерева. У стены напротив возвышается комод с тазом для умывания, кувшинами и расшитыми красными полотенцами. Обстановку дополняют диван, кресла и круглый столик, на котором стоит поднос с завтраком. Сучковатые доски пола застланы потертым ковром сомнительного восточного происхождения. Стены, оклеенные коричневыми обоями с ненавязчивым рисунком, украшают гравюры с охотничьими мотивами.

Фредрик Бергман, с трудом поднявшись с кресла, идет навстречу внуку. Это крупный человек, выше юноши, широкоплечий и костлявый,

Мать И. Бергмана в возрасте двадцати лет.

Отец И. Бергмана вскоре после помолвки.

с большим носом, коротко остриженными волосами серо-стального цвета и бакенбардами, но без бороды и усов. Синие глаза за стеклами очков в золотой оправе немного покраснели. Он протягивает молодому человеку свою могучую ладонь — ногти потрескавшиеся, но чистые. Мужчины здороваются без улыбки. Старик указывает внуку на стул с ветхой обивкой и резными ножками.

Фредрик Бергман, оставшись стоять, разглядывает Хенрика с любопытством, но без дружелюбия. Взгляд Хенрика устремлен в окно. По булыжнику двора грохочет груженая телега, запряженная двумя кобылами. Когда шум стихает, дед начинает говорить. Он говорит обстоятельно и отчетливо, как человек, привыкший, чтобы его понимали и слушались.

Фредрик Бергман. Как ты, возможно, слышал, твоя бабушка больна. Несколько дней назад профессор Ольденбург ее прооперировал. Он говорит, что надежды нет.

Фредрик Бергман замолкает и садится. И начинает водить палкой по узору ковра, такое впечатление, что это занятие поглотило его целиком. Хенрик, внутренне ожесточившись, никак не реагирует. Его красивое лицо с большими голубыми глазами спокойно, губы под аккуратными усиками крепко сжаты: я ничего не скажу, буду только слушать, этот человек не может сообщить мне ничего важного. Дед откашливается, голос у него твердый, речь неспешная, четкая, с едва заметным налетом диалекта.

Фредрик Бергман. Последние дни мы с бабушкой много говорили о тебе.

Из коридора доносятся смех и быстрые шаги. Часы бьют три четверти.

Фредрик Бергман. Твоя бабушка говорит, и повторяет это уже много лет, что мы поступили несправедливо с тобой и твоей матерью. Я утверждаю, что каждый сам несет ответственность за свою жизнь и свои поступки. Твой отец порвал с нами и, забрав семью, уехал. Это было его решение, и он за него в ответе. Твоя бабушка говорит, и повторяет это уже много лет, что нам следовало позаботиться о тебе и твоей матери после смерти твоего отца. Я считал, что он сделал свой выбор и в отношении самого себя, и в отношении своей семьи. Смерть тут ничего не меняет. Твоя бабушка всегда говорила, что мы были безжалостны, что вели себя не по-христиански. Я не понимаю подобных рассуждений.

Хенрик *(внезапно)*. Если вы, дедушка, позвали меня затем, чтобы разъяснить свое отношение ко мне и к моей матери, так оно мне известно давно,

столько, сколько я себя помню. Каждый отвечает за себя. И за свои поступки. В этом мы единодушны. Разрешите мне уйти, я готовлюсь к экзамену. Очень печально, что бабушка больна. Может, вы будете так добры и передадите ей привет от меня.

Хенрик встает и бросает на деда взгляд, полный спокойного, нескрываемого презрения. Фредрик Бергман делает нетерпеливый жест, передающийся всему его крупному телу.

Фредрик Бергман. Садись и дай мне договорить до конца. Я буду краток. Садись, говорю я! У тебя, вероятно, нет ни малейшей причины меня любить, но это не повод, чтобы быть невежливым.
Хенрик *(садится)*. И?..
Фредрик Бергман. Твоя бабушка велела мне связаться с тобой. Говорит, что это ее последнее желание. Просит, чтобы ты пришел к ней в больницу. Говорит, что хочет попросить у тебя прощения за все зло, которое она, я и вся наша семья причинили тебе и твоей матери.
Хенрик. Вскоре после моего рождения, когда мать овдовела, мы прошли весь длинный путь от Кальмара до вашей усадьбы, чтобы попросить о помощи. Нам предоставили две комнатушки в Сёдерхамне и ежемесячное пособие в 30 крон.
Фредрик Бергман. Решение всех практических вопросов взял на себя мой брат Хиндрих. Я не имел никакого отношения к экономической стороне дела. Мы с бабушкой в период работы риксдага жили в Стокгольме.
Хенрик. Этот разговор совершенно бессмыслен. И кроме того, видеть, как старый человек, которого я всегда уважал за его бесчеловечность, внезапно забывшись, впадает в сентиментальность, весьма неловко.

Фредрик Бергман поднимается и встает напротив внука. Он снимает очки в золотой оправе — движением, выражающим сильнейший гнев.

Фредрик Бергман. Я не могу сказать твоей бабушке, что ты мне отказал. Не могу сказать ей, что ты не хочешь ее навестить.
Хенрик. Думаю, придется.
Фредрик Бергман. У меня есть предложение. Мне известно, что твои тетки из Эльфвика дали вам взаймы денег на твое обучение здесь в Уппсале. Мне также известно, что твоя мать зарабатывает на жизнь уроками музыки. Я предлагаю погасить ваш долг. И выплачивать тебе подходящее пособие.

Хенрик не отвечает. Он разглядывает лоб старика, его щеки, подбородок — там виднеется небольшая ранка после утреннего бритья. Смотрит на большое ухо, на шею — над крахмальным воротничком пульсирует кровь.

Хенрик. Какого ответа вы от меня ждете?
Фредрик Бергман. Знаешь ли ты, Хенрик, что ты очень похож на отца?
Хенрик. Да, говорят. Мать говорит.
Фредрик Бергман. Никогда не понимал, за что он меня так страшно ненавидел.
Хенрик. Я знаю, что вы этого никогда не понимали.
Фредрик Бергман. Я стал крестьянином, а мой брат — пастором. Никто не спрашивал нас о наших желаниях. Неужели это имеет такое большое значение?
Хенрик. Значение?
Фредрик Бергман. Я никогда не испытывал ни ненависти, ни ожесточения по отношению к своим родителям. Или же просто забыл об этом.
Хенрик. Как практично.
Фредрик Бергман. Что ты сказал? Ах, практично! Что ж, может быть. У твоего отца были весьма оригинальные представления о свободе. Он то и дело повторял, что должен «обрести свободу». И стал банкротом-аптекарем на Эланде. Такова была его свобода.

Хенрик. Вы издеваетесь над ним. *(Молчание.)*
Фредрик Бергман. Что скажешь о моем предложении? Я даю деньги на твое обучение, выплачиваю ежемесячное пособие твоей матери вплоть до ее смерти и избавляю тебя от долга. Единственно, что от тебя требуется,— сходить в двенадцатое отделение Академической больницы и помириться с бабушкой.
Хенрик. А где гарантия, что вы меня не обманете?

Фредрик Бергман коротко усмехается. Смешком отнюдь не дружеским, но в нем слышится известное уважение.

Фредрик Бергман. Мое честное слово, Хенрик. *(Пауза.)* Получишь в письменном виде. *(Весело.)* Давай составим договор. Ты проставишь суммы, а я подпишу. Что ты на это скажешь, Хенрик? *(Внезапно.)* Мы с бабушкой прожили вместе почти сорок лет. И теперь нам плохо. Ужасно плохо. Ее телесные страдания чудовищны, но в больнице знают, как их облегчить, по крайней мере, временно. Тяжелее всего ее душевные муки. Я умоляю тебя хоть на минуту проявить милосердие. Не ко мне, этого я не прошу. К ней. Ты ведь будешь священником, Хенрик? Значит, тебе должно быть известно, что есть любовь, я имею в виду, христианская любовь?.. Для меня это все пустая болтовня и увертки, но для тебя-то разговоры о любви должны быть вполне реальны, а? Смилуйся над больным, отчаявшимся человеком. Я дам тебе все, что ты пожелаешь. Ты сам назовешь сумму. Я не торгуюсь. Но ты обязан помочь твоей бабушке в беде. *(Пауза.)* Слышишь, что я говорю?
Хенрик. Пойдите к этой женщине, которая называется моей бабушкой, и передайте ей, что она прожила всю жизнь бок о бок со своим мужем, даже и не подумав хоть раз помочь моей матери или мне. И не подумав хоть раз ослушаться своего мужа. Она знала, как тяжело нам приходится, и посылала какие-то мелочи к Рождеству и ко дню рождения. Передайте этой женщине, что она сама выбрала свою жизнь и свою смерть. Моего прощения она не дождется. Передайте ей — от маминого имени и от меня лично,— что я ее презираю в той же степени, в какой я ненавижу вас и людей вашего сорта. Я никогда не стану таким, как вы.

Фредрик Бергман вцепляется юноше в плечо и несколько раз медленно его встряхивает.

Хенрик. Вы намерены меня ударить, дедушка?

Он высвобождается, не спеша пересекает комнату, осторожно прикрывает за собой дверь и удаляется по темному коридору. В слабом дневном свете, который сочится сквозь три грязных окошка высоко под потолком, мигают газовые фонари.

В первую неделю мая Хенрику предстоит сдавать экзамен по церковной истории ужасному профессору Сюнделиусу.

Понедельник, половина шестого утра. Сквозь дырявую роликовую штору нещадно палит солнце, освещая неприхотливое жилище, обстановка которого состоит из продавленной кровати, шаткого стола, заваленного книгами и конспектами, стула, забитого до отказа книжного шкафа, видавшего лучшие дни, но не лучшую литературу, умывальника с треснутой раковиной, кувшином, ведром и ночным горшком, и трехногого кресла с подложенными под него четырьмя томами неудобоваримой эгзегетики Мальмстрёма вместо недостающей ножки. Две керосиновые лампы — поразительная роскошь! — одна подвешена к низкому потолку, на котором пятна от сырости образуют очертания континентов, другая на письменном столе сторожит две фотографии матери, когда та еще была юной и хорошенькой, и ее же в белом подвенечном платье — красивая девушка с сияющими глазами и широкой улыбкой на губах. Покатый пол застлан не знающими износа лоскутными ковриками. На вздувшихся местами обоях репродукции на мотивы из Ветхого Завета. В углу возле двери возвышается

узкая кафельная печь с цветочным орнаментом на плитках. Сия студенческая келья дышит бедностью, вылизанной с помощью зеленого мыла, лютеранской чистотой и кислым трубочным табаком. Из окна виден двор с брандмауэром, семью нужниками, боязливо жмущимися друг к другу, и стеной. В почти совсем распустившихся кустах сирени беснуются пичужки. Пильщик в подвале уже принялся пилить дрова. Где-то орет младенец, требуя материнскую грудь. Время, как уже сказано, половина шестого, Хенрик просыпается словно от удара в живот: экзамен по церковной истории. Ужасный профессор Сюнделиус.

Без стука входит Юстус Барк. Они с Хенриком ровесники, но Юстус приземистый и широкоплечий, с темными глазами, большим носом и черными волосами. Он говорит на хельсингландском диалекте и известен своими никудышными зубами. Сейчас он тщательно нарядился — темный костюм, белая рубашка, пристежной воротничок, пристежные манжеты, черный галстук и бешено сверкающие, но поношенные ботинки.

Юстус. Ecclesia invisibilis, ecclesia militans, ecclesia pressa, ecclesia regnans и, наконец, но не в последнюю очередь, ecclesia triumphans [1]. Знаешь, что хуже всего в старике Сюнделиусе? Юллен вчера рассказал. Он завалился на экуменике, потому что не знал, что римско-католическая церковь провела 20 соборов, а греко-католическая признала лишь первые семь. Какие соборы признаны греками?

Хенрик. Никея 325 год, Константинополь 381-й, Эфес 431-й, Халкедон 451-й, еще раз Константинополь 553-й и 680-й и Никея 787-й.

Юстус. Браво, браво, кандидат. Юллен споткнулся, и ужасный Сюнделиус выставил его вон. Первый вопрос, неправильный ответ, вон. Теперь нам страшно, кандидат, теперь нам по-настоящему страшно, я влил в себя чересчур много кофе или того, что называется кофе. Не одолжишь ли мне несколько чайных листочков? Мой желудок горит как геенна.

Хенрик. В шкафу, Юстус. Увидимся через десять минут. Внизу, у лестницы. В полном сознании.

Юстус. Юллен богатый. Сюнделиус выгоняет его через три минуты, он пожимает плечами и после весеннего бала берет летние каникулы. А церковную историю сдаст к Рождеству. Тебе хотелось бы...

Хенрик. Нет, спасибо. Amicus [2].

Юстус. Что это у тебя за синяки на груди?

Хенрик. Это Фрида. Она кусается.

Юстус. Увидимся через десять минут.

Хенрик. Pax tecum [3].

После ухода Юстуса Хенрик с минуту стоит голый, залитый солнечным светом, пытаясь дышать ровно, потом произносит совсем тихо: «Боже, ты ведь поможешь мне? Если сегодня я потерплю неудачу, это будет катастрофа. Может же старик Сюнделиус немножко прихворнуть и прислать вместо себя доброго Доцента, такое уже случалось».

Но именно в это утро ужасный профессор Сюнделиус не чувствует ни малейшего недомогания, скорее наоборот. Без десяти восемь три кандидата застыли в ожидании в просторной прихожей. Дело в том, что профессор женился на деньгах и живет в роскошной двенадцатикомнатной квартире на площади Ваксалаторе. Дверь в столовую распахнута, две служанки в синем и белом убирают со стола после завтрака. Вот мелькнула профессорша, статная, но хромоногая. На ходу она подносит к глазам лорнет и бросает быстрый взгляд на бледные лица трех студентов. Они встают и почтительно кланяются, при этом заискивающе улыбаясь — как будто это может помочь. Часы в зале глухо бьют восемь: «не слушай погребальный звон — в рай или ад тебя проводит он» [4], думает Хенрик, цитируя тем самым

[1] Церковь невидимая, церковь воинствующая, церковь утесненная, церковь царствующая, церковь торжествующая (*лат.*). *(Здесь и далее — прим. перев.)*

[2] Друг (*лат.*).

[3] Мир тебе (*лат.*).

[4] Перевод Анны Радловой.

«Макбета», акт второй, сцена первая. Секретарь профессора (у него действительно есть секретарь, значит, он очень богат, ему прочат пост министра в следующем правительстве), секретарь, стало быть, весьма пыльный человечек с водянистыми глазами, страдающий псориазом, тайком наслаждается тем ужасом, который он наводит, смиренным голосом приглашая юношей в профессорский кабинет.

Профессор Сюнделиус — величественный господин лет пятидесяти, у него открытое лицо с красноватой кожей, густые волосы с проседью и борода. На нем ладный сюртук, подчеркивающий его стройную фигуру. Быстрыми шагами он пересекает восточный ковер, улыбаясь, протягивает мускулистую руку и сердечно здоровается с «преступниками».

Кабинет просторен, но темноват. Тяжелые гардины не впускают внутрь сверкающий весенний день. Здесь царят запах книг и тишина. Могучий словно крепость письменный стол. Кожаная мебель. В центре комнаты три стула из темного мореного дерева с плетеными сиденьями и прямыми спинками, блестящая арматура, темные картины в золоченых рамах со слабо мерцающими женскими телами.

Профессор усаживается за стол и предлагает всем троим занять места на выдвинутых в центр стульях. Из серебряной шкатулки он выбирает сигару (первая сигара после завтрака), тщательно обрезает кончик и закуривает.

Профессор Сюнделиус. Ничто не сравнится с сигарой после завтрака. По секрету могу сказать — это настоящая кубинская сигара. Посмотрите, как благородно она горит. Посмотрите, как тонкие волокна табачных листьев всасывают в себя огонь и с какой мягкостью они превращаются в пепел.

Профессор и экзаменующиеся несколько секунд размышляют о прелести курения сигар, после чего Сюнделиус наклоняется вперед и молча протягивает свою большую ладонь. Студенты тотчас соображают, что им следует отдать свои зачетки. Профессор кладет их в ряд на сукно стола.

Профессор Сюнделиус. Кто из вас, господа, хочет начать? Кто примет на себя первый удар? Как вам наверняка известно, меня считают требовательным. Это не придирчивость, а продуманная точка зрения, наградившая меня за долгие годы множеством отнюдь не лестных эпитетов. Ну да ладно, сейчас речь не о том. У нас слишком много ленивых, глупых, необразованных богословов. Предъявляя разумные требования, я помогаю вам улучшить вашу репутацию и повысить статус. Нередко говорят: священник — это духовник, что за радость его пастве, если он будет что-то знать о Бонифации Седьмом и о его проделках? Рассуждение привлекательное, но ошибочное. Для того, чтобы хорошо овладеть церковной историей, необходимы прилежание, интерес, кругозор, отличная память и самодисциплина. Качества, полезные для священнослужителя. Я ставлю сеть, дабы в ней застряли идиоты, лентяи и болтуны. Логично, не правда ли, господа?

Три бледные улыбки и разрозненные глухие слова согласия. После чего наступает тишина. И тут Бальтсар, третий из троих, прокашливается. О нем сказать особо нечего. Он один из тех, что обедает в «Холодной Мэрте», отличается худобой, болезненной желтоватой кожей, тусклыми глазами навыкате и дурным запахом изо рта. Бальтсар не жилец на этом свете. Через несколько лет после описываемого дня он засунул себе в рот динамитный патрон и взорвался среди знаменитых в городе только что распустившихся королевских лилий. Хоронить было почти нечего.

Профессор Сюнделиус *(весело)*. Прекрасно, прекрасно, господин Бейер. Поговорим о схоластике, тема обширная и полезная, и начнем с так называемой ранней схоластики, первейшими представителями которой были?..
Бальтсар. Иоанн Скот Эриугена и Ансельм Кентерберийский. Раннее Средневековье. Девятый век.

Профессор Сюнделиус. Приблизительно. И что было характерно для этих двух господ?
Бальтсар. Иоанн Эриугена утверждал, что истинная религия и истинная философия идентичны. Ансельм Кентерберийский заявлял, что общие понятия, то есть идеи, суть реальности, а не только слова. Credo ut intelligam [1].
Профессор Сюнделиус. ...nihil credendum nisi intellectum [2].
Бальтсар. Это сказал не Ансельм, а его в известной степени оппонент, Абеляр. Для него главную роль играл разум. Он хотел ограничить веру в авторитеты, считая ее опасной. Это привело к тому, что у него появились могущественные враги.
Профессор Сюнделиус. Мы скоро вернемся к высокой схоластике и Фоме Аквинскому. Господин Бергман, ваша тема — «Апостолика». Назовите, пожалуйста, апостольских отцов. Какие писатели считаются прямыми учениками апостолов?
Хенрик. Варнава.
Профессор Сюнделиус. Правильно. Но есть и еще несколько *весьма* важных фигур?
Хенрик. Климент Римский. *(Пауза.)* Поликарп.
Профессор Сюнделиус. Еще трое, господин Бергман.
Хенрик. Не знаю.
Профессор Сюнделиус. Что имеется в виду под апостольской общиной?
Хенрик. Общины, которые апостолы сами основали в Риме, Эфесе и Коринфе.
Профессор Сюнделиус. Где еще?
Хенрик. Эфесе.
Профессор Сюнделиус. Эфес вы уже называли.
Хенрик. Александрии.
Профессор Сюнделиус. Нет, в Антиохии. Иерусалиме.
Хенрик. Ну да. Разумеется.
Профессор Сюнделиус. Что такое апостольский символ?
Хенрик. Что-то связанное с вероисповеданием. Больше я ничего не знаю.

Хенрик разглядывает собственные ногти. Катастрофа — свершившийся факт. Бальтсар и Юстус затаили дыхание. Профессор Сюнделиус молчит. В узенькой полоске солнечного света между тяжелыми гардинами жужжит сонная весенняя муха.

Почти минута исчезает в вечности. Профессор внимательно смотрит на кандидата Бергмана. Потом поворачивается к столу, листает зачетку и возвращает ее Хенрику.

Профессор Сюнделиус. Прогуляйтесь-ка по Ботаническому саду. Там есть над чем поразмышлять в это время года. Либо ты веришь во всемудрейшего Бога, либо нет. До свидания, господин Бергман, и добро пожаловать ко мне в конце ноября. Я бы только, пожалуй, добавил, что мое вступительное слово вас не касается. Я думаю, вы станете хорошим священником, независимо от символа или апостольских отцов.

Профессор кивает, давая тем самым понять, что Хенрику следует удалиться. Нельзя утверждать, что Ужасный улыбается, но он разглядывает Хенрика Бергмана со своего рода любопытством. Потом все кончилось. Вон из кабинета, через столовую, где сейчас на коленях натирают полы, в прихожую — снять с полки студенческую фуражку. Вниз по гулкой мраморной лестнице. С грохотом захлопываются массивные входные двери. По улице марширует оркестр, изо всех сил дуя в трубы, слепящее солнце, люди останавливаются, таращатся или идут следом, пританцовывая в такт. Долговязый молодой человек с непокрытой головой, темными редкими волосами, черными глазами и ухоженными усами преграждает Хенрику путь, коснувшись его руки своей тростью.

---

[1] Верую, дабы понять (*лат.*).
[2] Не следует верить, прежде чем поймешь (*лат.*).

Эрнст. Привет, Бергман, надеюсь, ты не забыл про вечернюю репетицию хора. Хюго Альвен придет. А потом будет Zwyck.

Он кивает и исчезает.

Теперь поговорим о Фриде Странберг, вот уже два года невесте Хенрика. Вообще-то, их помолвка держится в великой тайне, о ней знают лишь ближайшие друзья, ни матери, ни теткам из Эльфвика об этом ничего не известно. Как и родным девушки в Онгерманланде. Но помолвка тем не менее вполне реальная — с кольцами, священными обетами, свечами и нежными поцелуями.

Фрида на три года старше жениха и работает официанткой в «Йиллет», самой шикарной гостинице города. Она, как и большинство остального персонала, живет в жалкой, продуваемой насквозь каморке на самой верхотуре массивного здания. Моральные последствия такого смешанного проживания нисколько не заботят начальство, но ночные отлучки запрещены. Единственный служебный вход охраняется Цербером и его женой. Считается, что у них отсутствуют нормальные потребности во сне.

Фрида — красивая женщина, рослая, несколько угловатая, с высокой грудью и крутыми бедрами под длинной, перекошенной юбкой. Ее пепельные волосы уложены валиком надо лбом и собраны в незамысловатый пучок высоко на затылке. Глаза большие, почти круглые, взгляд внимательный, оценивающий и любопытный. Она часто смеется, на удивление раскатисто, губы красивые, но узкие, подбородок округлый и решительный. Такой подбородок придает ей весьма безапелляционный вид. Нос длинный, благородной формы. Говорит она быстро, с заметным диалектом, движения энергичные, держится с достоинством, таская ли тяжелые подносы в ресторане гостиницы или прогуливаясь по воскресеньям с женихом в парке Фюрис.

Встретились они случайно. Один из приятелей Хенрика, имеющих абонемент в «Холодной Мэрте», получил наследство от скончавшейся тетки и решил отметить это событие. Отправились во «Флюстрет» у Лебединого пруда. Фрида в это лето подрабатывала на втором этаже, где расположены отдельные кабинеты. Вечер был теплый, окна нараспашку, воздух напоен тяжелым ароматом бальзама, из павильона доносилась военная музыка.

Все напились, Хенрик больше всех. Когда компания встала из-за стола, чтобы отправиться в бордель на Свартбэккен, вдохнуть жизнь в богослова оказалось невозможно, и его оставили на попечение судьбы или Фриды, которая через какое-то время (закончив смену в два ночи) вызвала коляску. Ей удалось выудить у Хенрика адрес и вместе с извозчиком они втащили все еще бесчувственного студента по лестнице в его комнату. Больше ничего этой ночью не случилось, если не считать, что Хенрика вырвало на юбку Фриды, потом он ударился головой о край стола, и из раны долго шла кровь.

Через два дня Хенрик, купив дорогой букет цветов, отправился во «Флюстрет». Он увидел ее у обшарпанного черного входа, где она переводила дух с чашкой кофе и сигаретой. Оба пришли в сильное замешательство. Хенрик, извинившись за свое непотребное поведение, принялся настаивать, чтобы ему позволили возместить расходы на чистку юбки. Фрида не знала, что ответить, поскольку отчистить юбку оказалось невозможно, она была испорчена окончательно. И в то же время девушка понимала, что Хенрику вряд ли по карману купить ей новую.

Она допила кофе и загасила сигарету, спрятав окурок в маленькую оловянную коробочку. Потом встала и сообщила, что ей пора возвращаться на работу, но ежели он хочет встретиться, то она заканчивает в два. Усевшись за круглый мраморный столик в одной из больших, увитых сиренью беседок, он заказал минеральной воды и принялся разглядывать окружающих, слушая полковую музыку, крики уток и шум водопада у моста Исландсбрун.

Когда подошло время, он проводил Фриду в «Йиллет» и там поцеловал ей руку, как его учила мать. И заявил, что он один в Уппсале, в Швеции,

на всем белом свете и во всей вселенной. Удивленно и в то же время обеспокоенно рассмеявшись, Фрида предложила съездить в Гранеберг. В следующее воскресенье у нее выходной.

Так началось общение, очень скоро перешедшее в совместную жизнь. Хенрика мучали страх греха, вожделение и непомерная ревность. Чтобы утихомирить этого возбужденного и растерянного ребенка, Фрида использовала хитрость, ум, наглую ложь и стратегию. Кроме того, она научила его, как можно избежать последствий, что в свою очередь вызвало приступ запоздалой ревности. Фрида уговаривала, а Хенрик бесновался. Вскоре они стали неразлучны.

Прошло совсем мало времени, и они обручились — тайно. Хенрик не осмелился рассказать матери о Фриде, и Фрида не настаивала. Она ждала своего часа. Стать обеспеченной пасторской женой — неплохое будущее. Она частенько предавалась мечтам о такой жизни, но мечты эти держала при себе. Фрида много чего знала о жизни и была достаточно умна, чтобы не делать выводов и не строить планов. Хенрик же ничего не знал о жизни, потому что гора требований заслоняла обзор. Он жил, погруженный в собственные навязчивые идеи и ожидания других. С Фридой он иногда ощущал внезапные уколы счастья, или как назвать то незнакомое чувство, которое удивляло его и вызывало горячие слезы под веками.

Фрида пришла домой к Хенрику в день экзамена довольно поздно. Ей удалось с милостивого разрешения метрдотеля поменяться сменами. Она вошла, когда часы Домского собора пробили десять, и обнаружила, что дверь распахнута, а комната погружена в темноту. Хенрик лежал на кровати, закрыв лицо рукой.

Когда она подошла к нему, он сел.

Фрида. Юстус забегал, он все рассказал. Ты ел? Ничего не ел целый день? Я так и думала, поэтому прихватила с собой пива и кое-какой закуски из кухни. Большой привет от фрёкен Хильды — помнишь, мы ее видели на концерте в церкви Троицы. Она сказала, что ты вполне, только больно уж худой. Можно, я зажгу лампу и накрою на стол — чуточку подвину книги, ладно?

С молчаливым упорством она начинает хлопотать. Глядя на нее, Хенрик чувствует тяжесть и облегчение, кроме того, ему срочно надо в уборную.

Хенрик. Мне надо пойти помочиться. Я, кажется, за весь день еще ни разу не был в уборной.
Фрида. Нельзя же так переживать!

Хенрик слабо улыбается и исчезает в коридоре, слышно, как он с шумом сбегает по лестнице. Фрида наливает пива в стакан из-под зубных щеток, садится у стола и, закурив сигарету, принимается рассматривать фотографию матери Хенрика. Потом переводит взгляд на окно, во двор и на брандмауэр. Там стоит Хенрик, едва освещенный фонарем арки. Он застегивает брюки и, наверное почувствовав на себе ее взгляд, поворачивается лицом к свету из окна и видит ее в раме желтого четырехугольника. Она улыбается, но он не отвечает на улыбку. Тогда она машет ему рукой, призывая вернуться, поднимает стакан с пивом и пьет. После чего расстегивает блузку, спускает рубашку и оголяет правую грудь.

На рассвете Фрида встает, чтобы уйти домой.

Фрида. Нет, нет, лежи. Скоро совсем развиднеется, я люблю гулять вдоль реки, когда город тих и пуст.
Хенрик. Мне на следующей неделе ехать домой. Представляешь себе картину? Мать, толстая, вся преисполненная надежды, стоит на перроне. Я подхожу к ней и сообщаю, что с экзаменом ничего не вышло, я не сдал. И тут она разражается слезами.
Фрида. Бедный Хенрик! Я бы могла поехать с тобой.

Они оба безрадостно смеются над таким совершенно немыслимым планом. Хенрик спрыгивает с кровати и одевается. И вот они уже окунулись в неподвижное, прохладное майское утро. Подойдя к Нюбруну, останавливаются и смотрят вниз, на черную, бурлящую воду.

Хенрик. Когда я был маленьким, мать однажды заказала столяру небольшой алтарь. Сшила сама скатерть с кружевами, купила гипсовую копию скульптуры Христа работы Торвальдсена, принесла из столовой два оловянных подсвечника и поставила на алтарную скатерть. По воскресеньям мы служили мессу, я был пастором, в пасторском облачении и брыжах. Прихожанами были мать и старушка из богадельни. Мама играла на органе, а мы пели псалмы. Мы даже причастие совершали, представляешь? Потом я попросил маму прекратить эти постыдные спектакли. Мне стало казаться, что мы совершаем какой-то ужасный грех — все это было и смешно и унизительно,— мне казалось, что Бог покарает нас. Мать была такая безрассудная. Она, конечно, расстроилась. Все это она делала ради меня, а я — ради нее, по крайней мере в последние годы. Ужасно. И вот теперь, в такой день, как сегодня, я спрашиваю себя, не собираюсь ли я стать священником ради матери и еще потому, что мой отец не захотел быть священником, хотя все в его семье считали, что он должен. И я спрашиваю себя, о чем он думал, когда решил бросить учебу, несмотря на то, что ему прочили большое будущее. Интересно, о чем он думал. Аптекарь, он стал аптекарем. Представляешь деда и остальное семейство? Стыд-то какой! Да-а.
Фрида. Почему бы тебе не стать священником, Хенрик? Хорошая профессия. Честная, хорошая, основательная. Сможешь прокормить и себя, и семью, да и мать тоже.

Фрида подшучивает над ним, никакого сомнения. Или, может, это из-за ее диалекта его проблемы кажутся столь незначительными? Или же просто Фрида считает, что ее богослов все усложняет. Кто знает.

Начальник транспортных перевозок Юхан Окерблюм отдыхает. Под этим понимается, что он достойным способом сокращает послеобеденную скуку с помощью сна. Кроме того, начальник транспортных перевозок имеет полное право отдыхать. Ему исполнилось семьдесят, и он отошел от железнодорожных мостов, сортировочных станций и сигнальных систем, сконструированных и построенных в разгар экспансии рельсового транспорта. Еще в молодости, только что вылупившимся инженером, он поступил на Государственные железные дороги и почти сразу получил признание за свои смелые и практические идеи. Он выдвинулся быстро и легко. В двадцать четыре года женился на дочери богатого оптовика, купил только что построенный дом на Трэдгордсгатан, 12, и занял в нем десятикомнатную квартиру на втором этаже. Один за другим родилось трое сыновей: Оскар, Густав и Карл. После двадцати лет внешних успехов и супружеских неурядиц его болезненная жена скончалась. Юхан Окерблюм, беспомощный и растерянный, оказался один на один с тремя еще не оперившимися, воспитанными в чрезмерной строгости сыновьями. Дом, которым заправляли домоправительницы, быстро шел к запустению.

В свободное время начальник транспортных перевозок играл на виолончели и общался с семейством Кальвагенов — его глава был автором грамматики немецкого языка, которой предстояло мучить не одно поколение шведских детей: «Die Heringe der Ostsee sind magerer als die der Nordsee» [1]. И так далее.

Вместе с начальником транспортных перевозок был организован струнный квартет, который при желании можно было расширить до квинтета, поскольку старшая дочь Карин играла на рояле, заменяя недостаток музыкальности энтузиазмом и решительностью. Карин питала сильнейшую симпатию к вдовцу, бывшему почти на тридцать лет старше ее. Она хорошо

[1] Сельдь в Балтийском море меньше сельди в Северном море (*нем.*).

видела, как после смерти жены приходит в упадок его дом. И как-то весной без обиняков предложила Юхану пожениться. Ошеломленный таким великодушием и напором, Юхан не мог сделать ничего иного, как, заикаясь от душевного волнения, ответить согласием. Они поженились спустя полгода, и после весьма короткого по тем временам свадебного путешествия в недавно построенный железнодорожный узел Халле двадцатидвухлетняя Карин, до краев переполненная благими намерениями, переехала в десятикомнатную квартиру на Трэдгордсгатан.

Сыновья, которые практически были ее ровесниками, встретили ее с холодной подозрительностью и присущими тем, кто воспитывался в чрезмерной строгости, изощренными издевательствами. Плохо ладя друг с другом, молодые люди внезапно нашли повод сплотиться против той, кто так очевидно угрожала их свободе. В последующие несколько месяцев, однако, они убедились в превосходящих силах противника. И после ряда тяжелых стычек сочли за благо сложить оружие и объявить о безусловной капитуляции. Карин уже в юные годы была умелым стратегом, поэтому она четко поняла, что не следует использовать свое преимущество, дабы унизить противника. Напротив. Она осыпала их всяческими знаками благожелательности — не только из-за благоразумия, но и из преданности. Она полюбила своих неуклюжих, милых, сбитых с толку пасынков и на их растущую привязанность отвечала суровой и веселой нежностью.

Сейчас Карин сорок четыре, и у нее двое собственных детей — Эрнст и Анна, они погодки. В доме четверо слуг и широкий круг общения. Кроме того, два старших брата женились, создав собственные семьи, которые нередко заглядывают на огонек.

Выйдя замуж, Карин бросила занятия в педагогическом институте, и ей ни разу потом не представилось повода об этом пожалеть. Страдать от безделья ей не пришлось. Она хорошо разбиралась в людях, была проницательна, приветлива, обладала чувством юмора и задорной энергией. И в то же время была вспыльчива, остра на язык и отличалась диктаторскими замашками и бесцеремонностью. Красивой ее назвать было нельзя, но вся ее небольшая фигурка излучала очарование и жизнелюбие. Вряд ли начальник транспортных перевозок и его жена, бывшая почти на тридцать лет его моложе, любили друг друга в банальном смысле этого слова, но они играли свои роли, не протестуя, и мало-помалу стали друзьями.

Итак, начальник транспортных перевозок Юхан Окерблюм отдыхает. Протестантская закалка запрещает ему раздеться и уложить спину и больную ногу в удобную постель. Нет, он сидит в просторном кресле, одетый в короткий, элегантный послеобеденный халат, а рядом лежит научный труд. Только вот очки он сдвинул на лоб. На столике возле кресла — послеобеденная трубка, жестянка с табаком и рюмка с абсентом. Ноги покоятся на скамеечке с вышитой подушкой, колени укрыты пледом. Светлая комната выходит окнами во двор, посему здесь царит тишина. Высокое ухоженное дерево не впускает в окно солнечные лучи и бросает зеленые подвижные тени на книжные стеллажи и картины с итальянскими мотивами. Важного вида напольные часы отмеряют время вежливым тиканием. Дощатый пол устлан восточным ковром ненавязчивых тонов и узора.

Как бы то ни было, но в эту минуту открывается дверь, очень осторожно, и второе главное действующее лицо нашего повествования входит в комнату, тихо-тихо. Это молодая женщина, которую зовут Анна, ей недавно исполнилось двадцать, она небольшого роста, миловидна, но с вполне развившейся фигурой и длинными каштановыми волосами, чуть рыжеватыми на концах. У нее теплые карие глаза, красивой формы нос, чувственный добрый рот и по-детски округлые щеки. На ней дорогая кружевная блузка, длинная, элегантного кроя юбка из светлой шерсти и широкий пояс вокруг узкой талии. Никаких украшений, если не считать легких брильянтовых сережек. Ботинки по моде, на высоких каблуках.

Так вот она выглядит — та, которую в действительности звали Карин. Я не хочу и не могу объяснить, почему у меня такая потребность смешивать

и изменять имена: моего отца ведь звали Эрик, а бабушку по матери как раз Анна. Что ж, может, это входит в правила игры — а ведь это и есть игра.

Анна. Вы спите, папа?
Юхан Окерблюм. Конечно. Я сплю и вижу во сне, что сплю. И вижу во сне, что сижу в своем кабинете и сплю. И тут открывается дверь и входит самая красивая, самая любимая, самая нежная. И она подходит ко мне и обдает меня своим нежным дыханием и спрашивает, сплю ли я. И тогда мне снится, что я думаю: вот так, должно быть, просыпаются в раю.
Анна. Вам, папа, надо научиться снимать очки, когда вы отдыхаете после обеда. А то они могут упасть и разбиться.
Юхан Окерблюм. Ты такая же разумная, как твоя мать. Тебе бы следовало знать, что я все делаю намеренно и продуманно. Если я сдвигаю очки на лоб, отдыхая после обеда, так для того, чтобы создать впечатление творческого состояния с закрытыми глазами. Никому — кроме тебя — не удастся застать врасплох Юхана Окерблюма с опущенным подбородком и раскрытым ртом.
Анна. Нет, нет, вы, папа, спали прилично, красиво, контролируя себя. Как всегда.
Юхан Окерблюм. Ну, так чего тебе нужно, мое сердечко?
Анна. Через несколько минут ужин. Кстати, можно мне попробовать ваш абсент, папа? Говорят, это грешно? Подумайте о Кристиане Круге и всех этих гениальных норвежцах, которые сошли с ума от абсента. (*Пригубливает.*) Если пьешь абсент, надо, наверное, быть особо большим грешником, чтобы заставить себя пить его. Посидите спокойно, я причешу вам волосы, чтобы вы были красивым.

Анна исчезает в соседней комнате и тотчас возвращается с расческой и щеткой.

Юхан Окерблюм. У нас, кажется, к обеду ожидается гость? Эрнст вроде собирался...
Анна. Это товарищ Эрнста. Они вместе поют в Академическом хоре. Эрнст говорит, что этот парень изучает богословие.
Юхан Окерблюм. Что? Будущий священник? Ну, коли Эрнст общается с пасторским учеником, значит, верно, грядет Судный день.
Анна. Не дурачьтесь, папа. Эрнст говорит, что этот мальчик — забыла, как его зовут,— очень милый. Кроме того, он, кажется, жутко бедный. Но красивый.
Юхан Окерблюм. Вот оно что, в таком случае мне понятен этот неожиданный интерес к новому приятелю твоего брата.
Анна. Вы опять дурачитесь, папа. Я выйду замуж за брата Эрнста. Он для меня Единственный.
Юхан Окерблюм. А как же я?
Анна. И вы, конечно! Разве мама вам не говорила, что надо следить за волосами в ушах? Как можно что-то слышать, когда в ушах столько волос.
Юхан Окерблюм. Это особенные, тоненькие волоски — слуховые, и их никому не дозволено трогать! С помощью этих слуховых волосков у меня развился особого рода слух, позволяющий мне слышать, что люди думают. Большинство ведь говорят одно, а думают другое. И я это сразу же слышу благодаря моим слуховым волоскам.
Анна. А вы можете сказать, о чем я сейчас думаю?
Юхан Окерблюм. Ты слишком близко стоишь. Слуховые волоски перенапряжены. Отойди подальше, туда, куда солнце пробивается, и я тут же скажу, о чем ты думаешь.
Анна (*смеется, отходит*). Ну давайте, папа!
Юхан Окерблюм. Ты очень довольна собой. И вдобавок очень довольна тем, что твой отец тебя любит.

Когда часы на Домском соборе, часы в передней и ушедшие в себя часы в кабинете бьют пять, распахивается дверь, и начальник транспортных

перевозок вступает в залу вместе с Анной. Правую руку он положил ей на плечо, левой опирается на палку.

Все встают, приветствуя главу семейства. Тут, быть может, самый подходящий момент описать присутствующих: о фру Карин мы уже говорили, как и о ее любимом сыне Эрнсте, ровеснике Хенрика. Трое братьев — Оскар, Густав и Карл — стоят чуть в стороне, выясняя что-то по поводу одной из вечных вексельных операций Карла. Они говорят, перебивая друг друга. При появлении отца они тотчас умолкают и, вежливо улыбаясь, поворачиваются к вошедшим.

Оскар похож на отца, преуспевающий оптовик, уверенный в себе и немногословный. Он женат на длинной худой женщине болезненного вида, очки скрывают ее полные боли глаза. Считается, что она постоянно находится на пороге смерти. Каждую осень она уезжает на курорты и воды на юг Германии или в Швейцарию, каждую весну возвращается согбенная, пошатывающаяся, со страдальческой извиняющейся улыбкой: я все еще жива, потерпите еще немножко.

Густав — профессор римского права и зануда, что с удовольствием отмечается окружающими. В качестве защиты он приобрел себе приличную округлость. Он добродушно подсмеивается над своим занудством, качая при этом головой. Его жена Марта — русского происхождения, говорит по-шведски с сильным акцентом и обладает веселым нравом. Ее с мужем объединяет страстная любовь к утехам стола. У них две красивые и несколько упрямые дочери в младшем подростковом возрасте.

Карл — инженер и изобретатель, как правило, не слишком удачливый. Большинство считает его белой вороной в семье. Ум в нем сочетается с мизантропией, он холостяк и не особенно чистоплотен — ни душой, ни телом. Это последнее обстоятельство вызывает постоянное недовольство мачехи. Да, что-то в брате Карле есть эдакого, и к нему я скоро вернусь.

Присутствует здесь и Торстен Булин, молодой гений с мужественными чертами лица и летящими волосами, небрежно-элегантный, любимец всего семейства. В свои двадцать четыре он пишет докторскую диссертацию (о григорианских церковных песнопениях в допротестантском хорале того вида, в коем они отражены в сборнике песен, найденном при реставрации церкви Скаттунгбю в 1898 г.). И наконец, молодой Булин считается суженым Анны. Утверждают, что молодые люди достаточно определенно демонстрируют свои горячие чувства.

В дверях столовой появляется честная фрёкен Сири, вид у нее несколько растерянный. Карин Окерблюм заявляет через всю комнату: наш гость к обеду не явился. Подождем еще несколько минут, может быть, он все-таки придет.

Карин (*Эрнсту*). Ты предупредил своего друга, что обед в пять?
Эрнст. Я обратил его внимание на то, что в этом вопросе наша семья болезненно пунктуальна. Он сказал, что сам отчаянно пунктуален.
Юхан Окерблюм. Что он за тип?
Эрнст. Дорогой папа, он вовсе не тип. Он изучает богословие и станет пастором, если Богу будет угодно.
Марта. А у этого сказочного зверя есть имя?
Эрнст. Хенрик Бергман. Землячество Естрике-Хельсинге. Мы поем в Академическом хоре. У него великолепный баритон, а еще у него есть три незамужние тетки.
Оскар. Девицы из Эльфвика.
Эрнст. Девицы Бергман из Эльфвика.
Юхан Окерблюм. Тогда, стало быть, член риксдага Фредрик Бергман его дед.
Карин. Мы с ним знакомы?
Юхан Окерблюм. Старая лиса высокого полета. Выступает за особый союз — крестьянскую партию. Хорошенькое дельце. Борьба и раскол. Кстати, мы вроде состоим в родстве. Троюродные братья или что-то в этом роде.

Эти слова вызывают краткий приступ веселья, смолкающего, когда раздается звонок в дверь. «Я открою»,— решительно говорит Анна. Она останавливает фрёкен Сири, которая уже было направилась в прихожую с особым, неприязненным выражением на лице, способным напугать кого угодно. Анна распахивает дверь. На пороге стоит Хенрик Бергман. В его глазах ужас.

Хенрик. Я припозднился. Опоздал.
Анна. Тем не менее поесть вам все-таки дадут. Хотя, наверное, придется сидеть на кухне.
Хенрик. Я ужасно... Обычно я...
Анна. ...сама пунктуальность. Это мы уже знаем. Входите же! А то еще позже сядем за стол.
Хенрик. Нет, я, пожалуй, не осмелюсь.

Хенрик круто поворачивается и быстро направляется к лестнице. Анна догоняет его и тянет за руку. Она едва сдерживает смех.

Анна. Мы, безусловно, бываем весьма опасны, собираясь всем семейством, особенно, если нам не дают есть в положенное время. Но мне кажется, вам все же надо набраться мужества. Обед очень вкусный, а я собственноручно приготовила десерт. Идемте. Ради м е н я.

Она снимает с него студенческую фуражку и рукой приглаживает ему волосы; ну вот, теперь у господина кандидата приличный вид и, подталкивая его в спину, ведет через прихожую.

Анна. Господин Бергман просит извинить его. Он навещал друга в больнице, и ему пришлось пойти в аптеку. Там была очередь. Поэтому он опоздал.
Карин. Добрый день, кандидат. Добро пожаловать. Надеюсь, с вашим другом ничего серьезного...
Хенрик. Нет... нет. Он только...
Анна. Сломал ногу. Это мой папа.
Юхан Окерблюм. Добро пожаловать. По-моему, вы определенно похожи на своего деда.
Хенрик. Да вроде бы.
Анна. Мои братья — Густав, Оскар и Карл, Марта, она замужем за Густавом, Свеа — за Оскаром, девочки — дочки Густава и Марты, а это Торстен Булин, которого считают моим суженым. Теперь вы знакомы со всей семьей.
Карин. В таком случае я предлагаю наконец-то сесть за стол.
Эрнст. Привет, Хенрик.
Хенрик. Привет.
Эрнст. Кто это сломал ногу?
Хенрик. Да никто. Это твоя сестра...
Эрнст. Да, да. Берегись ее.
Хенрик. Мне уже некого...
Карин (*прерывает*). Пожалуйста, господин Бергман, садитесь вон там, рядом с Мартой. А Торстен рядом с Анной. Теперь прочитаем молитву.
Все. Мы с именем Христа за стол садимся. Благослови же нашу трапезу, Господь.

Присутствующие торопливо кивают и приседают. После чего рассаживаются, оживленно переговариваясь. Появляются фрёкен Сири и фрёкен Лисен в черно-белых одеяниях и накрахмаленных наколках, в руках у них свежая спаржа и сельтерская вода.

Сейчас Хенрику Бергману предстоят дополнительные испытания. Он никогда не видел спаржи. Он никогда не ел обеда из четырех блюд, он никогда не пил ничего, кроме воды, он никогда в жизни не видел полоскательницы с плавающим в воде красным цветком, он никогда не видел столько ножей и вилок, он никогда не беседовал с саркастически

приветливой дамой с сильным русским акцентом. Воздвигаются стены, разверзаются волчьи ямы.

Марта. Я из Санкт-Петербурга. Наша семья по-прежнему живет в большом доме рядом с Александровским садом. Петербург очень красив, особенно осенью. Вы бывали в Петербурге? Я каждый год в сентябре езжу домой, это самое прекрасное время года, когда все уже вернулись с дач, и начинается сезон, приемы, театры, концерты. Вы будете священником. У вас очень подходящая внешность. Такие красивые печальные глаза, женщинам наверняка придется по душе такая внешность. Но волосы со лба надо убирать, жалко скрывать такой красивый поэтический лоб. Дайте я вам помогу! Мой муж Густав, вон тот милый толстяк,— да, да! я говорю о тебе, милый! — он профессор римского права, по его виду и не скажешь (*Заливисто смеется.*)...я прожила в Швеции уже двадцать лет, я обожаю вашу страну, но я русская, нет, Густав похож на пекаря, у него горячее сердце. Он приехал погостить в Петербург, мы встретились на благотворительном вечере, в тот же вечер он предложил мне руку и сердце, и я сказала себе: Марта, глупая девочка, ты, конечно, могла бы заполучить мужчину покрасивее, но у *этого* человека сердце из чистого золота, и через год мы поженились, разумеется, иногда меня приводят в недоумение и эта страна, и ее странные люди, но я в общем-то никогда не раскаивалась. Кстати, раскаяние не в моем характере. А вы раскаивающийся человек? (*Смеется, потом опять становится серьезной.*). В этой стране церкви такие бедные, песнопения тоже бедные, никаких великих мгновений. Дорогой кандидат, иногда мне кажется, что мы молимся двум совсем разным богам. (*Тихо смеется.*) Сейчас я, нет, погодите, сейчас я покажу вам, как нужно есть спаржу, смотрите, самое вкусное — это луковичка, берем пальцами стебель, так вкуснее — больше наслаждения, подносим к губам и о с т о р о ж н о откусываем. А вот как обращаются с полоскательницей, глядите на меня, кандидат.

В меню, кроме спаржи, заливной лосось под зеленым соусом, весенний цыпленок (труден для разделки) и шедевр Анны — подрагивающий пудинг-брюле.

После кофе в гостиной устраивают концерт. За окнами сумерки. Музыканты в окружении зажженных свечей: медленный пассаж последнего струнного квартета Бетховена. Юхан Окерблюм играет на виолончели, Карл — способный скрипач-любитель, член Академического оркестра. Эрнст — вторая скрипка, с большим чувством, но с меньшим успехом. К кофе и грогу со второго этажа спускается со своим альтом вышедший на пенсию член придворной капеллы, вежливая тень, любезный и несколько высокомерный господин. Он с трудом заставляет себя музицировать в этой компании, но начальник транспортных перевозок подписал его векселя, так что муки терпимы.

Музыка и сумерки. Хенрик ушел в себя: все это похоже на сон, далеко за пределами его собственных бесцветных будней. Анна сидит у окна, неотрывно смотрит на музыкантов, внимательно слушает. На фоне сумеречного света четко вырисовывается ее профиль. Вот она чувствует на себе чужой взгляд, подавляет свое первое побуждение, но тут же уступает ему и переводит глаза на Хенрика. Он серьезен, она улыбается чуть натянуто, чуть иронически, но сразу же сгоняет улыбку с лица, отвечает серьезностью на серьезность Хенрика: я вижу тебя. Вижу.

Вечер окончен, время прощаться. Хенрик с поклоном благодарит всех, на мгновенье Анна оказывается прямо перед ним. Поднявшись на цыпочки, она что-то быстро шепчет ему на ухо, аромат ее волос, легкое прикосновение.

Анна. Меня зовут Анна, а тебя Хенрик, верно?

И сразу отходит, становится рядом с отцом и, взяв его за руку, склоняет голову ему на плечо — все это чуточку спектакль, но доброжелательный и небесталанный.

У Хенрика голова идет кругом (так говорят, это банально, но сейчас невозможно подобрать лучшего выражения: голова идет кругом). Итак, у Хенрика, который стоит на углу Трэдгордсгатан и крошечной Огатан, голова идет кругом, ему бы надо идти домой и написать это мучительное письмо матери, но еще рано и одиноко. Друг Эрнст отправился на эскапады, он страшно торопился и припустил вниз по Дроттнинггатан так, что даже полы пальто захлопали по ногам.

Каштаны уже распустились, из Городского парка доносятся звуки военной музыки. Часы Домского собора бьют девять, и с холма над Аркой Стюре тонким голосом им вторит колокол Гуниллы.

Кто-то трогает Хенрика за плечо. Это Карл. Он в добродушном настроении, от него пахнет коньяком.

Карл. Составите мне компанию, кандидат? Давайте пройдемся, к примеру, по этой улице до Лебединого пруда и полюбуемся тремя молодыми лебедями — Сиг-Нус Окор, или черный лебедь, Chenopsis Atrata,— только что привезенными из Австралии, а? Или продлим прогулку ровно на сто метров, выпьем по стаканчику пунша и — что не менее важно — поглядим на трех новехоньких шлюх, вывезенных из Копенгагена? Идем во «Флюстрет», кандидат. Идем во «Флюстрет»!

Карл победительно улыбается и хлопает Хенрика по щеке своей пухлой ручкой.

Они сидят на застекленной веранде «Флюстрета», вечер тих, посетители расположились за столиками на улице в мягких весенних сумерках. Лишь несколько опустившихся доцентов устроились внутри, в горьком одиночестве охраняя свои стаканы с грогом. Стройная, броско-красивая официантка подходит к столу, чтобы принять заказ. Она слегка приседает и здоровается с ними как со старыми знакомыми.

Фрида. Добрый вечер, господин инженер, добрый вечер, господин кандидат, чем вас сегодня угостить?
Карл. Пожалуйста, фрёкен Фрида, полбутылки пунша — обычного сорта и сигары.
Фрида. Я передам разносчице.

Она кивает и удаляется.

Карл. Вы, кажется, знакомы с фрёкен Фридой.
Хенрик. Нет, что вы. Просто иногда мы ходим сюда обедать, когда деньги есть. Нет, я с ней незнаком.
Карл (*проницательно*). Щеки пастора порозовели, наступает минута отречения? Сейчас услышим, как пропоет петух?
Хенрик. Я знаю только, что ее зовут Фрида и что она из Онгерманланда. (*Приободрившись.*) Недурна.
Карл. Весьма недурна, весьма. Сомнительная репутация. Или? Как вы считаете? Богословское образование, говорят, помогает видеть человеческие слабости? Или лучше сказать — чуять носом?

Подходит разносчица с подносом и снабжает мужчин гаванскими сигарами. Карл расплачивается, оставив приличные чаевые. Девушка обрезает сигары, подносит огонь. Попыхивая сигарами, мужчины откидываются на спинки стульев.

Карл. Ну, кандидат, как вам вечер?
Хенрик. Что вы имеете в виду, господин Окерблюм?
Карл. Как мы вам понравились, короче говоря.
Хенрик. Мне никогда прежде не приходилось есть четыре блюда, запивая их тремя разными сортами вина. Все было как в театре. От меня ждали участия в вашем спектакле, но я не справился с репликами.

Карл. Прекрасно сформулировано!
Хенрик. Все это было привлекательно, но в то же время отталкивающе. Или, правильнее говоря, недосягаемо — это вовсе не критика.
Карл. Недосягаемо?
Хенрик. Если бы я даже захотел проникнуть в ваш мир и претендовал бы на участие в вашем спектакле, это все равно оказалось бы невозможным.

Появляется Фрида с бутылкой пунша в ведерке со льдом и двумя слегка запотевшими стопками. Карл разглядывает Хенрика с дружеским вниманием. Хенрик не решается поднять глаза на Фриду. А вдруг ей вздумается поцеловать меня в губы или положить руку мне на голову? Что тогда будет? Собственно, она тоже непроницаема. Может, все непроницаемо? Я вне? — с горьким сладострастием думает Хенрик. Вне?

Карл. В нашей ничтожной семейной драме главную роль играет моя мачеха. Карин Кальваген. У мамхен поразительный характер, намного сильнее обстоятельств. Властная женщина, которая правит нами железной рукой. Одни говорят, что нам редкостно повезло, другие считают ее настоящей ведьмой. Если бы кому-нибудь пришло в голову спросить м е н я, я бы ответил, что она хочет блага, а делает зло, как написано — не у Павла ли? Ее цель — сплотить семью, неизвестно только зачем. Ежели что-то не укладывается в рамки, она обрезает, ампутирует, деформирует. Это она умеет великолепно, наша милая, очаровательная дамочка.

Карл поднимает свою стопку, Хенрик отвечает тем же, они смотрят друг на друга с симпатией.

Карл. Извините за дерзость, но я бы хотел предложить тост за наше побратимство. Карл Эберхард, шестьдесят девятого. Спасибо.
Хенрик. Эрик Хенрик Фредрик, восемьдесят шестого. Спасибо.

Ритуал совершается по всем правилам, и побратимы тщательно соблюдают молчание, которое обычно следует за таким важным действом.

Карл. Я, собственно, изобретатель, и кое-какие мои небольшие изобретения зарегистрированы в Королевском патентном бюро. В глазах семьи я неудачник, белая ворона. Несколько раз сидел в желтом доме. Я, пожалуй, не более ненормальный, чем все остальные, но меня считают немного непоследовательным. Наше семейство произвело на свет так чертовски много нормального, что остался излишек сумасшествия, который прибрал к рукам я. К р о м е т о г о, несколько лет назад я поссорился с законом — слишком умело копирую почерки. Быть священником предполагает веру в какого-то бога, это ведь главное условие?
Хенрик. Пожалуй.
Карл. Черт возьми, как может молодой человек сегодня верить в Бога? Извини намеренную бестактность вопроса!
Хенрик. ...Трудно объяснить. Вот так, с ходу.
Карл. ...Внутренний голос? Желание быть в чьих-то руках? Не чувствовать себя оставленным, исключенным? Как теплое дыхание в лицо? Как слабый пульс в необозримой кровеносной системе? Смысл, план, миг милости? Нет, я не иронизирую, просто моя глотка никогда не перестает извергать саркастическую отрыжку. Я страшно серьезен, молодой человек.
Хенрик. Я нерешительный человек. И вообразил, что сутана священника, быть может, послужит мне хорошим корсетом. Я собираюсь стать пастором ради самого себя. Не ради человечества.

Возвращается Фрида, она кладет счет на стол рядом с Карлом. Скашивает глаза на Хенрика.

Фрида. Прошу прощения, что я уже принесла счет, но господа, наверное,

заметили объявление внизу, в холле — мы сегодня закрываемся раньше. Завтра здесь будет завтракать консистория, поэтому нам надо заранее накрыть столы.
Карл. Значит, фрёкен Фрида...
Фрида. ...занята сегодня вечером? (*Смеется.*) Можно сказать.

Пока Карл расплачивается и обстоятельными движениями прячет портмоне, Фрида, стоя за спиной Хенрика, прислоняется к нему и щиплет за ухо. Все происходит быстро и незаметно. От нее вкусно и чуть терпко пахнет потом и розовой водой.

Карл Окерблюм и Хенрик Бергман стоят у ограждения Лебединого пруда и любуются черным лебедем, мечтательно плывущим по темной блестящей воде. Начался мелкий дождичек.

Хенрик (*после длинной паузы*). А твоя сестра? Анна?
Карл. Анна? Ей скоро двадцать. Ты же сам видел.
Хенрик. Да (*кивает*), конечно.
Карл. Она учится в медицинском училище при больнице Софияхеммет. Мамхен утверждает, что молодым девушкам необходимо получить образование. Чтобы стоять на собственных ногах и тому подобное. Так полагает мамхен. Сама же бросила свое педагогическое образование и вышла замуж.
Хенрик. Твоя младшая сестра очень...
Карл. ...привлекательна. Вот именно. У нас в доме была куча претендентов на ее руку, но господин Отец на всех нагнал страху своей жуткой и чрезвычайно изощренной ревностью, а наша госпожа Мать нагнала еще большего страху малозаманчивой перспективой заполучить Карин Окерблюм в тещи. В настоящее время в дом зачастил молодой гений Торстен Булин. На него ничего не действует, и его, кажется, как ни странно, терпят. Но, разумеется, он же человек с будущим. Совершенно очевидно, что он станет министром или архиепископом. Анну, похоже, необычайно забавляют его ухаживания. Хотя, по моей теории, судьба Анны пишется в другой книге.
Хенрик. Смотри, вон из домика выходит второй черный лебедь. Какой приятный дождик.
Карл. После засухи. Да, Анне, вероятно, суждено полюбить сумасшедшего или убийцу на сексуальной почве, а может, просто ничтожество.
Хенрик. Почему это ты так в этом уверен?
Карл. Наша маленькая принцесса умеет прекрасно приспосабливаться, она такая умная, чистосердечная, заботливая и любящая, просто спасу нет.
Хенрик. Ведь это же здорово? Все это? Разве нет?
Карл. Видишь ли, братец, у нее внутри прячется осколок стекла. Острый осколок, о который ничего не стоит порезаться. (*Смеется.*) Ага, испугался!
Хенрик. Я не понимаю, что ты имеешь в виду.
Карл. А этого и нельзя так просто понять. Но я ее знаю. Я у з н а ю ее.
Хенрик. Это похоже на какую-то высокую литературу.
Карл. Конечно. Конечно, Хенрик.
Хенрик. Пойдем? Дождь припустил вовсю.
Карл. Укроешься под моим зонтом. Обладая выраженным трагическим взглядом на ход событий в мире, я всегда ношу с собой зонт. Пользоваться ли им потом или нет — вопрос моего свободного выбора. Таков мой хитроумный способ бороться с детерминизмом и обманывать случай.
Хенрик (*с улыбкой*). Я, естественно, не могу разделить твое...
Карл. ...мировоззрение, хотел ты сказать. У меня нет никакого мировоззрения, взамен я много болтаю. Знаешь что, Хенрик? По-моему, фрёкен Фрида была бы в е л и к о л е п н о й женой пастора.

На это Хенрик ничего не отвечает. Он просто-напросто потерял дар речи.

Семестр окончен, и Хенрик едет домой.

Жаркий день в середине июня, поезд медленно проплывает мимо летних ландшафтов, долго стоит на каждой станции, тишина, жужжание мух. Цветущие каштаны тянутся ветками к закрытым окнам купе. Людей не видно — ни на перроне, ни в поезде. Паровоз пыхтит дальше, сперва через сосновые леса, потом вдоль моря. Поездка на пассажирском поезде между Уппсалой и Сёдерхамном занимает целый день.

Хенрик прибывает на западный вокзал в 8.27 вечера. Мама Альма ждет у входа. Он сразу замечает ее — ее грузная фигура словно бы окутана невидимой пеленой полного слез одиночества. Хенрик улыбается и, поставив чемодан, обнимает мать.

Она очень тучная, весит наверняка не меньше ста килограммов. Круглое лицо с широко раскрытыми боязливыми глазами, маленький вздернутый носик, большой чувственный рот и короткая шея. На ней тесное летнее пальто, заметно поношенное, на нем не хватает пуговицы. Черная шляпа с пером во время объятий съехала набок. Она смеется и безутешно рыдает. Хенрик изо всех сил старается отвечать на проявления нежности со стороны матери. От нее исходит кислый запах высохшего пота, дыхание астматическое. «Ну-ка, дай я посмотрю на моего мальчика, какой же ты бледный, какой худой, ясное дело, плохо питаешься! Как мило, что ты приехал навестить свою старую мать. А тебе обязательно носить усы? Твоей мамочке они совсем не нравятся, надо будет их сбрить, ведь ты теперь снова станешь моим любимым мальчиком».

Альма Бергман живет в трех небольших комнатах на последнем этаже стоящего во дворе дома на углу Норралагатан и Чёпмангатан. Одна комната — Хенрика, на зиму ее сдают.

Самая маленькая комната — спальня Альмы и последняя — столовая, соединенная весьма странным проходом с вместительной кухней. Квартира загромождена вещами, точно ее жильцов внезапно заставили переехать сюда из более просторного жилища, и у них не хватило мужества расстаться с громоздкой мебелью, картинами, ненужными предметами.

И на всем этом лежит печать гордой бедности. Беспомощного отчаяния. Безнадежности и слез.

Пока Альма накрывает на стол, Хенрик идет в свою детскую. Узкая продавленная кровать, дырявое плетеное кресло с подушками, хлипкий письменный стол со старыми шрамами от бесчинств перочинного ножа, непарные стулья. Гардероб с треснутым зеркалом, книжная полка с зачитанными до дыр книгами, умывальник с разнокалиберными тазом и кувшином, ветхие полотенца. На грязном окне сорвавшаяся в одном месте с карниза штора. Картины, напоминающие о детстве, на библейские сюжеты: «Иисус с детьми», «Возвращение блудного сына». Над кроватью фотография отца. Молодое, красивое лицо, жидкие развевающиеся волосы, зачесанные назад с высокого лба, большие голубые глаза; на губах легкая самоуверенная улыбка: гордость, ранимость, внутренняя цельность и страсть — типичное актерское лицо.

В угол у окна втиснут алтарь, накрытый алтарной скатертью, на нем оловянный подсвечник, «Иисус» Торвальдсена и раскрытый молитвенник. Перед алтарем скамеечка для преклонения колен, обтянутая тканью с вышитым на ней зелено-золотым узором. Алтарная доска затянута фиолетовой материей с матово-красным крестом посередине. У ног Христа свежий букетик первоцвета.

Хенрик опускается на один из непарных стульев. Закрыв лицо руками, он делает несколько глубоких вздохов, точно пытается преодолеть внезапный приступ дурноты.

Ему трудно глотать, хотя он должен был бы проголодаться, поскольку съел за все долгое путешествие лишь пару прихваченных с собой бутербродов. Мать сидит напротив за обеденным столом, горит керосиновая лампа, за квадратами окон — сумерки.

Альма. В последнее время все ужасно подорожало. Т е б е-то, конечно, об этом думать ни к чему, а я просто не знаю, как быть. Надо же: керосин

подорожал на 3 эре, а пять кило картошки стоят 32 эре. Говядина мне почти уже не по карману, приходится довольствоваться обычной свининой или суповым мясом. А уголь — ты не представляешь, что за зима у нас была,— уголь и дрова подорожали вдвое. Приходилось укутываться потеплее, хотя из-за учеников я была вынуждена топить как следует, ужас, сколько на это уходило денег. Что с тобой, Хенрик? Ты такой грустный, что-нибудь случилось? Ты же знаешь, что можешь все рассказать своей старой маме.
Хенрик. Я завалил экзамен по церковной истории.

Он беспомощно машет рукой, уставившись на материно ухо. Она осторожно ставит чашку и кладет свою пухлую ручку на скатерть — матово блестят массивные обручальные кольца.

Альма. Когда это случилось?
Хенрик. Несколько недель назад. В конце апреля.
Альма. И какие же последствия?
Хенрик. Буду сдавать снова в конце ноября. Раньше профессор Сюнделиус не позволит.
Альма. Значит, твой выпуск откладывается.
Хенрик. На полгода.
Альма. Как же нам быть, Хенрик? От заема почти ничего не осталось, и все стало так дорого. И плата за обучение, и твои учебники, твое содержание. Ума не приложу, что делать? Я никогда не умела распоряжаться деньгами.
Хенрик. Я тоже.
Альма. И этот заем, который мы обещали вернуть, как только ты получишь сан.
Хенрик. Я знаю, мама.
Альма. Я попытаюсь раздобыть побольше учеников, но теперь, когда наступила такая дороговизна, уроки музыки — первое, на чем люди экономят. Это надо понимать.
Хенрик. Да, это надо понимать.
Альма. Я могу, пожалуй, снова начать убирать, но у меня страшно обострилась астма, и сердце дает себя знать.
Хенрик. Нет, мамочка, об уборке не может быть и речи.

Альма, вздыхая от переполняющей ее нежности, встает, обнимает сына и покрывает его поцелуями, ласково при этом сюсюкая: «Мой малыш, мой любимый мальчик, сердечко мое! Ты единственное, что у меня есть, я только для тебя и живу, мы поможем друг другу, мы никогда не бросим друг друга, разве не так, мой драгоценный, разве не так?»

С мягкой настойчивостью Хенрик высвобождается и усаживает мать на стул. Держа ее руки в своих, он смотрит в ее светлые, полные слез глаза.

Хенрик. Я могу бросить учебу, мама. Брошу, найду работу и перееду сюда, домой. И в первую очередь мы отдадим взятые у теток из Эльфвика деньги. Потом, когда я накоплю столько, что смогу прокормиться самостоятельно и не буду ни для кого обузой, я, может, снова пойду учиться.

В ответ Альма начинает смеяться — весело, от души, показывая белые зубы.

Альма. Бедный мой мальчик, ты определенно еще глупее, чем я. Неужели ты и вправду думаешь, что мы позволим остановить нас с е й ч а с, когда мы уже почти у цели? Неужели ты думаешь, что я позволю тебе служить здесь каким-нибудь помощником телеграфиста или домашним учителем? Тебе, который станет священником! М о и м священником!

Мать опять смеется и поднимается, исполнившись внезапной энергией. Она подходит к огромному буфету, завладевшему всем пространством между окнами, достает бутылку портвейна и два бокала и подает на стол.

Хенрик тоже разражается смехом — как хорошо ему это знакомо, какой удивительной надежностью дышит: оба в отчаянии, вдруг смех, неудержимый, мама смеется — значит, все не так страшно. Они чокаются и пьют. Она наклоняется вперед и вздыхает.

Альма. Я слыхала, что по-настоящему талантливые мошенники никогда не разменяваются на мелочи. Они сразу играют по-крупному. Это вызывает больше доверия, и им потом удается прибрать к рукам еще больше.
Хенрик. Я что-то не понимаю.
Альма. Не понимаешь? Мы были чересчур скромны! Теперь тетушкам придется выложить сумму покрупнее. Мы нанесем им визит, Хенрик. Теперь же. Завтра.

Загадочные Тетки живут в деревянном особняке у Юснан, в двадцати километрах южнее Больнеса. Они сестры Хенрикова деда, дамы почтенного возраста, дед — их младший братишка, последыш вроде. Зовут их в порядке старшинства Эбба, Бе́да и Бленда.

С ними в нескольких словах дело обстоит следующим образом: прадед владел лесом и землей и был человек с деловой хваткой. Когда всерьез началось освоение Норрланда, предприимчивый Леонхард позаботился о том, чтобы сколотить состояние. После себя он оставил приличное наследство. Дед Бергман считал, что не надо трогать ни эре, все должно пойти на увеличение капитала и содержание родового поместья. Никто не осмелился возразить, кроме Бленды, потребовавшей раздела наследства для себя и сестер. Брат воспротивился, но Бленда вынесла спор на рассмотрение губернского суда в Евле. Прежде чем скандал стал свершившимся фактом, Фредрик Бергман уступил и, дрожа от ненависти, был вынужден выплатить своим незамужним сестрам причитающиеся им доли наследства. После чего раз и навсегда отказался с ними разговаривать, и взаимная ненависть расцвела пышным цветом. Ни дни рождения, ни помолвки, ни смерти не могли преодолеть взаимного ожесточения.

Бленда, младшая из сестер, проявившая такую решительность, взяла на себя распоряжаться состоянием. Благодаря ее уму и деловой хватке оно выросло еще больше. Она построила роскошную деревянную виллу с видом на красивейшие окрестности Юснан. Дом обставили наиудобнейшей современной мебелью и украсили безвкуснейшими обоями, гобеленами и картинами столетья.

К вилле примыкает сад, почти парк, ступенями спускающийся к реке. Там сестры работают весной, летом и осенью, одетые в льняные платья, накидки, шляпы с широкими полями, перчатки и сабо. Всю свою любовь, нежность, изобретательность, не растрачиваемые ими впустую друг на друга, они отдают саду. Он отвечает на их чувства пышной зеленью, сгибающимися под тяжестью плодов фруктовыми деревьями и роскошными цветниками.

Эбба — старшая из сестер и немного придурковатая, каковой была всегда. Кроме того, она глухая и говорит мало, ее самый верный друг — страдающий подагрой лабрадор почтенного возраста. Лицо Эббы похоже на увядший лепесток розы, в юности она, наверное, была красивой девушкой.

У Беды, несмотря на возраст, все еще черные волосы, черные глаза и трагический вид. Она читает романы и играет Шопена скорее страстно, чем с пониманием, часто ругается и громко жалуется на что ни попадя. Время от времени она удаляется, но всегда возвращается. Уходы ее рассчитаны на сенсацию, а возвращения обыденны. В отличие от сестер она — как это утверждается — пережила страсть.

И наконец, Бленда — низенькая, быстрая, с большой выдержкой. Она обладает, как уже известно, способностью добиваться своего. Стального цвета волосы, низкий, широкий лоб, крупный, слегка красноватого оттенка нос, губы с саркастическим изгибом, вполне соответствующим молниеносным выпадам и ироническим замечаниям.

Раз в году они отправляются в столицу, выходят в свет, посещают концерты и театры и делают дорогие и современные заказы в домах моды.

Изредка они позволяют себе поездку на курорты на юг Германии или в Австрию.

Так обстоит дело с сестрами из Эльфвика.

Спальни сестер обставлены в соответствии со вкусом каждой, но чудовищно загромождены. Комната Эббы оклеена светлыми обоями в цветочек, Беды — сиреневыми с узором в стиле модерн, а Бленда обитает в покоях синих, голубых, темно-синих и пастельно-синих тонов. В данную минуту в доме царит возбуждение. Сестры переодеваются к обеду, советуются, помогают друг другу, переругиваются. Комнаты соединены между собой дверями, как правило запертыми, но сейчас распахнутыми настежь.

Бленда. Ты их видишь?
Беда. Что они делают?
Эбба. Господи помилуй! Они возле купальни.
Бленда. Что? Они собираются купаться в холодной воде?
Эбба. Господи помилуй! Они и впрямь собираются купаться!
Бленда. Это же смешно. Альма, эта жирная корова. Просто смешно.
Беда. Подвинься, я тоже хочу посмотреть.
Бленда. Входят в купальню.
Эбба. Точно намерены купаться.
Беда. В это время года! Вода-то наверняка не больше десяти градусов.
Бленда. Надеть голубое?
Беда. Не слишком ли элегантно? Альма будет чувствовать себя бедной родственницей. У нее-то определенно есть только черное.
Бленда. Тогда я надену светло-серое.
Беда. Господи, да оно еще элегантнее.
Эбба (*возбужденно*). Господи помилуй! Вода в Юснан поднимается.
Бленда. Что это ты такое мелешь?
Эбба. Альма, эта гора мяса, вошла в воду.
Беда. Хватит глазеть, надевай корсет, я помогу тебе со шнуровкой.
Эбба. Что ты сказала? Малыш Хенрик разделся догола!
Беда. Ой, я должна посмотреть!
Бленда. Не толкайся. Господи, до чего же он мил!
Эбба. Боже, какой худой.
Беда. Зато плечи хороши. И сложен отлично.
Бленда. Интересно, зачем они приехали, а?
Беда. Не так уж трудно догадаться.
Эбба. Как размашисто плывет.
Беда. Неужели и впрямь наденешь светло-серое?
Бленда. Представь себе, есть у меня такая мысль.
Беда. По крайней мере, вполне подходит к твоему красному носу.
Эбба. Возвращаются в купальню. Господи Иисусе, что бы мы делали, если бы они утонули?
Бленда. Оплатили бы похороны, я думаю.
Беда. Эбба, иди сюда, я помогу тебе одеться.
Эбба. Нет, нет, я должна посмотреть, как они будут вылезать.
Беда. Уже вылезают?
Эбба. Поглядите-ка! Идут к берегу, держась за руки!
Бленда. Я, пожалуй, догадываюсь, зачем они приехали.
Беда. Ну и что из того, скупердяйка ты эдакая.
Бленда. Ни эре они от нас не получат, вот что я вам скажу. Ни эре. Мы им уже и так дали взаймы и процентов не берем, пока Хенрик не станет пастором.
Эбба. Какой же он миленький, малыш Хенрик. Странно только, что они осмеливаются показываться голышом.
Беда (*Эббе*). Я вынула розовое. (*Передергивается.*) Розовое!
Эбба. Нет, не хочу. Хочу цветастое. Которое с розами и кружевами.
Беда. Да ну! В нем ты еще страшнее.
Эбба. Ты сейчас явно сказала какую-то гадость, я видела.

Бленда. А сама-то вырядилась так, словно собралась выступать в Королевском театре.
Беда. А чем тебе это платье не угодило, позволь спросить?
Бленда. Да тут дело не в платье.
Беда. Я хочу быть красивой ради мальчика. Ему, пожалуй, не помешает полюбоваться красотой и элегантностью.
Бленда (*смеется*). Ха-ха-ха!
Эбба. Кто взял мои духи! (*Трубит.*) Мои духи!
Беда. Такой старой карге духи ни к чему. Это непристойно!
Эбба. Опять ты сказала какую-то гадость. Где моя слуховая труба?
Беда. Если речь и вправду пойдет о деньгах? Неужели нам обязательно быть такими твердокаменными?
Бленда. Непременно, дорогая Беда! Сейчас тяжелые времена, и надо учиться жить по средствам.
Беда. По ним видно, что им несладко приходится.
Бленда. Альма никогда не умела распоряжаться деньгами. Помнишь, мы ей послали 50 крон, когда отец Хенрика умер? И знаешь, на что Альма их истратила! Купила элегантные туфли к траурному платью. Она сама сказала! Разве так можно вести хозяйство? Я просто спрашиваю.
Эбба. Они уже направляются к дому. Господи помилуй, как ласково он смотрит на мать. Очень милый мальчик.

Гостиная под углом соединена со столовой, большое окно смотрит на закат. Здесь все в светлых тонах: легкие летние шторы, белая мебель ручной работы в духе Карла Ларссона, желтые обои, большие плетеные кресла, пианино, зеленый, цвета цветущей липы, буфет, яркие лоскутные коврики на широких, тщательно выскобленных досках пола. На стенах — что-то вроде современного искусства: женщины, как цветы, и цветы, как женщины, деревеньки и девушки в белом, неопределенно глядящие в прекрасное будущее.

Сестры вплывают гуськом: Эбба, Беда и Бленда. Альма с Хенриком уже на месте, мать в чересчур тесном фиолетовом шелковом платье, измученная туго затянутым корсетом, Хенрик в опрятной, но залоснившейся пиджачной паре, при крахмальном воротничке и при галстуке. Бленда сразу же приглашает к столу, и, после того как все рассаживаются, нажимает скрытую от глаз кнопку электрического звонка. Тут же появляются два юных ангела с дымящейся супницей и подогретыми тарелками: суп из крапивы с половинками яйца.

После обеда общество пьет кофе на веранде. Альму и Хенрика усаживают на плетеный диван, Бленда расположилась в качалке, стратегически стоящей вне горизонтально падающих солнечных лучей. Беда устроилась на лестнице террасы. Она курит сигарету в элегантном мундштуке. Эбба сидит спиной к саду со слуховой трубой наготове.

Итак, момент настал. Альма дышит с присвистом — от напряжения или от вкусной еды и превосходного вина, сказать трудно. Хенрик бледен, пальцы плотно сцеплены.

Бленда. Мы предполагаем, что Альма с Хенриком проделали весь этот длинный путь не только из родственной любви. Насколько я помню, последний раз вы были здесь три года назад. Причиной тогдашнего визита был денежный заем для покрытия расходов на учебу Хенрика.

Бленда, осторожно раскачиваясь в качалке, смотрит на Альму с холодной любезностью. Беда, закрыв глаза, подставила лицо последним лучам заходящего солнца. Эбба, посасывая вставную челюсть, держит наготове слуховую трубу.

Альма. Деньги кончились. Все очень просто.
Бленда. Вот как, деньги кончились. Их должно было хватить на четыре года, а не прошло еще и трех.

Альма. Все подорожало.
Бленда. Вы сами назначили сумму. Не помню, чтобы я торговалась.
Альма. Нет, что вы, вы были очень щедры.
Бленда. А теперь деньги кончились?
Альма. Я рассчитывала, что дед Хенрика нам поможет, поскольку Хенрик все же продолжит семейную традицию и станет священником.
Бленда. А дед Хенрика не помог?
Альма. Нет. Мы канючили целый день. И получили только 12 крон на железнодорожные билеты. Чтобы вернуться в Сёдерхамн.
Бленда. Какая щедрость.
Альма. Трудные времена настали, Бленда. Я даю уроки музыки, но это крохи, и кое-кто из учеников отказался от занятий.
Бленда. И теперь вы хотите получить новый заем?
Альма. Мы с Хенриком подробнейшим образом обсуждали, не бросить ли ему учебу и не поступить ли работать на новый телеграф в Сёдерхамне. Это был единственный выход. Но тут кое-что произошло.
Эбба. Что-что?
Альма. Кое-что произошло.
Эбба. Что она сказала?
Бленда. Случилось что-то приятное.
Альма. Пусть лучше Хенрик сам расскажет.
Хенрик. Я, значит, сдавал экзамен по церковной истории наводящему на всех ужас профессору Сюнделиусу. Нас было трое, и только я один справился. После экзамена профессор попросил меня остаться. Угостил сигарой и был чрезвычайно любезен. Совершенно не похож на того саркастического человека, каким он обычно бывает.
Альма (*потрясенно*). Он угостил Хенрика сигарой.
Хенрик. Я уже это сказал, мамочка.
Альма. Прости, прости.
Хенрик. Ну вот, мы поговорили немного о том о сем. Между прочим, он сказал, что хорошее знание церковной истории свидетельствует о прилежании, отличной памяти и самодисциплине. По его мнению, я показал блестящие способности, разобравшись в апостольской символике. Это довольно сложный вопрос, требующий определенной научной систематизации.
Эбба. Бленда, что он говорит?
Бленда. Не сейчас, Эбба, (*трубит*), потом, позже.
Хенрик. Он предложил мне научную карьеру. Мне следовало бы написать докторскую диссертацию. Профессор сказал, что с удовольствием будет моим научным руководителем. Потом я наверняка смогу стать доцентом. Он сказал, что большинство богословов были идиотами, и надо беречь редкие таланты.
Альма. Вы понимаете, Бленда, как это лестно для Хенрика. Профессор Сюнделиус не сегодня-завтра станет архиепископом или министром.
Хенрик. И тогда я ответил, как обстоят дела,— у меня нет средств. У меня даже не хватит денег, чтобы получить сан священника. На это профессор сказал, что мне надо продержаться самостоятельно только первые годы, поскольку потом я смогу получить так называемую аспирантскую стипендию. Это весьма приличные деньги, тетя Бленда. Почти все аспиранты женаты, имеют детей и прислугу.
Бленда. Черт возьми!
Альма (*вклинивается*). И теперь мы приехали к вам, чтобы попросить еще об одном беспроцентном займе в шесть тысяч крон. Профессор Сюнделиус подсчитал, что потребуется приблизительно столько.
Бленда. Черт возьми.
Альма. Мы хотели сперва поговорить с вами. Я имею в виду — прежде, чем обратиться в Уппландсбанк. Профессор обещал написать рекомендательное письмо. Возможно, он даже подпишет поручительство, сказал он.
Бленда. Что скажешь, Беда?
Беда (*смеясь*). У меня нет слов.
Эбба. О чем вы говорите? О деньгах?

Бленда. Хенрик будет профессором! И ему нужно еще шесть тысяч, кроме тех двух, которые мы ему уже одолжили. Понимаешь?
Эбба. А у нас есть столько денег?
Бленда. В э т о м - т о и вопрос.

Бленда хрипло хохочет. Беда из-под приспущенных длинных черных ресниц с улыбкой смотрит на Хенрика. Хенрик из бледного сделался пунцовым. Альма тяжело дышит. Внезапно Бленда встает и хлопает в ладоши.

Бленда. Если делать что-то, так лучше сразу. Альма и Хенрик, пожалуйста, пройдите со мной в кабинет.

В довольно тесный кабинет Бленды ведет дверь из прихожей. Полки завалены конторскими книгами. Посередине стоит конторка, у окна письменный стол и несколько стульев из мореного дерева. В углу — кожаный диван и кресло, круглый стол с латунной столешницей и курительными принадлежностями. Бленда зажигает электричество, снимает с золотой цепочки на шее маленький ключик, открывает средний ящик стола, берет блестящие ключи и отпирает сейф, притаившийся за ширмой у двери.

Ни Альма, ни Хенрик не видят, чем она занимается за ширмой. Она появляется оттуда с пачкой купюр в правой руке. Кладет деньги на стол, запирает в ящик ключи от сейфа и вновь надевает ключик на тонкую цепочку. После чего принимается считать: шесть тысяч риксдалеров в банкнотах. Пересчитав, она протягивает деньги Альме, которая застыла, точно пораженная молнией.

Альма. Наверное, надо написать расписку?
Бленда. Хенрик, будь добр, вернись на минутку к тетушкам. Мне нужно поговорить с твоей матерью наедине.

Хенрик, поклонившись, направляется к двери с противным чувством, что, кажется, что-то не так. Когда он выходит из комнаты, Альму просят присесть. Бленда начинает листать телефонный каталог.

Бленда. Как ни странно, но здесь у нас в конторе имеется каталог Уппсалы. Я собираюсь позвонить профессору Сюнделиусу и от имени семьи поблагодарить его за сердечное участие в судьбе нашего многообещающего отпрыска. Ага, вот и номер: 15 43.

Она поднимает трубку и с улыбкой смотрит на посеревшую Альму. Ее широко раскрытые голубые глаза заволокло слезами. Бленда медленно кладет трубку на рычаг.

Бленда. Позвоню в другой день. Невежливо беспокоить такого выдающегося человека после восьми вечера.

Сев напротив Альмы, Бленда глядит на нее взглядом, в котором сквозит нечто, что можно было бы назвать нежной иронией.

Бленда. Вы, конечно, понимаете, что мы с сестрами горды помочь Хенрику добиться столь блестящего будущего?

Она легонько похлопывает Альму по ее круглому колену и круглой щеке, по которой как раз сползает слеза. Альма бормочет что-то о благодарности.

Бленда. Не благодарите. Я делаю это только потому, что ваш мальчик такой замечательно одаренный. Или, может быть, просто так? Из-за вашей любви к сыну? Не знаю. Пойдемте присоединимся к остальным? По-моему, этот

вечер надо отпраздновать шампанским! Идемте, Альма! Н е п л а ч ь т е. Мне не было так весело с тех самых пор, как наш брат проиграл дело о наследстве.

Начальник транспортных перевозок построил в дни своего могущества Дачу вблизи реки, озер и низких голубых гор. Ежегодно в середине июня семейство перебирается туда — грандиозное мероприятие, руководимое опытными стратегами. Снимают шторы, ковры пересыпают средством от моли и, переложив газетами, сворачивают в рулоны, мебель покрывают пожелтевшими, как привидения, простынями, хрустальные люстры укутывают в тарлатан, загружают товарный вагон необходимыми вещами — от личной кровати и личных подушек Юхана Окерблюма до кукольных шкафчиков младших девочек и несравненных форм для выпечки фрёкен Сири, кистей фру Марты и романов Анны.

Начало июля, на людей и на зеркала вод опустились тихая сонливость и марево жары. Лениво катится крокетный шар. Кто-то играет на рояле — сентиментальный романс Гаде. Фрёкен Лисен дремлет на скамейке, не заботясь о том, что клубок упал на траву. Фру Карин, владычица дома, сидит на верхней веранде, размякшая, в белом платье и широкополой шляпе, затеняющей глаза. Она пишет письмо, которое так и остается неоконченным. Ее серо-голубой взгляд теряется в светлой дали над горными грядами. Начальник транспортных перевозок забылся сном в гамаке, очки сдвинуты на лоб, на животе — книга. На кухне же все-таки идет определенная, хоть и ограниченная деятельность.

Фрёкен Сири и Анна чистят клубнику. Работа, безусловно, нелегкая, и скорость приличная. Настроение — доверительно-разговорчивое: реплики перемежаются паузами. На желтых лентах липучек жужжат мухи, на подоконнике полусонно мурлычет жирный кот.

Фрёкен Сири. ...да, я пришла сюда, когда вы родились. Меня взяли помогать Ставе, но она уже совсем была без сил, так что мне пришлось с самого начала брать все на себя. Она по большей части лежала в кровати и командовала. Никто не знал, насколько она больна, и должна вам сказать, все жутко злились. И вдруг однажды утром ее нашли мертвой. Я уже тогда много чего умела, хотя мне было всего двадцать. Но, ясное дело, работы хоть отбавляй. Да и фру Окерблюм ненамного старше была. А пасынки не приведи Господи до чего горячие. И начальник транспортных перевозок не слишком-то помогал их воспитывать. Больно был занят своими железнодорожными мостами. А Рикен и Руна — добрые девушки, но глупые, как курицы. Да, пришлось фру Окерблюм да мне отвечать за все да расхлебывать кашу. И нам это удалось, хотя фру опять забеременела — и должна сказать, болела тогда сильно,— вот я ей и говорю: не надрывайтесь так, фру Окерблюм, отдыхайте побольше, а я буду везти воз, только скажите, чего и как. Так я и сделала. А потом фру поправилась, снова повеселела, но все так и осталось, прежний порядок. У нас с фру бывают разные мнения, но мы обе воюем против разгильдяйства, грязи и беспорядка. Мы не терпим беспорядка ни в чем, если вы понимаете, о чем я. (*Пауза.*) Да, вот как, значит, было дело, вот как оно есть.

Анна. А вы, фрёкен Сири, были когда-нибудь влюблены?

Фрёкен Сири. Еще бы, был тут попервоначалу один, пытался задрать мне юбки. Но все как-то уж больно быстро произошло, я и узнать не успела, какие у него были намерения.

В кухне появляется Эрнст, он дергает сестру за косу, целует фрёкен Сири в затылок и спрашивает, есть ли апельсиновый сок, после чего садится за стол и с жадностью начинает пожирать очищенные ягоды. Фрёкен Сири обслуживает молодого человека. Она даже отламывает кусочек льда от постоянно капающей глыбы в леднике, ставит на стол стакан с соком и тарелку с изюмным печеньем. Эрнст, зевая, говорит, что поедет на велосипеде к Йиммену. А Анна не хочет присоединиться? «В такую-то жару!» — вскрикивает Анна, потому что Эрнст, улучив момент, щекочет ее. «Пошли, лентяйка, искупаемся! Только надо сказать маме, что мы уходим».

Они подходят к лестнице, ведущей на второй этаж. Эрнст кричит: «Мама!» Карин Окерблюм, пробудившись от своих грез над недописанным письмом, выходит на лестницу и строго спрашивает, почему Эрнст поднимает такой шум,— «папу разбудишь».— «Мы едем на Йиммен купаться, поедешь с нами?» — «А Анна? — спросила фрёкен Сири.— Не надо ли что-нибудь сделать на кухне?» — «Сейчас ничего,— отвечает Анна.— Кстати, девчонки могли бы помогать побольше. А они спрятались в домике для игр и читают «Тайных любовников графини Полетт». Любовников во множественном числе, заметьте».— «Вот как,— смиренно отзывается фру Карин,— ну, это не моя забота, пусть этим Марта занимается».— «Так мы пойдем»,— говорит Эрнст и, взлетев по ступенькам, обнимает мать. «Спасибо, очень мило,— говорит Карин Окерблюм, дергая сына за волосы.— Тебе надо постричься, ты неприлично оброс».

И вот они катят на своих блестящих велосипедах. Сперва несколько километров по большаку, а потом перпендикулярно через лес. Извилистая песчаная лесная тропа вьется вдоль речки Йимон, мелкой, каменистой, но бурной даже в самые жаркие летние месяцы.

Йиммен — вытянутое в длину родниковое озеро, окруженное со всех сторон лесом. Вода ледяная и прозрачная, берега каменистые, отлого обрывающиеся во внезапную бездну.

Оставив велосипеды у мельницы с переломанным хребтом, брат с сестрой двинулись по протоптанной коровами среди прибрежной ольхи и берез с потемневшими стволами тропинке к месту, где они обычно купаются,— узкой песчаной полоске берега, затененной пышной листвой.

Искупавшись, они лакомятся разломанной пополам подтаявшей плиткой шоколада. Несколько полусонных мух составляют им компанию, а так вокруг стоит тишина, небо безоблачно, но душно, как будто на горизонте собирается гроза, желанная, но пугающая. Эрнст делает стойку на руках, он неплохой гимнаст. Анна в рубашке и нижней юбке лежит на спине. Щурясь на листву, она вытягивает руку и указательным пальцем рисует на белом небесном своде контуры ветвей.

Анна. У т е б я есть идеалы?
Эрнст. Что-что?
Анна. Идеалы!
Эрнст. Ну и вопрос.
Анна. Возможно. И все-таки я его задаю и хочу услышать ответ.
Эрнст. Идеалы. Разумеется: иметь деньги. Не работать. Страстные любовницы. Хорошая погода. Крепкое здоровье. Бессмертие — я хочу быть бессмертным, не желаю умирать. Если я обрету бессмертие в значении известности, я не против. Хочу, чтобы тем, кого я люблю, было так же хорошо, как мне. Не хочу никого ненавидеть. Не хочу жениться, никогда. Но хочу иметь много детей. Так что у м е н я идеалы, пожалуй, есть.
Анна. Ты ничего не воспринимаешь всерьез?
Эрнст. Да, малышка Анна, я ничего не воспринимаю всерьез. А разве я могу иначе, видя, как ведет себя мир. У меня сильная потребность сохранить ясность ума. Посему я не утруждаю себя размышлениями. Начни я размышлять, «чокнусь», как выражается Люсидор.
Анна. У нас в медицинском училище преподают довольно много теоретических предметов. В основном, скучища, но иногда бывает настолько увлекательно и захватывающе, что...
Эрнст. ...ты обладаешь способностью к состраданию, а я нет. В этом отношении я похож на мать.
Анна. Так вот, однажды у нас вела занятие женщина-врач, профессор-педиатр. Она просто начала рассказывать, приводя примеры из своей практики. Главным образом, о детях, больных раком. Она описывала такие страшные страдания, что мы едва сдерживались, чтобы не разреветься, слушая все эти ужасы. Дети, испытывающие невероятные муки. Маленькие дети, понимаешь, Эрнст, которые ничего не сознают и видят лишь рядом беспомощных взрослых. Измученные, плачущие, мужественные, молчали-

вые стоические дети. А потом они умирают, спасения нет. Порой резаные-перерезаные до неузнаваемости. Профессорша рассказывала совершенно спокойно. Но в каждом слове звучало сострадание. Понимаешь, Эрнст?
Эрнст (*с легким сарказмом*). Нет, ягодка моя. Что я должен понимать?
Анна. Я хочу быть похожей на эту профессоршу. Хочу противостоять непостижимой жестокости, Эрнст. Хочу помогать, облегчать, утешать. Хочу обладать всевозможными знаниями.
Эрнст. В таком случае медицинское училище — то, что нужно?
Анна. Да, конечно. Половина нашего курса по окончании выйдет замуж. Мне же надо что-то большее, более трудное. Знаешь, иногда мне кажется, что я невероятно сильная. Мне кажется, что Бог создал меня для чего-то важного — важного для других людей.
Эрнст. Так ты веришь в Бога?
Анна. Нет, к сожалению, я не верю ни в какого Бога.
Эрнст. Ты слишком много думаешь. Поэтому-то у тебя и живот болит.
Анна. Я поговорю с папой и мамой насчет высшего медицинского образования.
Эрнст. Тебе придется нелегко, малышка. Представь только — Уппсала! Подумай обо всех врачах, которых ты знаешь. Подумай о профессорах!
Анна. Если о н а справилась, справлюсь и я.
Эрнст. А что же будет с нами, если ты станешь профессором?
Анна. Мы поженимся, и ты будешь вести хозяйство.
Эрнст. Но я хочу иметь детей.
Анна. У тебя, черт побери, есть твои любовницы.
Эрнст. Ты только будешь ревновать и браниться.
Анна. Верно. Никому не позволено лапать моих любимых.
Эрнст. Кто же твои любимые?
Анна. Хочешь узнать, а? Папа, конечно. И ты, разумеется. (*Замолкает.*)
Эрнст. И Торстен Булин?
Анна. Нет, нет, о Господи, какой ты глупый. Торстен вовсе никакой не любимый.
Эрнст. Но к т о - т о ведь есть?
Анна. Может быть. Впрочем, не знаю.
Эрнст (*внезапно*). Не хочешь съездить со мной в Уппсалу на пару дней?
Анна. Не знаю, разрешит ли мама.
Эрнст. Спокойно, это я устрою.
Анна. А что ты собираешься делать в Уппсале в середине июля?
Эрнст. В университете недавно открыли отделение метеорологии. Профессор Бекк посоветовал мне подать заявление.
Анна. И тебе это по душе?
Эрнст. Наблюдать небо, облака, горизонты и, может, летать на воздушном шаре! А?
Анна. Поговори с мамой. Думаю, она не разрешит мне поехать с тобой.
Эрнст. А кто будет готовить мне еду? Кто будет штопать мне носки? Кто будет следить, чтобы мамочкин любимый сынок вовремя ложился спать? Знаешь, будет здорово.
Анна. Соблазнительно, конечно.
Эрнст. Я поеду на велосипеде, а ты — на поезде. И мы встретимся на Трэдгордсгатан. Эта летняя идиллия начинает действовать мне на нервы.
Анна (*целует его*). Ну и плутишка ты, Эрнст.
Эрнст. Ты тоже плутишка, Анна-Ванна Ягодка. Правда, другого сорта.

Летние занятия. Неприязненно настроенный, удрученный ученик с болячками на коленках клюет носом. Неприязненно настроенный, удрученный репетитор едва сдерживает гнев и похотливые мысли. Окно распахнуто в июльскую жару. Вдали, но вполне видимые купаются с криками и смехом четыре девушки. Бальзамические запахи сада. Поместье Окерлюнда, завод Окерлюнда в нескольких десятках километров на северо-западе от Уппсалы. Речка Люнда, поселковая улица, водопад, пчелы, медлительные коровы, забредшие в ржаное поле. Летние занятия.

Молодой граф по имени Роберт кисло смотрит в раскрытый учебник немецкой грамматики. Ему сейчас предстоит проспрягать вспомогательный глагол sein [1] — в настоящем времени, в имперфекте, плюсквамперфекте и, по возможности, в футуруме. Хенрик, при галстуке и без пиджака, сидит по другую сторону стола и читает церковную историю. Время от времени он что-то подчеркивает огрызком карандаша. Вскрикивают купальщицы. Роберт поднимает глаза и смотрит в окно, лениво вздуваются шторы. Хенрик снимает ноги со стола и захлопывает книгу.

Хенрик. Ну?
Роберт. Что?
Хенрик. Выучил?
Роберт. А давайте пойдем купаться, а?
Хенрик. И что твой отец на это скажет, как полагаешь?

Молодой граф, приподняв задницу, пукает, бросая при этом исполненный ненависти взгляд на своего мучителя. Вообще-то Роберт пригожий мальчик, маменькин любимчик, но сейчас он попал между молотом и наковальней — высокомерием и тщеславием графа.

Роберт. Дьявол, чертово дерьмо.
Хенрик. Ты думаешь, мне это приятно? Давай постараемся не усугублять ситуацию.
Роберт. Вам же, черт подери, за это платят. (*Чешет в паху.*)
Хенрик. Застегни брюки и давай сюда учебник.

Роберт бросает книгу Хенрику и неохотно засовывает в штаны свой посиневший, чуть подрагивающий стручок. Потом кладет руки на стол, голову на руки, как будто собираясь спать.

Хенрик. Ну, пожалуйста, настоящее время.
Роберт (*быстро*). Ich bin, du bist, er ist, wir sind, Ihr seid, Sie, sie sind.
Хенрик. Браво. Осмелюсь ли я теперь попросить в имперфекте.
Роберт (*так же быстро*). Ich war, du warst, er war, wir waren, Ihr wart, Sie, sie waren.
Хенрик (*удивленно*). Смотри-ка ты. А теперь — да, так что?
Роберт. Перфект, черт возьми.
Хенрик. Перфект?
Роберт. Ich habe gewesen. (*Умолкает.*)
Хенрик молча смотрит.
Роберт. Du hast gewesen, er hat gewesen. (*Умолкает.*)

Жертва и мучитель взирают друг на друга с непримиримым отвращением. Сейчас, пожалуй, не скажешь, какую роль кто играет.

Хенрик. Да ну!
Роберт. Wir haben gewesen.

В этот напряженный момент в комнату без стука входит старый граф. Возможно, он подслушивал за дверью. Сванте Свантессон де Фёсте заполняет помещение своим массивным телом, своим голосом, своими бакенбардами и своим носом. Глаза светятся детской голубизной, лицо красное с фиолетовым отливом. Хенрик, встав, одергивает костюм. Роберт сник. Он понимает, что предстоит.

Граф Сванте. Так. Немецкая грамматика. Ну да что я хотел сказать. Сюда приехал на велосипеде молодой человек по имени Эрнст Окерблюм, выразивший желание поговорить с кандидатом. Я сообщил ему, что кандидат

[1] Быть (*нем.*).

занимается с моим сыном до чая в 13.00, и посоветовал навестить наших купающихся девушек, совет, которому он с очевидным удовольствием последовал. Так, ну с этим все. Как дела у Роберта? Не поддается воспитанию или же вам, кандидат, удалось привить ему какие-то крохи того образования, коего ждут от дворянина с тех пор, как отменили сословный риксдаг? Как идут дела?
Хенрик. Мне кажется, Роберт молодец, он делает большие успехи. Безусловно, кое-какие пробелы остались...
Граф Сванте. Вы действительно имеете в виду пробелы, а не бездны?
Хенрик. ...пробелы, как я сказал, остались, но общими усилиями нам, думаю, удастся к началу осеннего семестра кое-чего добиться.
Граф Сванте. Вы серьезно? Ну что ж, звучит оптимистически. Как по-твоему, Роберт?

Граф отпускает сыну подзатыльник с такой силой, что у того лязгают зубы. Жест, по мнению отца, поощрительный, но Роберт, опустив голову, сопит, и по его грязной щеке скатывается слеза.

Роберт. Да.
Граф Сванте. Ты что, ревешь?
Роберт. Нет.
Граф Сванте. Я ошибся, так и знал. Высморкайся. У тебя что, нет платка? Неряха. На. Возьми мой. Не хлюпай носом. Я хочу поговорить с кандидатом наедине. Возьми учебник и иди в беседку.

Роберт, ходячее несчастье, плетется прочь. Когда за ним закрывается дверь, массивная фигура графа опускается на шаткий стул со сломанной спинкой. Повесив голову, граф что-то рычит про себя.

Хенрик. Господин граф желали поговорить со мной?
Граф Сванте. Его мать утверждает, что я несправедлив. Что я его заездил. Не знаю. Она говорит, что я его не люблю. Не знаю. Может, лучше бросить это истязание? Как вы считаете, кандидат?
Хенрик. Не следует терять надежду.
Граф Сванте. Чепуха, кандидат. Мой сын Роберт — бездарный лентяй, идиот. Слезливая задница. Вырастет шалопаем и бездельником. Чертовски похож на своего дядюшку, конечный результат перед глазами.
Хенрик. Жалко его.
Граф Сванте. Что? Жалко того, у кого все есть? Кому не надо прилагать ни к чему ни малейших усилий, кто избалован матерью до предела? Если его жалко, значит, стоит пожалеть весь человеческий род.
Хенрик. Людей действительно жалко.
Граф Сванте. Что это за дерьмовая болтовня, кандидат? Увольте меня от подобных болезненных фантазий. Ich habe gewesen! А! Человек — это просто навозная куча, кандидат. Грязь, пачкающая землю. Другое дело — лошади, кандидат. Если бы у меня не было моих лошадей, я пустил бы себе пулю в лоб. Лошадей действительно можно пожалеть. Они совершили великую ошибку, когда на заре времен заключили пакт с людьми. За это соглашение и расплачиваются. (*Без перехода.*) Так, значит, мы договорились — заканчиваем весь этот цирк с занятиями Роберта?
Хенрик. Вам решать, господин граф.
Граф Сванте. Вот именно, кандидат, решать мне. Отправим плаксу к бабушке в Хегерсту, там достаточно баб, с которыми он может лизаться. А осенью пойдет в тот же класс. Какое сегодня число? Суббота, 9 июля. Вы заканчиваете по собственному желанию с сегодняшнего числа и получите деньги по пятницу, 15-е, включительно. Можете оставаться или уезжать, как вам больше нравится. Годится?
Хенрик. Господин граф, возможно, соблаговолит вспомнить, что я нанят по 1 сентября. У меня нет средств к существованию, и я рассчитывал на эту работу.

Граф Сванте. Черт возьми! Вы хотите сказать, что вам должны заплатить ни за что?
Хенрик. Сейчас середина лета, место репетитора получить уже невозможно, а я должен как-то существовать.
Граф Сванте. А вы с претензиями, кандидат. И, кроме того, наглец. От студента-богослова я подобного не ожидал.
Хенрик. Сожалею, но я настаиваю на своих правах. Если вы откажетесь, я буду вынужден обратиться к графине, поскольку письменный контракт в конце концов был подписан ею и мной.
Граф Сванте. Вы не п о с м е е т е говорить с графиней!
Хенрик. Я буду вынужден.
Граф Сванте. Чертов прохвост, мало вас в детстве пороли.
Хенрик. А вы, господин граф, с вашего разрешения — говно, которое в детстве слишком много пороли.
Граф Сванте. А что, если я слегка восполню упущение вашего отца и вздую вас прямо с е й ч а с!
Хенрик. Давайте, господин граф, только не забудьте, что я дам сдачи. Прошу вас. Ваш удар первый, поскольку вы, без сомнения, старше. И благороднее.
Граф Сванте. У меня высокое давление, мне нельзя так распаляться.
Хенрик. Будем надеяться на небольшой удар. В таком случае Бог проявит свою милость, освободив мир от подобного скота.

При этих словах Сванте Свантессон де Фесте, расхохотавшись, бьет Хенрика кулаком в грудь. Хенрик растерянно улыбается.

Граф Сванте. Дьявол, а не будущий пастор. Что ж, неплохо, молодой человек. Чтобы добиться чего-то в этом прогнившем мире, надо уметь постоять за себя, да так, чтобы чертям тошно стало. Первое сентября, говорите? Значит, я вам должен за июль и август. Всего 250 риксдалеров. Улаживаем дельце не сходя с места и ни слова дамам, идет?
Хенрик. Условия контракта вообще-то предусматривают питание и проживание до 1 сентября. Но это я вам дарю.
Граф Сванте. А то оставайтесь, а? Здесь мило. И хорошенькие девушки. Прекрасная еда! Согласитесь, что у нас вкусно кормят?
Хенрик. Нет, спасибо.
Граф Сванте. Черт, ну и гонор. А вы еще и злопамятны?
Хенрик. В данном случае нет. (*Улыбается.*)
Граф Сванте. Тогда пошли пить кофе с графиней и девочками. И вашим приятелем. Как его зовут?
Хенрик. Эрнст.

Граф хлопает Хенрика по спине, он в отличном настроении.

День становится жарким, порывы горячего ветра поднимают облака пыли. Хенрик и Эрнст едут в Уппсалу, катят рядышком на велосипедах по ухабистой дороге. Сандалии, брюки с закатанными штанинами, распахнутые на груди рубашки. Рюкзаки, набитые самым необходимым. Пиджаки, белье, носки, завернутые в дождевики, на багажнике. Студенческие фуражки. Неторопливое путешествие. Выехав в пять, они со многими остановками и купаниями добрались до церкви Юмчиль.

Повсюду люди — одни стоят группками, другие идут по обочине: мужчины в выходных костюмах и круглых шляпах, пристежных воротничках и при галстуках. Вдруг Эрнсту в спину шлепается ком земли. Он останавливается и оборачивается. Хенрик притормаживает чуть дальше. Проходит группа мужчин, они разговаривают между собой, не обращая внимания на Эрнста. Внезапно к ним бросается длинный тощий человек, срывает с Хенрика студенческую фуражку, плюет на нее и, бросив на землю, начинает топтать. Хенрик беспомощно замер на месте. Эрнст, нажимая на педали, проносится мимо, делая ему знак поторапливаться.

Они проезжают станцию Бэлинге: на запасном пути стоит длинный состав — дополнительный поезд. Вокруг суета. Духовой оркестр распаковывает свои инструменты, разворачиваются знамена. На пыльной, белой от солнца станционной площади — сотни мужчин.

Эрнст. Увидим, начнется ли вообще осенний семестр.
Хенрик. А почему бы ему не начаться?
Эрнст. Ты что, газет не читаешь?
Хенрик. Откуда мне взять денег на них?
Эрнст. Говорят, будет всеобщая стачка и локаут. Не позднее августа.

Хенрик молчит. Он растерян и смущен своей всегдашней неосведомленностью в различных вопросах.

В час дня они прибывают в пустую Уппсалу. Трэдгордсгатан купается в солнце, тень уползла под каштаны. Они паркуют велосипеды на мощенном булыжником дворе и отвязывают багаж. Анна уже увидела их, она выбегает навстречу. Щеки у нее пылают, лицо загорело. Волосы заплетены в толстую косу. Поверх льняного платья надет передник с плиссированными плечиками, широкими, словно крылья ангела. Она обнимает Эрнста, целует его в губы, потом поворачивается к Хенрику и с улыбкой протягивает ему руку.

Анна. Как мило, что вы оба сумели приехать. Добрый день, Хенрик. Добро пожаловать на Трэдгордсгатан.
Хенрик. Очень приятно снова увидеть вас.

Они держатся весьма официально, оба чуточку смущены. По правде говоря, все это незаконно и происходит без ведома и разрешения родителей.

Эрнст. Холодное обтирание, холодное пиво, два часа сна и хороший ужин, а п о т о м развлечения с импровизацией. Годится?

В кухню вносят огромную жестяную бадью и наполняют ее холодной водой. Хенрик с Эрнстом трут себя и друг друга губкой и мылом. Анна вынула из ледника бутылки пива. Вытершись махровыми полотенцами — Анна сидит на дровяном ларе в прихожей — и вылив грязную воду в слив у дворовой водокачки, молодые люди удаляются в отведенные им покои: Эрнст — в свою комнату, Хенрик — в комнату для прислуги позади кухни. Она выходит на север, там прохладно и немного темновато. Зеленые, цвета яри-медянки обои пахнут мышьяком, высокий потолок разукрашен пятнами сырости. Хенрик вытягивается на узкой скрипучей кровати. На стене картина, изображающая дилижанс на постоялом дворе, вокруг суетятся люди, лают собаки, одна лошадь встала на дыбы. На высоком коричневом комоде с латунной окантовкой неутомимо и приветливо тикают позолоченные часы на ножках. Простыни и подушка благоухают лавандой. За окном неподвижно застыла густая листва. Вот подул легкий ветерок, листья степенно шевельнулись, зашумели. Через минуту вновь воцаряется тишина.

Откуда-то из глубины квартиры до Хенрика долетают смех и разговор. Внезапно на него снисходит глубокий покой, глаза увлажняются, почему, он и сам не знает. Что это со мной, мысленно удивляется он. И засыпает.

Эрнст безжалостно будит его. «Ну и соня, три часа продрых, хватит, идем, сейчас кое-что интересное услышишь. Только тихо, чтобы она ничего не заметила». Эрнст, взяв Хенрика за руку, ведет его на кухню, где идут кое-какие приготовления к ужину. Дверь в прихожую приоткрыта. Оттуда доносится голос Анны. Она говорит по телефону.

Анна. Как хорошо, что вы позвонили, мама! Да, конечно, Эрнст добрался в целости и сохранности. Что? Он здоров, я же сказала. В эту минуту храпит на своем розовом ушке. Плохо слышно. Да, я говорю, что плохо с л ы ш н о.

У папы болит живот? У бедного папочки всегда болит живот. Что будем делать сегодня вечером? Наверное, пойдем в Удинслюнд, на концерт. Одни ли мы? Что вы имеете в виду? Здесь только я и Эрнст. Ой, дорогой же разговор получится, мамхен. Всем большой привет! Наверняка гроза будет, в трубке ужасно трещит. Целую крепко, мамхен, и не забудь обнять от меня папу. Что, голос у меня странный? Это только кажется, очень плохо слышно. До свидания, мама, повесим трубки одновременно.

Анна кладет трубку на рычаг, крутит ручку отбоя, бросается на кухню и, дернув брата за волосы, обнимает его за талию. «Берегись моей сестры,— говорит Эрнст с нежностью.— Хорошенько берегись. Она самая искренняя притворщица и самая ловкая лгунья в христианском мире».

Ужин, возможно, приготовлен не слишком удачно, но настроение праздничное. Эрнст сумел вскрыть замок отцовского винного погреба и охладил несколько бутылок белого бургундского, портвейн стоит в аптечке. Окна распахнуты в сумрак, на замершую улицу, откуда-то приближается гроза, и солнце погасло, утонув в черно-синей туче, повисшей над медной крышей Каролины Редививы. Анна принарядилась: на ней тонкая шелковая блузка цвета сепии с вырезом в виде каре, длинными рукавами и кружевными манжетами, элегантного покроя юбка и широкий пояс с серебряной пряжкой. Волосы низко на затылке собраны в узел. Маленькие сережки поблескивают скромно, но дорого.

О чем они говорят? Ну, конечно, об удивительном зрелище на станции Бэлинге, потом о Торстене Булине, который уехал в Веймар, чтобы оттуда проследовать в Хайдельберг. Он написал Анне уже не одно письмо, она их обнаружила здесь на Трэдгордсгатан, она забыла оставить на почте заявление о переадресовке корреспонденции. «Сама виновата,— говорит Анна.— Папа не жалует никого из моих кавалеров».— «Только Эрнста»,— возражает Эрнст, и все трое весело смеются. Анна берет брата за руку: «Посмотри, нет ли в папином ящичке сигар».

Сигары есть, суховатые, разумеется, но вполне пригодные. Эрнст заставляет Хенрика рассказать о ссоре в поместье Окерлюнда. И тут Хенрик, внезапно повернувшись к Анне, спрашивает, пристально глядя на нее: «Ты будешь сестрой милосердия?» Вопрос дает Анне повод принести небольшой альбом — «вот это Софияхеммет, видишь, а там, сзади, где окна выходят в парк и лес Лилль-Янс, наши классные комнаты. А вот здесь наши спальни, довольно уютно, мы живем по двое в комнате. И кормят хорошо, а преподаватели просто замечательные. Хотя и строгие. И дни такие длинные, не меньше двенадцати часов. С полседьмого утра до самого вечера. И к концу, должна признаться, Хенрик, совсем сил не остается». Она стоит на коленях на стуле вплотную к Хенрику, от нее пахнет свежестью и чем-то сладковатым, не то чтобы духами, а скорее хорошим мылом. А может, это ее естественный запах, присущий только ей? Эрнст покачивается на стуле у торца стола, зажав сигару между большим и указательным пальцами. Он с улыбкой, чуть хмельной — что ж тут такого? — посматривает на сестру и друга. Хенрик чувствует прикосновение ее плеча, и когда она наклоняется, чтобы найти себя на одной из фотографий, ее волосы щекочут ему кожу. «В о т я! — восклицает Анна.— Трудно поверить, форменное платье, конечно, не образец элегантности, хотя шапочка миленькая, но нам ее выдадут только после окончания».— «Моя сестра будет сестрой, моя сестра — сестра,— говорит Эрнст, и все смеются.— Кстати, вы премило смотритесь вместе»,— добавляет он.

Анна тут же захлопывает альбом и отодвигается от Хенрика. «Как по-твоему, моя сестра — привлекательная девушка?» «Больше чем»,— серьезно отвечает Хенрик. «Что ты имеешь в виду?» — упрямо гнет свое Эрнст. «Не порть такой прекрасный вечер,— немного сердито говорит Анна, наливая себе портвейна.— Ой, пятно на юбку посадила. Хенрик, пожалуйста, дай мне графин с водой, лучше попытаться простой водой. Черт! Выходная юбка!» Эрнст и Хенрик наблюдают, как Анна трет пятно своей салфеткой. Ткань юбки плотно обтянула округлости бедра.

Они допивают бокалы и вместе моют посуду. Эрнст моет, Хенрик вытирает, Анна расставляет по полкам и раскладывает по ящикам. О чем они разговаривают сейчас? Наверное, Анна рассказывает брату про мамхен: всем командует мама, мама управляет, мама решает. Мама идет к папе, как раз когда он только что уселся в свое любимое кресло с утренней газетой и утренней сигарой, и говорит: «Послушай, Юхан,— или послушай, Окерблюм (если речь идет о чем-нибудь серьезном),— нам надо решить наконец, будем ли мы и на этот раз помогать Карлу с его векселем, или пусть катится к чертям собачьим, но тогда он опять пойдет к ростовщику, это мы знаем».— «Тебе решать»,— отвечает папа Юхан. «Нет, Юхан,— возражает мама присаживаясь,— ты ведь знаешь, что в финансовых вопросах я всегда следую твоим советам, этот пиджак пора выбросить, у него локти залоснились!»

Брат с сестрой очень искусно разыгрывают комедию, они хохочут, дурачатся, втягивают в свою игру Хенрика, ему никогда не приходилось видеть таких прекрасных людей. Ему страстно чего-то хочется, но он не знает точно чего.

«Или вот так,— с жаром говорит Анна, изображая маму Карин.— «Послушай, Эрнст, что это за дама, с который ты сидел в кондитерской Экберга в четверг? Я вас видела через окно, какие такие секреты вы так горячо обсуждали, что даже забыли и про шоколад, и про пирожные «наполеон»? Ну да, она довольно хорошенькая, ладно, очень даже хорошенькая, но достаточно ли благородная? Куда делась Лаура, нам она нравилась, и папе и мне? Жаль, что ты никак не остепенишься, мой дорогой Эрнст, ты слишком избалован вниманием девушек. Стоит тебе поманить мизинчиком, как они уже табунами несутся. Твой молодой друг, как его зовут, Хенрик Бергман, верно? Наверняка тоже вертопрах, не пропускает ни одной юбки. Он слишком миловиден, чтобы девушка могла ему доверять».

Вечером начался дождь. Они устраиваются в зеленой гостиной среди укрытых простынями кресел и завешенных картин. В сумерках оголенный деревянный пол становится все белее, все четче вырисовываются контуры оголенных окон. Эрнст высоким баритоном поет песню Шуберта, Анна аккомпанирует на рояле. Это «Die schöne Müllerin» [1], восемнадцатая песня: «Ihr Blümlein alle, die sie mir gab, euch soll man legen mit mir ins Grab» [2]. Мягко струится музыка в темноте комнаты, две зажженные свечи освещают Эрнста и Анну, склонившихся над нотами. «Ach, Tränen machen nicht maiengrün, machen tote Liebe nicht wieder blühn»... [3]

Хенрик видит лицо Анны, нежную линию губ, мягкий блеск глаз, мерцание волнистых волос. Возле нее, повернувшись лицом к Хенрику, Эрнст, сейчас у него закрыты глаза, мягкие пушистые волосы откинуты со лба, бледные губы, резкие, решительные черты.

Хенрик не отрывает взгляда от брата и сестры, он удерживает время, не дает ему нестись вскачь как попало. Никогда он еще не переживал подобного, не знал, что существуют такие краски. Распахиваются двери запертой комнаты, свет делается все ярче, у него кружится голова: конечно, так может быть. Так может быть и для него тоже.

Эрнст. Шуберт знал нечто особенное о пространстве, времени и свете. Он соединил непредставимые элементы и дохнул на них. И они стали понятными и нам. Минуты мучили его, и он их растворил для нас. Пространство было тесным и грязным. Он растворил для нас и пространство. И свет. Живя среди сырых серых теней, он направил на нас нежный свет. Он был вроде святого. (*Замолкает, молчание.*)

Анна. Я предлагаю перед сном прогуляться к мосту Фюрисбрун.

Эрнст. На улице дождь.

Анна. Немножко моросит. Хенрик может надеть старый папин плащ.

---

[1] «Прекрасная мельничиха» (*нем.*).

[2] Цветы, что вы мне принесли, в мою могилу положите (*нем.*).

[3] Ах, слезы не заставят май зазеленеть, и той любви, что умерла, уж снова не расцвесть (*нем.*).

Хенрик. Я с удовольствием.
Эрнст. А я ни за что.
Анна. Пошли, Эрнст, не дури.
Эрнст. Вы идите с Хенриком, а я посижу дома и допью то, что осталось в бутылке.
Анна. Я х о ч у, чтобы ты пошел с нами. И не только хочу, я требую! Так и знай.
Эрнст. Анна — истинная дочь своей матери. Во всех отношениях.
Анна. А мой брат лишен элементарнейшей чувствительности. Вообще-то это грех.
Эрнст. Не понимаю, о чем ты.
Анна. Вот именно. Именно так!

Они идут под ласковым дождичком летней ночи. Анна в середине, маленькая, кругленькая, по бокам статные молодые люди. Они двигаются неторопливо, взявшись под руки. Ни единый уличный фонарь не портит ночи. Они останавливаются и прислушиваются.

В кронах деревьев шуршит дождь.

Анна. Тихо. Слышите? Соловей.
Эрнст. Не слышу никакого соловья. Во-первых, здесь их нет, слишком далеко на севере, а во-вторых, после Иванова дня они не поют.
Анна. Да тихо же. Помолчи немного.
Хенрик. Да, пожалуй, это соловей.
Анна. Эрнст, прислушайся как следует!
Эрнст. Анна и Хенрик слышат соловья в июле. Вы погибли. (*Прислушивается.*) Черт меня задери, если это и правда не соловей.

В два часа ночи за светлой роликовой шторой в комнате для прислуги вспыхивают зарницы. Время от времени доносятся слабые раскаты грома. Шумит дождь, то припуская сильнее, то ослабевая и едва накрапывая. Иногда вдруг делается так тихо, что Хенрик слышит удары собственного сердца и ток крови в барабанных перепонках. Впрочем, ему не спится, он лежит на спине, подложив руки под голову, с широко раскрытыми глазами: вот так, вот как, оказывается, может быть. Д а ж е для меня, Хенрика! Дверь в надежно запертую прежде комнату распахивается все шире и шире, до головокружения.

Вот какое-то движение на кухне, вот отчетливо скрипит дверь, это не сон. В светлом четырехугольнике стоит Анна, лица ее он не видит, она еще не раздевалась.

Анна. Спишь? Я так и знала, что не спишь. Я подумала — зайду к Хенрику и объясню, как обстоит дело.

Она по-прежнему неподвижно стоит в проеме дверей. Хенрик затаил дыхание. Это серьезно.

Анна. Я не знаю, Хенрик, как мне быть с тобой. Это плохо, что ты здесь, со мной. Но намного, намного хуже, когда тебя со мной нет. Я всегда...

Она в раздумье замолкает. Сейчас, наверное, полная откровенность — вопрос жизни и смерти. Хенрик собирается рассказать о своей растерянности, о запертой и открытой комнатах, но это слишком запутанно.

Анна. Мама говорит, что самое важное в жизни — уметь обуздывать свои чувства. Я всегда хорошо с этим справлялась. И, кажется, стала немного самоуверенной.

Она отворачивается и отступает на шаг. И тут предрассветный свет из кухонного окна освещает ее лицо, и Хенрик видит, что она плакала. Или, возможно, плачет. Но голос спокойный.

Анна. Нельзя... Мама и другие, мои сводные братья, например, говорят, что я унаследовала от папы и мамы большую разумность. Я всегда гордилась, когда меня хвалили за то, что я такая разумная. Я считала, что так вот и должна выглядеть жизнь, и я хочу, чтобы она такой была. Мне поистине нечего бояться. (*Молчание, долгое молчание.*) А сейчас я боюсь, или, говоря честно, если то, что я чувствую,— страх, значит, я боюсь.
Хенрик. Я тоже боюсь.

Он вынужден прокашляться. Голос засох, но где-то по пути. Сейчас, в эту минуту, у него останавливается сердце, пусть на какую-то долю секунды, но все же.

Хенрик. Кстати, у меня остановилось сердце. Вот прямо сейчас.
Анна. Я знаю, Хенрик, что это такое. Мы на пороге решающего момента, представляешь себе, как все это странно и загадочно? И тогда время останавливается, или нам кажется, будто время или «сердце», как ты выражаешься, останавливается.
Хенрик. Что же нам делать?
Анна. Собственно говоря, есть две возможности. *(Деловито.)* Либо я говорю: иди своей дорогой, Хенрик. Или же: приди ко мне в объятия, Хенрик.
Хенрик. По-твоему, оба варианта плохи?
Анна. Да.
Хенрик. Плохи?
Анна. Вопрос жизни и смерти.
Хенрик. А нельзя нам чуточку поиграть?
Анна. Между прочим, я совсем не знаю, что ты за человек.
Хенрик. Вполне нормальный.

В голосе слышится ужас, комический ужас. Хенрик мало знает себя, никогда не знал и никогда не узнает. Анна, улыбаясь, качает головой: видишь, насколько это опасно! Она переступает порог, входит в комнату и, усевшись в ногах у Хенрика, расправляет юбку. Хенрик садится в кровати.

Анна. По-моему, ты ничего ни о чем не знаешь. Мне кажется, ты в затмении, не могу сейчас подобрать другого слова.
Хенрик *(едва слышно).* В затмении?
Анна. Ты только все время повторяешь мои слова. Скажи, чего ты хочешь.
Хенрик. Сейчас скажу. У меня никогда, я повторяю — н и к о г д а, клянусь, это правда, никогда в жизни не было такого дня, такого вечера и такой ночи, как эти день, вечер и ночь. Я клянусь. Больше я ничего не знаю. Я сбит с толку, благодарен, и мне страшно. Я хочу сказать, что все это у меня отнимут. Так всегда бывает. Так было всегда. И я останусь с пустыми руками, это звучит мелодраматично, но это так. Я просто-напросто хочу сказать: за какие заслуги мне выпало то, что я пережил сегодня? Понимаешь, Анна? Вы с Эрнстом живете в своем собственном мире, не только в материальном отношении, но и во всех остальных. Для меня недоступном. Понимаешь, Анна?

Анна медленно качает головой, грустно глядя на Хенрика. Потом, улыбнувшись, встает, идет к двери и в дверях оборачивается.

Анна. Ну ладно. Как бы там ни было, решение пока можно отложить — на несколько часов или даже дней и недель.

Сказав это, она снисходительно улыбается и желает ему спокойной ночи. После чего закрывает за собой дверь, издающую громкий скрип.

Они у меня перед глазами словно живые — сидят в столовой за большим столом с ножками в виде львиных лап, убрав с него все лишнее. Между ними — шахматы начальника транспортных перевозок. С двух окон сняты закрывавшие их простыни. Идет дождь, тихий и упорный. Вижу я и Эрнста, который.

стоя в дверях в плаще и со студенческой фуражкой в руках, говорит, что ему надо ненадолго сходить на метеорологическое отделение, профессор хочет поговорить с ним. Обед в пять, бормочет Анна, делая ход пешкой. «Пока, счастливо»,— бросает Хенрик, отступая ферзем. Громыхнула входная дверь, и все опять стихло. Где-то в доме играют на рояле, медленно и неуверенно.

Внезапно Анна смахивает с доски фигуры и закрывает лицо руками, потом, глядя на Хенрика сквозь пальцы, начинает хихикать. Хенрик, склонившись над доской, делает слабую попытку восстановить позицию, но быстро отказывается от своего намерения и замирает в ожидании.

Анна. Вовсе ни к чему посвящать всех в то, что мы... что мы собираемся...
Хенрик. Разумеется.
Анна. Я вдруг подумала, что мы ничегошеньки не знаем друг о друге, и мне стало страшно. Нам бы надо дней сто провести за этим вот столом и говорить, говорить, расспрашивать.
Хенрик. Не хватило бы.
Анна. Мы принимаем решение жить вместе всю оставшуюся жизнь и ничего друг про друга не знаем. Не совсем обычно, а?
Хенрик. И даже не целовались.
Анна. Поцелуемся? Хотя нет, с этим можно подождать.
Хенрик. Перво-наперво признаемся в своих недостатках.
Анна *(смеется)*. Нет, этого я делать не рискну. А то ты сбежишь!
Хенрик. Или ты.
Анна. Мама говорит, что я упрямая. Эгоистичная. Люблю развлечения. Нетерпеливая. Братья утверждают, что у меня чертовский характер, что я выхожу из себя по пустякам. Так, что я еще забыла? Эрнст говорит, что я кокетка, обожаю вертеться перед зеркалом. Папа говорит, что я ленюсь делать то, что необходимо: убирать, готовить, учить скучные уроки. Мама говорит, что я слишком увлекаюсь мальчиками. Ну вот, как видишь, недостаткам нет конца.
Хенрик. Мой самый большой недостаток в том, что я сбит с толку.
Анна. Разве это недостаток?
Хенрик. Недостаток, и еще какой.
Анна. Что ты имеешь в виду?
Хенрик. Я сбит с толку. Ничего не понимаю. Делаю только то, что мне велят. Думаю, я не слишком умен. Когда я читаю сложный текст, мне бывает трудно добраться до смысла. Меня переполняют чувства, это тоже сбивает меня с толку. Я почти постоянно испытываю угрызения совести, но чаще всего не знаю почему.
Анна. Да, нелегко.

Печаль и тяжесть: что это за странная игра? Зачем мы занимаемся всем этим? Почему не целуемся, сегодня же праздник? Они затихли, избегают смотреть друг на друга.

Хенрик. Ну вот мы и загрустили.
Анна. Да.
Хенрик. Нас обоих пугает одиночество. Если мы будем вместе, мы обретем мужество понимать и прощать и наши собственные недостатки, и недостатки друг друга. Главное, не начать не с того конца.
Анна. Давай поцелуемся, и тогда мы снова развеселимся.
Хенрик. Подожди немножко. Мне надо сказать тебе что-то важное. Нет, не смейся, Анна. Я должен сказать тебе, что я...
Анна. Э, хватит, я устала от этих глупостей!

Она становится напротив, обхватывает ладонями его голову, запрокидывает, наклоняется и страстно его целует. Хенрик всхлипывает — ее аромат, ее кожа, сильные маленькие руки, которые крепко держат его, волосы, ниспадающие по ее плечам.

Он обнимает ее за талию и, прижав к себе, утыкается лицом ей в грудь,

она не выпускает его голову, сплетясь в одно целое, они раскачиваются. И долго не решаются или не могут разжать объятия. Что будет после этого? Что будет с нами?

Анна. ...теперь мы, наверное, помолвлены.

Она высвобождается и придвигает свой стул к его, они сидят друг напротив друга, стол уже не разделяет их, они держатся за руки, они взволнованы, пытаются перевести дух и утишить сердцебиение. Хенрик к тому же в затруднении, ему непременно надо кое-что ей открыть, но нет сил. Она чувствует, что что-то не так, и пытливо всматривается в Хенрика.

Анна *(улыбаясь)*. ...теперь мы помолвлены, Хенрик.
Хенрик. Нет.
Анна *(со смехом)*. ...вот как, мы, значит, не помолвлены?
Хенрик. Я с самого начала знал, что все пойдет наперекосяк. Я должен уйти. Мы никогда больше не увидимся.
Анна. У тебя есть другая.

Хенрик кивает.

Лицо у Анны становится землисто-серого цвета, указательный палец прижат к губам, словно она дала обет молчания. Потом она левой рукой торопливо проводит по лбу Хенрика и на мгновение задерживает ладонь на его плече. После чего, обогнув стол, садится за спиной Хенрика у торца стола. Где и сидит, грызя ногти и не зная, что сказать.

Хенрик. Мы живем с ней уже два года. Она была такой же одинокой, как и я. Она любит меня. Не раз помогала. Нам хорошо вместе. Мы помолвлены.
Анна. Тебе не в чем упрекать себя. В о б щ е м - т о, не в чем. Может быть, тебе следовало бы сказать что-нибудь сегодня ночью, но тогда все было так нереально. Я понимаю, почему ты ничего не сказал. А что же теперь будет с нашим прекрасным будущим? Ты-то чего хочешь, собственно?
Хенрик. Я хочу быть с тобой. Но вчера ведь я этого не знал. Все изменилось — вот так!

Он делает жест рукой, которая тяжело и безутешно падает на стол. Потом поворачивается к ней и качает головой.

Анна. Так ты хочешь сказать, что намерен оставить — как ее там зовут,— кто она, кстати?
Хенрик *(после паузы)*. Если тебе хочется знать, пожалуйста — ее зовут Фрида. Она на несколько лет старше меня. Тоже с севера, работает в гостинице «Йиллет».
Анна. И что она делает?
Хенрик *(сердито)*. Работает официанткой.
Анна *(холодно)*. Вот как... официанткой.
Хенрик. А что, быть официанткой нехорошо?
Анна. Да нет, ради Бога.
Хенрик. Ты определенно забыла назвать один из главных твоих недостатков: ты, по-видимому, страдаешь высокомерием. Это т ы напридумывала все насчет нашего общего будущего. Не я. Я был с самого начала готов к действительности. А действительность у меня серая. И скучная. Уродливая. *(Встает.)* Знаешь, что я сейчас сделаю? Пойду к Фриде. Да, пойду к ней домой и попрошу прощения за свое дурацкое, бредовое предательство. Расскажу ей, что я говорил, и что ты говорила, и чем мы занимались, и потом попрошу прощения.
Анна. Мне холодно.

Хенрик не слышит. Он уходит.

В прихожей он сталкивается с Эрнстом, который только что вошел

и собирается снимать плащ. Хенрик, пробормотав что-то, пытается выйти, но ему не дают.

Эрнст. Эй, эй, эй. Это еще что такое?
Хенрик. Пусти меня. Я хочу уйти и больше никогда не возвращаться.
Эрнст *(передразнивает)*. «...уйти и больше никогда не возвращаться». Ты о чем? О романсе Шуберта?
Хенрик. Все было глупо с самого начала. Пусти меня, пожалуйста.
Эрнст. А куда ты дел Анну?
Хенрик. Наверное, там, в комнате.
Эрнст. Уже поругались. Вы времени зря не теряете. Но Анна — девочка нетерпеливая. Она любит торопить события.

Он силой усаживает Хенрика на белый дровяной ларь у короткой стены прихожей, а сам становится спиной к застекленным дверям, дабы предотвратить возможный побег. В этот момент в гостиную входит Анна. Увидев брата, она круто останавливается и хлопает себя рукой по бедру. И резко поворачивается лицом к окну.

Эрнст. Чем вы, черт возьми, тут занимались?
Хенрик. Я убедительно тебя прошу выпустить меня, иначе я буду вынужден дать тебе в морду.
Анна *(кричит)*. Отпусти его.
Эрнст. Не исчезай, Хенрик. Давай пообедаем с тобой в «Холодной Мэрте» в пять часов. Хорошо?
Хенрик. Не знаю, ни к чему все это.

Держа в руках пожитки, он берет с полки свою студенческую фуражку. Эрнст открывает дверь, и Хенрик сбегает по лестнице, перепрыгивая через ступени. Эрнст, закрыв дверь, медленно направляется к сестре. Она по-прежнему стоит у окна, лицо выражает гнев и боль.

Эрнст. Анна, ягодка моя, что ты натворила?

Анна, повернувшись к Эрнсту, обнимает его за шею и разражается рыданиями, весьма мелодраматичными, возможно даже, испытывая некоторое наслаждение. Потом затихает и сморкается в протянутый платок.

Анна. Я уверена, что люблю его.
Эрнст. А он?
Анна. Я уверена, что он любит меня.
Эрнст. Чего ж ты в таком случае ревешь? Слышишь? Анна?
Анна. Мне так б о л ь н о!

Больше Эрнсту ничего не сообщают. Он опускается на стул, усаживает к себе на колени сестру, и они замирают в этой нежной, молчаливой доверительности. Дождь перестал, и солнце вычерчивает резкие белые квадраты и четырехугольники на простынях, которыми занавешены окна. Комната словно парит в воздухе.

Хенрик, выполняя высказанное им намерение, идет в гостиницу «Йиллет» и, преодолев шесть лестничных пролетов, стучится в дверь Фриды. Через минуту она открывает, полусонная, в просторной фланелевой ночной рубахе и с чулком вокруг горла. Нос у нее красный, глаза блестят. Она уставилась на Хенрика, точно увидела привидение. Тем не менее отступает и пропускает его в комнату.

Фрида. Ты в городе?
Хенрик. Ты больна?
Фрида. Жутко простудилась, горло болит, температура. Так что вчера

вечером пришлось уйти домой уже в полдесятого, я чуть в обморок не грохнулась. Хочешь кофе? Я как раз собиралась приготовить чего-нибудь горяченького.
Хенрик. Нет, спасибо.
Фрида. Это замечательно, что ты пришел, настоящий сюрприз, вот уж никак не ожидала. Да, спасибо за милое письмо. Все хотела ответить, да только вот некогда очень, да и писать я не мастак.

За ширмой стоит единственный предмет роскоши этой комнаты — маленькая газовая плита с немощным чадящим пламенем. Фрида варит кофе и делает бутерброды. Несмотря на слабые протесты, Хенрик позволяет себя обслуживать. Фрида ходит по комнате, босоногая и решительная. Наконец она залезает в постель и, натянув на себя одеяло, принимается за кофе — он очень горячий, поэтому она долго дует, прежде чем отхлебнуть, и пьет вприкуску. Внезапно она бросает испытующий взгляд на Хенрика, который сидит на единственном стуле, поставив чашку на ночной столик.

Фрида. Ты тоже болен? На тебе лица нет.
Хенрик. Да нет, ничего.
Фрида. Глупости говоришь. Как будто я по тебе не вижу, что что-то случилось.
Хенрик. Наверное, мне просто грустно.
Фрида. Ну да, э т о - т о само собой. Ты хотел мне что-то сказать? Так мне показалось.
Хенрик. Нет.
Фрида. А похоже было.
Хенрик. ...нет.
Фрида. Иди сюда, дай я тебя обниму.

Она отставляет чашку, кладет бутерброд и притягивает его к себе, он не сопротивляется.

Фрида. Не боишься заразиться?
Хенрик. ...нет.
Фрида. Тогда раздевайся и иди ко мне.

Она бодро вскакивает с кровати и спускает рваную роликовую штору. Потом разматывает чулок на шее и быстренько причесывается перед пятнистым зеркалом на комоде. Прежде чем забраться в постель, она стягивает с себя ночную рубаху. Под ней короткая трикотажная сорочка и довольно длинные трусы. Трусы она сбрасывает, а сорочку оставляет.

II

На окерблюмовской даче с величественным видом на реку и голубеющие горы настроение подавленное, если не сказать мрачное. Не слышно радостных возгласов из купальни, не катаются крокетные шары по траве, молчит рояль, не видно стаканов с соком и романов в гамаках. Кругом царит молчание, все прислушиваются к голосам, доносящимся из кабинета начальника транспортных перевозок. О чем там говорят, понять трудно: иногда долетает несколько слов, иногда целое предложение на повышенных тонах. А так, в основном, бормотание или тишина.

Папа Юхан сидит за письменным столом, посасывая почти погасшую трубку, которую он время от времени пытается разжечь. Фру Карин расположилась на диване под картиной Оттилии Адельборг «Отъезд на выпас». Она просто побелела от гнева. Посередине комнаты стоит ее дочь, разгневанная в не меньшей степени, но с раскрасневшимся лицом. Эрнст занял стратегическую позицию у двери.

Карин. Вчера вечером позвонила Шарлотта, она утверждает, что у вас с Эрнстом ночевал какой-то мужчина. Она с возмущением рассказала, что всю ночь в комнате для прислуги разговаривали. Это правда?
Анна. Да. *(Сердито.)*
Юхан. Подумай, как ты разговариваешь с матерью.
Анна. Пусть мама подумает, как она разговаривает со мной. Я взрослый человек.
Карин *(холодно)*. До тех пор, пока ты ешь наш хлеб и живешь в нашем доме, ты наша дочь и должна мириться с установленными правилами.
Анна. Я не могу мириться с тем, что вы с папой обращаетесь со мной как с ребенком.
Юхан. Если ты ведешь себя как ребенок, с тобой и будут обращаться как с ребенком. *(Кашель)*.
Карин. Ты не понимаешь, что оскандалила нас?
Анна. Тетя Шарлотта — базарная сплетница, и я счастлива, что теперь ей будет что подать к кофе в следующий раз.
Юхан. А ты не хочешь ничего сказать, Эрнст?
Эрнст. А что я могу сказать? Анна с мамой крякают наперебой, точно рассерженные утки. И слова не вставить...
Юхан. Это ты пригласил в дом молодого человека?
Анна *(сердито)*. Нет, представь себе, это я посмела проявить такую дерзость.
Юхан. Я спросил Эрнста.
Эрнст. Я пригласил его.
Карин. Но, Эрнст, как ты м о г сделать такую глупость! *(Мягко.)*
Эрнст. Он наш общий друг. Кстати, вы его знаете. Он был у нас на воскресном обеде.
Карин. Как его зовут? Молодой человек, принимающий приглашение ночевать в доме в отсутствие родителей, либо дерзок, либо плохо воспитан.
Анна. Это просто смешно, мама, что вы тут навыдумывали.
Карин. Я же н и ч е г о не знаю. Возможно, вы обделываете множество разных тайных делишек у меня за спиной.
Анна. Вы устраиваете такие скандалы, мама, что не было бы ничего удивительного, если бы мы держали свои секреты при себе.
Карин. Юхан! Будь добр, вели своей дочери вести себя прилично. Я слишком долго терпела твою избалованность и твои прихоти. Теперь я вижу последствия.
Анна. Не моя вина, что меня избаловали.
Юхан. Да, в этом ты права, девочка моя. Вина, главным образом, моя, и мама меня не раз предупреждала. Теперь, как я понимаю, мы будем с тобой построже. *(Кашель, кашель.)*
Анна *(смеется)*. Шлепок по попке, и марш в постель без ужина?
Юхан *(с трудом сохраняет серьезность)*. Не дурачься, Анна. Данная ситуация не дает ни малейшего повода к шуткам. Как зовут юношу?
Анна. Его зовут Хенрик Бергман. Он изучает богословие и будет священником. И я люблю его и собираюсь выйти за него замуж.

Тут в кабинете начальника транспортных перевозок, во всем красивом доме и в его окрестностях и в самом деле воцаряется гробовая тишина.

Карин. Вот как. Так, так. Значит, так.
Юхан. Откровенное признание.
Анна. Вы не сможете мне помешать.
Юхан. Моя дорогая дочь, боюсь, ты в известной степени неверно оцениваешь свое положение. До твоего совершеннолетия еще целый год, и д о т е х п о р ты и юридически и морально находишься под опекой твоих родителей.
Карин. И этот мальчишка намерен стать священником! Не имея понятия о том, что он обязан беречь девичью честь. *(Сердито.)* Ты была у него ночью. Это ваши голоса чертова Шарлотта слышала сквозь стену? Это были вы?
Анна. Да, ну и что из того? Мы говорили о помолвке.

Карин. Может, ты еще и спала с ним в одной постели?
Анна. Нет, не спала, но если бы он меня попросил, я бы легла с ним.
Юхан *(мрачно)*. Помолчи-ка лучше.
Анна. Мама спросила, я ответила.
Юхан. А где был Эрнст?
Эрнст. Я спал. Об этом я ничего не знал.
Карин. А если ты забеременеешь?
Анна *(с улыбкой)*. Довольно трудно на таком расстоянии.
Карин. Ты слышишь, Юхан!
Юхан *(печально)*. Слышу. Прекрасно слышу. Слышу. *(Снова кашель.)*
Карин. Просто не представляю, что теперь делать.
Эрнст. У меня есть предложение, если позволите.
Юхан *(нахмурив лоб)*. Валяй говори.
Эрнст. Я предлагаю уважаемым родителям не делать ровным счетом ничего. Случившееся — результат нашего с Анной необдуманного поведения. Мы просто-напросто совершили глупость. Мы готовы попросить у наших родителей прощения за те неприятности и волнение, которые мы причинили своим необдуманным поведением. Правда ведь, готовы, Анна?
Анна. Что?
Эрнст. Попросить у мамы и папы прощения.
Анна. Я должна подумать.
Эрнст. Пока ты думаешь, я предлагаю, чтобы Анна написала вежливое и официальное письмо Хенрику. Мама добавит несколько любезных строчек и пригласит его приехать сюда, к нам, на неделю.
Карин. Никогда в жизни. Мошенник и соблазнитель.
Анна *(с новым пылом)*. Если кто и был соблазнителем в этом случае, так это я. Запомните это, уважаемые родители! И если вы намерены и дальше стоять на своем, так я соблазню его по-настоящему и рожу ребенка, тогда вам волей-неволей придется выдать меня замуж за отца ребенка.
Карин. Мне кажется, ты недооцениваешь решимость твоих родителей, дорогая Анна.
Анна. Твою решимость, мамочка. У нас с папой никогда не было разногласий. Правда, папа?
Юхан *(немного смущен)*. Ну да, конечно, малышка. Разумеется. Гм!
Карин. По зрелом размышлении, предложение Эрнста представляется мне весьма разумным. Мы пригласим сюда этого прохвоста и поглядим на него поближе.
Анна. Бедный Хенрик. Какой кошмар.
Эрнст. О нем позабочусь я.
Карин. А что ты скажешь, Юхан?
Юхан. Я? Ничего. Кстати, а что ты сделала с Торстеном Булином? С ним уже покончено?
Анна. А, этот! Он был просто приятель.
Юхан. Вот как, ну-ну. А я-то так ревновал к этому франту-профессору.
Карин. Не болтай глупостей, Юхан.
Юхан. Пожалуйста, молчу. Мне задают вопрос, я отвечаю встречным вопросом и за это получаю выговор. *(Тихонько смеется.)*
Карин. Юхан, пожалуйста, попытайся еще пару минут быть серьезным. Если я — я имею в виду мы — пригласим сюда этого молодого человека, не будешь ли ты так добр, Эрнст, объяснить ему, чтобы он не вздумал предъявлять жениховских претензий.
Эрнст. Гарантирую.
Анна. Я ничего не гарантирую.
Карин. Тебя не спрашивают. Давайте присоединимся к остальным, они, наверное, начали недоумевать, уже десять минут шестого, обед ждет.

«Столовая Мэрты» расположена во дворе, на третьем этаже обшарпанного дома на углу улицы Драгарбрюннсгатан и переулка Бэвернс грэнд и состоит из трех проходных, довольно вместительных комнат со стенами, покрытыми сальной коричневой грязью. Тесная и темная кухня находится

по другую сторону длинного мрачного коридора без дневного освещения, представляющего собой прихожую. В конце коридора — маленькая, плохо проветриваемая уборная. Даже в разгар лета в эти помещения не проникает солнце. Если в «Столовой Мэрты» не топят кафельные печи и угольную печурку, там царит могильный холод, пропитанный запахом плесени. Отсюда и ласкательное название «Холодная Мэрта». Сама фрёкен Мэрта и две ее помощницы обитают в каморке и двух чуланчиках перед кухней.

Но, пожалуй, следует замолвить слово об этом заведении, где питаются студенты, спившиеся телеграфисты и неизлечимые холостяки. Кормят у Мэрты вряд ли вкусно, зато обильно. При необходимости, но тайком здесь можно получить шнапс до и коньяк после обеда. В качестве лекарства. Кроме того, здесь щедро, если не сказать — с презрением к смерти, отпускают в кредит. Заведение едва сводит концы с концами, но душевности ему не занимать. В городе учености есть харчевни и получше (намного лучше), а есть и похуже. Мясная запеканка по пятницам — tour de force [1]. Появляясь в несколько закамуфлированном виде по вторникам, она столь же опасна, как русская рулетка.

Сейчас, стало быть, середина августа, половина шестого вечера. В столовой посетителей немного. В меню — сконский гуляш и кисель, к этому подают домашний квас. За стенами заведения по-прежнему жаркое лето и всеобщая стачка. Внутри — полусумрак, застоявшийся чад и неопределенные, приглушенные запахи уборной и сдерживаемой похоти.

Во внутренней комнате за угловым столиком сидят три богослова, сдававшие экзамен профессору Сюнделиусу. Хенрик от растерянности и нерешительности остался в городе, вместо того чтобы уехать к матери в Сёдерхамн. Он ночует на продавленном диване у Юстуса Барка, который поддерживает в себе жизнь рытьем грядок в Ботаническом саду. Причитающееся ему минимальное пособие будет выплачено лишь в начале сентября. Будущий самоубийца Бальтсар всегда при деньгах и берет частные уроки. Каникулы он посвящает изучению китайской письменности VIII века, когда императрица Ву Дзетян подвергла преследованиям и уничтожила немало представителей могущественной династии Тан.

Молодые люди прихлебывают кисель, запивая его снятым молоком. Мимо проходит фрёкен Мэрта, она приветливо спрашивает, понравился ли им гуляш. Вежливое бормотание. Она останавливается, хочет что-то сказать, передумывает. Но потом все же решается.

Фрёкен Мэрта. Мне очень неприятно это говорить, но я вынуждена повысить месячную абонементную плату. Всеобщая стачка. Все страшно подорожало, понимаете. Так что мне придется повысить плату с первого сентября. Двадцать эре за каждый обед и ужин, получается тридцать пять крон в месяц или что-то около этого. Нам ведь не хочется снижать качества. И потом, зимой у нас должно быть тепло и уютно. Разрешите угостить вас коньячком к кофе.

Умиротворенное бормотание. Фрёкен Мэрта приносит четыре бокала, отпирает буфет, вынимает бутылку, снова запирает замок и присаживается за стол. Богословам приносят кофе. Все чокаются. И замолкают.

Наверное, следует сказать, что вид у фрёкен Мэрты Лагерстам вовсе не такой, как можно было бы предположить. Это маленькая седая дама с черными глазами и красиво вылепленным бледным лицом. Узкоплечая, тоненькая, с легкими движениями. Никто не рискует пререкаться с фрёкен Мэртой.

Она зажигает сигарету в длинном мундштуке и, откинувшись, разглядывает своих гостей из-под полуопущенных век сквозь пелену дыма. Помощницы фрёкен Мэрты уже начали убирать со столов — с большого стола в средней комнате и с маленьких столиков, только что покинутых немногочисленными посетителями. Фрёкен Густава — толстая молчаливая девушка с печальными глазами, фрёкен Петра не отличается красотой, но приветлива и любезна, ей сорок лет, она вдова.

---

[1] *Здесь:* ударное блюдо (*франц.*).

«Сейчас заведем граммофон»,— говорит фрёкен Мэрта и велит Густаве принести аппарат и пластинки. Юстус предлагает свою помощь. Войдя в сильно захламленную каморку фрёкен Мэрты рядом с кухней, богослов тут же принимается облизывать и тискать грустную, пассивную девушку. Только он прижал ее к стене, намереваясь стащить с нее трусы, как неожиданно появляется Петра. Не обращая особого внимания на возню у печки, она говорит, что сама возьмет пластинки, с ними надо быть поосторожнее, чтобы, не дай Бог, не упали и не разбились. У Юстуса пропадает желание, и Густава запихивает свои большие груди обратно в блузку.

Фрёкен Мэрта угощает коньяком по второму разу, девушки сели на придвинутые стулья, богословы курят предложенные им сигары. Из красного зева граммофона вырывается заклинающий голос Карузо: «Principessa di morte! Principessa di gelo! Dal tuo tragico cielo, scendi giù sulla terra»! [1] В табачном тумане и коньячном аромате сонно светится принесенная керосиновая лампа.

Фрёкен Мэрта смотрит на гостей с материнской улыбкой: нам сейчас хорошо, все хорошо, так будет и дальше, милые юноши. Хенрику надо отучиться грызть ногти, а этот Бальтсар, что с ним делать, глядя на него, хочется плакать, ну, а молодой Барк, похоже, неплохо справляется, вон залез своим длинным носом в вырез блузки Густавы, правда, ему надо вставить верхние зубы, бедняжка.

«Подойдите сюда, кандидат Бергман! Сядьте рядом со мной. Почему вы грызете ногти? Разве можно это делать, имея такие красивые руки. Ну, что скажете? Как дела с женским полом? Конечно, избалованы вниманием и поклонницами? Выбирай любую? Послушайте, малыш, не смотрите на меня с таким ужасом, я вас не съем. Вот так-то лучше!»

Юстус Барк с фрёкен Густавой, потеряв равновесие, грохнулись на пол под протяжное беззвучное хихикание. Они помогают друг другу подняться, у девушки узел волос сполз с затылка на шею, влажные от пота пряди упали на уши. Фрёкен Мэрта перегибается через стол и меняет пластинку: «Летучая мышь», вечеринка у тоскливо-похотливого принца Орловского. Под царапание иглы ласкающе поет хор: «Brüderlein, Brüderlein und Schwesterlein. Du, Du, Du immerzu! Erst ein Kuss, dann ein Du...» [2]

Бальтсар Кугельман, отложив свое самоубийство еще на несколько часов, склоняет узкое белое чело на круглое плечо и опытно-ласковую руку фрёкен Петры. Фрёкен Мэрта вытягивает губы, свои красивой формы чувственные губы с поперечными морщинками к губам Хенрика и легко целует его, три раза, не меньше. «Черт возьми! — восклицает внезапно Юстус Барк.— У меня же письмо для Хенрика! Оно пришло сегодня после обеда, как раз когда я зашел домой привести себя в порядок. Извини за задержку, но мы же были заняты».

Юстус вытаскивает из нагрудного кармана мятый конверт и протягивает его Хенрику, у которого сразу же напрягается взгляд: почерк Анны, без всякого сомнения, это письмо от Анны, без всякого сомнения, Анна написала ему письмо. Анна написала!

Он очень осторожно берет письмо и, извинившись больше растерянно, чем вежливо, вываливается на пустынную, в красных лучах заходящего солнца Драгарбрюннсгатан. С расположенной поблизости сортировочной станции доносятся пыхтенье маневрового паровоза и лязг буферов. Он почти бежит вверх по Бэвернс грэнду в направлении Фюрисона. И, опустившись на скамейку, читает короткое и официально-любезное письмо, в конце которого мать Анны несколькими строками приглашает его навестить их.

Эрнсту на день рождения подарили фотоаппарат с автоматическим спуском, и сейчас будет сделан семейный портрет. После завтрака барабанным боем клан сзывают на лужайку у опушки. Теплый солнечный день, все в светлых одеждах. (Фотография существует на самом деле, хотя она сделана

[1] «О, смерти принцесса! Принцесса льда! С трагических своих небес сойди на землю!» (*итал.*).

[2] «Братишка, братишка и сестричка моя. Ты, только ты, ты всегда! Сперва поцелуй. а потом...» (*нем.*).

чуть позже, вероятно, летом 1912 года, но к этому моменту подходит больше.) Итак, вынесли два стула. На одном сидит начальник транспортных перевозок с тростью и утренней сигарой. Если поглядеть хорошенько, через лупу, можно убедиться, что спокойное красивое лицо измучено болями и бессонницей. Рядом с супругом сидит Карин Окерблюм. Кто из этих двоих глава семейства, сомневаться не приходится. Маленькая, полная фигурка дышит авторитетом и, возможно, улыбчивым сарказмом. На тщательно уложенных волосах великолепная летняя шляпа, словно печать ее власти. Ясный взгляд, устремленный в объектив, небольшой двойной подбородок. Она приготовилась к фотографированию, но через несколько секунд встанет, полная жизненной силы, дабы раздать приказания. Вокруг родителей сгруппировались старшие сыновья с женами. Карл стоит один, повернувшись в профиль, смотрит куда-то вправо, делая вид, что его там нет. Дочки Густава и Марты хохочут так, что изображение смазалось. Сгорбившись, они обнимают друг друга за талию, на них матроски и юбки до колен. Ближе к камере, слева на фотографии, сидит на траве Анна. Она по какой-то причине, о которой, наверное, нетрудно догадаться, очень серьезна, взгляд открытый и доверчивый, губы чуть раздвинуты — столько страстных поцелуев украдкой. За Карин, на коленях, Эрнст и Хенрик, оба в студенческих фуражках, аккуратных пиджаках, с пристежными воротничками и при галстуках. Совершенно очевидно, что Хенрика пригласили на дачу к начальнику транспортных перевозок как друга сына, а не как возможного жениха дочери. На заднем плане, но хорошо видимые, стоят фрёкен Лисен и фрёкен Сири, достойная пара в белоснежных передниках и с серьезным фотографическим выражением лица.

Четырнадцать человек, лето, август 1909 года. Всего секунда. Войди в фотографию и воссоздай оставшиеся секунды и минуты! Войди туда, ведь тебе так этого хочется! Почему ты столь страстно этого жаждешь, узнать трудно. Может быть, для того, чтобы задним числом реабилитировать стройного молодого человека, стоящего рядом с Эрнстом. Того самого, с красивым, беззащитно-неуверенным лицом.

Семейный портрет запечатлен, и начальника транспортных перевозок с помощью трости и бережно поддерживающих рук ведут к открытой лоджии, обращенной к солнцу и ландшафту. Там старого джентльмена усаживают в особое кресло с регулируемыми спинкой и подлокотниками и зеленой в клетку обивкой. За спину ему кладут подушку, под ноги ставят скамеечку, пододвигают плетеный стол с сегодняшней почтой и вчерашней газетой, стаканом минеральной воды, разбавленной несколькими каплями коньяка, и полевым биноклем. Фру Карин собственноручно накрывает супругу колени пледом и целует его в лоб, точно так же, как она делает каждое утро, прежде чем пуститься в широкомасштабные экзерсисы по проявлению власти.

«Ты хотел поговорить с молодым Бергманом, он ожидает в столовой, попросить его зайти или сначала прочитаешь почту и газеты?» — требовательно спрашивает фру Карин. «Нет, нет, пусть заходит,— бормочет Юхан Окерблюм,— вообще-то это ты хотела, чтобы я поговорил с мальчиком. Не знаю, что я ему скажу?» — «К о н е ч н о, знаешь»,— ответствует без улыбки фру Карин и приводит Хенрика.

Ему предлагают садиться в неопределенного вида плетеную мебель — ни скамеечка, ни стул, ни кресло. Начальник транспортных перевозок улыбается чуточку извиняющейся улыбкой, как будто хочет сказать: не смотри с таким ужасом, молодой человек, не я здесь опасен. Вместо этого он спрашивает Хенрика, не желает ли тот закурить — сигару, сигарету или, может быть, сигарилью? «Вот как, не желает? Естественно. Естественно, кандидат, вы же курите трубку. Английский табак? Разумеется. Английский трубочный табак — самый лучший. Французский резковат». Юхан Окерблюм отпивает глоток минеральной воды, подкрашенной коньяком, и затягивается сигарой.

Юхан Окерблюм. Если вы воспользуетесь этим биноклем, то увидите там внизу, за поворотом железной дороги, здание станции. Приглядевшись

повнимательнее, можно различить запасной путь. Понимаете, кандидат, я обычно забавляюсь, проверяя время прибытия и отбытия. Вот тут у меня расписание всех поездов — и скорых, и пассажирских, и товарных. Я смотрю и сравниваю. Небольшое развлечение на старости лет для человека, чья профессиональная жизнь была связана с рельсами и паровозами. Помню, еще будучи маленьким мальчиком, я просил разрешения посмотреть на поезда на станции — мы в то время жили в Хедемуре. Нет ничего прекраснее этих новых паровозов, которые начали делать немцы,— Ф-17 или как их там называют. Да *(кашель)*, вас, наверное, не слишком интересуют паровозы.

Хенрик *(сбитый с толку)*. Я никогда не думал о паровозах в таком ключе.

Юхан Окерблюм. Ну, конечно, конечно. Кстати, как дела с учебой?

Хенрик. С тем, что мне интересно, справляюсь. А с тем, чего я не понимаю, приходится потруднее.

Юхан Окерблюм. Так, так. Подумать только, сколько надо заниматься, чтобы стать пастором. Трудно поверить.

Хенрик. Что вы имеете в виду, господин инженер?

Юхан Окерблюм. Да, что я, собственно, имею в виду? Ну, с точки зрения нейтрального гражданина можно было бы подумать, что быть священником — в общем-то, больше вопрос таланта. Нужно быть — как это называется? — ловцом душ.

Хенрик. Прежде всего надо иметь убеждение.

Юхан Окерблюм. Какое убеждение?

Хенрик. Необходимо быть убежденным в существовании Бога и в том, что Иисус Христос — его сын.

Юхан Окерблюм. И именно в э т о м вы убеждены?

Хенрик. Имей я более острый ум, возможно, я бы и подверг мое убеждение сомнению. У по-настоящему гениальных религиозных деятелей непременно бывают периоды жестоких сомнений. Порой мне хочется быть сомневающимся, но увы. Я довольно наивный человек. У меня детская вера.

Юхан Окерблюм. В таком случае вы не боитесь смерти? Например?

Хенрик. Да, не боюсь, но робею.

Юхан Окерблюм. Значит, вы верите, что человек воскреснет к вечной жизни?

Хенрик. Да, в этом я твердо убежден.

Юхан Окерблюм. Черт побери! И отпущение грехов? И причастие? Кровь Иисуса пролита ради тебя? И кара? Ад? Вы, стало быть, верите в своего рода ад, судя по всему.

Хенрик. Так рассуждать нельзя: вот в это верю и в это тоже, а в то не верю.

Юхан Окерблюм. Да, да, естественно.

Хенрик. Архимед сказал: дайте мне точку опоры, и я переверну земной шар. Для меня точка опоры — причастие. Этим Бог через Христа заключил соглашение с людьми. И мир изменился. Кардинально и решительно.

Юхан Окерблюм. Так, так. Это вы сами придумали? Или где-нибудь прочитали?

Хенрик. Не знаю. Это так важно?

Юхан Окерблюм. Ну ладно, а вся окружающая нас чертовщина? Как она соотносится с Божьим соглашением?

Хенрик. Не знаю. Кто-то сказал, что мы довольствуемся слишком короткой перспективой.

Юхан Окерблюм. Осмелюсь заметить, что ваши ответы весьма точны. Как у настоящего иезуита. И когда же вы завершите учебу?

Хенрик. Если все пойдет как должно, я получу сан через два года. И почти сразу же приход.

Юхан Окерблюм. Не очень-то жирно для начала, а?

Хенрик. Не слишком.

Юхан Окерблюм. Недостаточно, чтобы создать семью? А?

Хенрик. Церковь предпочитает, чтобы молодые священники женились пораньше. Жены играют важную роль в делах прихода.

Юхан Окерблюм. И сколько же им платят?

Хенрик. Насколько я знаю, ничего. Жалованье пастора — это одновременно и жалованье его жены.

Юхан Окерблюм поворачивает голову к ослепительному летнему свету, лицо у него серое, щеки ввалились, мягкий взгляд за стеклами пенсне заволокло пеленой физической боли.

Юхан Окерблюм. Что-то я вдруг страшно устал, должен ненадолго прилечь.
Хенрик. Надеюсь, я не причинил вам каких-то неудобств.
Юхан Окерблюм. Нет, никоим образом, мой друг. Больной человек, редко размышляющий о конце, может, по вполне понятным причинам, испытать определенное потрясение от разговора о смерти.

Юхан Окерблюм, приветливо глядя на Хенрика, делает ему знак, чтобы тот помог ему встать с кресла. Точно по мановению волшебной палочки появляются фру Карин и Анна, которые и берут на себя заботу о транспортировании больного.

Дабы Юхану Окерблюму не приходилось подниматься по лестнице на второй этаж, ему устроили спальню в бывшей детской, самой солнечной комнате в доме. Он опускается на кровать, под правым коленом — подушка. Приспущенная маркиза окрашивает комнату в нежно-розовый цвет. Окно открыто, шумят березы. От железнодорожного моста доносится гудок скорого поезда из Стокгольма, который не останавливается на этом полустанке. Юхан Окерблюм подносит к глазам золотые часы, проверяет. Карин стоит у изножья кровати, расшнуровывая ему ботинки. «Увы,— вздыхает Юхан Окерблюм,— не набрался я духу поговорить с нашим гостем. Абсолютно был не в состоянии поговорить с ним о том, о чем ты просила меня».— «Значит, придется мне»,— отвечает Карин Окерблюм.

Вечером за обеденным столом — чтение вслух. Керосиновая лампа освещает мягким светом лица членов семейства, собравшегося в полном составе. За окнами опускаются тихие августовские сумерки.

Во время вечернего ритуала все занимают строго определенные места: читающий, сегодня это фру Карин, восседает в торце. Она читает отрывки из «Иерусалима» Сельмы Лагерлёф. Ближе всего к Карин — девочки с рукоделием в руках. По длинную сторону стола справа сгруппировались жены. Марта тонкой кисточкой что-то рисует на пергаменте. Свеа, закрыв глаза, сосредоточилась на грызущей ее изнутри болезни. За противоположным торцом Анна с Эрнстом склонились над головоломкой, которую они выкладывают на деревянной доске. Начальник транспортных перевозок устроился в качалке у окна (никому из остальных членов семьи и в голову не придет занять его место). Он в тени, взгляд его устремлен на сумеречный ландшафт и холодный лунный свет, окрашивающий листья пеларгоний в бледно-фиолетовый цвет. Карл принес собственный столик и собственную керосиновую лампу. Негромко пыхтя, он копается с конструкцией из базальтового дерева и тонких стальных проволочек. По его словам, он строит аппарат для измерения влажности воздуха. Оскар с Густавом уютно дремлют на длинном диване под маятником, каждый в своем углу. Перед ними на журнальном столике стаканы с вечерним грогом, бутылки с водой «виши» и коньяк.

Ну, и наконец, Хенрик расположился где-то с краю компании или, возможно, вне компании, трудно сказать. Он сидит на узком плетеном стуле возле двери в кухню и, посасывая потухшую трубку, разглядывает собравшихся, переводит взгляд с лица на лицо, останавливается на Анне. Анне, которая вроде бы так увлечена головоломкой, Анне, которая припала к брату, Анне, которая сегодня собрала свои густые волосы в пучок. Улыбка Анны, душевность Анны, Анна в надежном кругу семьи. Взгляни на меня, хоть на миг. Нет, она поглощена, недосягаема в пределах магического круга света. Вот она что-то шепчет Эрнсту. Мимолетная заговорщическая улыбка. Взгляни на меня, хоть на миг! Нет. Хенрик

взращивает в себе тихую грусть, элегическое чувство отъединенности. В это мгновенье его лихорадит от чего-то, что он бы назвал безнадежной любовью. В то же время, дрожа от удовольствия, он понимает, что он никчемный человек. Он бредет в тени, далеко за пределами Милости. Его никто не видит, и это правда.

Фру Карин читает, четко выговаривая слова, с приглушенным драматизмом. Когда попадаются диалоги, она дает беглую характеристику действующим лицам. Взвешенно расцвечивает прочитанное, безыскусно сопереживает, позволяет себя увлечь.

Карин. «Войдя, жена пробста остановилась на пороге и обвела взглядом комнату. Кто-то пытался с ней заговорить, но в тот день она ничего не слышала. Подняв руку, она произнесла сухим, жестким голосом, так, как нередко говорят глухие: «Вы больше не приходите ко мне, поэтому я пришла к вам, чтобы сказать — не ездите в Иерусалим. Это город зла. Там распяли нашего Спасителя!» Карин хотела ей возразить, но та, не слушая, продолжала: «Это город зла, там живут дурные люди. Там распяли Христа. Я пришла сюда,— продолжала она,— потому что это хороший дом. У Ингмарссонов доброе имя. Всегда было доброе имя. Вы должны остаться дома!» И, повернувшись, она вышла. Она выполнила свой долг, теперь можно умереть спокойно. Это был последний поступок, которого потребовала от нее жизнь. После ухода старой жены пробста Карин Ингмарсдоттер заплакала. «Может, нам не надо ехать»,— сказала она. Но в то же время ее обрадовали слова старой жены пробста: «У Ингмарссонов доброе имя. Всегда было доброе имя». То был первый и последний раз, когда Карин Ингмарсдоттер видели сомневающейся в великом замысле».

Карин Окерблюм с легким стуком захлопывает книгу, маятник над диваном как раз бьет десять, пора расходиться. «Подумать только, все эти благие намерения,— говорит Свеа, открывая глаза и прищуриваясь на лампу.— Все эти благие намерения приносят столько несчастий. Ведь кончилось-то все это сплошными несчастьями».

Карин *(дружелюбно)*. А я и не знала, что Свеа уже читала «Иерусалим».
Свеа. Милая Карин, я его прочла еще семь лет назад. Когда страдаешь бессонницей, успеваешь много чего прочесть.

Карин, сделав протестующий жест, похлопала Свеу по руке. Как все пышущие здоровьем люди, она не любит разговоров о болезнях.

Карин. Вот увидишь, Свеа, эти новые таблетки с бромом совершат чудо. Девочки, как следует уберите за собой. Идите! Юхан Окерблюм, ну-ка, я помогу тебе с ботинками. Оскар, завтрак для тебя будет готов в семь утра, так что ты спокойно успеешь на стокгольмский поезд. Я велела Лисен подать тебе завтрак в семь. Идем, Юхан, где твоя палка? Анна, будь добра, вынеси поднос с грогом и убери в шкаф коньяк. Анна, Эрнст и кандидат, задержитесь, я скоро вернусь, нам надо кое о чем поговорить. Марта, пожалуйста, открой дверь, вот так, осторожней, Юхан, не споткнись о порог! Больно уж он высок, в нем вообще никакой надобности нет!

Все беспорядочно желают друг другу спокойной ночи. Марта исчезает на веранде покурить. Свекровь не жалует курящих женщин. Хенрик, Анна и Эрнст укладывают в коробку головоломку — получился замок в Нормандии с мостом и телега, запряженная быками. Оскар поспешно удаляется в уличный нужник, фонарь исчезает в ночи. Карл осторожно уносит стол и лампу к себе на мансарду, свою бывшую детскую. Густав выбирает что-нибудь почитать в книжном шкафу со стеклянными дверцами. Спокойно спи, спокойно спи, вот день один еще прошел и не вернется более, спокойно спи, усни.

Анна, Хенрик и Эрнст сидят за обеденным столом. Из холла появляется фру Карин. Она переоделась в мягкий халат фиолетового цвета (весьма

строгий, ведь в доме гость). Она садится во главе стола и рукой разглаживает клеенку, которой всегда накрывают стол после ужина. Проводит по клеенке еще раз, на сильных пальцах поблескивают широкие обручальные кольца.

Карин. Эрнст предложил, чтобы вы все трое совершили велосипедную прогулку на летнее пастбище в Бэсна. Если я верно поняла, вы собираетесь там переночевать. Я случайно узнала, что Эльяс в этом году необычно рано отправил своих людей и скот домой. Таким образом, постройки пусты. Эрнст сказал, что Эльяс и его отец разрешили вам занять их на несколько дней. *(Пауза.)* Я, естественно, р е з к о о т р и ц а т е л ь н о отношусь к вашим планам.
Эрнст. Но, мамочка, милая!
Карин *(поднимает руку)*. Дай мне договорить. Я резко отрицательно отношусь к вашим планам, но не намерена запрещать вам осуществить их. *(Саркастически улыбается Хенрику.)* Мои дети решительно утверждают, что они взрослые и должны сами отвечать за себя. Родителям остается ожидать последствий. Альтернатива отнюдь не радует. Нити, связывающие стариков и молодежь, весьма тонкие. Нам, старикам, дорога эта связь, и мы оберегаем ее, постоянно идя на компромиссы. Молодежь же, наоборот, с легкостью ее обрывает, если им что-то не по вкусу. Я вас не упрекаю, просто это так и есть. Вы пользуетесь собственной дерзостью и юношеской бесцеремонностью. Наша задача — наблюдать. Короче, я намерена до известных пределов соблюдать нейтралитет. И еще одно: я собираюсь во всех случаях извещать вас о своих планах. Чтобы не было недоразумений, поясню: вы всегда будете знать мое мнение. Вопросы есть?
Анна. Мама, а откуда вам известно, что вы всегда правы? Мы ведь тоже можем быть правы. Разве нет?
Карин. Ты не очень верно истолковала мою мысль. У меня есть опыт, у тебя его нет. Я научилась оценивать свои поступки в более отдаленной перспективе. Ты поступаешь, как тебе заблагорассудится. Молодым это свойственно. В твоем возрасте я тоже так поступала.
Анна. Вы, мама, естественно, слегка подпортили нам удовольствие своими темными и угрожающими речами. Ничего не скажешь, весьма изощренно.
Карин. Если бы ты смогла прочитать мои мысли, если бы смогла заглянуть в мою душу, как это называется, ты бы не нашла там ни угроз, ни — как ты выразилась — изощренности. Ты бы, наверное, обнаружила только несуразную любовь к тебе и твоему брату. Вот что ты бы там увидела.

Анна сразу же кидается к матери и повисает у нее на шее. Карин Окерблюм, позволяя себя обнимать, легонько шлепает дочь по мягкому месту. Молодые люди не проронили ни слова во время этого разговора, который хоть и велся на их родном языке, но остался им совершенно непонятен.

Эрнст. Мама у нас шутница. А тебе так не кажется, Хенрик?
Хенрик. Честно говоря, я не совсем понимаю, что происходит. Объясни, пожалуйста.
Карин *(энергично)*. Вот именно. А теперь идем спать. Я хочу сказать, я иду спать. Вы, наверное, хотите посидеть еще? В буфете есть начатая бутылка красного вина. Спокойной ночи, Эрнст, поцелуй маму. Спокойной ночи, Анна, не разговаривайте слишком громко, помните, что папа в соседней комнате. Он еще с часок почитает, а потом должна быть тишина. Спокойной ночи, Хенрик Бергман. Мой муж сказал, что ваша утренняя беседа произвела определенное впечатление.
Хенрик *(отвешивая поклон)*. Спокойной ночи, фру Окерблюм.
Карин. Анна, не забудь погасить лампу и запри двери на веранду.

Они выезжают в пять утра. Через несколько часов ветер стихнет и станет душно. Солнце в серой дымке, но свет резкий, без теней.

Дорога изобилует пригорками. Слепни злобно атакуют спины и шеи, кусаются мухи. После старой паромной переправы становится полегче. Над вересковой пустошью поднимается ветер, они купаются в глубокой, ледяной воде быстрой Будаон. Перекусывают бутербродами, запивая их соком, настроение поднимается. Эрнст со смехом горько жалуется: совершенно непонятно, как могут взрослые люди в здравом уме каждое лето, ежегодно, с тех пор как он себя помнит, губить себя, теснясь на даче начальника транспортных перевозок, заявляя при этом, что все замечательно. «Строго между нами, должен тебе признаться, дорогой Хенрик, что чем сильнее усталость папы, тем хуже становится положение. Мама, чувствуя, что вся ответственность падает на нее, развила в себе потрясающую способность манипулировать и подавлять. Но сейчас мы находимся на расстоянии тридцати километров от этого жуткого скопища недоразумений, растерянности и подчинения. Выпьем за свободу, дети мои!» И они чокаются черносмородинным соком.

«Легко быть неблагодарным,— говорит Анна.— Мама старается изо всех сил. От этого плохо спит и не находит себе места. И чем больше она устает, тем с большим рвением влезает во все хозяйственные мелочи. И, конечно, ругается, а мы сердимся и бываем несправедливыми».— «Да, да,— добавляет Эрнст,— мы с Анной постоянно говорим о маме. И по большей части мы к ней несправедливы. Но нам надо беречь свои предохранительные клапаны. Представьте себе папу в те дни, когда он еще был в расцвете сил, и маму с ее изнуряющей компетентностью. Неудивительно, что братья стали такими, какие они есть. Мы с Анной легко отделались».— «Я уж постараюсь держать Хенрика подальше от нашей семьи»,— вдруг говорит Анна и краснеет.

К полудню они добираются до цели и быстро устраиваются. Постройки представляют собой скопление небольших домиков, прилепившихся к опушке леса под горой. Лужайка спускается к круглому озеру, которое называется Дювчерн, у его дальнего берега плавают кувшинки. Их стебли скрыты в бурой воде.

В жилом доме всего одна комната, которая служит и спальней, и кухней. Хозяева и работники только что вернулись с летних пастбищ домой убирать и молотить хлеб, все прибрано и вымыто, но полно дохлых мух. Пахнет кислым молоком и въевшимся печным дымом. За углом дома — заросли дикой малины. Над источником высится старый колодец с журавлем. Холодная вода имеет привкус железа. У крыльца — две срубленные и увядшие березки.

После того как все трое разложили вещи и обустроились, Эрнст объявил, что собирается подняться к озеру половить форелей и проформы ради интересуется, не хочет ли кто-нибудь составить ему компанию. Ни Анна, ни Хенрик не высказывают горячего желания. Эрнст говорит, что он это прекрасно понимает, но добавляет, что вернется к ужину, который будет приготовлен из его улова. Затем, попрощавшись, перебрасывает удочку через плечо и удаляется в сторону горы.

Анна с Хенриком предоставлены самим себе и друг другу. Их кольцом охватывает напряженная тишина. Оглушительная, сбивающая с толку и, несмотря ни на что, неожиданная. Они начинают целоваться по дороге к озеру, где намеревались полюбоваться кувшинками. Возвращаются в дом и, заперев дверь, продолжают целоваться. «Нет,— говорит Анна,— нельзя, невозможно, Хенрик. У меня месячные».

Но, не переставая целоваться, они сбрасывают кое-какие предметы туалета. И приземляются на кровати, покрытой грубым, колючим, словно иголки, одеялом,— но это не помеха. Внезапно все оказывается в крови, кровь повсюду. «Больно, поосторожнее, мне больно»,— говорит Анна. Потом забывает про боль, или же ей больше не больно. Плевать, что все в крови, пульс на шее Хенрика бьется у нее на губах. Она всхлипывает и смеется, крепко прижимает его к себе. Через несколько мгновений все в прошлом, но это прошлое имеет решающее значение.

Многое имеет решающее значение, когда пытаешься проанализировать

событие задним числом и можешь прочитать резюме. Тем более событие, состоящее из нескольких беспорядочно разбросанных осколков. Приходится дополнять с помощью разума и возможного вдохновения. Иногда я слышу их голоса, но очень слабые. Они подбадривают меня или протестуют — все было совсем н е т а к. Н а с а м о м д е л е было вовсе не так.

По поводу изложенного выше эпизода я не слышал каких-либо комментариев ни того, ни другого сорта. Помню, мама как-то сказала: «Конечно, мы ездили на велосипедах на летние пастбища в Бэсна. Когда мы приехали, Эрнст отправился ловить форель. Вернувшись, он продемонстрировал нам жирного угря. Я отказалась его убивать, и мы выпустили его в Дювчерн, а на ужин пожарили свинину с картошкой. Это я помню».

Сейчас они сидят на поломанных льдом мостках со щеткой и зеленым мылом — трут старое покрывало, очень неохотно расстающееся с пятнами крови.

Анна. Этой весной у нас была практика в больнице Саббатсберг. Мы с моей соседкой по комнате попали в мужское отделение, где лежат чахоточные на последней стадии. Это был кошмар, просто кошмар. Сколько горя, сколько страданий. Сперва я несколько раз на дню выбегала из палаты — меня рвало, а Паула грохнулась в обморок, когда доктор показывал пациента с пролежнями по всему телу. Да, странное было время, почти как сон. Мы обмывали их, когда они делали под себя, и научились ставить катетеры в разные места. Они мерли точно мухи, только ширмы успевай ставить. А иногда по ночам нужно было сидеть возле кровати, держать какого-нибудь беднягу за руку и смотреть, как он отходит. Мне казалось, что я уже никогда не буду прежней Анной, и радовалась этому. И еще я думала про тебя, Хенрик. Как по-твоему, пятна отстирались? Нет, вот еще одно. Я думала о тебе, Хенрик. И о нас, когда мы поженимся. Представляешь, какой н е п р е в з о й д е н н о й п а р о й мы будем? Ты — священник, я — сестра милосердия! Такое впечатление, что наши жизни идут по определенному п л а н у. Мы явились на свет, чтобы вместе совершить что-то для людей. Ты врачуешь души, а я тело. Разве не здорово! Не будь это столь немыслимым, можно было бы подумать, что за этим стоит Бог. Как по-твоему?

Хенрик закрывает лицо руками и замирает, он слишком ослеплен пылкой любовью, льющейся из глаз Анны.

Анна. Что с тобой, Хенрик?
Хенрик. Мне кажется, это запрещено.
Анна. Я не понимаю, о чем ты.
Хенрик. Человеку не может быть дозволено столько счастья. Кара наверняка не за горами.
Анна. После дождя светит солнце. *(Вытягивает вверх руку, откидывает голову, секунду-две молчит.)* Дует ласковый ветер. Мы любим друг друга и будем вместе. Мы *(опускает руку и прижимает ее к щеке Хенрика)* будем жить д р у г д л я д р у г а и п р и н о с и т ь п о л ь з у д р у г и м л ю д я м. И у наших детей будут ясные души, как у нас.
Хенрик. Замолчи. Мне кажется, что существует тайная космическая зависть, которая наказывает людей, ведущих такие речи.
Анна. Тогда я вызываю космическую зависть на дуэль, и, клянусь, я знаю, кто победит! Давай-ка повесим это покрывало на солнце сушиться. И от нашего грехопадения не останется и следа.

С самого начала было решено, что Хенрик останется на даче до четверга 22 августа. В среду после обеда Хенрик, сидя в комнате Эрнста за коричневым секретером, пытается сосредоточиться на своей экзаменационной проповеди. В доме пусто и тихо, семейство вместе с гостями, прибывшими на автомобиле из столицы, отправилось в горы на обзорную площадку. Начальник транспортных перевозок дремлет в кресле на веранде.

Сири и Лисен расположились на скамейке, обращенной к заходящему солнцу. Они чистят лисички из стоящей между ними корзины.

Карин Окерблюм словно бы случайно осталась дома, сославшись на легкую простуду. Словно бы случайно она стучится в дверь комнаты младшего сына и, не дожидаясь ответа, заглядывает внутрь. Хенрик тут же встает. Фру Карин, извинившись, говорит, что вовсе не собиралась мешать, просто хотела узнать, взял ли Эрнст с собой вязаный жакет, а то бы она его заштопала, там на локте большая дыра. Словно бы случайно она входит и быстро обводит взглядом комнату. На руке у нее висит хитроумно сделанный мешочек с принадлежностями для рукоделия. С приветливой улыбкой она спрашивает Хенрика, не помешала ли. Хенрик с поклоном заверяет ее, что нисколько.

«В таком случае я хочу попросить вас о помощи»,— говорит она, быстро выуживая из глубины мешочка толстый моток пряжи и надевая его на вытянутые руки Хенрика. Она предлагает сесть друг напротив друга у раскрытого окна. Дикий виноград, добравшийся уже до самой крыши, начал краснеть, ноготки на клумбе источают слабый кисловатый запах осени. Но на улице все еще по-летнему тепло, и над речкой, переливающейся в лучах яркого послеполуденного солнца, дует летний ветерок.

Имей Хенрик хоть какое-нибудь представление о фру Карин Окерблюм, он бы поостерегся. Он же летит вниз головой во все ямы, без оглядки попадает во все ловушки. Ее способность выуживать признания хорошо известна. Сейчас у нее на губах играет безмятежная улыбка, руки Хенрика связаны синей шерстяной нитью. Пряжа сматывается споро.

Карин. Вы, кандидат, завтра едете в Сёдерхамн навестить вашу мать?
Хенрик. Пожалуй, я поеду прямо в Уппсалу.
Карин. Но до начала семестра есть же еще время?
Хенрик. Мне надо найти комнату и устроиться. Кроме того, подучить церковную историю.
Карин. Вот как, вы сдавали экзамен по церковной истории. У профессора Сюнделиуса, наверно?
Хенрик. Да. Довольно неудачно.
Карин. Профессор Сюнделиус — настоящий мучитель студентов. Я помню его еще молодым, он бывал у нас в доме. Видный юноша, но страшно надутый. Потом он женился на деньгах и каменном особняке и сделал карьеру в кругу политиков-либералов. Говорят, все идет к тому, что он станет министром.

Карин Окерблюм бросает взгляд в окно, она, кажется, о чем-то задумалась. Но тут заело нитку, и она, наклонившись, распутывает пряжу.

Карин. Как вам у нас понравилось?
Хенрик. Спасибо, все было прекрасно. Эрнст — хороший друг.
Карин. Эрнст — славный мальчик. Мы с Юханом невероятно гордимся им. Но пытаемся обуздать свои чувства. Иначе, возлагая на него слишком большие надежды, мы рискуем затормозить его развитие.
Хенрик. По-моему, Эрнст не чувствует никакого давления. Он необычайно свободный человек. Пожалуй, единственный по-настоящему свободный человек из тех, кого я знаю.
Карин. Меня радуют ваши слова, кандидат.
Хенрик. Я очень привязан к нему. Он мне как брат.
Карин. Мне кажется, что и Эрнст рад вашей дружбе. Он это повторял неоднократно.
Хенрик. Вы, фру Окерблюм, только что были настолько любезны, что спросили, как мне понравилось у вас. Я ответил, естественно, что все было прекрасно. Это не совсем правда. Я испытывал страх и напряжение.
Карин. Господи, друг мой! Почему страх?
Хенрик. Семейство Окерблюмов для меня — незнакомый мир. Хотя моя мать и положила столько трудов на мое воспитание.

Карин. Милый мальчик! Неужели было так тяжело?
Хенрик. Все бы ничего, если бы я не чувствовал критического отношения.
Карин. Критического отношения?
Хенрик. Семья настроена критически. Меня взвесили на весах и посчитали слишком легким.
Карин *(смеется)*. Послушайте, кандидат! Так бывает во всех семьях, мы наверняка ничуть не хуже других. И, кроме того, у вас два весьма компетентных и преданных защитника.

Хенрик чересчур поздно сообразил, что капкан захлопнулся. Возможностей защищаться у него сильно поубавилось.

Хенрик. Дело, быть может, обстоит гораздо хуже. Я чувствовал себя нежеланным.

Фру Карин чуть улыбается, продолжая сматывать пряжу. Она не сразу отвечает, что приводит его в замешательство. Ему, верно, чудится, что он зашел слишком далеко, преступил границы вежливости.

Карин. Вы так считаете?
Хенрик. Прошу извинить меня. Я не хотел быть невежливым. И все же не могу освободиться от ощущения, что меня здесь едва терпят. Особенно мать Эрнста и Анны.

Снова молчание. Фру Карин утвердительно кивает: я поняла вас и собираюсь обдумать ваши слова.

Карин. Я попытаюсь быть откровенной, хотя, не исключено, буду вынуждена ранить ваши чувства. В таком случае это произойдет ненамеренно, моя антипатия, или как это еще назвать, не носит личного характера. Мне даже кажется, что я смогла бы питать дружеские и материнские чувства к юному другу Эрнста. Ведь я вижу, что он эмоциональный, ранимый и мягкий человек, который уже испытал удары жестокой во многом действительности. Моя антипатия, если мы назовем так мое отношение к вам, связана целиком и полностью с Анной. Я хорошо знаю свою дочь и считаю, что ее привязанность к вам, кандидат Бергман, приведет к катастрофе. Это сильное слово, я понимаю, что это может показаться преувеличением, но тем не менее я вынуждена употребить именно слово «катастрофа». Ж и з н е н н а я к а т а с т р о ф а. Не могу представить себе более невозможного и рокового сочетания, чем наша Анна и Хенрик Бергман. Анна — девочка избалованная, с сильной волей, эмоциональная, нежная, исключительно умная, нетерпеливая, грустная и веселая одновременно. Кто ей нужен, так это з р е л ы й ч е л о в е к, способный воспитывать ее с любовью, твердостью и самоотверженным терпением. Вы очень молоды, плохо знаете жизнь, и, как я опасаюсь, давно носите в своей душе глубокие раны, не поддающиеся ни лечению, ни утешению. Анна придет в отчаяние от своих безнадежных попыток унять боль и исцелить. Поэтому я прошу вас...

Фру Карин смотрит на растущий в ее руках синий клубок, прикусив губу, щеки ее пошли красными пятнами.

Хенрик. Разрешите мне кое-что сказать.
Карин. Да. *(Рассеянно.)* Конечно.
Хенрик. Для меня подобный разговор неприемлем. У вас, фру Окерблюм, как у матери Анны, могут быть какие угодно причины отравлять меня описанием моей жалкой духовной жизни. Заверяю вас, что большинство стрел попало в цель. Яд, вероятно, окажет задуманное действие. Тем не менее ваши нападки непростительны. Постороннему человеку, будь то сама Богоматерь, не дано понять то, что происходит в душах двух людей. Ваша семья имеет обыкновение читать по вечерам Сельму Лагерлёф. Разве из

прочитанного вам не стало ясно, что писательница говорит о любви как единственном земном чуде? Чуде, которое преображает. Единственном настоящем спасении. Может, ваша семья считает, что писательница все это выдумала, чтобы сделать свои мрачные сказки чуть привлекательнее?
Карин. Я прожила достаточно долгую жизнь, но ни разу не видела и намека на чудо — ни земное, ни небесное.
Хенрик. Вот именно, фру Окерблюм. Австралия не существует, потому что фру Окерблюм не видела Австралии.

Фру Карин бросает острый, но уважительный взгляд на Хенрика Бергмана. На ее губах мелькает улыбка.

Карин. Боюсь, наша беседа становится чересчур теоретической. На практике же ситуация такова, что я всеми силами и в с е м и с р е д с т в а м и буду препятствовать дальнейшим любовным отношениям моей дочери.
Хенрик. По-моему, это нереальное решение.
Карин. Что же в нем нереального?
Хенрик. У вас нет возможностей помешать Анне. Думаю, такая попытка приведет лишь к ненависти и ссорам.
Карин. Будущее покажет.
Хенрик. Вот именно, фру Окерблюм! Будущее покажет последствия роковой ошибки.
Карин. Чьей ошибки?
Хенрик. Я иду к Анне рассказать о нашем разговоре. Потом посмотрим, что нам делать.
Карин. Кстати, а как с вашей помолвкой, кандидат? Я имею в виду, конечно, помолвку с Фридой Странберг? Насколько я понимаю, вы ее не разорвали. Фрёкен Странберг по крайней мере отрицает факт разрыва.

Хенрик опускает руки с остатками синей пряжи. Ему в голову забили гвоздь. Гвоздь проник в самое сердце, в желудок. Взгляд Хенрика теряет всякое выражение.

Хенрик. Откуда вам...
Карин. Откуда нам известно? Мой пасынок Карл провел расследование. Мы узнали правду еще за неделю до вашего приезда сюда.
Хенрик. И теперь вы расскажете эту правду Анне.
Карин. Я ничего не собираюсь говорить своей дочери. При условии, что мы с вами заключим соглашение.
Хенрик. Соглашение? Или ультиматум?
Карин. Хорошо, пусть ультиматум, если вы так придирчивы.
Хенрик. Я должен уехать?

Фру Карин требовательно кивает. Она держится спокойно и с достоинством. Ни на полном лице, ни в пронзительных серо-голубых глазах нет и намека на гнев.

Хенрик. Вы разрешите мне написать письмо?
Карин. Разумеется.
Хенрик. Эрнст знает?
Карин. Он ничего не знает. Знаю только я одна. И, конечно, Карл.
Хенрик. И на что же мне сослаться?
Карин. Вы хорошо умеете лгать. В данном случае это качество может пригодиться. Извините, это было гадко с моей стороны.
Хенрик. Я обязан написать правду.
Карин. Делайте, как считаете нужным. В любом случае слез не избежать.
Хенрик. Разрешите мне задать последний вопрос?
Карин. Пожалуйста.
Хенрик. Почему вы разрешили мне сюда приехать? Несмотря на то, что вам было все известно. Совершенно непостижимо.

Карин. Вы так считаете? Мне хотелось поближе посмотреть на предмет страсти моей дочери. А несчастье все равно ведь уже произошло.
Хенрик. Что вы имеете в виду под «несчастьем»?
Карин. То же самое, что и вы, кандидат.
Хенрик. В таком случае должен вам сказать, фру Окерблюм, что вы грубо ошибались.
Карин. Вот как, ну-ну. А сейчас?
Хенрик. Это касается только нас с Анной.
Карин. Идите и пишите письмо, кандидат Бергман! И уезжайте трехчасовым поездом. Анна вернется позже, когда...
Хенрик. ...когда меня уже не будет.

Пряжа кончилась, клубок смотан. Карин Окерблюм и Хенрик Бергман встают, не глядя друг на друга. За эти последние минуты между ними выросла стена непримиримой вражды на всю жизнь.

После разговора фру Карин чувствует себя словно выжатый лимон и места себе не находит. То сидит с книжкой в руках, но читать не в состоянии и сдвигает очки в золотой оправе на лоб. То стоит посреди комнаты, прижав палец к губам, а правую руку положив на бедро, потом видит свое отражение в зеркале и отворачивается. Ходит взад и вперед по лоскутному ковру, наклоняется, поправляет бахрому.

Слышно, как открывается и закрывается кухонная дверь — фру Карин осторожно выглядывает из-за шторы. Ну конечно, на лестнице стоит Хенрик, Лисен выносит ему пакет с бутербродами, он беззвучно благодарит, протягивает на прощание руку, берет потрепанный чемодан и быстрыми шагами идет к калитке и лесной тропинке. Карин подмывает открыть окно и вернуть его, но в то же время она осознает, что случилось нечто непоправимое.

Она-то, пожалуйста, готова отвечать. Она никогда не отказывалась от ответственности, и этот чужой человек должен был оставить их дом. Только ради Анны. Или? Хенрик выходит через калитку, не прикрыв ее за собой. Другие причины? Он лжец и обманщик, необходимо оградить Анну. Вот он скрылся из виду за деревьями на крутом пригорке. Открытое, ранимое лицо. Детское лицо. Но ведь это ради Анны? Все, его больше не видно. Не выношу подобной опасной умоляющей мягкости.

Фру Карин опирается ладонями на зеленое, без единого пятнышка сукно стола, волнами накатывает усталость, она сгибается и наклоняет голову. Теперь начнутся борьба, сражение.

Лисен на кухне готовит ужин, состоящий из зажаренной в печи щуки и крыжовенного киселя. Сири накрывает на стол. Карин словно бы случайно проходит через кухню, обронив мимоходом, что ушедшие на прогулку собираются под конец заглянуть к Берглюндам, чтобы отведать свежих сыров тетушки Греты. «Тогда у них к обеду не будет аппетита,— коротко отвечает Лисен.— Надеюсь только, что вернутся вовремя, щука превосходна... А кандидат-то взял и уехал»,— говорит Лисен без всякого выражения. «Да, что-то с матерью»,— рассеянно бормочет Карин, держась за ручку двери. «Но она ведь живет в Сёдерхамне,— по-прежнему вскользь говорит Лисен.— Чего ж он тогда так торопился на стокгольмский поезд?» — «Наверное, сделает пересадку в Борлэнге»,— бросает Карин, перемещаясь в прихожую, где как раз появился Юхан Окерблюм, направляющийся в свою комнату. Он медленно, опираясь на палку, переставляет ноги. «Нам бы надо построить уборную внутри дома»,— говорит он, останавливаясь. «Я талдычу об этом много лет»,— отвечает его жена. «Зимой трудненько будет преодолевать пригорок»,— замечает Юхан. «Будешь ведром пользоваться»,— любезно отзывается Карин. «Да никогда в жизни! — Потом как бы вскользь спрашивает: — Хенрик Бергман вроде бы уехал?» — «Да»,— отвечает уже с лестницы Карин. «Кажется, что-то с матерью? Ясное дело, это ты его выставила,— говорит начальник транспортных перевозок, переступив порог своей комнаты.— Впрочем, и хорошо сделала. Он неподходя-

щая пара».— «Ты же был им так очарован»,— с сарказмом отвечает жена. «Ладно, ладно,— говорит Юхан.— Молодой человек со своими взглядами. Но Анна, похоже, уж слишком увлечена, хотя, конечно, возраст у нее такой».

Дверь закрывается, Карин стоит на лестнице, не зная, подниматься ей или спускаться. Опять навалилась усталость, должно быть, климактерические явления, вдруг приходит ей в голову, и ей становится чуть легче. Войдя к себе, она слышит гудок стокгольмского поезда, приближающегося к станции.

Внизу во дворе Эрнст слезает с велосипеда и бросает на землю ранец и багаж. Мать открывает окно.

Карин. Ты вернулся первый?
Эрнст. Я подумал, что успею окунуться перед обедом. Хенрик дома?
Карин. Он только что уехал.
Эрнст. Что? Хенрик уехал?
Карин. Стокгольмским поездом.
Эрнст. Почему?
Карин. Точно не знаю. Кажется, что-то с матерью.
Эрнст. А Анна знает, что он уехал?
Карин. Откуда? Кандидат Бергман сказал, что напишет письмо.

Карин закрывает окно. «Что, собственно, произошло?» — спрашивает Эрнст, но мать, сделав вид, что не слышит вопроса, лишь пожимает плечами. Потом ложится на кровать, укрыв ноги пледом.

После краткого затишья — слишком краткого — она слышит, как подъезжают лошади и экипаж, с гамом и шумом выгружаются приехавшие, радостно кричат девочки, звенит велосипедный звонок — Карл пожелал ехать на велосипеде. Гвалт разносится по всему дому, смех и болтовня, бурно обсуждается вопрос, не искупаться ли перед обедом. Сердитый голос Марты. Оскар и Густав на террасе с виски. Внезапно бодрые шаги Анны. Вот она увидела письмо, вот открывает его, читает. Быстрые шаги, дверь, решительный короткий стук. Фру Карин не успевает ответить, дверь распахивается, на пороге Анна — бледная, с сухими глазами, в бешенстве. Она обвиняюще протягивает письмо матери, которая садится в кровати, тщетно пытаясь натянуть на себя плед.

Анна. Я не потерплю этого! М а м а! Я н е п о т с р п л ю этого!
Карин. Не ори! Хочешь, чтобы весь дом услышал! Войди и закрой дверь. Сядь.

Анна захлопывает дверь, но остается стоять. Через минуту она овладевает собой.

Анна *(спокойно)*. Он пишет, что мы больше никогда не увидимся.
Карин. У него могут быть свои причины.
Анна. В этом письме нет ни одной разумной причины. Кто заставил его написать? Ты?
Карин. Нет, я его не заставляла. Но узнав кое-какие обстоятельства, я посоветовала ему уехать и никогда больше не появляться.
Анна. Какие еще обстоятельства?
Карин. Мне бы не хотелось о них говорить.
Анна. Если я не узнаю правды, немедленно поеду и разыщу его. И никто меня не остановит.
Карин. Ты меня вынуждаешь.
Анна. Что известно вам, чего не знаю я? Про его невесту, что ли, эту Фриду? Об этом он мне сказал. Я знаю все. Он был со мной абсолютно откровенен.
Карин. Не думаю, что абсолютно.
Анна. Вы, мама, намеренно хотите сделать мне больно.
Карин. Послушай, девочка моя. У твоего брата Карла есть совершенно

точные доказательства, что Хенрик Бергман продолжает жить с этой женщиной. Если желаешь, я могу...
Анна *(жест рукой)*. Нет.
Карин. Если желаешь, я могу позвать Карла, чтобы он подтвердил свои сведения.
Анна *(жест рукой)*. Нет.
Карин. В детали вдаваться не буду. Сама делай выводы.
Анна *(жест рукой)*. Нет.
Карин *(спокойно)*. С первого момента я почувствовала что-то неприятное в этом человеке. Конечно, он достоин сожаления, я имею в виду — безотцовщина, бедность, трудное детство. Все это очень трогательно, и не скрою, вызвало у меня определенное сочувствие и колебания. *(Пауза.)* Ты молчишь?
Анна. Значит, Карл шпионил?
Карин. Собственно, ему этого не понадобилось делать. Скорее, его просветили, и он счел нужным поставить в известность меня.
Анна. ...я этого не потерплю.
Карин. ...и что ты намерена делать?
Анна. ...этого я не скажу.
Карин. ...как бы то ни было, пора обедать. Ты, наверное, предпочитаешь поесть у себя. Я велю Лисен принести тебе молока и бутербродов.

Усталость фру Карин прошла, она энергично поднимается с кровати, складывает плед, расправляет покрывало и проверяет у зеркала прическу. Потом подходит к стоящей в дверях дочери.

Анна. ...я этого никогда не прощу.
Карин *(мягко)*. ...кого ты никогда не простишь? Меня или твоего друга? Или, быть может, жизнь? Или Бога?
Анна *(мрачно)*. Не говори больше ничего.
Карин. Когда ты все хорошенько обдумаешь, кое-что наверняка поймешь.
Анна. ...я хочу побыть одна.
Карин. Бедная моя девочка.
Анна. ...перестань! Перестань меня жалеть!

Фру Карин собирается что-то добавить, но передумывает и оставляет совершенно потерянную Анну одну.

Ледяной ветер катится по равнине и обрушивается на город, сокрушенно приседающий на корточки: неужто это проклятье начнется уже в конце октября? Значит, зима будет воистину затяжной и тяжелой. Гудит похоронный колокол Домского собора, три часа пополудни свинцово-серого четверга, галки с криком носятся вокруг башен и выступов, под мостами лениво течет бурая Фюрисон. В университетских аудиториях раскаленные глаза железных печек уставились на сонных студентов и бормочущих профессоров, запутавшихся в своих ожесточенных кознях. Угасающий дневной свет вяло борется с грязно-желтым газовым освещением на лестничных пролетах и в коридорах: мыслить свободно — прекрасно, мыслить правильно — еще лучше, не мыслить вовсе — надежнее всего. Это день, когда человек умирает, потому что перестает дышать. С выставленной вперед головой, выпяченными губами и дурным запахом изо рта бредет по крепости знаний Иммануил Кант: «Дабы быть нравственным, необходимо подчиниться нравственному закону из чистого уважения к этому закону в том виде, в каком он выступает в категорическом императиве: поступай так, чтобы максима твоей воли всегда могла стать принципом общего законодательства!»

В четыре часа почти темно. Пошел снег — то колючий, то мягкий, он покрывает площади и крыши. Но сейчас все же лучше: лекции, несмотря ни на что, закончились, и студенты кидаются снежками — друг в друга и в Эрика Густафа Гейера.

Хенрик покинул приятелей, которые поспешили к обжигающему гороховому супу и согревающим дровяным печам «Холодной Мэрты». Он встает напротив дома номер 12 по Трэдгордсгатан. И стоит там час и еще один, весь засыпанный снегом и окоченевший и телом, и душой. Никого не видно, прохожих нет, улица пустынна. В окнах на втором этаже горит свет, иногда по белым занавесям движется тень. За спиной Хенрика в темном пустом школьном дворе хлопает на ветру дверь. В паузах — писк и завывания. В редкие минуты полной тишины он слышит удары собственного сердца. Вот появляется фонарщик, он пересекает улицу и, подняв свою длинную палку, тянет за стальные ушки фонарей. Вокруг фонарей метет и кружится снег. Часы бьют без четверти семь, три звонких удара в далеком мраке, маленький трамвай с резким визгом, вздымая вихри снега, взбирается по склону на повороте от Дроттнинггатан к Домскому собору. За заиндевевшими стеклами мелькают фигуры людей. Потом опять все стихает. Хенрик притоптывает, пальцы в тонких ботинках совсем замерзли, в остальном же он потерял чувствительность: буду стоять здесь, пока она не выйдет. Она должна выйти. Обязательно выйдет.

И наконец она выходит, но не одна, а в сопровождении своей невестки, толстухи Марты. Они выныривают из подворотни, тепло укутанные, дружески болтая. Анна тотчас замечает Хенрика и, бросив что-то своей спутнице, переходит улицу. Ее лицо внезапно освещается фонарем.

Анна. Перестань меня караулить. Нет, не прикасайся ко мне.
Хенрик. Но можем же мы хоть поговорить! Пару минут?
Анна. Ты все не так понял, Хенрик. Я не хочу говорить с т о б о й. Нам больше не о чем говорить. Оставь, пожалуйста, меня в покое.

Анна разражается слезами, она плачет громко и бурно, как ребенок. Колобком подкатывается Марта в тускло поблескивающей шубе и русской меховой шапке. Она сердито дергает Хенрика за рукав.

Марта. Оставь девочку в покое. Не понимаешь, что ли, ты ведь ее пугаешь.
Хенрик. Будьте добры, не вмешивайтесь не в свое дело.
Марта. Ты ведешь себя как идиот. Кстати, у нас нет времени тут с тобой стоять, мы идем на концерт в университет, а сейчас почти семь.
Анна. Пожалуйста, оставь меня в покое. Пожалуйста, Хенрик, по-хорошему прошу тебя. Оставь меня в покое!
Хенрик. Что с тобой? Ты не больна?
Анна. Да. Нет, не знаю. Наверно, мне просто грустно.
Хенрик. Я больше не могу жить.
Анна. Э, не будь так высокопарен. И ты можешь, и я могу.
Хенрик. Анна, п о г о в о р и с о м н о й!
Анна. Не прикасайся ко мне, я сказала. Не прикасайся! Не трогай меня. Ты мне противен.

Ее тон парализует Хенрика. Он никогда не слышал такого тона. Он видит презрение в ее глазах, никогда прежде он ничего подобного не видел (Хенрика жизнь щадила, он как бы был невидимкой. И жил невидимым, ничуть об этом не беспокоясь. К комментариям Фриды относился довольно безразлично. Анна смотрит на него с явным презрением, это очевидно, он не мог неверно истолковать ее взгляд: это относится именно к нему или, скорее, к кому-то, кто находится в самом центре разыгрываемого по ролям действа, кто на один болезненный миг узрел масштаб его нищеты. Так было и так будет до конца жизни. Е г о н а к о н е ц у в и д е л и.). Он отпускает руку Анны и дает ей уйти, плакать она перестала. Вскоре обе женщины скрываются во мраке и снежной поземке.

После Рождества Анне предстояло возвращаться в училище. Все было совершенно не так, как прежде: у начальника транспортных перевозок случился легкий удар, у него парализовало одну половину тела, но паралич, похоже, уже отпускает. Карлу за неделю до Рождества грозило банкротство.

Родители и Оскар спасли его, но назначили финансового опекуна, мачеха выразила желание взять на себя заботу о его финансовых делах. Девочки заболели скарлатиной. Свеа заявила, что это, вероятно, ее последнее Рождество в жизни, а Анна страдала от любовных мук, сочетавшихся с упрямым кашлем, никак не желавшим ослабить хватку. На следующий день после Нового года она получила письмо, написанное незнакомым почерком, ясным и хорошим языком. Она читала его со всевозрастающим удивлением:

«Высокоуважаемая фрёкен Окерблюм! Прошу простить меня за то, что осмелилась побеспокоить Вас, но я сочла необходимым обратиться к Вам по делу, исключительно важному как для Вас, высокоуважаемая, так и для нижеподписавшейся. Осмелюсь ли я попросить Вас о беседе? В таком случае предлагаю встретиться в кондитерской Лагерберга в четверг в два часа. Нижеподписавшуюся очень легко узнать. На мне будет зимнее пальто вишневого цвета и шляпа того же цвета. Если Вы, Высокоуважаемая, сочтете возможным встретиться со мной, я буду чрезвычайно благодарна. Если нет, прошу оставить это письмо без внимания.

Со всем почтением
Фрида Странберг».

В самом начале третьего Анна входит в кондитерскую Лагерберга на углу Дроттнинггатан и Вестра Огатан. Там почти никого. Две пожилые ухоженные дамы с аккуратными прическами и в больших передниках мирно беседуют с профессором гражданского права в котелке. Тихо падает снег. Кафельные печи распространяют ароматное тепло, извлекая розовый переливающийся аккорд из соблазна вкуснейшей сдобы и знаменитых кренделей. Надо всем этим дразнящим контрапунктом парит запах свежесваренного кофе.

Одна из ухоженных дам спрашивает Анну, что та желает, и Анна заказывает шоколад со взбитыми сливками и маленькое кофейное пирожное и просит принести ей это в дальний зал, если можно. Конечно, пожалуйста, проходите, фрёкен Окерблюм.

Фрида Странберг уже на месте, увидев приближающуюся Анну, она встает и протягивает руку. Они сдержанно здороваются, не пытаясь выказать притворную сердечность. На Фриде простое пальто из шерсти вишневого цвета, которое ей весьма к лицу. Шляпа из той же ткани с кожаной отделкой. Анна в элегантной, сшитой по фигуре шубке, подаренной ей на Рождество. На гладкозачесанных волосах небольшой соболий берет.

Фрида. Вы сделали заказ, фрёкен Окерблюм?
Анна. Да, спасибо. Я заказала.
Фрида. Очень мило, что вы пришли.
Анна. Очевидно, из любопытства. *(Кашляет.)*
Фрида. Вы здоровы?
Анна. Простуда никак не проходит.
Фрида. Прошу вас. Выпейте минеральной воды. Я не пользовалась стаканом.
Анна. Спасибо, вы очень любезны.
Фрида. В этом году болеют как никогда.
Анна. Правда?
Фрида. Если люди несчастны, они заболевают. По-моему, этой осенью многие чувствовали себя как никогда несчастными.
Анна. А почему именно этой осенью?
Фрида. Всеобщая стачка, разумеется, и ее последствия.
Анна. Ну да, конечно. Всеобщая стачка.
Фрида. Вы собираетесь стать сестрой милосердия, фрёкен Окерблюм?
Анна. На днях уезжаю в училище.
Фрида. Мне страшно хотелось стать медсестрой. Но я была вынуждена с ранних лет зарабатывать себе на хлеб, так что...

Тут приносят заказ Анны: большую чашку шоколада с шапкой взбитых сливок, кофейное пирожное в гофрированной бумажке и стакан воды. Ухоженная дама улыбается материнской улыбкой и дематериализуется. Фрида смотрит ей вслед.

Фрида. Вы ее знаете?
Анна. Когда мы были детьми, папа водил нас сюда почти каждую субботу.

Наступает то молчание, которое предвещает поворот разговора к его цели. Анна, подавив приступ кашля, отпивает немного воды, пирожное остается нетронутым. Фрида разглядывает свою руку с обручальным кольцом на пальце: письмо написано под влиянием внезапного порыва, это было не так уж трудно. Сейчас задуманное кажется почти невыполнимым.

Я спросил свою мать, как ей запомнилась эта встреча. Поколебавшись, она ответила, что Фрида Странберг понравилась ей с первого взгляда, что она выглядела старше своих лет и более зрелой и «была красива». Кроме того, мать вспомнила, что они обе одновременно посмотрели на обручальное кольцо, и Фрида чуточку смутилась.

Фрида. Мне через полчаса на работу. Поэтому я скажу то, что должна сказать, без обиняков. Это не так-то просто. Когда я писала письмо, мне казалось, что я все вижу четко и ясно, а теперь вот тяжело.

С извиняющейся улыбкой она качает головой. Анна чувствует, как ее лоб и губы окатывает волной жара. Совсем собралась было вынуть из сумки платок, но раздумала.

Фрида. Это касается Хенрика. Я хочу попросить фрёкен Окерблюм принять его обратно. Он буквально — не знаю, как лучше выразиться,— он... разваливается на куски. Это звучит нелепо, когда говоришь вот так, прямо. Но я не могу подобрать более подходящих слов. Он не спит, занимается ночи напролет, и вид у него такой жалкий, что плакать хочется. Все это я говорю не для того, чтобы вызвать сочувствие. Коли сочувствия нет, я имею в виду чувства, то это было бы глупо и бестактно. Я ведь не слишком много знаю о ваших отношениях. Он ничего не рассказывал, я, в основном, сама догадалась.

Нетерпеливый жест и быстрая улыбка. Она, наверное, ждет, чтобы я что-нибудь сказала. Но что можно сказать?

Фрида. Я пытаюсь не сердиться, не обижаться. Ни один человек не властен над своими чувствами. Я, к примеру, ничего не могу поделать с тем, что я прихожу в бешенство. Или с тем, что я люблю его, хоть он и ведет себя как последний слюнтяй. Знаете, что я думаю, фрёкен Окерблюм? Я думаю, он самый боязливый человек, который когда-нибудь ходил по этой земле. Он теперь не хочет быть со мной, но решиться сказать мне: все, Фрида, довольно, между нами все кончено, у меня есть другая,— куда там. Он не осмеливается признаться, что я ему больше не нужна, потому что знает, как я разозлюсь, как мне будет тяжело. Но ничего не говоря, он обижает меня еще сильнее. Я, конечно, плохо знаю, что между вами было или какие у вас, фрёкен Окерблюм, мысли по этому поводу. Но, по-моему, мы все трое — бедолаги, тайком страдаем и плачем. Поэтому я чувствую, что решить дело, так сказать, одним ударом выпало на мою долю. Я должна сказать Хенрику, что не намерена продолжать в том же духе. Ради самой себя. Не намерена больше позволять обижать себя и... унижать, вот именно, унижать. Он спит в моей постели и льет слезы по другой. Это унизительно и для него, и для меня. Унизительно. Сейчас я вам, фрёкен Окерблюм, скажу что-то, о чем думаю беспрестанно: он словно бы не живет по-настоящему, бедолага. Поэтому все становится бессмысленным. Причину, почему у него все так скверно, понять не сложно: его мать — ужасно такое говорить,— его мать высасывает из него

жизнь. Что уж она делает, не знаю, ведь я понимаю — она любит его так, что с ума сходит от страха. Знаете, фрёкен Окерблюм, в моей профессии довольно хорошо узнаешь людей. Я всего один раз видела его вдвоем с матерью. Он не осмелился даже сказать ей, что мы обручены, что носим кольца. Нет, мне была предоставлена честь обслуживать господ, когда они пили кофе в «Флюстрете», я сама все подстроила. Мне хотелось увидеть эту женщину, по-другому называть ее язык не поворачивается. Ой, мне надо бежать, а то опоздаю.

Анна. ...и что я должна делать?

Фрида. ...примите его, фрёкен Окерблюм, надо просто решиться. Хенрик — самый благородный и хороший человек изо всех, кого я знаю. Самый милый, самый добрый, лучше я не встречала. Мне же хочется только, чтобы ему наконец было хорошо, никогда за всю его несчастную жизнь ему не было хорошо. Ему нужен кто-то, кого бы он мог любить, и тогда он перестанет так ненавидеть самого себя. Я правда должна бежать, ох и достанется мне. В общем-то, это неважно, потому как к лету я уйду оттуда, уеду в Худиксвалль. *(Слабо улыбается.)* Вам, может быть, интересно услышать, что я уезжаю из города. Дело в том, что у меня есть хороший друг — нет, друг не в этом смысле,— хороший друг, который живет в Худиксвалле и держит прекрасный пансион, и вот теперь он продает пансион и строит гостиницу. И зовет меня в свою замечательную гостиницу заведовать рестораном вместе с местной девушкой, которая училась ресторанному делу в Стокгольме и Швейцарии. Многие считают, что Норрланд — край с большим будущим, и оказаться там, когда все только начинается, может быть весьма интересно. Так что я уезжаю, конечно, мне будет очень грустно, и я буду плакать, это ясно. Но так лучше для всех. Разрешите мне заплатить за заказ, я заплачу при выходе, если вы, фрёкен Окерблюм, соблаговолите посидеть еще немного, нам, пожалуй, ни к чему показываться вместе на набережной Фюрисон. Ну так, значит, прощайте, фрёкен Окерблюм, и не запускайте этот ваш кашель. *(Идет к выходу, оборачивается.)* Да, еще одно. Не рассказывайте Хенрику о ... я хочу сказать, о моем письме и нашем разговоре. Не надо, он только все запутает. Он всегда все запутывает, бедняга.

Внезапно Фрида Страндберг грустнеет, глаза блестят, губы дрожат. Она делает протестующий жест, я же за все это время ни единой слезы не уронила — сейчас-то с чего, это просто смешно

И она исчезает, колышутся красные занавеси.

После Крещения наступают холода. Дым из труб столбом уходит в небо, с час или два над кирпичной громадой замка горит солнце, вот-вот начнет смеркаться. На горке Каролины беснуются дети и воробьи, окна в морозных узорах, пронзительно звенят колокольчики на дугах впряженных в сани лошадей.

Анна в форменном платье упаковывает вещи, она отправляется в училище, зимние каникулы закончились. Чувствует она себя отвратительно, кашляет, у нее температура, она медленно ходит между шкафом, комодом и гардеробной, присаживается на кровать, замирает на минуту у окна, идет к письменному столу, начинает что-то писать, возможно, письмо, рвет, бросает в мусорную корзину: «Дорогой Хенрик, я хочу, чтобы мы...», а что дальше, не знает. Лихорадка сотрясает тело, иногда ей становится трудно дышать, особенно после приступа кашля.

Входит Эрнст: «Неужели ты серьезно хочешь ехать, ты же больна. Черт подери, у твоего чувства долга должен быть предел. Я был в Старой Уппсале, катался на лыжах. Мороз — двадцать пять градусов. Выпью рюмку коньяку. А потом на работу, у меня вечерняя смена, так что мы, похоже, расстаемся ненадолго. Я приеду в Стокгольм на следующей неделе. И мы сходим в Драматический театр, на последнюю пьесу Стриндберга. Береги себя, моя любимая сестренка. Поцелуй меня. Передать что-нибудь Хенрику? Мы с ним увидимся завтра вечером в хоре. Передать привет? Стало быть, не передам. Прощай, моя ягодка!»

Эрнст уходит, а Анна разражается слезами, она опять плачет, вовсе не желая плакать, не понимает, откуда берутся слезы. В дверь заглядывает мама Карин: «Не выпить ли тебе немножко эмсеровской воды, девочка моя? Дай-ка я попробую твой лоб. Ты, кажется, разболелась всерьез. Сейчас я позвоню директрисе и скажу, что ты больна. Я не собираюсь отпускать тебя в таком состоянии!» Анна недовольно мотает головой: «Оставь меня в покое, уходи, я запрещаю звонить директрисе. Она ненавидит неженок. А вот эмсеровской воды, пожалуй, было бы неплохо выпить».

Фру Карин отправляется вскипятить эмсеровской воды. Анна садится за стол. «Дорогой, милый Хенрик, мы должны...» — но она не знает, что́ они должны, и рвет лист. Раздается робкий стук в дверь. В дверь просовывает голову начальник транспортных перевозок, увидев Анну, он улыбается. Передвигаясь с помощью двух палок, заходит в комнату и опускается на ближайший стул.

Искушение непреодолимо. Анна бросается на колени и обнимает отца: «Милый, дорогой папочка, помоги мне. Я больше не могу. Не знаю, что мне делать, ведь на мне лежит ответственность, понимаешь, а у меня н е т с и л!»

Наконец-то Анна заплакала по-настоящему. Она кашляет, хлюпает носом и плачет, прямо как маленькая девочка — совершенно безутешно. Появляется фру Карин со стаканом дымящейся эмсеровской воды. Она прямо-таки приходит в ужас и, поставив стакан на ночной столик, придвигает стул, чтобы быть поближе к дочери. Время от времени она похлопывает Анну по плечу и по спине.

Карин. Сейчас я уложу мою доченьку в постель и сразу же позвоню доктору Фюрстенбергу и директрисе. После ужина я приду к моей девочке, и мы немножко поболтаем. А потом я тебе дам порошок, чтобы ты хорошо выспалась, и завтра тебе полегчает, и тогда мы все решим. Хорошо, девочка моя?

Анна молча кивает. Пожалуй, так будет лучше.

Следующая сцена разыгрывается через несколько дней после описанных событий. В кадре — студенческая каморка Хенрика. За письменным столом сидит нежданный гость. Это оптовик Оскар Окерблюм. Он в шубе, на ногах боты, каракулевую шапку он положил на Священное Писание. Входит Хенрик, на его лице появляется ошеломленное выражение. Оскар немедленно начинает говорить.

Оскар Окерблюм. Добрый день, кандидат, извините мое непрошеное вторжение, но ваш друг Юстус Барк счел, что он может меня впустить без особого риска. Черт, ну и холодина же у вас здесь! Вы позволите старому человеку остаться в шубе? Нет, нет, не разводите огонь ради меня. Юным сорвиголовам, верно, надо остужать лоб. Почем знать? Будьте так добры, сядьте. Я не отниму у вас слишком много вашего драгоценного времени, господин Бергман. Садитесь же, я сказал.
Хенрик. В чем дело?
Оскар Окерблюм. Скоро выяснится. Скоро выяснится, молодой человек. Умерьте ваш гнев. Я вам не враг. Я лишь передаю сообщение. Семейство сочло, что кандидата нужно поставить в известность и что я для этого самая подходящая кандидатура.
Хенрик. Говорите, что у вас на сердце, и уходите.
Оскар Окерблюм. Вот вы какой тон взяли, молодой человек! Ну да ладно, это облегчает дело.
Хенрик. И прекрасно.
Оскар Окерблюм. Меня послали сюда, чтобы сообщить вам следующее, и слушайте внимательно, кандидат: моя младшая сестра Анна больна. У нее туберкулез. Поражено одно легкое, и есть опасность, что болезнь затронет и другое. Сейчас ее лечат дома. Как только ее состояние позволит,

мать повезет ее в санаторий в Швейцарии, где ей будет обеспечено соответствующее лечение. Помолчите, кандидат, позвольте мне договорить, не прерывайте. Моя сестра Анна просит вам передать, что она больше не хочет иметь с вами дела, господин Бергман. Она н а с т о я т е л ь н о просит не писать ей, не звонить, и не стоять возле дома, и не домогаться ее каким-нибудь другим образом. Она р е ш и т е л ь н о хочет забыть о вашем существовании, господин Бергман! Наш врач говорит, что это будет важной частью ее выздоровления. Мое последнее сообщение — незаслуженная любезность со стороны семьи. В этом конверте — тысяча крон. Прошу вас, господин Бергман. Я кладу конверт на ваш стол. Теперь наша встреча окончена, и я удаляюсь. Позвольте мне только добавить личный комментарий к сказанному ранее. Мне жаль вас, и мне больно видеть, как вы несчастны. Вы наверняка вполне достойный юноша. Мой брат Эрнст решительно утверждает, что вы обладаете талантом, необходимым для серьезного призвания священника. И со временем вы, конечно, извлечете урок из случившегося. *(Наклоняется вперед.)* Нашу жизнь пересекают невидимые барьеры. И эти барьеры преодолевать бесполезно, что в одну, что в другую сторону. Подумайте об этом, кандидат. А теперь давайте скоренько попрощаемся, провожать меня не нужно.

Есть веские причины побыстрее пролистнуть несколько страниц нашего повествования. Таким образом исчезают два года, нырнув, они пропадают в реке времени, почти не оставив после себя следов. Это ведь не Хроника, предъявляющая строгие требования к описываемой действительности, и даже не документ. В моем детстве в еженедельниках публиковались картинки, состоявшие лишь из номеров и точек. Надо было самому карандашом соединять эти точки. И постепенно проступали слон, ведьма или замок. У меня есть фрагментарные заметки, короткие рассказы, отдельные эпизоды — нумерованные точки. Я соединяю их линиями в надежде, возможно, тщетной, что проступит лицо. Может, я вижу очертания правды о своей жизни? Иначе зачем бы мне так стараться? Старые отцовские часы неутомимо тикают на подставке на моем рабочем столе, я взял их из его тумбочки после его смерти вечером в конце апреля 1970 года. Часы тикают, им скоро сто лет. Однажды они почему-то остановились. Я был подавлен, вообразив, что отцу не нравится моя писанина, что он отвергает это запоздалое внимание. Как я ни крутил часы, как ни тряс их, как ни ковырялся и ни дул в них, секундная стрелка отказывалась двигаться. Я спрятал часы в отдельном ящичке письменного стола, это был развод. Мне будет недоставать их тикающего пульса и тихого напоминания о том, что время отмерено. Полежав, часы одумались. На следующее утро я заглянул в ящик, без всякой надежды. Часы неслись во всю прыть. Может, то был добрый знак. Я рассказываю этот эпизод, чтобы вы улыбнулись. Сам я, однако, серьезен.

Проходит два года: умирает Густаф Фрёдинг, его возводят в ранг короля поэзии. Появляется новый сборник псалмов. В автогонках Гётеборг — Стокгольм победитель зафиксировал рекордное время — 22 часа 2 минуты. Приступает к своим обязанностям второе правительство Стаафа, в городе насчитывается тысяча автомобилей. Летом открываются смешанные бани в Мёлле, на месте события присутствуют международная пресса и фоторепортеры еженедельников. Один искатель приключений перелетает через Эресунд, архиепископ Экман противится назначению Бенгта Лидфорсса профессором ботаники, ссылаясь на беспорядочный образ жизни последнего. Метрдотеля Юхана Альфреда Андера, совершившего зверское убийство с ограблением, казнят на только что купленной за границей гуманной гильотине. Комета Галлея, по общему мнению, предвещает мировую катастрофу, возможно, гибель Земли.

Прошло всего два года, сейчас апрель 1911.

Хенрик Бергман только-только посвящен в сан. Анна все еще находится в санатории на берегу озера Лугано, он называется «Монте Верита». Она практически здорова. Свее Окерблюм сделали обширную операцию — удалили обе груди, матку, селезенку и яичники. У нее начала расти борода,

и она ежедневно бреется. Карл осаждает Патентное бюро своим новым изобретением: с помощью коротких, но безопасных электрических разрядов можно предотвратить у подростков ночное недержание мочи и эякуляцию. Жена Густава Окерблюма, веселая и еще больше покруглевшая Марта, завела себе любовника. Каждый четверг она отправляется в столицу на занятия по миниатюрной живописи. Ее муж, чьи габариты тоже заметно увеличились, не отказывает супруге в этом развлечении. Дочери пошли в гимназию и собираются сдавать выпускные экзамены, что в то время было довольно необычно. Оптовик Оскар Окерблюм расширил свою империю и открыл филиалы в Венерсборге и Сундсвалле. Теперь он не просто зажиточный человек, а прямо-таки богатый. Эрнст подал заявление на работу в качестве метеоролога в Норвегии, далеко обогнавшей отчизну в этой новой науке. Здоровье начальника транспортных перевозок слабовато, последствия кровоизлияния в мозг преодолены, но боли в ноге и бедре становятся все сильнее. Фру Карин хозяйничает и распоряжается в своей обширной империи, она на несколько килограммов прибавила в весе, но это ее вряд ли сколько-нибудь заботит. Зато ее начал мучить геморрой. И постоянные запоры, несмотря на финики, чернослив и особый отвар из черной бузины и ромашки.

После всех этих отступлений мы наконец возвращаемся к нашему рассказу, или действию, или сказке, или чему хотите.

Сцена представляет собой супружескую спальню весенним вечером в конце апреля. Думаю, стрелка часов перевалила за десять. На Трэдгордсгатан тихо. Из общежития землячества Естрике-Хельсинге, расположенного ближе к Домскому собору, иногда доносятся гомон и музыка. Там готовятся к празднованию Вальпургиевой ночи.

Фру Карин заплетает на ночь свои длинные волосы в косу. Как всегда она стоит перед зеркалом в просторной туалетной комнате, прилегающей к спальне. Там недавно установили ванну, провели воду, облицевали кафелем стены, а под окном с цветными стеклами смонтировали громадную батарею. Красивой фру Карин, пожалуй, не назовешь, но у нее победительная улыбка, белая, без морщин кожа, широкий лоб, решительный нос, рот еще более решительный, «губы не для поцелуев, а для приказов», как говорит Шиллер. Взгляд синих глаз может быть холодным и изучающим, а может и темнеть от гнева. Фру Карин никогда не произносила слов «я люблю» или «я ненавижу». Такое было бы просто немыслимо, почти непристойно. Однако это отнюдь не означает, что фру Карин, которой на днях исполнилось сорок пять, чужды страстные выражения чувств.

Юхан Окерблюм в ночной рубахе с красной оторочкой и в пенсне сидит на краю кровати. Он читает английский научно-технический журнал «The Railroad» [1], там в сладострастных выражениях описывается новый паровоз с поразительными характеристиками. Ночник освещает его жидкие, только что вымытые волосы, чуть сгорбленную фигуру и длинный нос. Верхний свет уже выключен, комната погружена в сумрак: две стоящие рядышком белые кровати, светлые занавеси, ниспадающие изысканными складками, могучий платяной шкаф с двойными дверцами и зеркалами, удобные кресла со светло-зеленой обивкой, широченный ковер мягких оттенков, прочные, хитроумно сделанные ночные тумбочки, на которых помещаются графины с водой, пузырьки с лекарствами, книги для чтения на ночь, а внутри устроены шкафчики для ночных горшков.

На стенах висят доставшиеся по наследству картины: молодая Карин в летнем платье, развесистое дерево на фоне яркого летнего неба, итальянская базилика на открытой площади, три женщины в цветастых платьях, остановившиеся на пьяцца.

Фру Карин закрывает дверь в ванную. На носу у нее очки, в руке круглые ножницы для ногтей. Она усаживается на низенькую скамеечку возле кровати и принимается стричь мужу ногти на ногах.

[1] «Железная дорога» (*англ.*).

Юхан. Ой, мизинец отрезала.
Карин. Я плохо вижу. Пожалуйста, повернись чуть-чуть.
Юхан. Тогда я не смогу читать.
Карин. Не понимаю, что ты делаешь со своими ногтями.
Юхан. Грызу.
Карин. Здесь у тебя затвердение, его надо срезать.
Юхан *(читая журнал)*. Если ты его срежешь, я потеряю равновесие. Мне и без того трудно ходить.
Карин. Я невероятно терпелива. Невероятно. Правда.
Юхан. Не притворяйся, дорогуша. Ты обожаешь чистить уши, накладывать повязки, выдавливать прыщи и угри, выстригать волосы в носу кому угодно. И не в последнюю очередь — стричь ногти на ногах. Это твоя страсть.
Карин. Ну подними хотя бы ногу немножко.
Юхан. Мне нравится видеть тебя у моих ног.
Карин. Я сижу у твоих ног, чтобы ты совсем не запаршивел.
Юхан. Если у человека чистые помыслы, ему не обязательно мыть ноги.
Карин. А у тебя они именно таковы?
Юхан. Что?
Карин. Ты сам не слышишь, что говоришь.
Юхан. Потому что ты все время мне мешаешь. *(Читает.)* «На новых больших паровозных цилиндрах используются так называемые воздушные клапаны, которые автоматически открывают сообщение между обоими концами цилиндра благодаря чему, когда выход пара перекрывается, воздух, заключенный в цилиндре, не подвергается компрессии и, следовательно, не возникает противодавления». Вот так-то. Спасибо, спасибо, на этот раз стрижка ногтей окончена.

Начальник транспортных перевозок откладывает в сторону журнал, с некоторым усилием поднимает ноги и залезает под одеяло. Фру Карин нажимает кнопку электрического звонка и на цыпочках огибает свою кровать. На ней длинный, до пят, халат. Стоя у кровати, она быстро принимает подряд три таблетки, запрокидывая при этом голову и запивая каждую таблетку глотком воды.

Юхан. Когда ты пьешь эти свои таблетки, ты похожа на курицу, у которой болит шея. И при этом еще моргаешь.

Раздается стук в дверь, и в комнату входит фрёкен Сири с маленьким серебряным подносом в руках, на котором стоит чашка с дымящимся бульоном. На блюдечке два овсяных крекера, намазанных плавленым сыром. Она ставит поднос на тумбочку возле кровати начальника транспортных перевозок и, пожелав спокойной ночи, удаляется так же бесшумно, как появилась.

Юхан грызет крекер, дуя на горячий бульон. Фру Карин, сидя на кровати, тоненьким карандашиком записывает что-то в свой дневник.

Юхан. Ну?
Карин. Не знаю. Я записываю то, что случилось вчера, но очень странно — я ничего не помню. Что было вчера? Ты можешь рассказать?
Юхан. Нет. Хотя подожди — мы получили письмо от Марты. И еще я был у зубного, мне вырвали зуб мудрости. Ты купила пластинку с Арвидом Эдманном.
Карин. Иногда мне становится так грустно, Юхан. *(Вздыхает.)*
Юхан. Что же тебя гнетет?
Карин. Не знаю. Впрочем, знаю.
Юхан. Если знаешь, так скажи.
Карин. Тебе не кажется, что Эрнст все реже появляется дома?
Юхан. Я об этом не думал.
Карин. Да, все реже.

Юхан. Ты с а м а настояла, чтобы он начал жить самостоятельно.
Карин. А тебе никогда не приходило в голову, что моя настойчивость объяснялась желанием услышать его протест: «Нет, нет, мамчик, мне гораздо лучше дома, с мамой и папой».
Юхан *(пораженно)*. Неужели ты и правда надеялась на это?
Карин. А вышло наоборот. Он прямо-таки пришел в восторг.
Юхан. И нашей малышки нет. Лежит в больнице. Далеко-далеко. Слава Богу, уже почти здорова, наконец-то! Но без нее так пусто.
Карин. Конечно. Но ей хорошо в этом санатории и немецкий как следует выучила. Похоже, она не особо скучает без нас.
Юхан. Скоро ты поедешь за ней.
Карин. А ты бы очень огорчился, если бы мы завернули в Италию? Очень уж хочется еще раз в жизни побывать во Флоренции.
Юхан. Значит, вы вернетесь не скоро?
Карин. Мы пробудем там не больше месяца. Почему бы тебе не поехать с нами, Юхан!
Юхан. Ты знаешь, что я не могу.
Карин. Мы были бы очень осторожны. Небольшое путешествие пришлось бы тебе по вкусу, Юхан. Представь себе Тоскану весной!
Юхан. Ты поедешь, я — нет.
Карин. Вот Анна бы обрадовалась.
Юхан. Я останусь дома и буду считать дни.
Карин. Я думаю, Анне сейчас будет полезно повременить с возвращением домой. Май может оказаться холодным и дождливым. А в июне мы сразу же отправимся на дачу.
Юхан. Ты считаешь, что она захочет так долго ждать?
Карин. Что ты имеешь в виду? Говори же.
Юхан. Я просто хотел сказать, что, возможно, кто-то ее здесь притягивает. Теперь, когда она здорова.
Карин. Я не совсем понимаю. Ты хочешь сказать, что...

Начальник транспортных перевозок задумчиво смотрит на жену: он стоит перед моральной и стратегической дилеммой. Хранить тайны, не делясь ими с фру Карин, весьма нежелательно. Ему бы следовало промолчать. Но он этого не делает. Быстрые решения и далеко идущие последствия.

Карин. В чем дело, Юхан? Я ведь вижу, что тебе хочется облегчить душу.

Не отвечая, он выдвигает ящик тумбочки и вынимает оттуда письмо. Оно от Анны. Эрнсту. Незапечатанное. Довольно толстое.

Юхан. Тебя не было дома, когда пришла вечерняя почта. Так что я принял ее. Это письмо Анны Эрнсту. Отправлено из Асконы четыре дня назад.
Карин. Эрнст приедет из Христиании на следующей неделе. Нет смысла пересылать ему письмо.
Юхан. Анна, очевидно, забыла заклеить его. Или плохо заклеила, и оно открылось само по себе.
Карин. Почему ты так об этом говоришь? Ничего особенного тут нет. Обычное дело, когда...
Юхан. В письмо к Эрнсту вложено другое письмо.
Карин. ...другое письмо? Хенрику Бергману.
Юхан. На конверте написано: Хенрику Бергману, «для дальнейшей пересылки, потому что я не знаю его адреса».
Карин. И это письмо запечатано.
Юхан. Оно было запечатано, но я его открыл.
Карин. И что, по-твоему, скажет на это Анна...
Юхан. Это было очень просто. Подержать немного над чайником.
Карин. Ты прочитал письмо?
Юхан. Нет, не прочитал.

Карин. Почему?
Юхан. Не знаю. Наверное, стыдно стало.
Карин. Если мы прочитаем это письмо, то сделаем это для блага Анны.
Юхан. Или из ревности. Или из ярости, что девочка действует за нашей спиной. Или потому, что нам не по душе молодой Бергман.
Карин. Естественно, Юхан. Как просто усложнить свои внутренние побудительные мотивы. О такой чепухе пишут в романах.
Юхан. Прочитай сама! Я плохо разбираю почерк Анны.

Карин берет письмо, адресованное Хенрику Бергману, открывает его, надевает очки, которые недавно сняла, разворачивает многостраничное послание и принимается молча читать. Качает головой.

Карин. Нет, ты только послушай!

Но Юхану не доводится ничего услышать. Фру Карин молча переворачивает страницу, морщит лоб и почесывает щеку.

Юхан. Я ничего не слышу.
Карин *(читает)*. «...все это позади. Думая о прошлом, я наконец-то понимаю, какой наивной, незрелой и избалованной я была. Долгое время, проведенное здесь, в санатории, общение со сверстниками, которые гораздо серьезнее больны, чем я, заставили меня многое переоценить. И тогда я сказала себе...»
Юхан *(тихо)*. ...не читай дальше.
Карин. ...если т ы не хочешь слушать, я буду читать про себя.
Юхан. ...это нехорошо.
Карин *(читает)*. «...и тогда я сказала себе: я несу ответственность за тебя, Хенрик, ответственность, которая, как мне казалось, была мне не по силам, и потому я пыталась снять ее с себя. К тому же я болела, не могла четко мыслить, так приятно было просто погрузиться в горячку и позволять за собой ухаживать. Я чувствовала себя униженной и преданной, я считала, что ты мне солгал, была убеждена, что больше никогда не смогу тебе верить. Кроме того, моя вина столь же велика, как и твоя, если вообще можно говорить о вине, когда человек ослеплен и сбит с толку».

Фру Карин прерывает чтение и откладывает в сторону тщательно сложенные несколько раз листы бумаги с золотой эмблемой санатория в левом углу. Она с трудом сдерживает чувства, рвущиеся из горла и заставляющие ее сглотнуть.

Юхан. ...странно представить себе...
Карин *(читает дальше)*. «...я ничего не знаю. Но если ты по-прежнему, спустя почти два года, если ты по-прежнему смотришь на меня так, как смотрел, когда мы сидели на мостках на Дювчерн, смывая кровь с покрывала...»
Юхан. ...кроме себя, винить некого.
Карин *(читает)*. «...так легко говорить, что ты любишь: я люблю тебя, папочка, я люблю тебя, братишка. Но в общем-то, мы употребляем слово, значения которого не знаем. Поэтому я не осмеливаюсь писать, что я люблю тебя, Хенрик. Не решаюсь. Но если ты согласен взять мою руку и помочь мне выбраться из моей глубокой печали, то, может быть, мы сумеем научить друг друга значению этого слова...» *(Пауза.)*
Юхан. ...теперь мы знаем больше, чем хотели.
Карин. ...да, теперь будет нелегко.
Юхан. ...мы не можем скрыть письмо.
Карин. ... о н не должен его получить.
Юхан. ...прошу тебя, Карин.
Карин. ...ради Анны.
Юхан. ...а если она узнает, что мы...
Карин. ...письма пропадают. Такое случается каждый день.

Юхан. ...этого не должно случиться.
Карин. ...что это еще за глупости, Юхан?
Юхан. ...поступай, как хочешь. Но я ничего не желаю знать.
Карин. ...именно так я себе и представляла.
Юхан. ...неужели ты правда воображаешь, что мы сможем воспрепятствовать...
Карин. ...возможно, и не сможем. *(Пауза.)* Но сейчас я скажу тебе кое-что важное. Иногда я т о ч н о знаю, что хорошо, а что плохо. Настолько точно, словно это где-то записано. И я знаю точно, что Анне будет плохо с Хенриком Бергманом. Поэтому я сожгу письмо к Эрнсту и письмо к Хенрику. И мы поедем с Анной в Италию, на все лето, если понадобится. Слышишь, что я говорю, Юхан?
Юхан. ...в этом случае ты бессильна.
Карин. ...не думаю.
Юхан. ...ты только усугубишь зло.
Карин. ...увидим.
Юхан. ...не понимаю, как у тебя хватает духу!

В спальне воцаряется молчание: уныние, страх, отвращение, гнев, ревность, грусть — Анна покидает меня, она уже меня покинула. Анна пошла своей дорогой и унесла с собой свет.

Фру Карин перелистывает мелко исписанные страницы, вчитываясь в отдельные места, лоб у нее пошел красными пятнами: я ведь знаю, что в глубине души Анна чувствует неуверенность. Она идет наперекор, только когда злится или возмущается. Надо действовать осторожно, в общем-то, она не хочет ссориться с матерью, ее взгляд порой бывает умоляющим: подскажи мне, как поступить, я ведь ничего не знаю.

Карин *(внезапно)*. Вот как, здесь написано, что Хенрик Бергман посвящен в сан. *(Читает.)* «Мне горько, что я не была на твоем посвящении в сан, представляю, что сейчас чувствует твоя мать». Так, так. Значит, он весьма скоро уедет из города, это...

Она замолкает. Как мучительно, что Юхан не понимает. Больше того, уходит в сторону. Так бывало не раз в их совместной жизни. Ей приходилось одной выполнять неприятные решения.

Карин. Юхан!
Юхан. Да?
Карин. Ты огорчен?
Юхан. Растерян и огорчен.
Карин. Давай не будем ссориться, хоть у нас и разные точки зрения по этому вопросу.
Юхан. Но, Карин, это же в о п р о с ж и з н и.
Карин. Именно поэтому. Я не хочу, чтобы ты от меня отдалялся. Я охотно возьму на себя всю ответственность, только не отдаляйся.
Юхан. Ведь это же в о п р о с ж и з н и.
Карин. Ты уже говорил это.
Юхан. Для нас с тобой.
Карин. Для нас?
Юхан. Если ты осуществишь задуманное, ты нанесешь вред Анне. Нанося вред Анне, ты наносишь вред мне. Нанося вред мне, ты вредишь самой себе.
Карин. Почему ты так уверен, что я наношу вред Анне? Ужасно слышать такие слова.
Юхан. Ты мешаешь ей жить собственной жизнью. Ты только поселишь в ней страх и неуверенность, но ты не сможешь ничего изменить. Навредишь, но ничего не изменишь.
Карин. И ты в этом совершенно уверен?
Юхан. Да.
Карин. Уверен?
Юхан. Иногда, правда, редко, я думаю о будущем. И ты, и я знаем, что

скоро я тебя покину. Мы это знаем, хотя и стыдимся говорить о таких неприятных вещах. Ты останешься одна и будешь продолжать управлять своим королевством. Мне кажется, ты очутишься в изоляции. Не усугубляй еще больше своего одиночества.

Карин сидит выпрямившись на кровати, не опираясь на подушки. Рывком она снимает очки, но кладет их не на тумбочку, а перед собой, на разбросанные листки письма. Ее лицо в тени, руки на одеяле. На секунду она вся раскрывается, становится ранимой. Юхан хочет взять ее руку, но она резко вырывает ее.

Карин. Не думаю, что могу стать еще более одинокой, чем сейчас.
Юхан. Не понимаю.
Карин. Эрнст переезжает в Христианию. Навсегда.
Юхан. Тебе так тяжело?
Карин. Да, тяжело.
Юхан. Собственно говоря, Эрнст — единственный человек...
Карин. Не знаю. К этому с линейкой не подойдешь. Но Эрнст...

Оборвав себя, она ладонью хлопает по одеялу — раз, другой.

Юхан. Неужели настолько т я ж е л о?
Карин. Я не собираюсь жаловаться.
Юхан. Дети покидают нас. Это нормально.
Карин. Я не жалуюсь.
Юхан. Но, конечно, я понимаю твое отчаяние.
Карин. Какие драматические слова ты употребляешь.
Юхан. Наверное, дело вот в чем: этот момент должен был наступить. Просто мы не подготовились. И теперь беспомощно пытаемся подавить слезы.
Карин. Неправда. Я всегда давала детям свободу. Старалась оградить их, но никогда не запирала. Ни Эрнста, ни Анну. Ты не можешь утверждать, что я их принуждала.
Юхан. Да, да, да. Я сижу в своем кабинете, прислушиваясь время от времени к голосам и шагам. И вот я слышу, как хлопает входная дверь, и знаю, что это Анна вернулась из школы. У меня начинает стучать сердце. Кинется ли она сейчас через гостиную, распахнет ли дверь? Прибежит ли ко мне в кабинет? Обнимет ли меня? Примется ли, захлебываясь, рассказывать что-нибудь важное.
Карин. Это было давно.
Юхан. Да, наверное. Давно?
Карин *(решительно)*. Совершенно бесполезно теперь ломать руки, прошлого не вернуть. Главное — мы здоровы и более или менее довольны своей жизнью. Мы с тобой уже, в основном, свое отслужили и должны уйти в сторону. *(Улыбается.)* Не так ли, друг мой?
Юхан. Ты, во всяком случае, как раз сейчас намерена взять в свои руки жизнь Анны. Как сочетается одно с другим?
Карин. Я не могу стоять опустив руки и смотреть, как у меня на глазах происходит несчастье.
Юхан. Значит, ты решилась?
Карин. Решилась? Это бы означало, что я хоть секунду колебалась.
Юхан. В таком случае спокойной ночи, Карин.
Карин. Спокойной ночи.

Наклонившись, она быстро целует его в щеку и хлопает по руке, после чего собирает листки, засовывает их обратно в конверт, который помещает в большой конверт, тот в свою очередь кладет в ящик тумбочки и поворачивает ключ. Потом фру Карин гасит ночник и укладывается поудобнее, на спину, руки сложены на груди. Через несколько минут глубокое дыхание извещает, что на ближайшие семь часов она отбросила все заботы.

Юхан Окерблюм долго не может заснуть — во-первых, через каждые три часа ему нужно опорожнять мочевой пузырь, во-вторых, ноет левый бок, в-третьих, несильно, но упорно болят колено и бедро, вероятно, предвещая перемену погоды. Лампа в изголовье погашена, но сквозь роликовую штору пробивается бледный свет уличного фонаря, образуя причудливые тени на потолке: я не плачу, но я в о т ч а я н и и.

Хенрик Бергман заканчивает вечернее воскресное богослужение в средневековой церкви в Миттсунде. Тихий вечер в середине июня. Из-под облаков светит солнце, окрашивая невысокую башню и кроны лип. От блестящего зеркала маленького озера тянет холодком. Церковные ворота, недавно просмоленные, издают терпкий запах. Дорожки разрыхлены граблями, могилы прибраны, тишина. С разных сторон слышится кукование кукушки.

Хенрик снимает сутану, вешает ее в покрытый желтой олифой шкаф, стоящий в ризнице, и садится за стол, за которым церковный староста подсчитывает вечерние пожертвования. Времени это занимает немного, так же как и занести цифру в книги. «Я посижу еще немного»,— говорит Хенрик. «Не забудьте запереть,— напоминает староста.— Я оставлю ключ на обычном месте. Спокойной ночи, пастор».— «Спокойной ночи». И Хенрик остается один.

Чуть позже он стоит на берегу озера, всматриваясь в бледный покой. Сумерки прозрачно-светлы. Никто не говорит, никто не отвечает, никто не молится и никто не слушает. Хенрик один.

Еще позднее он сидит в комнате для гостей у настоятеля Миттсунды. Пасторша принесла ему молоко и бутерброды на хрустящих хлебцах. Хенрик пьет и жует. Потом встает, зажигает керосиновую лампу и замирает, вслушиваясь; одиночество — открытая рана.

Из столовой доносятся приглушенные голоса и смех. Настоятель пригласил к ужину гостей.

Бессонница. Встать на рассвете, побриться, умыться, одеться и выйти на пригорок. Моросящий дождик, ласковый ветер. Одуряющие запахи сада. Шумят вязы. Хенрик стоит не шевелясь. Больно. Он делает несколько шагов. Это причиняет такую же боль. Невозможно, чтобы было так больно, ведь это боль не физическая. Безмолвие. Изоляция. Вне.

Вдруг на посыпанной гравием дорожке раздаются шаги. Хенрик оборачивается. К нему приближается человек: высокий лоб, зачесанные назад волосы, широкие скулы, курносый нос, пухлые губы, волевой подбородок, широкие плечи, энергичные движения, легкая походка,— он протягивает руку Хенрику, смотрит на него сияющими глазами. Хенрик мгновенно узнает подошедшего: это Натан Сёдерблюм, профессор богословия, занимается богословской энциклопедией, студенты его боготворят, по всей вероятности, он в скором времени станет архиепископом, международная известность, смертельная угроза академическим интригам. Музыкант. На нем мешковатые брюки, жилет расстегнут, рубашка без пристежного воротничка, потертый шерстяной жакет.

Натан Сёдерблюм. Не спится?
Хенрик. Доброе утро, профессор. Да, не спится.
Натан Сёдерблюм. Белые ночи? Или душа?
Хенрик. Скорее душа.
Натан Сёдерблюм. Я слышал твою вчерашнюю проповедь.
Хенрик. Вы были в церкви? Я не видел...
Натан Сёдерблюм. ...нет, ты меня не видел, зато я видел тебя. Я сидел рядом с органистом. Мы несколько часов подряд играли прелюдии Баха, по очереди нажимали на педали и играли. Тебе известно, что старик Мурен один из наших великих музыкантов? Да, ну а потом я подумал, почему бы не остаться и не послушать тебя.
Хенрик. Какое счастье, что я об этом не знал.
Натан Сёдерблюм. Да, может быть.

Профессор останавливается и ловко набивает трубку. Несмотря на моросящий дождь, трубка вспыхивает сразу. Ладони у профессора широкие, с выступающими жилами. Трубка курится, жалобно попискивая.

Хенрик. Мне повезло — получил временную службу на лето. Я, естественно, еще не созрел для выполнения этой задачи, но настоятель приветлив и не жалуется. Не думаю, чтобы моя вчерашняя проповедь была особо... Я все переписываю и переписываю. Я отчаянно недоволен результатами. Мне намного легче совершать крестины и отпевания. Не надо готовиться. И я вижу паству вблизи. И тогда слова рождаются сами собой. Простите, я что-то разболтался.
Натан Сёдерблюм. Продолжай, продолжай.

Но Хенрик молчит. Он понял, что слишком много наговорил, и потому смущен. Мужчины медленно поднимаются к калитке и к узкой тропинке, ведущей к церкви и кладбищу. Профессор дымит трубкой. Пляшут комары.

Натан Сёдерблюм. Я временно живу вон в том флигеле. Настоятель, мой старый приятель со студенческих лет, предложил мне приют. Мне надо закончить книгу. В Уппсале слишком шумно.
Хенрик. А о чем вы пишете, профессор?
Натан Сёдерблюм. Ну, это не так просто сказать. Пишу о том, что Моцарт являет Бога. Что художники доказывают присутствие Бога. Вот так приблизительно.
Хенрик. Это действительно так?
Натан Сёдерблюм. Меня не спрашивай.
Хенрик. Для меня Бог — это отсутствие, молчание. Я говорю, а Бог молчит.
Натан Сёдерблюм. Это неважно.
Хенрик. Неважно?
Натан Сёдерблюм. Ты пришел в мир, чтобы служить людям, не Богу. Если ты забудешь эти стенания о присутствии Бога, об отсутствии Бога и направишь все свои силы на служение людям, твои дела будут Божьими делами. Не умаляй самого себя, непрерывно лелея собственную веру и собственные сомнения. Ты не можешь желать ясности, надежности, понимания. Попробуй осознать, что Бог есть часть своего Творения, точно так же, как Бах живет в своей си-минорной мессе. Ты интерпретируешь нотную запись. Иногда она бывает таинственной, это неизбежно. Тогда ты даешь звучать музыке — и являешь миру Баха. Читай ноты! И по мере сил играй по ним. Но не сомневайся в существовании Баха и Создателя.

Трубка погасла, и профессор обрывает свой монолог. Он останавливается и пытается ее разжечь, раз, другой, наконец-то. Хенрика бьет дрожь, но не от утренней прохлады и мелкого дождя.

Натан Сёдерблюм. И при этом ты не имеешь права требовать совершенства. Гневаться на жестокость Творения бесполезно. Бессмысленно требовать ответственности. Твоя задача — быть конкретным. Не затевай судебного процесса с Богом. На этом сломала зубы не одна мудрейшая голова в мировой истории. По-моему, дождь припустил всерьез.

Они сворачивают к церкви и заходят под арку. Хенрик прислоняется спиной к шершавой стене.

Хенрик. Я в тюрьме. И боюсь, что это пожизненное наказание, хотя никто ничего не говорит.
Натан Сёдерблюм. Это тоже неважно.
Хенрик. Неважно?
Натан Сёдерблюм. Да, сын мой. Неважно. Мне кажется, ты способен на глубокую преданность. Мне думается, что в тебе кроется сокровенное желание принести себя в жертву, только ты не знаешь как. Тебе мешает

ощущение собственной никчемности. Ты сам себе враг и тюремщик. Выйди из тюрьмы. К своему удивлению, ты обнаружишь, что препятствий на твоем пути нет. Не бойся. Действительность за стенами твоей камеры не так ужасна, как твой страх там, внутри запертой темной комнаты.
Хенрик *(едва слышно)*. Что я должен делать?
Натан Сёдерблюм. На следующей неделе мне придется поехать в Лондон на конференцию. Я вернусь в конце июня, свяжись со мной. Может быть, я ошибаюсь, но если все обстоит так, как я предполагаю, впереди брезжит скорое разрешение твоих проблем.
Хенрик *(падает на колени)*. Благословите меня!
Натан Сёдерблюм. Нет, не так. Встань!
Хенрик *(хватает его за руку и целует)*. Благословите меня!
Натан Сёдерблюм. Встань. Ты сделал первый шаг к свободе. Я сейчас уйду, а ты останься. Поплачь, если тебе хочется. Я оставлю тебя.
Хенрик. Профессор, вы ведь не знаете ни как меня зовут, ни кто я.
Натан Сёдерблюм *(отойдя, оборачивается)*. Я знаю, как тебя зовут. Да благословит тебя Господь.

Карин Окерблюм принимает решение, проводит в жизнь запланированные акции и несет ответственность за свои поступки. Не обращая внимания на ноющее предчувствие приближающейся беды, она отправляется в конце мая в Швейцарию, чтобы забрать дочь и предпринять с ней путешествие во Флоренцию, Венецию и Рим. В Амальфи предполагается передохнуть несколько недель у друзей, Эгерманов. После чего вернуться в лоно Семьи, на Дачу.

Фру Карин находит Анну здоровой, круглощекой, но молчаливой. Дочь с вежливой улыбкой заверяет мать, что рада ее видеть, что она поправилась, говорит, что скоро лето. Кроме того, с энтузиазмом воспринимает сообщение о путешествии в Италию. Интересуется здоровьем членов семейства и говорит, что соскучилась по брату. Тем не менее под этим любезным стремлением любезной молодой девушки угодить своей матери скрываются покой и недоступная меланхолия.

В первый четверг июня мать с дочерью стоят в старинном закрытом дворике Museo Nazionale [1]. Фру Карин в очках на носу читает из небольшой толстой книжки. Анна, опершись на колодец, вежливо слушает. Обе в практичных, элегантного покроя летних платьях, у фру Карин на голове шляпа, у Анны легкий головной убор из тонких кружев.

Карин *(читает вслух)*. «Реалистическая направленность XV века вызвала новый интерес к изучению природы. Интерес к человеку и реальной жизни сделался господствующим в скульптуре. Собственно, основателем искусства ваяния эпохи Возрождения был Донателло, величайший художник этого столетия, глубокое изучение античности оплодотворило его природный талант и оригинальное творчество».

Яркий свет рисует резкие контуры на каменных плитах дворика. Ленивыми группами движутся туристы, жирный кот злобного вида наблюдает за пичугами, плескающимися в лужице, оставшейся после ночного дождя.

Карин. Ты устала?
Анна. Нет, нет. Может быть, чуть-чуть.
Карин. Мы мало спали. Всю ночь гремел гром и лил дождь.
Анна. За завтраком только об этом и говорили.
Карин. Тебе надо было попросить завтрак в номер, как я сделала. Намного приятнее.
Анна. Мне нравятся разговоры в столовой. Господин Селльмер особенно внимателен.
Карин. Обедать будем дома или в кафе? Я знаю одно прекрасное место поблизости.

[1] Национального музея (*итал.*).

Анна. Как скажешь.
Карин. Тогда я предлагаю поесть в гостинице, чтобы потом устроить длительную сиесту.

Из гостиницы открывается знаменитый вид на Ponte Vecchio и реку. Отель известен английской вежливостью, затененными гостиными с матово-красными стенами, дорогими, несколько выцветшими обоями и обивкой, громадными картинами в отливающих золотом рамах, широкими мраморными лестницами, толстыми коврами, приглушающими звук шагов, сверкающей начищенной бронзой. Во внутреннем дворике — пышная зелень, два фонтана и музыка по вечерам.

Карин Окерблюм с дочерью живут на третьем этаже, в разных комнатах, соединенных между собой дверью, с окнами на реку. Высокие потолки, резные притолоки и внушительных размеров кровати. Общая ванная недавно полностью переоборудована. Выведенные наружу трубы исполняют собственные мелодии. У нас есть повод послушать разговор за обедом. Звучит он примерно так:

Карин. Кстати, ты знаешь, что в этой гостинице обычно останавливался граф Сноильский, мама была с ним знакома, не раз встречалась, то есть она, собственно, была ближе знакома с графиней Пипер, Эббой Пипер. Об этом скандале еще долго говорили. Спустя почти тридцать лет. А сейчас граф Сноильский практически забыт — прекрасный, грустный человек.
(Анна вежливо улыбается, но не отвечает.)
Карин. Я уже говорила, что получила письмо от твоего брата Оскара? Да, вот видишь. Он ничуть не изменился, но такой заботливый, самый славный изо всех вас. Ну так вот, он докладывает, что на Трэдгорсгатан все в порядке, они с папой даже совершили небольшую прогулку! Как мило, что Оскар не забывает папу, особенно теперь, когда мы далеко. А то ему было бы совсем одиноко. Правда, папа утверждает, что любит одиночество, и Эйнар Хедин играет с ним в шахматы по пятницам, но сейчас, когда Эрнст в Христиании... уж и не знаю. Папа пишет, что ждет не дождется, когда мы вернемся домой, особенно скучает, разумеется, по тебе, но ведь он никогда не жалуется.

Анна молча осушает свой бокал.

Карин. ...я хочу сказать, папа одобрительно отнесся к нашему путешествию. Нам бы надо попытаться позвонить домой, представляешь, как они удивятся, хотя, кто знает, может, просто перепугаются, вообразят, будто что-то случилось.

Анна не отвечает, позволяет себя обслуживать.

Карин. ...главное, что ты здорова, это я твержу себе ежедневно.
Анна. Интересно, почему от Эрнста ничего нет?
Карин. Эрнст! Ты ведь знаешь его.
Анна. Я отправила ему письмо полтора месяца назад.
Карин. Он знает, что ты скоро вернешься.
Анна. Да.
Карин. Не стоит волноваться.
Анна *(нетерпеливо)*. Я не волнуюсь.
Карин. Он знает, что мы с папой пишем друг другу почти каждый день.
Анна *(нетерпеливо)*. Это к делу не относится.
Карин. Что ты имеешь в виду? Ну да, конечно.
Анна. Я хочу вернуться домой.
Карин. Конечно, душенька. Мы уже на пути.
Анна. А нельзя уехать завтра? Прямо домой.
Карин. Но мы же составили твердый график!
Анна. Раз твердый, так и изменить нельзя?
Карин. А что, по-твоему, скажут Эгерманы?
Анна. Мне абсолютно все равно, что скажут Эгерманы. Это ваши с папой друзья. Не мои.
Карин. Эльна — твоя подруга детства, Анна.
Анна. Плевать мне на Эльну. С высокой колокольни.

Карин. Иногда ты ведешь себя, как строптивое дитя.
Анна. Я и есть строптивое дитя.
Карин. Как бы там ни было, но мы не можем отказаться от поездки к Эгерманам в Амальфи. Они огорчатся и расстроятся.
Анна. Вы, мама, поезжайте в Амальфи, а я уеду домой.
Карин. Глупости, Анна. Мы сделаем так, как договорились. И хватит об этом.
Анна. Это вы, мама, договорились, не я.
Карин. Дома холодно, дождливо. Врач тоже считал, что нам какое-то время надо провести в теплом климате. Мы будем дома после Иванова дня.

Фру Карин обладает неподражаемой манерой заканчивать разговор: ободряюще улыбаясь, она легонько хлопает своей маленькой, унизанной кольцами ручкой по столу, словно держит председательский молоток. И одновременно встает. Подбежавшие тотчас официанты отодвигают стулья. У Анны нет ни малейшей реальной возможности выразить свой протест — остаться сидеть, повысить голос, купить отдельный билет на поезд.

Сиеста: спущенные жалюзи, полусумрак в обеих комнатах, приоткрытая дверь. Из города доносится колокольный звон, на улице внизу кричит продавец газет, гудит трамвай. Обе женщины прилегли отдохнуть — в халатах и носках, волосы распущены. Милосердный сон, который был бы так к месту после ночной непогоды, почему-то никак не идет. Молчание. Отчуждение. Возможно, печаль. Совершенно точно, печаль.

Неожиданно в дверь фру Карин стучат. Еще раз. И еще, уже решительно. Карин просит дочь узнать, в чем дело, и Анна, запахнув поплотнее халат и убрав волосы за уши, выходит в тесную прихожую. За дверью, к большому ее удивлению, стоит один из гостиничных администраторов в безупречном рединготе и с нафабренными усами. Он передает телеграмму в голубом конверте. В ответ на беспомощный жест Анны, означающий, что у нее под рукой нет чаевых, человек протестующе машет рукой, с серьезным лицом отвешивает поклон и поспешно удаляется в глубь коридора. Анна закрывает дверь и замирает с конвертом в руке, не зная, на что решиться, и чувствуя, как упало сердце. Карин спрашивает, что там такое, и Анна отвечает — телеграмма. «Неси же ее сюда»,— нетерпеливо приказывает Карин.

Прикрыв дверь в прихожую, Анна входит в комнату Карин, которая уже сидит в постели, приготовив очки и включив ночник. Анна протягивает ей запечатанный конверт. Та разрывает его и разворачивает написанное от руки сообщение. Читает, делает глубокий вздох, отдает листок Анне. Там всего пять слов. «Сегодня ночью умер папа. Оскар».

В чужом гостиничном номере чужого города ночь. Фру Карин и Анна всю вторую половину дня провели в хлопотах: упаковывались, отменяли заказы на гостиницы, говорили по телефону с фру Эгерман в Амальфи. Едва слышный разговор с Густавом и Оскаром в Уппсале, перезаказ билетов на Северный экспресс из Милана (в те времена поездка продолжалась почти двое суток). Ни минуты на размышления, обдумывания, боль, слезы.

Но вот наступает вечер — резкий багровый свет сквозь жалюзи, колокольный звон с расположенной неподалеку церкви Марии, отдаленная танцевальная музыка — наступает вечер, и фру Карин сразу резко бледнеет. Она стоит у накрытого к ужину стола — ужин заказали в номер, но он почти не тронут. Карин наливает себе вина, рука ее дрожит, лицо бледное, под глазами черные тени. Анна склоняется над чемоданом.

Анна. Надо проверить, не забыли ли мы чего. Во всяком случае, вещи мы собрали, остались туалетные принадлежности и дорожное платье. Отменили заказ на гостиницы в Венеции и Риме, и разговор с фру Эгерман, слава Богу, уже позади. Портье заверил, что мы едем первым классом в Северном экспрессе, который отправляется завтра после обеда из Милана — значит,

будем дома послезавтра вечером. С Густавом и Оскаром поговорили. По-моему, ничего не забыли, а, мама?

Фру Карин подносит бокал к губам, но не пьет. Боль настолько неожиданна и сильна, что ей приходится замереть в неподвижности, чтобы пережить ближайшую секунду, и последующую, и еще одну.

Анна *(мягко)*. Мама, что с тобой?

Мать поворачивается лицом к дочери и недоуменно, как ребенок, смотрит на нее.

Карин. Я не понимаю. *(Качает головой.)* Не понимаю.
Анна. Мамочка, миленькая, иди сюда, давай сядем. Задернуть шторы? Тебе мешает солнце? Впрочем, оно скоро зайдет. Хочешь еще вина? Тебе станет лучше. Давай посидим с тобой вот так, тихонечко.

Анна крепко сжимает руку матери. Резкий солнечный узор на картинах в золоченых рамах и матово-красных обоях постепенно исчезает. Затихает перезвон колоколов, затихает день. Теперь слышно лишь, как где-то в глубине громадного здания гостиничный оркестр играет вальс из «Веселой вдовы»: «Lippen schweigen, 's flüstern Geigen: hab micht leib! All die Schritte sagen: Bitte, hab mich lieb!» [1]. Фру Карин отпивает вино, откидывается на диванные подушки и закрывает глаза.

Карин. Самое невыносимое, что я оставила его одного. Он был один, Анна! И это случилось ночью.
Анна *(умоляюще)*. Мама!
Карин. Он был один, без меня. У него начались боли, и он встал с кровати. Потом сел за письменный стол, зажег лампу, достал бумагу и ручку и упал — на бок, на пол.
Анна. Мама, не думай про это.
Карин. Я тебе сейчас расскажу кое-что очень странное, Анна. Когда я решила ехать, когда все было уже готово, когда я попрощалась с папой и уже стояла на пороге, меня внезапно пронзила совершенно необъяснимая мысль: н е д е л а й э т о г о!
Анна. Чего ты не должна была делать?
Карин. ...не делай этого. Не уезжай. Останься дома. Отмени все. На какой-то момент мне стало ужасно страшно. Странно, правда, Анна?
Анна. Да, странно.
Карин. Мне пришлось присесть, меня словно прошибло холодным потом. Потом я рассердилась на себя. Я не привыкла поддаваться случайным капризам или прихотям. С чего бы делать это сейчас, для этого не было ни малейшего повода.
Анна. Бедная мамочка.
Карин. Вот именно. Бедная мамочка. Я принимаю решения и выполняю их. Так было всегда. Я никогда не меняю своих решений.
Анна. Я знаю.
Карин. Большинство людей не любят принимать решения. *(Пауза.)* Я принимала немало глупых и неверных решений, но осмелюсь утверждать, что ни разу не раскаивалась. Хотя в этот раз... *(вздыхает)*. О Господи!

На секунду она закрывает глаза рукой, но тотчас отдергивает ее, словно бы посчитав этот жест преувеличенным или, может быть, мелодраматическим, и отпивает глоток вина.

Анна *(держит руку Карин в своей)*. Мама.
Карин. Когда папа спросил, не соглашусь ли я выйти за него замуж,

[1] «Безмолвствуют губы, но шепчутся скрипки: меня полюби! И шаги говорят: будь добра, меня полюби!» (*нем.*)

несмотря на то, что он был почти вдвое старше и имел трех взрослых сыновей, я приняла решение, не думая. Мать остерегала меня, а отец был вне себя. Я не любила его, даже не была влюблена, это я знала точно. Но он был так страшно одинок с этими своими ленивыми домоправительницами, которые обкрадывали его и совсем запустили хозяйство, и со своими тремя невоспитанными буйными мальчишками. Я тоже чувствовала себя одинокой, вот я и подумала, что мы наверняка сумеем излечить друг друга от нашего одиночества.

Анна. Ты рассуждала вполне правильно.

Карин. Нет, Анна. Неправильно. С одним одиночеством еще можно справиться. Два — почти непереносимы. Но тут надо только не копаться в себе. А потом появились ты и Эрнст. Это стало чем-то вроде спасения — избавления.

Фру Карин виновато улыбается, она замечает, что употребляет непривычные для себя слова, делает непривычные для себя жесты, она пытается преодолеть гнетущее, набухающее горе, горе, которого никогда не переживала прежде. Она опустошает бокал.

Карин. Налей мне, пожалуйста, еще вина. А ты не хочешь?

Анна. Спасибо, у меня есть.

Карин. Так вот мы с Юханом выбрались из своего одиночества. Впрочем, не знаю. Может, это просто расхожее выражение. Но вы с Эрнстом принесли в дом большую радость, сблизили нас. Нам ведь все время приходилось заниматься вами, любая мелочь была важна.

Анна. И Эрнст стал мамочкиным сынком, а Анна — папенькиной дочкой.

Карин. Не знаю. Неужели?

Анна. Мама!

Карин. Да, да. Наверное, ты права.

Она сидит, отвернувшись, рана тихо кровоточит, почти уже не причиняя боли. Смеркается. Вспыхивают уличные фонари. Сквозь тишину и слабый уличный шум пробивается журчанье реки.

Анна *(мягко)*. Давай ложиться, мама? Нам завтра рано вставать.

Карин *(с отсутствующим видом)*. Да, пожалуй.

Тут она прислоняется лбом к плечу Анны, потом опускается ниже и прижимается головой к ее животу — загадочное движение, почти запретное. Анна отдергивает руки и складывает их на груди, она не знает, как себя вести. Но вдруг в порыве чувств она крепко обнимает мать. Карин всхлипывает — долго, прерывисто. Это необычно и пугающе.

Внезапно она высвобождается из объятий Анны, резко, чуть ли не грубо. Выпрямляется, проводит руками по лицу, поправляет волосы, дважды, и, потерев лоб, отклоняется вбок и зажигает торшер рядом с диваном. Бросает холодный, испытующий взгляд на дочь.

Анна *(испуганно)*. Что случилось, мама?

Карин. Ты должна кое-что узнать.

Анна. Это касается меня?

Карин. В высшей степени.

Анна. А нельзя подождать?

Карин. Не думаю.

Анна. Тогда говори, если это так важно.

Карин. Речь идет о Хенрике Бергмане.

Анна *(сразу насторожившись)*. Так. И?

Карин. Ты пишешь ему?

Анна. Да. Я писала ему. Письмо переслала Эрнсту, потому что не знаю адреса Хенрика. Кстати, ответа не получила. Очевидно, письмо затерялось.

Карин. Не затерялось.

Анна. Ничего не понимаю.
Карин. Ты должна узнать. Я получила письмо, прочитала его и сожгла.
Анна. Нет!
Карин. Я его уничтожила.
Анна. Нет, мама, нет!
Карин. Я обязана была тебе рассказать об этом, потому что твой отец меня предупреждал. Он сказал, что это нехорошо. Что мы не имеем права вмешиваться. Что это причинит вред. Он предупреждал меня.
Анна. Мама!
Карин. Я не собираюсь увиливать. Я считала, что делаю это ради твоего блага. Юхан предупреждал меня.
Анна. Я больше ничего не хочу слушать.
Карин *(не слыша)*. Теперь, когда Юхана нет, я поняла, что обязана рассказать тебе о том, что произошло. Я даже не могу попросить тебя о прощении, потому что знаю, что ты никогда не простишь меня.
Анна *(спокойно)*. Наверное, нет.
Карин. Теперь ты все знаешь.
Анна. Как только мы вернемся домой, я разыщу Хенрика и все ему расскажу.
Карин. Прошу тебя только об одном — не говори ему, что я сожгла письмо!
Анна. Почему?
Карин. Если ты выйдешь замуж за Хенрика. Понимаешь? Если ты ему скажешь, это будет непоправимо. Нам же вместе жить!
Анна. Почему?

Анна задумчиво разглядывает мать. Внутри приятно ворочается незнакомое ей прежде чувство бешенства.

Карин. Теперь ты все знаешь.
Анна. Да, теперь я все знаю. *(Пауза, другим тоном.)* Давай спать... Нам надо хоть немного поспать, завтра предстоит долгий день.

Она вскакивает с дивана, идет к двери и, обернувшись, вежливо желает спокойной ночи.

В то время (в июле 1912 года) университетский городок замирал так, что казался нереальным или, быть может, приснившимся. Если бы не птичий щебет в черных ветвистых деревьях, тишина была бы просто пугающей. Часы Домского собора, напоминающие о том, что время движется к своему концу, делают тишину еще более удивительной. «Флюстрет» закрыт, оркестры со своими попурри из «Золотых рыбок» и «Прекрасной Елены» перебрались к каким-нибудь целебным источникам или на курорты. В зажиточных домах окна занавешены простынями, словно бы там покойники, и над раскаленными тротуарами печально струится запах средства от моли. Привидение в анатомическом театре Густавианума спряталось в стену за картиной Улофа Рюдбекиуса. Бордель на Свартбэккен закрыт, и его усердные обитатели отправились в Гётеборг обслуживать прибывшую с визитом английскую эскадру. В старинном городском театре в солнечных лучиках, пробивающихся сквозь неплотно закрытые ставни и вычерчивающих волшебные узоры на немытых досках наклонной сцены, пляшет пыль.

Да — пустынно, тихо, нереально, как во сне, чуть пугающе, если у кого есть склонность к такому. Солнце стоит высоко на бесцветном небе. Безветренно, вокруг разлит запах высохших слез, прокисшей печали, подавленной боли — слабый, но вполне ощутимый запах, едкий и немного затхлый.

Некоторые утверждают, что мир погибнет с грохотом, шумом и громом. Я лично убежден, что мир просто остановится, затихнет, замрет, побелеет, растворится в бесконечной космической дымке. Этот июльский день в университетском городке вполне может быть началом такого в высшей степени недраматического конца.

Сцена представляет собой студенческую комнату Хенрика Бергмана, вначале совершенно пустую — ни людей, ни движений. Но вот распахивается дверь, и в комнату, пятясь задом, входит Хенрик, пытаясь протиснуть свой обитый жестью чемодан в узкий проем. Стол, стулья, пол завалены вещами. Он начинает их собирать без всякой системы и без желания. Наконец опускается на пол, зажигает трубку и упирается локтями в колени. В таком положении и сидит — довольно долго.

Внезапно в дверях появляется Анна. У нее за спиной виднеется узкое, грязное, освещенное солнцем окошко, выходящее на улицу. Анна в трауре, волосы забраны под берет, под траурной вуалью лицо кажется бледным, глаза в тени.

Хенрик *(продолжает сидеть)*. Я почти испугался.
Анна *(продолжает стоять)*. Испугался?
Хенрик. Я сидел и думал о тебе.
Анна. И вдруг я — тут как тут.
Хенрик. Как во сне.
Анна. У меня есть кое-что для тебя.

Она уже в комнате. Опускается на колени рядом с ним, начинает рыться в черной шелковой сумочке.
Хенрик. Ты изменилась.
Анна *(вглядываясь в него)*. Ты тоже.
Хенрик. Ты стала еще красивее.
Анна. У тебя грустный вид.
Хенрик. Наверное, потому, что мне грустно.
Анна. Тебе только сейчас грустно или вообще?
Хенрик. Я тосковал по тебе.

Он замолкает, сглатывает, сняв очки, бросает их на стопку книг, смотрит в окно.

Анна. Я пришла, Хенрик.
Хенрик. Это правда?
Анна. Пришла. Я пришла.
Хенрик. Все это как во сне: сперва ты приходишь и говоришь что-то, чего я не понимаю. Потом ты внезапно исчезаешь.
Анна. Я не исчезну.

Улыбаясь, она продолжает рыться в сумочке, находит маленькую вещицу, завернутую в папиросную бумагу, кладет на его ладонь, поднимает вуаль и стаскивает берет, который летит на пол. На лоб падает завиток.

Хенрик. Анна?
Анна. Разверни. Я купила это в последний день, когда мы уезжали из Флоренции. Ничего особенного, наверняка подделка.

Он разворачивает папиросную бумагу: там маленькая, сантиметров пять, статуэтка из потемневшего дерева, изображающая Святую Деву, которая внимает благой вести. Хенрик держит статуэтку на раскрытой ладони.

Хенрик. Это Мария без младенца. Мария в момент Благовещения.
Анна *(смотрит на него)*. Да.
Хенрик. Она теплая, согревает ладонь, удивительно. Потрогай.

Анна снимает перчатку, и Хенрик кладет статуэтку в ее раскрытую ладонь. Она качает головой, улыбается.

Анна. Нет, я не чувствую никакого тепла.

Она ставит Марию на стопку книг рядом с очками Хенрика, потом берет перчатку.

Хенрик. У тебя умер отец.
Анна. Да. Похороны послезавтра.
Хенрик. Тяжело?
Анна. Я жила в его любви, если ты понимаешь, что я хочу сказать. Я никогда об этом не думала, кроме тех редких случаев, когда она мне мешала. Теперь мне грустно, потому что я была такой наивной и неблагодарной.
Хенрик. А где Эрнст?
Анна. Ждет внизу, во дворе.
Хенрик. Ты не хочешь позвать его подняться сюда?
Анна. Нет, нет. Позже. Я не рискнула прийти сюда одна. Ведь шансов почти не было. Я знала, что ты уехал из города. И все-таки не могла удержаться. И сказала Эрнсту: пошли погуляем, оставим ненадолго Дом печали. Пройдем по Огатан, может, столкнемся с Хенриком. Вроде как пошутила. Мы засмеялись. Когда мы проходили мимо твоего дома, Эрнст предложил: «Зайди, посмотри, может, он дома. Держу пари на пять крон, что он дома».— «Ты всегда выигрываешь пари»,— ответила я. И я вошла. И ты оказался дома, а Эрнст выиграл пари. Кстати, я знаю, что ты не получил моего письма.

Она быстро встает и подходит к открытому окну, отодвигает занавеску и тихо зовет Эрнста. Он сидит на штабеле досок и курит сигару, с непокрытой головой, в темном костюме, белом галстуке и с траурной повязкой на рукаве. Он тотчас поворачивается лицом к сестре и улыбается.

Эрнст. Мне и здесь хорошо. Скажи, когда у вас появится желание пообщаться.
Анна. Я должна тебе пять крон.

Эрнст не отвечает, ограничившись неопределенным жестом сигарой. Анну распирает от счастья: грудь, голову, ноги, чрево. Она снова поворачивается к Хенрику, который все еще сидит на полу — очевидно, считает, что сон дематериализуется, стоит ему хоть чуточку пошевелиться. Анна садится на шаткий стул со сломанной спинкой. Они молчат, оба немного растерянны.

Хенрик. Ты писала мне?
Анна. Да, письмо было очень важное. Но оно пропало.
Хенрик. Откуда ты знаешь, что оно пропало?
Анна. Знаю, и все.
Хенрик. И о чем ты писала?
Анна. Неважно. Т е п е р ь неважно.
Хенрик. Я временно служу в небольшом приходе в нескольких десятках километров отсюда. Мне продлили службу там на полгода. Поэтому я и упаковываюсь. Профессор Сёдерблюм, ты знаешь, кто это...
Анна. Конечно, знаю.
Хенрик. Профессор Сёдерблюм предложил мне подать прошение о постоянной службе в приходе Форсбуда, на севере Естрикланда. Меня предупредили, что там будет нелегко, очень нелегко. Мама, естественно, расстроилась. Она представляла себе что-то пошикарнее.
Анна. Но теперь ты больше не один.
Хенрик. Да, да. Я могу и отказаться?
Анна. Само собой, мы поедем туда и осмотримся. *(Практичным тоном.)*
Хенрик. Разумеется, если бы я знал...
Анна *(трезво)*. Хенрик, не глупи. Раз ты обещал, значит, обещал, менять такое решение нельзя.
Хенрик. Настоятель там, говорят, стар и болен.

Анна. Мы на него взглянем.
Хенрик. Надеюсь, ты понимаешь, что жалование будет ничтожным.
Анна. Что нам за дело до этого. *(Наклоняется вперед.)* К тому же, Хенрик! Ты сделаешь блестящую партию, женившись на мне. Я унаследую кучу денег. *(Шепотом.)* Страшную кучу денег. Что скажешь?
Хенрик. Я не намерен позволить тебе содержать меня.
Анна. Послушай, Хенрик! *(Практично и решительно.)* Прежде всего, как только пройдут похороны, мы обручимся. Сегодня же закажем кольца, самое позднее в субботу они будут готовы. И мы обручимся, и здесь у тебя устроим вечеринку, на которую пригласим Эрнста, но больше никому об этом не скажем. На следующей неделе мы поедем к твоей матери. Я хочу познакомиться с ней как можно скорее. Ты напишешь настоятелю, что ты со своей будущей женой приедешь в Форсбуду в конце недели, чтобы осмотреть пасторскую усадьбу, церковь и поглядеть на него самого. Затем в сентябре или самое позднее в начале октября мы обвенчаемся — у нас будет роскошная свадьба, Хенрик. На что ты смотришь?
Хенрик. На тебя.
Анна. Мы ждали достаточно. Мама всегда говорит: «Надо принимать решения и брать на себя ответственность».

Она опускается на колени и, обхватив руками голову Хенрика, целует его в губы. Тут же, потеряв равновесие, он падает на пол, в падении привлекая ее к себе.

Хенрик. Не забудь о поцелуях.
Анна. Да, поцелуи очень важны.

И они страстно и жадно целуются. Анна садится. Черное траурное платье все в пыли.

Хенрик. Платье испачкалось.
Анна. Да, ну и вид у меня. *(Смеется.)* Давай приведем себя в порядок и спустимся к Эрнсту — пригласим его на нашу помолвку в субботу.
Хенрик. А что скажет твоя мать?
Анна. Начиная с Флоренции то, что говорит или думает моя мать, имеет второстепенное значение.
Хенрик. Что-нибудь произошло?
Анна. Можно сказать.
Хенрик. Но я об этом не узнаю.
Анна. Возможно, узнаешь. Может быть, когда мы будем лежать, тесно обнявшись, в нашей постели в пасторской усадьбе Форсбуды, а за окном будет завывать вьюга. Тогда я, быть может, расскажу, что произошло. Но только может быть.
Хенрик. Это связано с письмом?
Анна. Хенрик! По-моему, любящие всегда заверяют друг друга в полной откровенности, до мозга костей, в том, что у них никогда не будет никаких тайн. Это глупо. Я не собираюсь требовать, чтобы ты открывал мне свои тайны.
Хенрик. А правду?
Анна. Правда совсем другое дело.
Хенрик. Мы будем правдивы. Будем держаться правды.
Анна *(вдруг посерьезнев)*. Мы будем стараться.
Хенрик. Придется потренироваться.
Анна *(улыбаясь)*. Придется. Тебе понравились мои фрикадельки? Не...
Хенрик. Гадость!
Анна. Видишь! *(Улыбается.)* И так далее. Пожалуйста, помоги мне отряхнуться!

Помогая друг другу привести себя в порядок, они не могут удержаться от объятий и поцелуев — горят щеки, горят ладони. Наконец им удается

выбраться в коридор и спуститься по узкой деревянной лесенке. Эрнст, поднявшись со штабеля, всплескивает руками при виде сплетенной в объятиях парочки. Друзья медленно сближаются и, остановившись в нескольких метрах, смотрят друг на друга с радостной нежностью.

Эрнст *(Хенрику)*. У тебя такой вид, словно ты не от мира сего.
Хенрик. Я в самом деле не от мира сего.
Эрнст. У тебя, сестричка, губы пунцовые.
Анна. Ага, пунцовые.
Эрнст. Недавно ты была совсем бледная. Как сиг.
Анна. Я посваталась, и Хенрик согласен взять меня в жены. Представляешь, до чего просто все иногда бывает?

Эрнст подходит к Хенрику, обнимает его, отступает на шаг и, полюбовавшись, обнимает его еще раз, крепко стукнув по спине. Потом целует Анну — в щеки, глаза и в губы.

Эрнст. Вы мои любимые и всегда ими будете.

После чего компания отправляется к ювелиру на Санкт-Ларсгатан.

Эта Хроника произвольно превращает главное во второстепенное, и наоборот. Иногда она позволяет себе обширное отступление, опирающееся на шаткий фундамент устной традиции. Иногда уделяет большое внимание нескольким строчкам какого-нибудь письма. Внезапно строит фантазии по поводу каких-то фрагментов, выныривающих из мутной воды времени. Полное отсутствие достоверности в фактах, датах, именах, ситуациях. Преднамеренное и последовательное. Поиски ведутся на темных тропинках, это ни в коей мере не судебный процесс — ни открытый, ни закрытый — над людьми, принужденными молчать. Их жизнь, описанная в нашей хронике, иллюзорна, быть может, это фиктивная жизнь, и тем не менее она более отчетлива, чем их настоящая. Зато раскрыть их глубинную правду хроника не способна. У хроники своя, в высшей степени случайная, правда. Желание продолжать записи — это день ото дня все более дружелюбное желание — единственный веский аргумент в пользу данной затеи. Сама игра и есть движущая сила этой игры. Это как в детстве: открыть поцарапанные белые дверцы шкафа с игрушками и выпустить на волю природные тайны вещей. Проще не бывает.

С учетом вышесказанного, наше повествование перескакивает ту минуту, когда Анна показывает свою руку с блестящим обручальным кольцом усталой фру Карин. Та просто-напросто ограничивается несколькими фразами: «Знаю, знаю. Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь. Теперь должен наступить мир. Пусть Хенрик узнает, что семья ему рада».

Хроника не упомянет и того, как взорвалась бомба вечером после похорон, когда все собрались в салоне Мамхен, чтобы обсудить предстоящие практические проблемы. Не станем мы рассказывать и о том, как Оскар позднее тем же вечером вместе со своей больной раком и угасающей женой Свеей отправляется спать. В ее переполненном злобой сосуде открывается кран, и она изрыгает гадости по поводу священников вообще и Хенрика Бергмана в частности. Наконец Оскар берет слово и говорит тоном, не допускающим возражений: «Заткнись, Свеа. Нам же, черт побери, грозит, что он будет нашим родственником!»

Итак, фру Карин созвала семейство на совещание в столовой дома на Трэдгордсгатан. Прошло несколько дней после похорон, на спущенных маркизах горит июльское солнце. Блестит черная поверхность громадного стола на львиных ножках, с которого снята скатерть. Присутствующие тоже в черном, черное в черном на фоне светлых обоев и ярких картин. Фру Карин заняла место в торце, обращенном к окну, слева сидят Оскар и Свеа, справа Густав и Марта. Карл потеет от похмелья и тоски справа от Свеи.

Девочки свернулись калачиком на диване у стены. И наконец Эрнст, Анна и Хенрик расположились напротив фру Карин.

Карин. ...итак, я попросила вас прийти сюда, чтобы обсудить некоторые важные вопросы. Но перед этим я хочу приветствовать Хенрика и сказать ему, что мы рады видеть его среди членов нашей семьи. Давайте забудем былые распри и озлобление. Мы должны подвести черту под прошлым. Если честно постараться, примирение и дружба вполне возможны.

Фру Карин улыбается Хенрику и Анне. Остальные члены семейства делают то же самое, набор улыбок получается весьма разнообразный. На стекле бьется муха. Фру Карин вертит брильянтовое кольцо, место которому навечно определено между двумя массивными обручальными кольцами.

Карин. Мы были у адвоката Эльгеруса и познакомились с последней волей вашего отца, с его завещанием. Если я правильно поняла, все без исключения (взгляд в сторону Карла) согласились с существующими распоряжениями и сочли, что они продиктованы заботой. Я благодарна вам за единодушие. Пока Юхан был жив, мы с ним раз или два обсуждали, что будет с домом, если он умрет раньше меня. Он твердо объявил свою волю — дом остается *в моем единоличном* владении, а остальным членам семьи будет предоставлена компенсация в виде акций и капитала. Я отгоняла от себя эту возможность, не хотела об этом говорить, но когда речь зашла о доме, я поняла, что не хочу им владеть. Поэтому я попросила адвоката Эльгеруса изучить вопрос о продаже. Вчера он сообщил мне, что получил весьма выгодное предложение от Школы домоводства, расположенной напротив. Им уже давно стало тесно, потому они готовы немедленно заключить сделку. Я сказала, что положительно отношусь к этому предложению, но, естественно, обязана обсудить вопрос со своими сыновьями, которые живут в трех квартирах дома. Школа выразила готовность подобрать им равноценное жилье. Что до меня, то я заявила, что собираюсь остаться здесь, но намерена поделить квартиру пополам. Столовую я перегорожу стеной, оставив за собой четыре комнаты и кухню. Я предупредила Сири, что с первого октября не нуждаюсь в ее услугах. Она, конечно, расстроилась, потому что работала у нас почти двадцать лет, но ей будет выплачена приличная сумма, и она переедет к своей сестре в Смоланд. Есть вопросы?

Хенрик разглядывает своих новых родственников: замкнутые лица, неуверенные взгляды, сжатые губы. Нет, не у Анны и не у Эрнста, у них такой вид, точно все это их не касается. Что соответствует действительности. Напряжение скоро становится густым и липким. Карл смежил веки, очевидно, притворяется отсутствующим. Оскар улыбается вежливой, непроницаемой улыбкой. Густав перебирает часовую цепочку, выпущенную на округлость жилета, и, выпятив губы, смотрит в окно. Голова Свеи на жилистой шее трясется. Лоб у нее побагровел, на усиках над верхней губой выступили капельки пота.

Свеа. Как всегда, когда Карин выдает нам свои декреты, никто не осмеливается и слова вымолвить.
Оскар. Свеа, прошу тебя!
Свеа. Придется мне сказать то, о чем все думают.
Густав. Я заявляю протест. Свеа не представляет интересов семьи. Насколько мне известно, она представляет только саму себя.
Свеа. Странно. Разве не Густав сказал только вчера, что мамхен смертельно опасна. Будешь отрицать?
Густав. Ты лжешь, Свеа, и сама прекрасно это знаешь. Ненависть Свеи к нашей матери, по-видимому, не знает границ.
Свеа. Поскольку я скоро умру, я, вероятно, единственная, кто осмеливается говорить правду в этой семье!
Оскар *(терпеливо)*. Свеа, пожалуйста.
Свеа. «Свеа, пожалуйста», «Свеа, прошу тебя». Это все, что ты можешь сказать?

Карл *(внезапно)*. Заткнись, Свеа. А то лопнешь со злости. В твой рак больше никто не верит. Естественно, он не может существовать в теле, отравленном злобой. Впрочем, должен сказать, что решение мамхен было несколько неожиданным. Когда начальник прикажет выставить нас вон?
Густав. По-моему, мама Карин своим стремительным шахматным ходом хочет намекнуть нам, что она терпела нас двадцать лет и теперь страшно устала и от нас, и от наших семей. И за это осуждать ее не приходится.
Марта. А мы так любили свою квартиру. Куда же нам теперь деваться?
Густав. Не будь идиоткой, Марта! Нас же все-таки не на улицу выбрасывают.
Оскар. У меня лично возражений нет. Дом принадлежит маме Карин. Это сказано четко и ясно, без тени сомнения. Мы получим щедрую компенсацию. Насколько я понимаю, мама может делать с домом все, что ей вздумается. Кстати, а м ы к о г д а - н и б у д ь с ней считались?
Свеа. Зато подлизывались, подмазывались, угождали вовсю! А стоило ей отвернуться, насмехались и плевались! Вы — Густав Окерблюм, Карл Окерблюм, Оскар Окерблюм. Мушкетеры.
Эрнст. Если этот треп будет продолжаться в таком же духе, я позволю себе удалиться. Нам бы следовало подумать о том, что Хенрик Бергман сегодня с нами в первый раз. Ради него и Анны я прошу попридержать языки. *(Хенрику, улыбаясь.)* Не бойся, бывает и хуже. Честное слово, мы иногда бываем похожи на людей.
Карл. Пожалуй, можно сказать, что смерть папы откупорила бутылку.
Густав. Сравнение, достойное брата Карла.
Карл. Да будет тебе известно, милый Хенрик, что брат Густав — духовный глава семьи. Если ты попросишь у него совета, он тебе выдаст целых три. Если же ты не последуешь его совету, то позднее хлебнешь лиха, и проделано это будет в изощренно-академическом духе. Профессор заседает в государственной комиссии по профессуре, так что ему хорошо известно, на какие клавиши нажимать. Предупреждаю тебя по дружбе, Хенрик. Остерегайся и фру Марты. Слишком уж она любезна с красивыми юношами.
Марта *(смеется)*. Карл, ты невозможен. *(Замахивается на него.)*
Карл *(обливаясь потом)*. Марта, когда эти поминки закончатся, я тебя поцелую.
Оскар. Я считаю мамино решение вполне продуманным. Мы все жили в каком-то сочетании обманчивой надежности, принуждения и привычки. Жизнь стала напоминать стоячую воду. Наши отношения заплесневели, а мы и пальцем не пошевелили. Нам будет только полезно разъехаться.
Свеа. А как с дачей?
Оскар. Дача всегда принадлежала мамхен.
Свеа. Значит, теперь и летом нам некуда будет деться?
Оскар. Успокойся, Свеа. Ты же никогда не любила дачу, только и говорила о курортах да о Париже. *(Язвительно смеется.)* Не понимаю, как это мы так долго уживались вместе.
Анна. А почему молчит мама?

Все оборачиваются к фру Карин. Все это время она сидела, чуть склонив голову и поигрывая узкой линейкой. Сейчас она поднимает глаза и смотрит на свое семейство с отсутствующей, чуть ли не сонной улыбкой.

Карин. А что вы хотите от меня услышать? Вы ведь вечно ссорились между собой. Теперь, когда папа умер, вы набросились на меня. Это естественно. И я должна это понимать.
Густав. Извини, мама, но вообще-то только Свее следовало бы...
Карин *(поднимает руку)*. Дай мне закончить. Порой я не могу себя перебороть и начинаю думать о том, как бы сложилась жизнь семьи, если бы я не вышла замуж и не несла бы своей доли вины. *(Улыбается.)* Да, смешная мысль! Я так горела энтузиазмом, так хотела всем добра: порядок, чистота, сплоченность... образование. Благие намерения. Не подумайте, что во мне говорит горечь. Просто я размышляю.

Карл. А что было бы с тобой, мамхен, если бы ты не была вынуждена заботиться о нас?
Карин. Ах, Карл! Ты задаешь умные вопросы, хотя сам... такой беспорядочный. Что было бы со мной? Наверное, продолжала бы учительскую карьеру. Продолжала бы учить и воспитывать других детей. Я, пожалуй, никогда не сомневалась в правильности своих действий. Возможно, по мелочам я и ошибалась, но в главном мне себя упрекнуть не в чем.

Неуверенность. Размышления. Пустота. Отвращение. Равнодушие. Горечь. Усталость. «Пойдемте в гостиную пить кофе,— говорит Анна.— Я испекла торт». — «Конечно»,— сразу же отзывается фру Карин и встает из-за стола.

«Мы не такие ужасные, как это может показаться,— говорит Густав, прижимая чашку к животу и осыпая жилет крошками торта.— Иногда, Хенрик, мы бываем весьма и весьма приятными людьми». — «Анна с Хенриком обязательно должны прийти к нам на обед в честь помолвки»,— жужжит Марта, обнимая Анну сзади. «До чего хорошенький мальчик»,— шепчет она в ухо Анне. «Забудь все эти дрязги,— говорит Оскар Окерблюм, кладя руку на плечо Хенрика,— называй меня просто Оскар. Наша последняя встреча у меня тоже оставила весьма неприятный осадок, но я был преувеличенно ретив, считал, что обязан очертить границы. Я, если мне будет позволено сказать так о себе самом, человек кроткий. Вы с Анной обязательно должны прийти к нам на обед до нашего отъезда на дачу!»

Свеа гладит Анну по щеке своей изможденной, покрытой пятнами рукой. «Мне страшно стыдно за свою вспышку. Доктор говорит, что это лекарство выбивает меня из равновесия. Пусть Хенрик не думает, что тетя Свеа (Хенрик может называть меня тетей Свеей) такая уж противная всегда». Подплывает Карл, он дышит в лицо растерянному жениху: «Я предупреждал тебя, и вот ты попался! Что ж, пеняй на себя, несчастный. Анна — прехорошенькая, только не поддавайся очарованию ее мордашки. Слишком уж много в ней от Окерблюмов. Я вот тут предостерегаю твоего будущего супруга,— ухмыляется Карл, дыша в лицо Анне.— Предостерегаю черт знает как, ну, да это, верно, бесполезно». «Что ты пил, Карл?» — спрашивает Анна с напускным гневом. «Да уж пахнет не розами»,— отвечает Карл, вздыхая.

«Уходим! — Эрнст тянет Хенрика за рукав.— Я сказал маме, что нам надо тебя проветрить. Пошли, Анна, ну и гадость ты испекла».— «До свидания, тетя Карин, спасибо»,— бормочет Хенрик, кланяясь спине фру Карин. Она оборачивается — только что она велела Лисен перенести ужин на час. «До свидания, тетя Карин»,— повторяет Хенрик, кланяясь еще раз. «Ты ведь вернешься к ужину! — мягко говорит фру Карин, лицо ее бледно, в глазах — усталость.— Ты ведь вернешься к ужину?» — «Нет, спасибо, мама, мы не вернемся к ужину,— решительно отвечает Эрнст.— Мы идем развлекаться с Анной и Хенриком. Напьемся, как свиньи». Фру Карин с улыбкой качает головой. «Приятного вечера,— говорит она поспешно.— Деньги есть?» — «Спасибо, мамочка, нам хватит»,— говорит Эрнст и целует мать в губы.

III

После похорон дом на Трэдгордсгатан был заперт, а в конце августа его заполонили строители, мастера и грузчики. Семейство разделилось: одни уехали в Австрию, другие на воды, к источнику Рамлёса, дети — к знакомым знакомых в шхеры, Хенрик — в свой временный приход Миттсунда, Анна — к своей подруге по медучилищу при Софияхеммет Фредрике Чемпе. Сразу после выпускного экзамена означенная подруга вышла замуж за поместье и состояние в Дании и уже ждала первенца. Фру Карин удалилась на дачу в Даларна вместе с фрёкен Лисен, которой предстояло прожить со своей хозяйкой остаток жизни, то есть еще двадцать четыре года.

Фру Карин пребывала теперь в одиночестве — и внешне, и внутренне. Когда закончился год траура, она заказала в Доме моды «Лейа» семь одинаковых юбок, блузок и платьев — все одного и того же покроя, цвета и фасона. Начиная с весны 1912 года она носила только темное: юбки до щиколотки, серые блузки из чесучи, заколотые у горла серебряной брошью, черные прямые платья, высокие черные ботинки, белые ажурные воротнички и манжеты. За какие-нибудь восемь месяцев ее волосы побелели, они по-прежнему густые и блестящие, но белые, не серые.

Те, кого забавляют объяснения и толкования, могут поразмышлять над причинами частичного отречения фру Карин. Ведь ей было всего сорок шесть. Она, стало быть, без ненужных комментариев продала дом, разделила пополам квартиру и раздала значительную часть полученного таким образом состояния приятно удивленным, но несколько сбитым с толку членам семейства. Итак, Анна стала владелицей весьма крупного капитала, которым она умело распоряжалась и который долгое время вызывал раздражение пастора Бергмана (но оказывал ощутимую помощь в повседневной жизни семьи).

В том году лето рано сменилось осенью. Осень пылала над водами реки и на опушке темного леса. Утром траву и корыто под зеленой водокачкой во дворе затягивало тонкой корочкой льда. Ночи стояли звездные и безветренные. В кафельных печах потрескивали березовые дрова, четкими контурами вырисовывались горные хребты у Юроса и Йиммена. Уже в сумерках из леса появлялась неясыть и устраивалась на крыше хозяйственной постройки.

Фру Карин и фрёкен Лисен прожили лето и осень в молчаливом, но отнюдь не враждебном симбиозе. Когда в конце октября выпал первый снег, пришло сообщение, что квартира на Трэдгордсгатан, 12 готова. Женщины упаковали то, что следовало упаковать, заперли то, что следовало запереть, закрыли ставни, накрыли мебель и пианино белыми простынями. Бутылки с соком и банки с вареньем были уложены в деревянные ящики с тем, чтобы отправить их по новым адресам членов семьи. Старого рыжего кота отдали на постой, заперли дверь, после чего обе женщины-ровесницы молча отбыли утренним поездом в Уппсалу. Настроение было умиротворенное, какое обычно бывает при отъезде. Над руслом реки курился легкий туман. Влажными хлопьями падал снег, все заливал резкий, без теней свет. Дача и рябины горели багрянцем на фоне серого и белого.

Короткая и маловажная сцена, о которой я намерен сейчас рассказать, произошла за десять дней до упомянутого отъезда. Место — просторная светлая кухня, окно которой выходит на лес и горы. За откидным столом в добром согласии сидят фру Карин и фрёкен Лисен. Они чистят ежевику. Гудит огонь в печи, из высокого котла поднимаются запахи варенья и пар. Верхние квадраты окон запотели. В чашках свежесваренный кофе. По теплой стене у печи ползают сонные мухи.

Карин. Утром получила письмо от Анны.
Лисен. Все в порядке?
Карин. Пишет, что решилась.
Лисен. Пойдет наконец на курсы домоводства? Здорово, значит, будет жить дома зимой.
Карин. Она не приедет домой и на курсы поступать не собирается.
Лисен. Анне надо бы научиться готовить. Хотя десерты она уже умеет делать. И торты. *(Пауза.)* Почти так же хорошо, как я.
Карин *(улыбается)*. Как бы там ни было, но она не приедет.
Лисен. А что же будет?
Карин. Уже в ноябре они поженятся. В связи с тем, что Хенрик должен заступить на службу в Форсбуде.
Лисен. Так, так.
Карин. Анна хочет быть с ним с самого начала. Она пишет, что это самое важное.
Лисен. Значит, в ноябре будем играть свадьбу.

Карин. Хотим мы того или нет.
Лисен. И какая же будет свадьба?
Карин. Пышная, фрёкен Лисен. *(Улыбается.)* Пышное празднество. Иногда бывает повод отпраздновать свои неудачи.
Лисен. Мне кажется, я понимаю, что́ вы, фру Окерблюм, имеете в виду. Но пара получится красивая, тут уж ничего не скажешь. Как в сказке.
Карин. Вот именно. Как в сказке.

Споро работают пальцы. Очищенные ягоды в желтой глиняной миске отливают черным блеском. Лисен встает и подкладывает дров в печь. Снова садится. Вздыхает — от боли в суставах и набожной веры.

Лисен. Его мать-то они уже навестили?
Карин. Анна пишет, что они едут в Сёдерхамн сегодня. А оттуда в Форсбуду, осмотреть пасторскую усадьбу. Им обещали отремонтировать дом, по словам Анны. Они остановятся у Нурденсонов. Нурденсон — тамошний заводчик.
Лисен. Он родня Нурденсонам из Шёсэтры?
Карин. Конечно, сводный брат.
Лисен. Там вроде были большие деньги?
Карин. Говорят.
Лисен. Моя сестра работала у двоюродного брата Нурденсона из Шёсэтры. Его звали, кажется... да, как же его звали? Хельмерсон. Жена была настоящая... да. Хельмерсон тоже. Так что долго это не продлилось.
Карин. Заводчик Нурденсон может оказаться приличным человеком.
Лисен *(недоверчиво)*. Само собой.
Карин. Оскар говорит, что завод испытывает большие экономические трудности. Ему обычно известны такие вещи.
Лисен. Но пастору-то не завод платить будет.
Карин. Нет, у него государственное жалование.
Лисен. Наша малышка Анна... Да, подумать только.
Карин. Да, фрёкен Лисен, удивительно.

Печь гудит, крышка горшка чуть подпрыгивает, с шипеньем выпуская пар, муха, ударившись с маху о стекло, падает на спину. Фру Карин, закончив чистить ягоды, замирает, упершись локтями в стол. Фрёкен Лисен продолжает работу, но как бы в другом темпе, вглядываясь в то, что у нее в руках.

Лисен *(после долгого молчания)*. Само собой. Да. Да.
Карин. Я больше уже ничего не понимаю.
Лисен. Одиноко вам будет, фру Окерблюм.
Карин. Это меня не заботит.
Лисен. Неужто?
Карин. Да, одиночества я не боюсь.
Лисен. А что ж тогда?..
Карин. Иногда я спрашиваю себя, сознавала ли я когда-нибудь внутренние причины своих поступков. Понимаете, фрёкен Лисен?
Лисен. Насчет этих вот внутренних причин не понимаю.
Карин. Ну да, ну да. Естественно.
Лисен. Ежели думать в этом направлении, голова закружится. Ведь за тем, что вы называете «внутренними причинами», могут прятаться другие причины, еще глубже. И так далее.
Карин. Это верно.
Лисен. Позвольте я налью вам горяченького кофейку.

Фру Карин протягивает свою чашку.

Мать Хенрика кратко сообщила, что, к сожалению, не в силах встретить обрученных на вокзале, поскольку ее астма за лето стала еще

мучительнее. Поэтому она заняла пост в распахнутых дверях прихожей — в своем самом нарядном фиолетовом шелковом платье, кружевном чепчике на жидких, тщательно причесанных волосах и с широкой приветственной улыбкой, которая все же не в силах скрыть печали в ее глазах. Анна, позволив себя обнять, погружается в бесформенный, чуть пропахший потом мрак. Потом Альма протягивает пухлые ручки к сыну и, обхватив его голову, покрывает поцелуями его лоб, щеки и подбородок. Светлые глаза тотчас наполняются слезами, она тяжело дышит.

Альма. ...и эти свои противные усишки так и не сбрил. *(Шаловливо.)* Посмотрим, что мы с Анной объединенными силами сумеем сделать. Мы уж заставим его сдаться, правда, Анна? Да входите же, дорогие дети, что ж мы на лестнице стоим! Дайте-ка на вас поглядеть! Твоя невеста еще красивее, чем на той карточке, что ты прислал. Милое мое дитя, желаю тебе счастья с моим мальчиком! Ну-ка! Ты счастлив, Хенрик? Нет, нет, какая я дура. Такая назойливость смутит кого угодно. Так, так. Вот что я придумала: Анна будет жить в комнате Хенрика, к сожалению, я обычно сдаю ее, жилец любезно согласился съехать на несколько дней, но он курит сигары. Я уж проветривала, проветривала, но, по-моему, запах все равно остался.

Анна уверяет ее, что сигарного дыма не чувствует, но ничего не говорит о кислом запахе плесени, который источают темно-зеленые, местами выцветшие обои.

Альма. ...но, во всяком случае, Анне, наверное, будет приятно спать в бывшей детской своего жениха. Да, вот на этой фотографии над кроватью — отец Хенрика, снимок сделан во времена нашей помолвки. Мне кажется, он получился хуже, чем на самом деле — знаете, Анна, он был такой красивый и веселый.
Анна. ...по-моему, он очень красивый и очень похож на Хенрика. Похож на артиста.
Альма. ...артиста. Может быть, не знаю. Он любил петь, был ужасно музыкальный. А потом женился на мне, неуклюжей толстушке. Ну, тогда я не была такой толстой, как... и у меня был не один ухажер, так что без конкуренции не обошлось.
Хенрик. ...а я в таком случае устроюсь на кушетке в столовой, вполне сойдет.
Альма. ...нет, нет. На кушетке буду спать я. А ты, Хенрик, со всеми удобствами устроишься в моей комнате. *(Шутливо.)* Буду лежать как обнаженный меч между влюбленными. *(Смеется.)*
Хенрик *(решительно)*. Не глупи, мама. Я буду спать на кушетке в столовой, и хватит об этом.
Альма. Послушайте только, какой диктатор! Он и с тобой так ведет себя или только своей старой матерью командует? Да что же мы здесь стоим и разговоры разговариваем! Я накрыла в столовой чай с бутербродами. Хенрик написал, что вы поужинаете в привокзальном ресторане в Евле, а то бы я, разумеется, приготовила что-нибудь эдакое.
Хенрик. ...замечательно, мама делает бутерброды — пальчики оближешь, даю слово.
Альма. ...нехорошо насмехаться над старой матерью, Хенрик. Мне же постоянно приходится думать о своем весе, из-за астмы. Так велел доктор, и теперь я равнодушна к еде, не то что раньше.

Альма в безмолвном порыве протягивает руку, которую Анна быстро целует.

Альма. Деточка, деточка.

На минуту женщины стоят вплотную друг к другу. Хенрик, направившийся было в столовую, оборачивается и видит это быстрое, неуверенное

движение. Альма кладет свою тяжелую руку на плечо девушки, лицо ее искажается внезапной болью. У Хенрика в голове возникает слово, точно где-то в глубине его сознания распахивается форточка: неизбежно, неизбежно. В ту же секунду все как обычно, он слышит голос Анны: «Что с тобой, Хенрик?»

Хенрик. По-моему, маме понравилась невестка. Мы с тобой ведь немножко боялись.

Показ семейного альбома — извечная палочка-выручалочка при первом визите невесты, когда темы разговоров исчерпаны, и минуты растягиваются в часы. Показ семейного альбома на диване, освещенном керосиновой лампой, Альма с Анной, прижавшись друг к другу, с лупой. Хенрик сидит по другую сторону круглого стола. Ему разрешено закурить трубку. Спрятавшись в тени и за облаком дыма, он может без помех наблюдать за матерью и невестой.

Альма *(тыкая круглым ноготком)*. А это ты, Хенрик! Летом в Эрегрунде. Хенрику было... сколько тебе было лет в то лето, когда мы раскошелились на дачу в Эрегрунде? Одиннадцать. Тебе было одиннадцать лет.
Хенрик. А осенью я заболел скарлатиной.
Альма. Нет, нет, это случилось следующей осенью, я прекрасно помню. Ты замечательно себя чувствовал после того лета у моря, ни разу не болел зимой. Какой он был маленький. А парусник, который он построил по чертежам из журнала... он был такой одинокий ребенок, бедный Хенрик. Больше всего на свете обожал собирать разные растения и классифицировать их с помощью «Флоры». Ты помнишь свой замечательный гербарий, Хенрик? Он лежит где-то на чердаке. Бедный Хенрик, не могу удержаться от смеха, глядя на эту фотографию из Эрегрунда, хотя следовало бы плакать. Еще портвейна, Анна?
Анна. Спасибо, немножко.
Хенрик. ...я предпочитаю коньяк.
Альма. ...да, Господи, помилуй.

И Альма смеется, глядя на фотографию из Эрегрунда. Как я уже говорил раньше, смех у мамы Альмы раскатистый, веселый, поразительно не совпадающий с ее характером в целом. Доброжелательный смех, белозубый, сердечный и заразительный.

Альма. Бедняжка Хенрик! Посмотри, Анна, ну и картина. *(Тыкает пальцем.)* Вот я, я уже превратилась в «маму-толстуху», но на шляпе громадное перо. А вот одна из сестер из Эльфвика, это, должно быть, Беда, ну да, Беда, у нее была осиная талия, вечно приходилось помогать ей шнуровать корсет. В то лето у нас — как же, как же — была горничная, старая Рикен, подумать только, как мы роскошествовали в те времена! Я никогда не умела распоряжаться деньгами. И Хенрик не умеет. Ты скоро это заметишь, Анна. Я продала семейное украшение... впрочем, это к делу не относится. А вот стоит моя ближайшая подруга, она тоже овдовела молодой, помнишь тетю Хедвиг, Хенрик, она еще страдала экземой, такая была милая и добрая, помнишь ее, Хенрик? Она умерла несколько лет спустя. *(Смеется.)* Тоже не сильфида. Мы все были толстухи, а с нами маленький, щуплый Хенрик, которого мы холили и лелеяли! Господи, как же мы обожали тебя, как баловали. Помнишь, мы играли в церковь, ты изображал пастора, а мы прихожан? В той тесной избушке, и как только эдакие толстухи там помещались? *(Смеется.)* Ты был славный, прехорошенький, просто съесть хотелось, и всегда веселый, в хорошем настроении, вежливый и приветливый. Но, увы, с другими детьми не желал водиться, хоть я и приглашала домой твоих школьных приятелей, а Хенрик убегал и прятался или запирался в уборной. *(Смеется, потом становится серьезной.)* Дорогая Анна, теперь тебе придется заботиться о нем. Мне будет больно и одиноко

(плачет), но уж так устроена жизнь. А жизнь никогда особенно не благоволила к Альме Бергман. Но я лишь смиренно надеялась на лучшее. И вот Хенрик стал пастором, как я и мечтала. Это самое главное. Нет, я вовсе не жалуюсь. *(Плачет.)*

Хенрик. Мама, пожалуйста, не плачь. Давай радоваться сегодня.

Анна *(осторожно)*. Тетя Альма, вы можете подолгу жить у нас. В пасторской усадьбе места сколько угодно.

Хенрик. Мама, милая, мы не оставим тебя. Трудности позади. Все изменится к лучшему.

Альма *(с внезапной издевкой)*. «...трудности позади...» Умнее ничего не придумал! Да что ты знаешь о моей жизни? Я не собираюсь пользоваться вашей добротой. Я, конечно, не семи пядей во лбу, но и не совсем дура. У вас будет своя жизнь, а я буду заканчивать мою. Так есть, и так будет.

Глаза у Альмы сейчас широко раскрыты и спокойны, прямо-таки сияют — разве можно понять эту наглухо закупоренную смесь медленного гниения, стенающей женской злобы и этих внезапных синих взглядов, смеха, мудрых слов, неожиданной остроты ума?

Кстати: упомянутая выше фотография существует в действительности и полностью соответствует описанию Альмы — крохотный домишко с верандой и вычурной резьбой. На дачном стуле сидит поникшая фигурка — подстриженные ежиком светлые волосы, матроска, босые ноги, в руках парусник, с левого плеча свисает блестящая жестяная коробка для сбора растений. Справа стоят две пышнотелые высокие женщины в белых летних платьях и широкополых шляпах. На веранде за несущей балкой виднеется толстая служанка, она хитро ухмыляется, надо предполагать, беззубым ртом. У зрителя возникает спонтанная мысль: а что же происходит ночью, откуда это тщедушное существо, замурованное в плотную, волнующуюся женскую плоть, берет силы, чтобы жить и дышать? Чем защищается?

Когда с альбомом покончено, остается музыка. Мама Альма с Анной играют в четыре руки. Среди произведений, аранжированных для игры в четыре руки, выбор велик — от последних вальсов (их Альма играет на празднествах) до симфоний и хоралов Гайдна. Музицирование тем не менее продолжается недолго — к облегчению Анны, поскольку уже весьма скоро выясняется, что Альма, по вполне понятным причинам, играет лучше и не упускает возможности это продемонстрировать. Игра обрывается, раздается звонок в дверь.

Альма, сняв руки с клавиатуры, чуть смущенно говорит, что это, наверное, Фредди — старинный друг. Она встретилась с ним совершенно случайно на площади несколько дней назад и проговорилась, что ждет к себе Хенрика с невестой. «Ты ведь помнишь дядю Фреда? — с мольбой в голосе и с придыханием спрашивает Альма.— Он малость чудаковатый и ужасно упрямый, так вот он настоял, чтобы я разрешила ему прийти поприветствовать Хенрика и его будущую супругу. Дядя Паулин. Он работал архивариусом в МИДе, выбирался несколько сроков в риксдаг, а теперь вышел на пенсию и переехал в Сёдерхамн, чтобы быть поближе к своим родным местам. Они с твоим отцом подружились еще в молодости. Опять звонят, пойду открою, уж вы простите, дорогие детки». Грузная женщина вдруг приобретает легкость в движениях и забавно смущается. Одернув платье и пригладив волосы, она исчезает в темной прихожей, открывает дверь, здоровается и вталкивает гостя в комнату.

Первое, что обращает на себя внимание во внешности дяди Фредди, его левый глаз — вытаращенный, черный, пронизывающий, точно кипящий бешенством. Правый глаз прикрыт дымчатым непрозрачным моноклем. Широкое лицо, тонкие губы, высокий лоб, лысая макушка. Эта тяжелая голова Цезаря покоится непосредственно на широченных плечах и приземистом, несколько согбенном теле. Серебристая, ухоженная борода, крепкие могучие руки, трость с серебряным набалдашником, грузная походка.

Фредди. Вижу, что самым непростительным образом врываюсь в ваш интимный семейный круг. Но твоя мать, дорогой Хенрик, вынудила меня,

а я никогда не умел ей отказывать. Добрый день, Хенрик, давненько мы не виделись, думаю, лет десять, не меньше. Добрый день, фрёкен Окерблюм, очень приятно познакомиться. Ах, какая прелестная девушка. Хенрик унаследовал от отца понимание женской красоты. Позвольте мне присесть ненадолго, я скоро уйду, но не откажусь от рюмки домашнего ликера Альмы. Спасибо. Спасибо, спасибо. Я сяду здесь, нет, нет, мне здесь удобно. Не хочу вам мешать. Я слышал музыку, это был Гайдн?
Альма. Молодежь завтра едет дальше. Они едут в Форсбуду, осмотреть пасторскую усадьбу и церковь. Хенрик будет там пока замещать пастора, а со временем, может, получит и постоянное место.
Фредди. Форсбуда? Прекрасное местечко, дикая, нетронутая природа, и завод, и поместье прямо в лесу над водопадами. Хенрик любит ловить рыбу? В таком случае, в таком случае... *(Замолкает.)*

Фредди Паулин поворачивается своим черным, светящимся глазом к вежливо улыбающемуся Хенрику. Но улыбка остается безответной и сразу же застревает у него на передних зубах.

Фредди. ...стало быть, ты теперь пастор, мой милый Хенрик. Да, я знал твоего отца, бунтаря аптекаря. Видишь ли, он был одним из моих ближайших друзей. Хотя был намного моложе меня. Да, я, скорее, ровесник твоего деда.
Хенрик. Я, собственно, никогда не видел деда.
Фредди. ...знаю, знаю. Мы с ним в риксдаге на одной скамье сидели. Впрочем, не могу утверждать, что знал его. Не такой он человек.
Хенрик. ...да.
Фредди. Зато хорошо узнал твою бабушку. Она была, как говорится, очаровательной женщиной. Как-то раз, оказавшись вместе в гостях, мы проговорили с ней весь вечер.

Дядя Фредди вперяет свой жуткий глаз в Хенрика, теперь не отвертеться. Сейчас позор выйдет наружу, и в черной глубине души Хенрика огнем вспыхивает слово «неизбежно».

Фредди. Твоя бабушка говорила о тебе.
Хенрик. Да? *(Пауза.)* Вот как?
Фредди. ...она сказала, что твой дед и все остальные члены семьи совершили тяжкое преступление по отношению к тебе и твоей матери. Сказала, что ей хотелось умереть, когда она думала о своем внуке, которого у нее отняли. Она не знала, как искупить вину. Сказала, что от мысли о вашей беззащитности и бедности просто заболевала. Она пыталась объяснить собственное бессилие. Для того, кто знаком с семейством Бергман, понять это бессилие не слишком трудно.
Хенрик. ...да.
Фредди. ...а потом бедняжка умерла?
Хенрик. ...да, умерла.
Фредди. ...ты успел ее повидать? Она очень нуждалась в...
Хенрик. Она лежала в Академической больнице в Уппсале. Я готовился к экзаменам и все откладывал посещение. А когда наконец собрался, узнал, что она скончалась несколькими часами раньше.
Фредди. А с дедом виделся?
Хенрик. Мы столкнулись в больничном коридоре, но сказать нам друг другу было нечего.
Фредди. Я был на похоронах, но тебя там не встретил.
Хенрик. ...я не ходил на бабушкины похороны.
Фредди. ...ну да, понимаю.

Больше говорить было не о чем. Конец разговора повис в воздухе. Допив ликер, Фредди Паулин быстро, словно бы у него с души свалилась тяжесть, встает и любезно прощается.

Альма склоняется над девушкой, уже забравшейся под одеяло. «Спокойной ночи, девочка моя,— говорит она шепотом.— Спокойной ночи, не забудь посчитать оконные стекла, так всегда делают на новом месте, и тогда твои сны сбудутся». «Спокойной ночи, тетя Альма,— шепчет Анна,— спасибо, что позволили нам приехать, такой прекрасный вечер был». Она не обвивает руками шею Альмы, что-то ее останавливает, зато Альма гладит ее по щеке: «Погасить свет или пусть горит?» «Спасибо, я сама погашу». «Только не засни со светом»,— предупреждает Альма. «Нет, нет»,— улыбается Анна, и Альма, в сером халате, с жиденькой, туго заплетенной косицей на спине, тихонько покидает комнату. Без корсета тело ее обвисло, голова выпячена, а спина согнута, словно она несет нечеловеческую ношу.

Хенрик в ночной рубахе сидит на застеленной кушетке, придвинутой к буфету, и маленьким ключиком заводит карманные часы. Перед ним стул с зажженной свечой. Из сумрака бесшумно появляется мать. Светится белое как мел лицо, но глаза в тени, она похожа на громадную слепую рыбу на большой глубине. Вот она подходит, ставит свечу на буфет и садится на стул — теперь видны и глаза, она тяжело дышит: «Анна — славная девушка,— шепчет она отрывисто, изо рта у нее пахнет кислым молоком.— Очень славная и красивая, настоящая принцесса. Береги ее». Хенрик качает головой: «Мне все это по-прежнему кажется сном,— отвечает он тоже шепотом, стараясь уклониться от материного дыхания.— Как будто не со мной происходит». Мать наклоняется и целует его в губы: «Спокойной ночи, мой любимый мальчик. Спи крепко. Не кори себя за бабушку. Кому-кому, а тебе уж совсем себя винить не в чем». Альма смотрит на сына затуманенными блестящими глазами, губы влажные. Хенрик, качая головой, хочет что-то сказать, но потом передумывает. «Ну, спокойной ночи,— повторяет Альма и целует руку сына.— Спокойной ночи, и не забудь погасить свет». Дважды кивает и со слабым пыхтением исчезает в темноте, бесшумно притворив за собой дверь. Хенрик в недоумении, ему страшно: Что происходит? — спрашивает он себя.

Альма, сняв халат, бродит по комнате — неслышно, на цыпочках. Часы в столовой бьют одиннадцать, им вторят часы церкви, от порыва ветра снаружи заскрипела вывеска, и снова воцаряется тишина. Альма, натянув одеяло на живот, сидит выпрямившись, со сцепленными руками и смотрит на маленький крестик из слоновой кости, который висит в торце алькова. «Боже милостивый,— произносит она,— прости мне мои прегрешения и ныне и во веки веков. Боже милостивый, сохрани и благослови моего мальчика! Боже милостивый, прости меня за то, что я не могу полюбить эту девушку. Боже милостивый, сделай так, чтобы она ушла из жизни Хенрика. Коли я ошибаюсь, коли мои мысли черны по одной лишь злобе, покарай м е н я, Господи! Покарай м е н я! А не его и не ее!»

Она гасит керосиновую лампу, но еще долго не спит, уставившись в темноту, напрягает слух — в столовой какое-то движение, верно, Хенрик направляется к этой чужой женщине. Альма садится в постели, сердце колотится как сумасшедшее, она вот-вот задохнется. Ну, конечно, Хенрик направляется к этой женщине!

Анна приходит в возбуждение, увидев белую фигуру, возникшую в сером четырехугольнике двери. Она откидывает одеяло и отодвигается к стене, он немедленно оказывается в ее объятиях, они шепчутся и смеются — самый настоящий бунт против родителей.

Анна. ...у тебя холодные ноги.
Хенрик. ...ага, сейчас согреются.
Анна. ...у меня ноги всегда теплые, приходится даже высовывать их из-под одеяла. А потом так приятно снова спрятать их.
Хенрик. ...ох, уж эта твоя страсть к наслаждениям.
Анна. ...да, обожаю наслаждения, до безумия. Увидишь, я и тебя научу.
Хенрик. ...чему научишь?
Анна. Ляг на спину, я поцелую тебя. *(Целует его в губы.)* Ну?
Хенрик. ...Спасибо, согласен!

Анна. ...а вдруг твоя мама нас слышит?
Хенрик. ...и это тоже?...
Анна. ...разумеется.
Хенрик. ...ты бесцеремонна до предела. *(С восторгом.)* Бесцеремонна ведь?
Анна. ...ты мой. Я бесцеремонна до предела.
Хенрик. ...бедная мама.
Анна. ...«оставь отца своего и мать свою, и воздастся тебе и долго будешь жить в стране, которую даст тебе Господь». Разве не так написано?
Хенрик. ...не совсем, но у тебя тоже неплохо получилось.
Анна. ...бедный Хенрик!
Хенрик. ...подумать только, я лежу в своей старой мальчишеской кровати, лежу с тобой — в голове не укладывается.
Анна. А теперь тебе все-таки надо идти. Нам нельзя заснуть вместе.
Хенрик. Не очень уверен, что мама принесет нам кофе в постель.
Анна. ...спокойной ночи.
Хенрик. ...спокойной ночи, не забывай меня, пожалуйста.
Анна. ...прямо сейчас начну думать о тебе.

Хенрик закрывает дверь и на цыпочках пробирается к своему ложу в столовой. Он не слышит, как мама Альма рыдает в подушку.

Реплики, которыми эти трое обмениваются за ранним завтраком, зафиксировать почти невозможно. Альма в халате, волосы уложены кое-как, лицо опухло от слез, губы жалобно подрагивают. Анна с Хенриком веселы, но немного конфузятся и учтиво пытаются сдержать свою радость по поводу отъезда, радость взаимной любви, радость от прикосновений, радость гармонии.

Альма. Хочешь еще кофе, Анна?
Анна. Нет, спасибо. Сидите, тетя Альма. Я подам. Хенрик, еще кофе?
Хенрик. Да, спасибо. У нас мало времени?
Альма. Поезд в Сундсваль отправляется в семь пятнадцать.
Хенрик. Тогда я съем еще один бутерброд.
Альма. Тебе с сыром или с колбасой?
Хенрик. И с тем, и с другим.
Анна. Нам придется делать две пересадки, приедем только к вечеру.
Альма. Я приготовила вам корзинку с припасами, в прихожей стоит.
Анна. Какая вы заботливая, тетя.
Альма. Ах, детка!
Хенрик. Дождь пошел.
Анна. Настоящий осенний дождь.
Альма. У меня есть большой зонтик, можете взять. На вокзале оставите его в камере хранения, а я потом заберу.
Хенрик. Спасибо, мамочка.
Альма. Да не за что.
Анна. Очень здорово ехать на поезде, когда идет дождь. Можно свернуться калачиком и наслаждаться шоколадом и бутербродами — и апельсинами, конечно.
Альма. У меня есть кое-что для тебя, Анна.

Альма поспешно уходит к себе в комнату, слышно, как она сморкается и открывает ящик комода.

Анна *(шепотом)*. Твоя мама плакала.
Хенрик. Плакала?
Анна. Разве ты не заметил, какие у нее красные глаза и опухшее лицо? Она плакала.
Хенрик *(легкомысленно)*. У мамы всегда лицо опухшее. Да и плачет она почти постоянно. По-моему, ей нравится плакать.
Анна. Она знает.

Хенрик. Что знает?
Анна. Не прикидывайся.
Хенрик. Ты хочешь сказать, что она слышала?..
Анна *(кивает)*. Ну да. И теперь считает, что ее малыша уводит из дома падшая женщина!
Хенрик. Э, это все твои фантазии!
Анна. Тихо, она идет.

Альма открывает дверь. Она причесалась и нацепила кружевной чепчик. И надела туфли вместо стоптанных тапочек. В руке у нее золотая филигранная цепочка с маленьким медальоном, на котором выгравирована буква А в обрамлении россыпи крошечных рубинов. Альма протягивает украшение, Анна вскакивает чуть ли не в страхе — в жесте Альмы нет ни грана дружелюбия.

Альма *(деловито)*. Мне подарили этот медальон в день помолвки. Отец Хенрика подарил, медальон, разумеется, был ему не по карману, но он никогда не думал о деньгах. Видишь, Анна, на нем выгравирована буква А. Поэтому я считаю, что ты должна взять медальон как подарок от отца Хенрика, словно бы он с нами. Вот. Разреши, я надену тебе его на шею.
Анна. Это слишком дорогой подарок. А вы сами, тетя, разве...
Альма. Молчи, глупышка. Это совсем скромный подарок. Ты, конечно, привыкла к более роскошным.
Анна *(без всякого выражения)*. Спасибо.
Альма. А теперь вам пора. Я вас не провожаю, надеюсь, вы не обидетесь. Мне трудно ходить. Астма. *(Целует сына.)* До свидания, Анна, надеюсь, я буду в состоянии приехать на свадьбу. Поторопитесь! Вот зонтик. *(Целует Анну в щеку.)* Спасибо, что дала себе труд приехать.
Анна *(в панике)*. Мы скоро еще приедем.
Альма. Прекрасно!
Хенрик. До свидания, мама.

Они скатываются с лестницы и выходят на дождь. Чемодан несут вдвоем. Хенрик держит над Анной зонтик, они почти бегут по пустой, мокрой от дождя улице. Бегут словно от большой опасности. Внезапно Хенрик разражается смехом.

Хенрик. Ну и женщина! Ну и женщина!
Анна. Что такое, Хенрик?
Хенрик. И эта женщина — моя мать!
Анна. Идем же.
Хенрик. Да, надо спешить.

Стоит ли Альма за занавеской? В дневнике моей бабушки, который она вела весьма спорадически, есть запись за 14 сентября 1912 года: «Хенрик со своей невестой приехали с визитом. Она удивительно красива, он кажется счастливым. Вечером пришел Фредрик Паулин. Говорил о старых неприятностях. Что было весьма некстати и расстроило Хенрика».

По коридору прошел кондуктор, предупредил: с л е д у ю щ а я Ф о р с б у д а. Анна с Хенриком сидят рядышком, держась за руки, вид у них напряженный, но торжественный. Дождь сопровождал их почти на всем пути, но сейчас в пыльное купе вдруг брызнуло солнце, вычерчивая резкие контуры и бросая бегущие тени на лица и панели. Уже далеко за полдень, солнце стоит низко. Хенрик, уткнувшись лицом в щеку Анны, говорит: «Анна! Что бы ни случилось, какие бы сюрпризы нас ни ожидали, с какими бы странными людьми нам ни пришлось встретиться, все-таки мы вместе». «Да, теперь мы будем вместе всегда»,— шепчет Анна сквозь дребезжание и скрежет тормозов; грохочут колеса по настилу небольшого моста, паровоз, поддав пару и запыхтев еще сильнее, прибавляет ход, и вот он уже стоит у блестящего от дождя каменного перрона Форсбуды. Грохочет дверь

багажного вагона, звенит решетка, опускается семафор, станционный смотритель делает знак рукой — паровоз, стуча плунжерами, удаляется. Это всего лишь небольшой местный поезд, он тут же скрывается за поворотом у озера. На перроне остались Анна и Хенрик, они оглядываются вокруг. Между ними стоят два чемодана — один большой, другой поменьше.

У торца станционного здания ждет лошадь, запряженная в кабриолет с опущенным верхом. Рядом возвышается мужчина в длинном пальто с галуном на воротнике и в сдвинутой на глаза фуражке. «Вы пастор?» — спрашивает Фуражка, не двигаясь с места. «Да, это я»,— отвечает Хенрик. «Значит, вы едете со мной. Заводчик приказал отвезти вас к настоятелю. Но он ничего не говорил о спутниках». «Это моя невеста»,— говорит Хенрик. «Вот как, ну, тогда невеста тоже с нами поедет, хотя заводчик не упоминал про невесту»,— ответствует Фуражка, по-прежнему не двигаясь с места. Анна с Хенриком берут чемоданы и несут их к кабриолету. Фуражка засовывает их под сиденье, Анна с Хенриком усаживаются. Кучер помещается на козлах за спиной пассажиров: «Хорошо, что я не запряг коляску, в ней всего два места,— говорит Фуражка, щелкая кнутом. Лошадь резво трогается с места.— Пришлось бы фрёкен остаться на станции»,— добавляет он, улыбаясь беззубой, но добродушной улыбкой.

Хенрик, сообразив, что это шутка, дабы завязать разговор, спрашивает, весь ли день шел дождь. «Целый божий день, а к вечеру припустит еще сильнее, так что хорошо, что я не запряг одноколку, как хозяин приказывал, ведь она без откидного верха. Как только поезд подошел, я опустил верх».

Потом долгое время царит молчание. «Вон церковь,— говорит Фуражка, указывая на громоздкий собор XVIII века, раскинувшийся на склоне холма в окружении редких, по-осеннему красных деревьев.— Но пастору, верно, не придется слишком часто служить в большой церкви, больше в заводской часовне. Интонация свидетельствует о наличии определенной иерархии.— Да, пастор, верно, в основном будет читать проповеди в заводской часовне. Габриэль де Геер, тот, что дал жизнь заводу, пустил лесопильню и построил поместье, это было лет сто назад, ему непременно захотелось иметь оранжерею, или, скорее, пальмовую теплицу, ему хотелось завести пальмы, летом их можно было выносить на улицу, а зимой надо было держать под крышей, вот он и велел соорудить отдельный дом для своих пальм, но отцу Нурденсона, который стал владельцем после де Геера, вся эта затея с пальмами показалась дурацкой, топлива-то сколько нужно, чтобы их зимой обогревать, ну и сжег он пальмы, а пальмовую теплицу подарил соборному капитулу, ведь до большой церкви десять километров, чтобы, значит, у людей из поместья и лесопильни был Божий дом. Это он хорошо придумал. Папаша Нурденсона был хороший человек. Правда, позже появились пятидесятники. И народ стал охотнее посещать молельный дом. Но папаша Нурденсона был хороший человек.»

Истощив свои ресурсы этой длинной речью, Фуражка остаток пути молчит. Лошадь резво бежит по песчаной холмистой дороге, мимо добротных усадеб и длинных участков темного леса. Ледяной ветер предвещает скорый снег. Зубчатая горная гряда освещена солнцем, свет желтовато-промозглый. «Вы не замерзли, пастор?» — спрашивает кучер. «Нам тепло»,— отвечает Анна, оборачиваясь. Фуражка молча кивает.

Усадьба настоятеля представляет собой длинную постройку с двумя флигелями, сад с беседкой и высокими вязами в осеннем убранстве. Во многих окнах уже горит свет. На кухне ведутся приготовления к ужину.

Хенрик стучит в дверь, но, похоже, никто не слышит, не видит, не ждет гостей, поэтому они поднимаются на крыльцо и входят в прихожую. С разных сторон доносятся голоса, слышатся быстрые шаги на втором этаже. Напольные часы в резном крашеном корпусе решительно бьют пять, но показывают четыре.

На лестнице появляется поразительно красивая женщина с тронутыми сединой волосами и черными глазами. Увидев гостей, она приветливо улыбается и восклицает: «Наконец! Мы ждали весь день, настоятель куда-то дел письмо, где было указано время прибытия, и Фрид встречал все

поезда подряд. Мы не могли позвонить, поскольку телефон в пасторской конторе сломан вот уже три недели. К тому же, мы не знали, где вас искать. На Трэдгордсгатан в Уппсале никто не отвечал. Добро пожаловать! Меня зовут Магда Сэлль, я экономка настоятеля и одновременно его племянница. Входите! Разрешите ваши пальто. Как прошло путешествие? Плохо, что мы живем так далеко от станции. Наверное, замерзли, фрёкен Бергман? Страшный ветер, теперь после дождя жди снега. Я скажу настоятелю, что вы приехали. Пожалуйста, подождите пока в гостиной. Сейчас будет кофе».

Красивая, разговорчивая фрёкен Сэлль исчезает в глубине дома. Анна и Хенрик остаются сидеть — каждый на своем стуле — в просторной комнате с двумя хрустальными люстрами, обитой шелком мебелью в стиле Карла Юхана и светлыми деревянными полами, частично застеленными бесконечными узорчатыми лоскутными дорожками. Стены украшены бра и портретами священников с добрыми глазами. Двери, ведущие в библиотеку, уставленную могучими книжными шкафами, распахнуты настежь. Огонь в кафельной печи вот-вот угаснет, тепла он почти не дает. Массивные настенные часы в стиле псевдобарокко показывают без двадцати семь. Настольные часы как раз бьют восемь.

Из библиотеки выходит настоятель, он двигается осторожно, поддерживаемый фрёкен Сэлль. Бледное, правильной формы лицо с окладистой бородой, темно-серые глаза за толстыми стеклами очков, зачесанные назад волосы взлохмачены. На нем пасторский сюртук, на ногах тапочки. Приветливую улыбку портит плохо пригнанная вставная челюсть. Анна с Хенриком поспешно встают и делают несколько шагов навстречу хозяину. Старик, не тратя лишних слов и восклицаний, молча протягивает им могучую руку. Серые глаза внимательно разглядывают гостей. Потом, словно довольный увиденным, он кивает, знаком приглашая гостей садиться. Фрёкен Сэлль говорит, что сейчас принесет кофе, и удаляется. Настоятель уселся на стул с прямой спинкой у стола. Одну руку он поднес к уху, показывая тем самым, что плохо слышит. Другой выудил из кармашка жилета под застегнутым на все пуговицы сюртуком золотые часы. Смотрит на них, на стенные часы и на настольные.

Настоятель Граншё. Правильное время — пять минут пятого. В этом доме все часы идут вразнобой. Говорят, это связано с подземным магнитным полем. Зато мои часы идут минута в минуту, поскольку они, судя по всему, невосприимчивы к подземным силам.

Хенрик вытаскивает свои часы. Они показывают десять минут пятого.

Хенрик. На моих десять минут пятого.
Настоятель Граншё. Ну-ну. Бывает.

Старик с отсутствующим видом уставился в какую-то точку справа от ног Хенрика. Молчание затягивается, но не вызывает неприятного чувства.

Настоятель Граншё *(внезапно)*. Меня навестил мой близкий друг профессор Сёдерблюм. От него я услышал немало хвалебных слов о тебе, Хенрик Бергман. Я высоко ценю мнение Сёдерблюма. Мы старинные друзья. Конечно, он намного моложе меня. Тем не менее мы старинные друзья.

Настоятель негромко и заразительно смеется и, осторожно пососав свою вставную челюсть, обращает серые глаза на Анну.

Настоятель Граншё. Он говорил и о фрёкен Окерблюм. Не знаю, откуда он вас знает, но он знает всех. Он заверил, что Анна Окерблюм будет хорошей пасторской женой. Надеюсь, Хенрик не обижается, что я передаю слова Сёдерблюма.
Хенрик *(улыбаясь)*. Я могу лишь гордиться.
Настоятель Граншё. Да, да. Вот именно. Магда, кажется, хотела принести кофе? Я кофе не пью. Так что, если молодежь меня простит, я позволю себе

удалиться. Мы сегодня приглашены на ужин к Нурденсонам, мне надобно переодеться. И подремать немножко.

Настоятель с трудом поднимается, какое-то мгновенье беспомощно размахивает рукой, но тут же, схватившись за спинку стула, обретает равновесие. Хенрик и Анна встают.

Настоятель Граншё. Сидите, ради Бога. Я отлично справлюсь. Это Магда считает своей обязанностью поддерживать меня, когда надо и когда не надо. Стало быть, я удаляюсь.

Старик, помахав на прощание, улыбается Анне, та приседает. Настоятель исчезает в библиотеке, открывается и закрывается дверь. На пороге прихожей возникает громадный черный пес с уныло повисшим хвостом. В ответ на протянутую руку Анны он недоверчиво приближается, равнодушно ее обнюхивает и, ударив три раза хвостом об пол, уходит. Быстрыми шагами входит Магда Сэлль с кофейником, за ней следует длинное, бледное создание с подносом.

Магда. Извините за задержку. Так, значит, дядя Самуэль ушел. Да, в это время он обычно спит, а это святое, вы понимаете. Спасибо, Оттилия, все в порядке. Напомни Фриду, чтобы он подогнал экипаж не позднее четверти шестого и чтобы поставил внутрь кувшин с горячими угольями, только пусть не устраивает пожара, как в прошлый раз. Фрёкен Окерблюм, вам два куска сахара? Мне так стыдно, что я недавно назвала вас фрёкен Бергман. Простите, ради Бога. Пастор, вам со сливками? И один кусок? Пожалуйста, попробуйте пирог. Мы сегодня вечером приглашены на ужин к Нурденсонам. Там будет не слишком весело, я имею в виду — после всего, что случилось, но директор настоял. Мы бы с гораздо большим удовольствием устроили небольшой ужин дома, дядя Самуэль тоже так думает. Но Нурденсон и слышать ничего не хотел, наверное, фру Нурденсон на него надавила, она чрезвычайно — как бы это сказать? — чрезвычайно занята фундаментальными вопросами жизни и очень несчастна из-за того, что произошло в последний год. Вы, пастор, наверное, schon im Bilde [1], как говорят немцы.
Хенрик. Я ничего не знаю.
Магда. Вот как, ну, тогда мне не следует сплетничать. Но рано или поздно вы, пастор, все равно узнаете, как обстоят дела.
Хенрик. Что произошло?
Магда. Никто точно не знает. Но одно очевидно — с заводом дела плохи. И Нурденсон был втянут в аферу. Поговаривают даже о тюрьме. Весь последний год был сплошным клубком слухов и сплетен. Что-то я разболталась, а мне надо еще показать вам ваши комнаты. Ваша невеста будет спать в епископских покоях, вот так-то. Его преосвященство останавливается там, приезжая с визитами, а пастору мы приготовили уютную комнату на втором этаже во флигеле, у нас часто бывают гости. Дядя Самуэль — член комитета, который работает над международной экуменистической энциклопедией. Ему сейчас затруднительно ездить самому, поэтому ученые мужи приезжают сюда.

Хенрик — в прямоугольной комнате с покатым потолком и стенами, оклеенными обоями с пышными цветами, узкое окошко выходит в шуршащий по-осеннему мрак сада и занавешено накрахмаленными шторами. Белая кровать с высокими спинками, белый письменный стол, стул, белый платяной шкаф, лоскутные коврики, керосиновая лампа, аромат свежего влажного морозца, несмотря на горящие в кафельной печи березовые дрова. Отметив все это, Хенрик садится за стол. На нем чернильница и ручка. В ящике, разбухшем от влаги и открывающемся с большой неохотой, он находит линованую бумагу. И тотчас же начинает писать красивым, летящим почерком:

[1] *Здесь:* уже в курсе (*нем.*).

«Усадьба настоятеля Форсбуды, 12 сентября 1912 г.

Дорогая, любимая Анна, моя жена перед Богом. Как только мы расстаемся, пусть ненадолго, пусть географическое расстояние невелико, меня немедленно охватывает ноющий страх больше никогда не увидеть тебя. Все станет сном, который растворится в пустоте, и я проснусь в одиночестве, особенно мучительном потому, что столь отчетливым было наше единение во сне. Твои руки, твоя улыбка, твой добрый голос, вся ты. Я пытаюсь вызвать перед своим внутренним взором твой образ, но слишком велик мой страх — внезапно ты исчезаешь.

Больше всего на свете я хотел бы быть твоим еще не родившимся ребенком. Меня бы носило боязливое чрево. Иногда мне кажется, что я помню страшный холод, что я мерз задолго до рождения. У тебя под сердцем наверняка тепло, я испытываю зависть к нашим детям, которые будут спать в тебе. Прости, дорогая Анна, если я выражаюсь мелодраматически, но как раз в эту минуту меня одолевают такой страх и неуверенность перед тем огромным и новым, что ждет нас! Я знаю — стоит мне увидеть тебя, и я сразу же успокоюсь. Как я смогу дать тебе ту надежность, в которой ты так нуждаешься? Ты оставляешь добрый, уютный мир, чтобы вместе со мной окунуться в действительность, которую нам даже трудно себе представить! Иногда я отчетливо вижу свои слабости и бесхарактерность, все это текучее и нерешительное во мне. Иногда меня подмывает крикнуть: берегись меня! И в то же время я кричу: не бросай меня, не покидай меня никогда. Только с тобой я способен вырасти и созреть».

Подписавшись и перечитав написанное, Хенрик добавляет постскриптум: «Я, как известно, могу быть весьма приятным в обыденной жизни. К тому же у нас вызывают смех одни и те же вещи. В следующий раз, когда ты решишься на замужество, ты наверняка сможешь выйти за своего старого кавалера Торстена Булина. Я прочитал в газете, что он стал профессором эгзегетики. Какой марш-бросок! У него, без всяких сомнений, намного больше денег, чем у меня. Хотя я лучше пою!»

Поместье Форсбуда представляет собой высокое здание в три этажа с мансардой, колоннами по фасаду и широкой балюстрадой на уровне парадной залы и гостиной первого этажа. Парк спускается к озеру Стуршён, а в его левом углу в длинном строении XVIII века располагается заводская контора.

Все это впечатляет, но повсюду видны следы предательского разрушения и отсутствия должного ухода. Вот так, вечером, когда сентябрьская луна, катясь по обширному водному зеркалу, освещает напоминающее замок сооружение, не заметны щели в штукатурке, отслаивающаяся краска на арках окон, деревянные ставни на окнах мансарды, запущенный сад и высохшие фонтаны. Колеблется пламя факелов у парадной лестницы, одетый в ливрею слуга в белых перчатках открывает дверь, и горничная принимает пальто и накидки.

В большой, хорошо натопленной зале горят свечи, милосердно скрывая изъяны обоев, царапины на паркете, дыры в коврах и уродливое старение мебели. Гостей из настоятельской усадьбы сердечно, если не сказать, бурно приветствуют директор Нурденсон и его жена Элин. Остальные гости — как того и следует ожидать: провинциальный врач Альготсон с супругой Петрой и управляющий заводом Херманн Нагель.

Сам Нурденсон похож на взъерошенную хищную птицу. Высокий, худощавый, с большим носом и жидкими волосами, он бросает быстрые взгляды на мир из-под кустистых бровей. Уши заросли волосами, лоб бледный, широкий рот с тонкими губами. Длинные узкие руки покрыты темно-коричневыми старческими пятнами. Тощая фигура сгорблена, голова выдвинута вперед, голос глубокий и приятный.

Фру Элин, как и ее супруг, безупречно элегантна, но так, что это не бросается в глаза (надо ведь учитывать более низкий социальный статус уважаемых гостей). Элин Нурденсон вряд ли можно назвать красивой, но у нее торжествующая улыбка, черные теплые глаза и плавные, рассчитанные движения. Она излучает чувственность и мягкую меланхолию.

Состарившийся, тяжело ступающий доктор и его цветущая болтушка жена относятся к тем статистам первого класса, которые, не проявляя в жизни слишком истинных чувств и чересчур активного участия, наблюдают за нашими тягучими трагедиями и беспокойными комедиями. На управляющего я не стану тратить слов, он уже на следующей неделе умрет от инфаркта, и он же с неподкупной лояльностью и некомпетентностью помог Нурденсону довести завод до финансового краха.

Поскольку фрёкен Магда и фру Элин — дамы светские, можно вполне предположить, что завязывается сердечный и непринужденный разговор. Обед сервируется в маленькой столовой, восьмиугольной комнате, оклеенной обоями ручной росписи, с хрустальной люстрой и бра, густавианской мебелью, тускло сверкающими серебряными канделябрами, осенними цветами и подогретыми тарелками. Поднимаются тосты за нового пастора и его будущую жену, за энциклопедические труды настоятеля и за докторскую супругу, которая только что стала прабабушкой, хотя ей всего семьдесят.

И вдруг через комнату словно пробежал призрак, разбив хрупкое настроение праздника и уверенности. Это управляющий на вопрос доктора сообщает, что домны, прокатный стан, паровой молот и заводская кузня с обеда бездействуют. Рабочие сперва собрались в портовом складе, потому что шел проливной дождь, но сторожа их оттуда выгнали. Тогда они ворвались в один из предназначенных к сносу домов у перекатов. Находившиеся в доме управляющий и два конторских служащих пригрозили полицией, но заводчик сказал, что если они отошлют агитатора и приступят к работе в третью смену, то могут оставаться там.

«Что происходит?» — интересуется Хенрик. Директор с удивленным видом поворачивается к пастору. «Ничего, практически ничего,— говорит он с вежливой улыбкой.— Если бы вы, пастор, лучше разбирались в сегодняшней политической ситуации, вы бы знали, что со времени всеобщей стачки у нас не было ни одной спокойной недели. Уже больше ста лет на нашем заводе существуют умелые, приличные рабочие кадры, которые понимают наши проблемы и хотят помочь и нам, и себе выбраться из затруднений. Но есть и новое поколение: крикуны, агитаторы, уголовные элементы, вбивающие клин между нами и рабочими. Они живут классовой ненавистью и лживой пропагандой. Они несут страх и неуверенность».

Хенрик. Не понимаю, как они могут заставить людей слушать себя, если то, что они проповедуют, неправда.

На минуту воцаряется тишина. Инженер Нурденсон поворачивается к настоятелю, улыбка его стала еще шире.

Нурденсон. Можно лишь пожалеть, что молодые священники не получают никакого политического образования перед выходом на рынок труда. Я считаю, что сознательный священник мог бы играть определенную роль для создания общественного мнения, во всяком случае среди женщин, и тем самым...

Настоятель Граншё. Дорогой брат, причинять неудобства — одна из наших задач, «...не мир пришел Я принести, но меч»,— сказал однажды Учитель, раздраженный ссорами своих учеников.

Нурденсон *(спокойно)*. Пожалуйста, давайте начистоту: чернь и сброд! Надо называть вещи своими именами, это упрощает понятия, делает их яснее. Чернь и сброд. И давайте будем откровенны: они хотят отнять у меня наследное поместье. Хотят выставить меня на улицу. Давайте говорить прямо: они хотят убить меня и мою семью. Я принимаю их ненависть. На меня даже производит некоторое впечатление сила их лживых утверждений и их энтузиазма. И не питайте иллюзий: их отвращение не безответно! Я вполне способен снять ружье со стены и пристрелить их как бешеных собак. Давайте поглядим правде в глаза, господин пастор! Время согласия миновало, начинается борьба. Можно было бы, конечно, пожелать себе врага, использующего более чистые методы, но требовать этого от черни

с гнилой кровью, безусловно, излишне. Я был бы благодарен, если бы мы не касались этого вопроса. Нашим дамам наверняка неприятно. Моя дражайшая супруга на сон грядущий осыплет меня упреками за то, что я потребовал политической сознательности от духовного лица.
Хенрик. Я и не подозревал, что ситуация настолько воспаленная.
Нурденсон *(со смехом)*. «Воспаленная» — замечательное слово, заимствованное из благородного искусства врачевания! Словно бы речь идет о какой-то болезни этих вечно несчастных и невинных! Но это не так! Это революция, господин пастор! И мы все, сидящие за этим столом, побежденные. Полетят наши с вами головы.
Элин *(смеется)*. Мой супруг определенно решил вас хорошенько попугать! Предлагаю закончить этот бессмысленный разговор и встать из-за стола. Кофе будет подан в зеленой гостиной.
Настоятель Граншё. Разрешите мне сначала обратиться к хозяйке и от себя лично и от имени остальных гостей поблагодарить за изысканное, как всегда, угощение. Хотя мы и живем во времена потрясений и грозящих бед... что это я хотел сказать... хороший обед всегда остается хорошим обедом... я хотел сказать что-то другое, получше... осмелюсь утверждать, что хороший обед, которым наслаждаются должным образом, это кирпич в той баррикаде, каковую мы призваны возвести, дабы противостоять... да, вот именно... противостоять насилию, хаосу и беспорядку... я вообще-то собирался сказать что-то более умное, но мысль испарилась, хоть и вертелась уже на кончике языка. Ну ладно, и так сойдет. Твое здоровье, Элин, и спасибо.
Нурденсон *(с внезапным добродушием)*. Браво, дорогой брат, браво. Ты всегда в конце концов находишь нужное слово. Ваше здоровье, пастор, ваше здоровье, очаровательная юная невеста! Простите старого косматого волка, которого только что укусили за хвост на один раз больше, чем нужно. Молодость и красота — вот чего мы жаждем здесь в нашей глуши. А потом пусть на телеге приезжает ум.

Все чокаются с хозяйкой и обрученными и, встав из-за стола, направляются в зеленую гостиную. Хенрик быстро наклоняется к Анне и, целуя ее в ухо, одновременно вытаскивает из нагрудного кармана письмо (с нарисованным на конверте сердцем) и сует ей в руку. С заговорщической улыбкой она незаметно прячет письмо в сумочку. «Прочитай сегодня перед сном». «Какие-нибудь неприятности?» — шепчет Анна. «Скорее, пожалуй, любовь»,— отвечает Хенрик.

Элин. А завтра вы, пастор, со своей невестой будете осматривать часовню и пасторскую усадьбу?
Анна. Да, в соответствии с программой.
Элин. Мне очень жаль, что я не смогу сопровождать вас. Уезжаю в Стокгольм навестить заболевшего старого друга.
Магда. Я покажу молодым людям все что нужно.
Элин. Там многое необходимо отремонтировать и привести в порядок. Только не пугайтесь. Часовня пустует уже два года, а пасторская усадьба еще дольше.
Анна. Нас подготовили и предупредили.
Элин. Если с вами будет Магда, я спокойна. *(К Магде.)* Магда ведь позаботится о наших детках, проследит, чтобы они в страхе не сбежали? Пасторская усадьба воистину находится в жалком состоянии.
Магда. Церковный совет же сообщил нам, что будет проведен капитальный ремонт. И тогда появится возможность высказать свои пожелания. Правда, Элин?
Элин. Разумеется! О, кажется, наши дочери вернулись из танцевальной школы. Представляете, пастор, нам удалось организовать кружок современных танцев в Эльвнесе, всего в каких-то десяти километрах отсюда. Теперь у молодежи есть возможность повеселиться раз в неделю. Вот, стало быть, мои дочери — Сюзанна и Хелена.

Девочки воспитанно здороваются, Сюзанне четырнадцать, она невысокая, темноволосая, похожа на мать. Хелене тринадцать, худенькая, рослая, похожа, наверное, сама на себя. Фру Элин, взяв Хенрика за локоть, ведет его в соседнюю, слабо освещенную комнату: «Мне надо кое-что сказать пастору, это важно».

Элин. Сюзанна и Хелена не ходят в школу, они учатся частным образом. У нас есть учительница, милая и знающая, она сегодня не смогла присоединиться к нам, у нее разыгрался гастрит и она предпочла поужинать у себя в комнате. Сюзанне четырнадцать, Хелене тринадцать. Со временем они должны поехать учиться в Уппсалу или в Евле, но отец их так обожает, что старается удержать здесь как можно дольше. Вы собираетесь заниматься с детьми? Я имею в виду конфирмационные занятия.
Хенрик. Очевидно. Я правда не...
Элин. Прекрасно. *(С экзальтацией.)* Я страстно хочу, чтобы дети прошли конфирмацию. Это моя единственная мечта!
Хенрик *(удивленно)*. Какие же тут могут быть проблемы!
Элин. Огромные, пастор. Их отец не желает и слышать о конфирмации. Он приходит в бешенство, как только я завожу об этом, разъяряется так, что мне становится страшно. Совершенно необъяснимый гнев, пастор. Я не понимаю.
Хенрик. А каково желание девочек?
Элин. О пастор, это их самое горячее желание.
Хенрик. Тогда, если позволите, я поговорю с господином директором. Думаю, это не будет слишком...
Элин *(прерывает его)*. ...нет, нет. Вы не должны этого делать. Я сама поговорю с ним. Рано или поздно ему придется сдаться.
Хенрик. Это так трудно?
Элин. Очень. Когда-нибудь, когда-нибудь... *(Обрывает себя.)* Я не могу говорить с настоятелем, они с моим мужем старинные друзья, он наверняка примет сторону мужа.
Хенрик. Весьма странно.
Элин. С годами многое стало странным. Идемте вернемся к остальным. Нехорошо, если кто-нибудь начнет недоумевать.

В гостиной разыгрывается небольшая драма: у управляющего начались колотье и боли в левом боку. В испарине, тяжело дыша, он сидит на низеньком стуле, доктор расстегивает ему воротник, а жена ищет тюбик с таблетками во внутреннем кармане редингота. Со смущенной улыбкой, бормоча извинения, управляющий, поддерживаемый женой и слугой, тащится к двери. Идущий следом Нурденсон похлопывает его по руке: «Просто ты забыл принять таблетки, растяпа, вот увидишь, скоро все образуется. Выпей коньяку перед сном. Нет, нет, я провожу вас до коляски. Скоро вернусь».

За время обеда щеки у докторской жены раскраснелись еще больше. Она поспешно подходит к Анне и Хенрику, пожимает руку Магде и шепотом заверяет: конец близок! Ее муж, который провел тщательное обследование, утверждает, что конец может наступить в любой момент. В одночасье, как говорится. Завод доконал его. Он будет первой жертвой, но определенно не последней. Дело идет к краху, а что произойдет, когда Нурденсон сложит оружие...

Удалившись спустя пару часов в отведенные ей удобные епископские покои, Анна тотчас вынимает письмо и внимательно читает его — не меньше двух раз. После чего садится за секретер и пишет ответ на нескольких страницах, вырванных из дневника. Светит круглая, белая, цвета слоновой кости луна, холодное резкое сияние заливает стены и пол. Керосиновая лампа услужливо освещает руки Анны и слова, которые она выводит своим округлым, строгим почерком:

«Мой дорогой, я не могу вот так сразу ответить на твое письмо.

Я слишком многого не понимаю, нет, разумеется, слова я понимаю, но не понимаю, по вполне понятным причинам, кроющейся за ними р е а л ь н о с т и. Я жила как избалованный ребенок, ты — как ребенок, обделенный судьбой, и сейчас эти дети испытующе изучают друг друга. Откуда мне знать, почему ты мне так страшно нравишься, этого ведь никогда не знаешь. Конечно, у тебя красивые губы и добрые глаза, и я тебе нравлюсь, потому что меня приятно обнимать. Но почему я словно бы срослась с тобой, почему мне кажется, что я понимаю тебя даже тогда, когда я не понимаю, почему я вообразила, будто у меня в голове твои мысли и в душе твои чувства — эта загадка, возможно, в конце концов, «Загадка любви». Видишь, до чего я расфилософствовалась, сидя в епископских покоях и сочиняя письмо тебе в одной ночной сорочке, кофточке и носках. От пола тянет ледяным холодом, но мое возвышенное настроение объясняется, наверное, всеми епископскими мыслями, угнездившимися за долгие годы в этих стенах. Спокойной ночи, мой любимый муж! Мне тоже кажется, будто мы живем во сне, но каждый раз, просыпаясь, я с дрожью радости осознаю, что проснулась в другом сне, который еще прекраснее, чем только что виденный».

Она подписывается, не перечитывая, гасит керосиновую лампу и устраивается на целомудренно-роскошном ложе. Роликовые шторы не опускает. В квадраты окон бьет пронзительный лунный свет.

День морозно-ясный, на освещение жаловаться не приходится. Желтый дом и березы купаются в солнечных лучах. Дом живописно расположился на склоне, сбегающем к бурной речке и перекатам. В одичавшем саду — фруктовые деревья, ягодные кустарники и заросшие сорняками клумбы и грядки. У западного торца в зарослях сирени — беседка со сломанными стульями и рухнувшим столом. Возле черного входа стоит на страже зеленая водокачка, на сгнившей колодезной крышке валяется проржавевшее ведро. У пожарной лестницы не хватает нескольких перекладин, с крыши во многих местах слетела черепица.

Общество состоит из будущих обитателей дома, Магды Сэлль и церковного старосты Еспера Якобссона, немногословного человека с вытянутым узким лицом, бесцветными глазами и скупыми жестами. В руках у него связка ключей, он, по словам Магды, отвечает за ремонт и порядок в церковных помещениях.

Уже у калитки, до того как гости успевают вылезти из одноколки, он оборачивается и говорит, что он лично не одобряет решение Соборного капитула о назначении еще одного пастора в приход. Кроме того, он считает, что восстанавливать заводскую часовню — только зря тратить деньги. В большой церкви число прихожан постоянно уменьшается, церковная деятельность идет на спад, зато пятидесятники и Миссионерский союз на подъеме. К тому же молодежь заражена ересью и политикой. Форсбуда идет к верной духовной и материальной гибели. Поделать с этим ничего нельзя, любая попытка остановить крах обречена на провал — деньги на ветер, как говорится.

Бледное лицо Еспера Якобссона светится печальным торжеством. «Не будем портить молодым людям радость»,— говорит Магда, пытаясь изобразить веселье. «У меня и в мыслях этого не было,— отвечает староста,— воистину, не было!» И он выдавливает из себя улыбку, которая получается мрачнее, чем его прежняя мрачность.

Шагая по заросшей травой дорожке, Анна смотрит по сторонам. Она оборачивается к Хенрику, все еще стоящему у калитки, и говорит: «А здесь красиво». «Ежели только хватит сил вынести перекат»,— отзывается староста. «Да, за детьми тут глаз да глаз, чтобы не свалились. Там раньше был забор, но он прошлой зимой обвалился под тяжестью снега».— «Можно и новый построить»,— немного раздраженно возражает Магда. «Ну да, ясное дело,— обиженно говорит староста,— можно». Магда, взяв Анну под руку, просит ее не обращать внимания на Еспера Якобссона. Пусть он и шишка в округе, но здесь уже побывал строительный подрядчик из Евле

и составил предварительный план реконструкции и ремонтных работ. Подряд готов и одобрен, пусть Анна не волнуется, с перечнем можно ознакомиться. Если возникнут пожелания относительно каких-нибудь дополнительных улучшений (в разумных пределах, естественно), все будет учтено. Работы начнутся в начале нового года и завершатся в середине мая.

Еспер Якобссон с силой дергает разбухшую дверь кухни — вместо стекла в одной из фрамуг вставлен выгнувшийся кусок картона. Кухня просторная, единственное окно ее выходит на север. С дымохода обвалилась штукатурка, железная плита осела, снятая с петель дверь кладовки одиноко притулилась к ржавой мойке.

«Здесь будет все обустроено,— говорит Еспер Якобссон с внезапной благожелательностью.— Я настаивал, чтобы сюда провели воду, под мойкой можно было бы сделать углубление для насоса, но получил отказ. Зато в остальном здесь будет все переоборудовано, дымоход заштукатурят, поменяют плиту. В заводской конторе стоит прекрасная плита, почти новая, ее перевезут сюда. И пол переложат, он совсем сгнил. Вон в том углу несущая балка пришла в негодность. Да, кухней вы будете довольны, фрёкен Окерблюм, это я гарантирую». Староста, глядя на Анну своими бесцветными глазами, с многозначительным видом кивает два раза головой.

Он открывает дверь в тесную комнату для прислуги. Там стоит красный раскладной диван. «Для служанок,— говорит он лаконично.— Они могут спать валетом, а то поставим раскладушку в кухне». Магда Сэлль смягчается. «Предоставьте это дело мне, фрёкен Окерблюм, я вам найду пару умелых девушек. Я уже поспрашивала». «Зачем нам две? — испуганно спрашивает Анна.— Что нам с ними делать?» «Так принято,— отвечает Магда.— В пасторском доме всегда возникают какие-нибудь непредвиденные работы, вы сами убедитесь в этом, фрёкен Окерблюм». Анна молча вздыхает. Хенрик за все время не проронил ни слова. Анна пытается поймать его взгляд, но он отвернулся.

«А это будет столовая и гостиная,— объясняет староста.— Подрядчик из соображений обогрева собирался сделать из этой комнаты две, стена пройдет вот тут, но я отверг его план, пастору частенько бывает необходимо большое помещение для собраний прихожан, ведь церковный зал находится рядом с церковью и туда не всегда легко добраться, особенно зимой. Поэтому я предложил оставить эту комнату в том виде, в каком она есть, а в том углу поставить большую кафельную печь, там проходит дымоход на второй этаж. Так что, фрёкен Окерблюм, здесь будет тепло и уютно». Староста, хлопнув ладонью по стене, отрывает кусок оставшихся обоев. «Не беспокойтесь, фрёкен Окерблюм, здесь будет тепло и уютно, я вам гарантирую».

Еспер Якобссон открывает еще одну дверь: «Это прихожая парадного входа. Лестницу на второй этаж перестроят. Немножко странно, что парадный вход обращен к лесу, а черный — к воротам, правда? Не слишком удобно для гостей, особенно если они приезжают в экипажах?» Хенрик в упор смотрит на Еспера Якобссона. «Дом просто-напросто неправильно развернут»,— произносит он с неожиданным вызовом. Староста мгновенно мрачнеет: «Не я строил его». И замолкает.

«Комната для гостей»,— кратко бросает он и начинает подниматься по вспучившейся, скрипучей лестнице. «Не становитесь на эту ступеньку,— предупреждает он, останавливаясь.— Ненадежна, можно провалиться. Осторожно, фрёкен Окерблюм! Дайте мне руку. Да, ну вот, это второй этаж, он, в общем, в приличном состоянии, если мне будет позволено высказать свое мнение. Здесь мы только переклеим обои и покрасим. Пожалуйста: спальня, может, и не слишком просторная, но при ней есть небольшая умывальня, и вид отсюда красивый. Можно вырубить деревья внизу, сейчас из-за них не видно реку, но мы уже говорили о вырубке, это же южная сторона. Детская — направо, кабинет пастора — налево. Или наоборот, если вам так больше подойдет. Только скажите, мы все устроим — либо вечером солнце, либо утром». «А где мой кабинет?» — вдруг спрашивает Анна.

Подавленное настроение, копившееся подспудно уже довольно долго, теперь явственно вышло наружу. Магда Сэлль ошеломленно уставилась на маленькую фигурку в элегантном пальто. Темные серьезные глаза. Решительный подбородок, решительный голос. «Мне бы очень хотелось знать, где мое место? У меня будет не меньше обязанностей, чем у мужа. И к тому же без всякого вознаграждения — хорошо, пусть, но куда мне деваться, когда я захочу написать письмо, почитать книгу или заняться бухгалтерией?» Анна смотрит на старосту, который в свою очередь как-то просительно смотрит на Хенрика. «Я привыкла иметь собственную комнату,— продолжает спокойный голос.— Я понимаю, вы считаете меня избалованной, но это — непременное условие».

Растерянность полнейшая: непременное условие, черт возьми, что она имеет в виду? Не приедет, что ли, если у нее не будет собственной комнаты, или что еще? «У пасторских жен обычно не бывает собственной комнаты»,— сообщает Магда Сэлль. «Вот как, мне об этом ничего не известно». «А комната для гостей не подойдет? — спрашивает староста, откашливаясь на удивление смиренно.— Ведь фрёкен Окерблюм может сделать себе кабинет из комнаты для гостей?» — «Я предлагаю Хенрику устроить кабинет в комнате для гостей. Я хочу быть поближе к детской». «Там внизу шумно, постоянное хождение,— говорит осторожно Магда Сэлль.— Пастору нельзя мешать, когда он готовится к проповеди». «Заткнет уши ватой»,— отвечает Анна, улыбаясь Хенрику: скажи что-нибудь, милый Хенрик! — умоляет ее взгляд. Ведь ты же хозяин, тебе решать.

Но Хенрик потерял дар речи: «Неужели это надо решать прямо сейчас?» — с мольбой в голосе бормочет он. «Мы с господином Якобссоном пойдем в сад, посмотрим хозяйственные постройки»,— с неожиданным прозрением говорит Магда.

Анна и Хенрик наконец предоставлены сами себе. «Я же пошутила,— смеется Анна.— Это шутка, а то ведь — сплошное уныние, и у нас начало портиться настроение.— Она крепко обнимает Хенрика.— Засмейся же, Хенрик! Ничего страшного, у нас будет красивый дом, и я — могу — обвести — Еспера — Якобссона — вокруг пальца! Ты ведь заметил? Ну, слава Богу, засмеялся, а то мне на мгновение показалось, что ты сердишься».

Фрёкен Сэлль и староста отмечают, что настроение у молодых людей, вышедших на осеннее солнце, поднялось. Все вместе они осматривают дровяной сарай, столярную мастерскую, нужник, ледник, клеть и погребок: «Смотрите, на крыше будет полно земляники»,— говорит Анна.

Затем приходит черед часовни. Хенрик отпирает высокую, железную, безо всяких украшений дверь: «Я взял ключ у Якобссона. Сказал ему, что нам хотелось бы одним первый раз войти в церковь».

Часовня Форсбуды, построенная в конце XVIII века, задумывалась — мы уже упоминали об этом — как зимняя теплица для пальм. Высокие сводчатые окна с цветными витражами на хорах, толстые стены, каменный пол. Вокруг часовни располагается кладбище, местами заросшее, поскольку там больше не хоронят, кое-где в желтой траве виднеются надгробные плиты.

Хенрик и Анна входят в церковь. Несколько голубей, шумно хлопая крыльями, вылетают в разбитое окно. Скамейки убраны, темной грудой они громоздятся у дальней короткой стены, перед алтарным возвышением простирается пустой и гулкий каменный пол. Алтарь не покрыт, деревянное сооружение зияет пустотой, в одном углу прогрызена дыра. На дощечке для псалмов — цифры. Стих 224: «За счастье, хлеб и славу не стоит воевать. И в краткий жизни миг не надо горевать».

«Это словно призыв»,— говорит Хенрик, обнимая Анну за плечи. Резкий солнечный свет рисует на оштукатуренной стене узоры из квадратиков и теней деревьев. У входной двери до самого потолка, образующего округлый свод, высятся строительные леса. Хлопанье крыльев. Солнечные тени. Где-то завывает ветер. Сквозь разбитые, местами заколоченные окна задувает внутрь увядшие листья.

«Кафедра XVI века,— говорит Хенрик со знанием дела.— Посмотри, какая прекрасная резьба! Вот Петр и Иоанн, а там архангел с мечом, солнце и око. Интересно, куда они дели сам алтарь? Может быть, он в ризнице?»

Но в ризнице пусто. Там лишь шкаф с дверцами нараспашку да на широких досках пола ведро с кистями, стена с окном уже покрашена, трещины и раны в штукатурке заделаны. «Видишь, они вовсю ведут ремонт»,— шепчет Анна.

Потом они обследуют закрытый брезентом орган, стоящий вплотную к алтарю справа. Инструмент высокий, украшенный великолепной резьбой, с двумя клавиатурами и множеством регистров. По бокам педали. «Попробуем звучание»,— предлагает Анна, усаживаясь на скамеечку.

Хенрик сбрасывает брезент на пол и педалью накачивает воздух в мехи. Анна вытягивает несколько клапанов регистров и берет широкий до-мажорный аккорд. Инструмент издает мощный, но пугающе немелодичный звук. «Орган надо тоже ремонтировать,— говорит Анна, снимая руки с клавиатуры.— Интересно, Еспер Якобссон учел эту деталь? Прекрасный старинный орган. Где же он стоял, прежде чем был сослан сюда? Кстати, вон там в углу под покрывалом, не алтарный ли образ?»

Они поднимают покрывало и раскрывают створки складня. В середине — «Тайная вечеря», вырезанная неуклюже, но с драматизмом — у учеников глаза вылезают из орбит. Учитель стоит, подняв руку с непропорционально большой ладонью, уголки рта опущены. Иуда черен лицом, подавлен своим скорым предательством. Правая часть триптиха изображает Христа, распятого на кресте, голова упала на грудь. Раны ужасающи, римский солдат как раз всаживает ему в бок копье, хлещет кровь. Слева — Благовещение: Мария сложила руки на животе, грозное существо с распростертыми крыльями, вытянув длинный указательный палец, энергично кивает головой. На заднем плане солнце освещает мирно пасущегося ягненка.

Все эти образы, вся эта воля и нежность находятся на краю гибели. Кружится древесная пыль, отдельные детали валяются на полу, от влаги потемнели краски, в тайной вечере принимали участие мыши и насекомые. Голгофу сверху донизу перерезает глубокая трещина — словно рана или крик.

Ужас и печаль написаны на лицах Анны и Хенрика. Они осторожно водворяют на место грязное покрывало.

Теперь я расскажу о ссоре, которая вскоре разразится между Анной и Хенриком. Именно здесь, в этой обветшавшей пальмовой теплице, по случайной прихоти ставшей Божьим домом и по случайной прихоти вновь пришедшей в запустение. Выяснить настоящую причину конфликта всегда нелегко. Кроме того, начало и сама вспышка редко бывают идентичны (точно так же, как место убийства и место обнаружения трупа). Можно представить себе самые разные поводы — как незначительные, так и важные. Пожалуйста, листайте, думайте — это наша общая игра. Прошу вас! Тем не менее два факта очевидны. Во-первых, мы наблюдаем первую душераздирающую схватку между нашими главными героями. Во-вторых, Лютер прав, говоря, что вылетевшее слово за крыло не поймать. Имея тем самым в виду, что некоторые слова невозможно ни взять обратно, ни простить. Вот такими-то словами и будут обмениваться герои в сцене сведения счетов, которую я сейчас опишу. В действительности я почти ничего не знаю о том, что произошло в ту пятницу на развалинах церкви Форсбуды. Я помню всего лишь несколько слов, оброненных моей матерью: «Впервые попав в часовню, мы поругались. По-моему, даже поставили точку и на нашей любви, и на нашей помолвке. Мне кажется, прошло немало времени, прежде чем мы простили друг друга. Не уверена, что мы вообще простили друг друга — до конца».

Следует, наверное, упомянуть, что Анна всю жизнь отличалась тем, что мгновенно вспыхивала, но так же мгновенно отходила. Ей было трудно обуздывать свой горячий нрав корсетом христианского терпения.

В Хенрике гнев созревал долго, но когда преграды рушились, выплескивался с ужасающей жестокостью. К тому же он был до смешного злопамятен. Никогда не забывал обиды, хотя с очевидным актерским талантом был способен улыбаться в лицо обидчику.

Между тем сцена начинается, и я утверждаю, что она начинается именно в этот момент: Анна все еще стоит у закрытого покрывалом складня — голова опущена, руки беспомощно повисли. Потом медленно натягивает перчатки, которые сняла, садясь за орган. Хенрик подходит к алтарному возвышению, где лежит замызганная, рваная подушечка для коленопреклонения. Повернувшись спиной к Анне, он разглядывает цветные витражи хоров. Освещение? Полное драматизма и контрастов! Солнце зависло перед грозящей снегом тучей, закрывшей край леса. Туча возвела черно-синюю стену, а свет белый и слепящий, но падает только на одну половину лица. Выравнивающий свет на другой половине лица посерел.

Хенрик. Анна?
Анна. Что, друг мой?
Хенрик. Я хочу, чтобы мы... *(Замолкает.)*
Анна. Что ты хочешь?
Хенрик. Давай попросим старого настоятеля Граншё обвенчать нас?
Анна. Конечно, если тебе так хочется.
Хенрик. Здесь.
Анна. Здесь?
Хенрик. Да, на хорах нашей недоделанной церкви. Только ты и я. И два свидетеля, разумеется.
Анна *(мягко)*. Я не понимаю. Ты хочешь сказать, мы будем венчаться здесь?
Хенрик. Ты, я, настоятель и два свидетеля. Например, фрёкен Сэлль и староста. А потом мы освятим эту церковь и посвятим себя ей, давай сделаем так, Анна?
Анна. Нет, этого мы сделать не можем.
Хенрик. Не можем? Что ты имеешь в виду?
Анна. Мы с тобой будем венчаться в Домском соборе в Уппсале, а венчать нас будет пробст Тиссель, он уже обещал. И у нас будет настоящая свадьба с подружками и дружками, и Академическим хором, и множеством родственников и гостей, и обедом в «Йиллет». Ведь мы обо всем этом договорились, дорогой. Ничего изменить нельзя.
Хенрик. Нельзя изменить! Мы поженимся в марте, а сейчас сентябрь?
Анна. Что, по-твоему, скажет мама?
Хенрик. Мне казалось, что мнение твоей мамы для тебя неважно. Больше уже неважно.
Анна. Я пригласила на свадьбу весь курс из училища. И почти все приняли приглашение. Хенрик, милый, мы все это уже обсуждали.
Хенрик. Ты поставила меня в известность о том, как все будет устроено. Свое мнение мне пришлось держать при себе.
Анна. Это ты хотел, чтобы пел Академический хор. Вы с Эрнстом уже составили программу. Надеюсь, этого ты не забыл?
Хенрик. А если я теперь предложу тебе от всего отказаться? Неужели это так невозможно?
Анна. Невозможно.
Хенрик. Почему же...
Анна *(сердито)*. Потому что я хочу, чтобы была настоящая свадьба! По-настоящему пышный и запоминающийся праздник. Хочу праздновать. Хочу веселиться. Хочу, чтобы был пир на весь мир!
Хенрик. А венчание, которое я предлагаю?
Анна. Ну, хватит этой глупой болтовни. А то поругаемся. Вот мило было бы.
Хенрик. Я не ругаюсь.
Анна. Зато я начну.
Хенрик. По крайней мере ты можешь хоть подумать. *(Умоляюще.)* Анна!

Анна. Я уже подумала, и изо всех идиотских вещей, которые мне за последнее время пришлось вынести, этот твой каприз — самая идиотская. Если ты этого не понимаешь, значит, ты еще больший идиот, чем я думала, что и так вполне достаточно.
Хенрик. А если я не захочу?
Анна. Чего?
Хенрик. Если я не захочу участвовать в этом спектакле в Домском соборе? Что ты тогда сделаешь?
Анна *(гневно)*. Охотно скажу, Хенрик Бергман,— тогда я верну тебе это кольцо.
Хенрик. Господи, ты сошла с ума!
Анна. Почему это я сошла с ума?
Хенрик. Ты готова пожертвовать нашей совместной жизнью, нашей жизнью, ради ничтожного ритуала?
Анна. Это ты жертвуешь нашей совместной жизнью ради дурацкой, театральной, мелодраматической, сентиментальной... не знаю чего. Мой праздник во всяком случае все-таки праздник. Все будут веселиться и поймут, что мы с тобой наконец-то женаты по-настоящему.
Хенрик. Мы же будем жить здесь! Понимаешь, здесь! Поэтому и важно, чтобы мы начали нашу новую жизнь именно здесь, в этой церкви.
Анна. Важно для тебя, но не для меня.
Хенрик. Ты ничего не поняла из того, что я тебе говорил?
Анна. Я не хочу понимать.
Хенрик. Если бы ты любила меня, ты бы поняла.
Анна *(сердито)*. Только не надо этой чепухи! Я могу тебе ответить тем же — если бы ты любил меня, то позволил бы мне устроить мой праздник.
Хенрик. Твоя избалованность не знает границ. Неужели тебе не ясно, что это серьезно?
Анна. Мне ясно одно: ты не любишь мою семью, ты хочешь как можно сильнее унизить мою мать, ты хочешь показать свою новую власть: Анна последует за мной. Анне уже плевать на то, что думает ее семья. Ты хочешь отомстить — обидно и изощренно. Вот как обстоит дело, Хенрик! Признайся, что я права!
Хенрик. Удивительно, как ты умеешь все ставить с ног на голову. Ужасно и удивительно. Но, разумеется, хорошо, что я понял...
Анна *(еще сердитее)*. ...не стой с таким видом. Что это еще за дурацкая ухмылка? Думаешь, она выражает иронию или еще что-нибудь в этом роде?
Хенрик. ...я вижу только, что ты приняла сторону своей семьи — против меня.
Анна. ...ты совсем рехнулся? Я чуть не свела в могилу мать, только чтобы быть с тобой. А папа, по-твоему, он бы обрадовался...
Хенрик. ...а я лишь прошу о крошечной, ерундовой жертве.
Анна. ...нет, ты все-таки ненормальный. Знаешь что, Хенрик? Иногда из тебя мучительно лезет низшее сословие. Ты представляешься хуже...
Хенрик. ...как ты сказала?
Анна. ...представляешься глупее, чем ты есть, разыгрываешь какой-то спектакль, который тебе вовсе не подходит. Знаешь что? Ты кокетничаешь своей бедностью, и своим несчастным детством, и своей несчастной мамочкой. Это отвратительно.
Хенрик. ...я помню, как ты спросила меня о профессии Фриды, и я ответил, что она официантка. Я помню твою интонацию, помню твое лицо.
Анна. ...не обязательно ходить в грязных рубашках и дырявых носках. Не обязательно, чтобы воротник был в перхоти, а под ногтями — грязь.
Хенрик. ... у меня всегда чистые ногти.
Анна. ...ты не отличаешься чистоплотностью, и иногда от тебя пахнет потом.
Хенрик. ...ты зашла слишком далеко.
Анна. ...естественно. Пастор не выносит правды.
Хенрик. ...я не выношу твоей жестокости.
Анна. ...не топчи меня, Хенрик.

Хенрик. ...хорошо, что этот разговор состоялся до свадьбы.
Анна. ...да, замечательно. Теперь мы узнали друг друга. Мы чуть не совершили большую ошибку.
Хенрик. ...значит, ты готова отбросить...
Анна. ...это я-то отбрасываю?
Хенрик. ...нет, самое ужасное, что мы оба...
Анна. ...да, поразительно легко получилось.
Хенрик. ...ужасно.
Анна. ...хочется плакать, а не могу. Наверное, потому, что мне слишком больно.
Хенрик. ...мне тоже хочется плакать, мне страшно больно. Я не хочу потерять тебя.
Анна. ...по твоим недавним словам этого не скажешь.
Хенрик. ...да, я знаю.

Дистанция — и географическая, и душевная. Солнечные лучи погасли в иссиня-черной снежной стене, медленно наваливающейся на лес. Свет серый, но резкий. Анна садится на грязную скамью для коленопреклонения возле алтарного ограждения. Хенрик тоже, но на расстоянии, метрах в двух, может, больше. Горе вполне реально, но реальны и гнев, и ядовитые слова, пронизывающие нервы и молчание. На этом рассказ о Благих Намерениях мог бы закончиться, ибо оба главных героя в эту самую минуту считают себя брошенными, чужими и одинокими. Анна с гадливостью думает о теле и запахах этого мужчины. Хенрик с отвращением думает об этом жестоком, избалованном ребенке. Оба думают *(возможно):* Кошмарно прожить вместе хоть день, хоть час. Унизительно. Недостойно. Страшно. Стены дома рухнули, крепостные стены растут со скоростью сорняков.

Анна. Хенрик?

Хенрик молчит.

Анна. Х е н р и к.
Хенрик. Нет.
Анна *(протягивает руку)*. Хенрик!
Хенрик. Не притворяйся.
Анна. Мне плохо.
Хенрик. Вот как. Грустно слышать.
Анна. Я говорила ужасные вещи.
Хенрик. Да.
Анна. Ты никогда не сможешь меня простить?
Хенрик. Не знаю.
Анна. Значит, это конец?
Хенрик. Наверное.
Анна *(вздыхает)*. Похоже на то.
Хенрик. Вылетевшее слово за крыло не поймать.
Анна. Я что-то не понимаю?
Хенрик. Это Лютер. Он хочет сказать, что говорить можно почти все что угодно. Но не в с е. Некоторые слова непоправимы.
Анна. И ты имеешь в виду, что я...
Хенрик. Да.
Анна. Это же ужасно.
Хенрик. ...да, ужасно.
Анна. ...ведь ты священник.
Хенрик. ...моя профессия к делу не...
Анна. ...ты д о л ж е н меня простить.
Хенрик. ...не могу, я в бешенстве. Я ненавижу тебя, я способен тебя ударить.
Анна. ...честное признание.
Хенрик. На здоровье.
Анна. А я-то сижу здесь и унижаюсь и...

Хенрик. Тебя никто не просил.
Анна. ...умоляю, чтобы ты — т ы простил м е н я!
Хенрик. Будь у меня силы, я бы прямо сейчас встал, вышел вот в эту дверь, запер ее на замок и никогда больше сюда не возвращался.
Анна. Ты плачешь?
Хенрик. Да, плачу, но плачу от ярости. Нет, не подходи. Не п р и к а с а й с я ко мне.

Анна прикасается к нему, он ударом отбрасывает ее руку, удар получился сильнее, чем он рассчитывал, она в испуге откидывается на перила алтарного заграждения.

Анна. Ты ударил меня!
Хенрик *(в полном бешенстве)*. И еще ударю. Убирайся! Я больше не желаю тебя видеть, никогда! Ты отвратительна, ты мучаешь меня. Мучаешь потому, что тебе х о ч е т с я меня мучить. Убирайся. К ч е р т у.
Анна. Ну и скотина же ты. Наконец-то я начинаю понимать, почему мама тебя боялась. Начинаю понимать...
Хенрик *(обрывает ее)*. ...вот как, ну вот и прекрасно. Вы с матерью бросаетесь друг другу в объятия и благодарите Бога, что ты отделалась всего лишь испугом да попорченной невинностью.
Анна *(в ярости)*. Г о с п о д и, ну и хам! Так знай же, не только мама с папой меня предупреждали. Эрнст тоже, много раз. Он говорил, что ты двуличный, что тебе не...
Хенрик *(побелев)*. Что он говорил? Что говорил Эрнст?
Анна. Что тебе нельзя в е р и т ь. Что ты лжец. И лжец самого опасного сорта, потому что сам не понимаешь, что лжешь. Он сказал, что ты абсолютно не в состоянии отделить правду от лжи. Собственно, по этой причине ты и стал священником.
Хенрик. Эрнст сказал это?
Анна. Нет.
Хенрик. А что он говорил обо мне?
Анна. Ничего. Он любит тебя. Ты это знаешь.
Хенрик. Сейчас я ничего не знаю. *(На лице ужас.)*
Анна. По-моему, тебе надо разыскать Фриду и возобновить знакомство. Карл говорил, что она была бы хорошей пасторской женой. А случай с Анной Окерблюм останется поучительным эпизодом.
Хенрик. Не разыгрывай спектакль, у тебя это дьявольски плохо выходит. И оставь Фриду в покое, не смей марать ее своими грязными...
Анна. ...фрёкен Фрида ничего не требовала. Она любила своего маленького Хенрика. Ее материнская нежность не знала границ.
Хенрик. Заткнись.
Анна. Твоя грубость просто...
Хенрик. ...на одном уровне с твоей.
Анна. Ага. Ну и ладно.

Немота и гнев, почти слышимый, гулко громыхающий в сумеречном помещении, отделившись от своих носителей, он колотится о потолок и стены, того гляди, взорвет стекла, языками пламени лижет каменный пол.

Хенрик. Ну вот, я снова узнаю свою жизнь. Наконец-то она вернулась, все такая же, какой была всегда. Я спал. Теперь проснулся.
Анна. Иногда твои слова напоминают роман. Роман для служанок.
Хенрик. Другому не научился.
Анна. А ведь мы хотели иметь детей! Троих. Двух мальчиков и одну девочку. Как же все это гадко. И глупо. Просто невероятно. Я сижу в полуразвалившейся пальмовой теплице где-то в дикой глуши, за окнами темнеет, по-моему, даже снег пошел. Я. Невероятно. Чужой, совсем чужой человек орет на меня, поднимает на меня руку. Можно сойти с ума.
Хенрик. Как мы сможем жить после всего этого?

Анна. Ничего, сможем.
Хенрик. Неужели ты не понимаешь самого ужасного?
Анна. Чего же?
Хенрик. У нас был капитал — капитал любви. И этот капитал мы растратили на...
Анна. ...ерунду. Это верно.
Хенрик. Мне плевать на это венчание. Пусть состоится где угодно, хоть на Северном полюсе.
Анна. Мне тоже все равно, безразлично. Ты решай.
Хенрик. Нет, нет. Ритуал для тебя важнее, чем для меня. Кроме того, глупо еще больше огорчать твою мать, она и без того расстроена.
Анна. Но она ведь может приехать сюда?
Хенрик. Твоя мать и моя мать! Здесь? Тогда уж лучше грандиозное пиршество, на котором все и вся утонут в океане театрализованного идиотизма.
Анна. Давай не будем венчаться. Я стану твоей экономкой.
Хенрик. Спасибо за предложение. Я подумаю.
Анна. Хенрик!
Хенрик. Да, Анна, да.
Анна. Мы ругались и орали друг на друга перед Господом. Что он, по-твоему, на это скажет?
Хенрик. Не знаю. Место, конечно, несколько странное.
Анна. Тебе не кажется, что это было своего рода венчанием?
Хенрик. Нет, не кажется. Мы вполне серьезно были готовы разрушить нашу любовь.
Анна. Сколько же в нас ненависти!
Хенрик. Да. Я чудовищно устал, Анна.
Анна. Я тоже устала. Как мы отсюда выберемся?
Хенрик. Иди сюда, сядь рядом.
Анна. Значит, драться больше не намерен?
Хенрик. Анна!
Анна. Так хорошо?
Хенрик. Дай мне руку. Она ледяная. Тебе холодно?
Анна. В общем, нет. Только внутри.
Хенрик. Ну вот. Так хорошо?
Анна. Я сейчас заплачу.
Хенрик. Я обниму тебя.
Анна *(плачет)*. Как ты думаешь, мы поумнели после этого?
Хенрик. Не знаю. Стали осторожнее.
Анна. ...бережнее обращаться с тем, что у нас есть?
Хенрик. Приблизительно.

Они сидят в сумерках, тесно прижавшись друг к другу.

Мои родители обвенчались в пятницу, 15 марта 1913 года в Домском соборе Уппсалы при большом стечении родственников, друзей и знакомых. Пел Академический хор, обряд бракосочетания совершал пробст Тиссель. Ему помогали подружки невесты и шаферы, маленькие девчушки наступали на фату. После венчания был устроен обед в праздничном зале гостиницы «Йиллет». Как тщательно я ни роюсь в альбомах и среди оставшихся фотографий, все равно не нахожу свадебной фотографии. Весьма примечательно, учитывая, что Окерблюмы просто обожали фотографироваться. Увековеченным осталось бесконечное множество гораздо менее важных событий. В нашем доме было море счастливых невест и статных женихов, красовавшихся на печных фризах и журнальных столиках, но я никогда не видел свадебной фотографии отца и матери. Тому есть разные объяснения: самое простое, вероятно, заключается в том, что моей матери (сохранявшей фотографии и любившей наклеивать их в альбомы) показалось, будто невеста недостаточно красива, или свадебное платье ей не к лицу, или просто-напросто у молодоженов был дурацкий вид. Другое объяснение

(очень неправдоподобное) — фотографирование отменили. Кто-то воспротивился, кто-то заболел, был расстроен или даже разгневан. Третье (в той же степени неправдоподобное) — фотограф потерпел неудачу. Фотографии не получились, не будешь же выряжаться и позировать еще раз в венце и с букетом в руках. Инсинуация совершенно невероятная. Веннерстрём и Сын на Эвре Слоттсгатан были превосходными профессионалами, и неудача с их стороны немыслима.

Тем не менее факт остается фактом — свадебной фотографии нет ни в альбомах, ни в архиве. Кстати, я никогда не расспрашивал родителей об их свадьбе. Я вообще слишком мало расспрашивал их обо всем. Я сожалею об этом, сейчас особенно, обнаруживая большие пробелы в документальном материале. И вообще сожалею. Какое безразличие и отсутствие любопытства. Как глупо и как по-бергмановски!

Ну, как бы то ни было, свадьба получилась пышной, а обед праздничным. У меня есть пожелтевший пригласительный билет (очень элегантный — на лицевой стороне на голубом фоне переплетенные инициалы жениха и невесты, а внутри изящно отпечатанное приглашение). Речи наверняка были красивы, трогательны и шутливы, вальсы прекрасно исполнены, а угощение изысканно.

Мне хочется на минуту понаблюдать за короткой сценой, разыгравшейся в этот солнечный мартовский день. В кадре — столовая дома на Трэдгордсгатан. Огромный стол на львиных лапах придвинут к пузатому животу буфета. Из спальни фру Карин принесено высокое напольное зеркало, оно красуется в простенке между окнами. Перед зеркалом, купаясь в солнечных лучах, стоит невеста, полностью одетая, в венце из Домского собора и фате из семейного сундука. Фру Сёдерстрём, служащая самого роскошного модного магазина города, на коленях подшивает подол, оторвавшийся, когда на него случайно (от волнения) наступили ногой. Анна деловито и внимательно рассматривает свое отражение словно актриса, которой предстоит сейчас выйти на сцену в бесподобной, никогда прежде не игранной никем роли, сочиненной и написанной исключительно для нее. Дыхание равномерное, сердце колотится, лицо бледно, глаза расширены.

Распахивается дверь столовой. В зеркало Анна видит своего брата Эрнста в ладно сидящем фраке с шаферской эмблемой. Несколько секунд сестра и брат молча смотрят друг на друга, после чего Эрнст, приблизившись, нежно обнимает сестру. Фру Сёдерстрём, перекусив нитку, вкалывает иглу в левую лямку фартука и тихо отходит в сторону — важное действующее лицо в сегодняшнем спектакле, но все равно лишь тень. Три недели она твердой рукой и с помощью трех замечательных мастериц создавала свой шедевр и сегодня утром доставила его на Трэдгордсгатан. Высокая, широкоплечая смуглая женщина с тяжелым узлом на затылке стоит, приложив к губам указательный палец. У нее есть все основания быть довольной своим произведением, только вот невесте надобно двигаться медленнее, с бóльшим достоинством, фру Сёдерстрём непременно обратит на это ее внимание, как только брат оставит их наедине.

Эрнст. Ну?
Анна. Хорошо.
Эрнст. На самом деле хорошо или просто слова?
Анна. Догадайся.
Эрнст. Ты красивая.
Анна. Ты тоже красивый.
Эрнст. Но бледна, сестричка.
Анна. Наверное, от страха.
Эрнст. Ты добилась того, чего хотела. Во всем.
Анна. Жалко, что папа...
Эрнст. Да, грустно. С другой стороны, он бы наверняка расстроился. Его любимица его покидает. Можешь себе представить. *(Замолкает.)*
Анна. Когда ты уезжаешь?
Эрнст. Послезавтра.
Анна. А вернешься?

Эрнст. Через год — может быть. Экспедиция длительная.
Анна. А потом останешься в Христиании.
Эрнст. У меня работа в Христиании.
Анна. Теперь маме будет одиноко.
Эрнст. Иногда мне кажется, что ей хочется одиночества.
Анна. Хенрик пришел?
Эрнст. Он раздавлен. Пришлось дать ему солидную порцию коньяка.
Анна. Скажи ему, что я скоро буду. Кто-нибудь сходил в гостиницу за его бедной мамой?
Эрнст. Успокойся, сестричка. Здесь в каждом углу сидит по организатору. Юбилейному спектаклю провал не грозит.
Анна. Мама идет.

Легкий стук в дверь. Не ожидая ответа, в столовую входит фру Карин в темно-красной парче и фамильных драгоценностях. Она спокойна, на губах — улыбка. За последнее время она несколько отяжелела, каким-то образом раздалась в плечах, хотя, может быть, это только кажется. Походка тем не менее энергичная, движения по обыкновению легкие и сдержанные.

Карин. Эрнст, проследи, пожалуйста, чтобы Карл не напился. Он только что пришел и, похоже, не совсем в своей тарелке.
Эрнст. Будет сделано, мама.
Карин. Дорогая фру Сёдерстрём, это настоящий шедевр!
Фру Сёдерстрём. Спасибо, фру Окерблюм.
Карин. Я бы хотела остаться на минуту наедине с дочерью.
Фру Сёдерстрём. Разумеется, фру Окерблюм.

Мать и дочь остаются наедине. Фру Карин опускается на стул с высокой спинкой, который сейчас, после того как стол отодвинут к буфету, как-то потерянно застрял посреди комнаты.

Карин. По-моему, я немного расстроена. Но так обычно бывает.
Анна. Мама, огромное спасибо за эту пышную свадьбу.
Карин. Не за что, душа моя.
Анна. Как жалко, что папа...
Карин. Да. Да.
Анна. Мне кажется, он сейчас с нами. Я чувствую это.
Карин. Правда?
Анна. Мама, я должна тебе сказать одну вещь.
Карин. Слушаю.
Анна. Мы с Хенриком отменили свадебное путешествие. Эрнст был так мил, что согласился все уладить с билетами и гостиницей.
Карин. Вот как. Значит, поэтому он пропадал все утро.
Анна. Да.
Карин. И каковы же ваши планы теперь, если мне будет позволено спросить? *(Улыбается.)*
Анна. Ты огорчилась?
Карин. Дорогая моя, свадебное путешествие доставило бы вам удовольствие.
Анна. Мы с Хенриком можем поехать в Италию в другой раз. Ведь так? Поездка ведь за нами остается?
Карин *(немного устало)*. Разумеется. Что вы намерены делать вместо этого?
Анна. Мы едем прямо в Форсбуду.
Карин. Завтра?
Анна. Да. Рано утром.
Карин. Так-так. Ну-ну. Немного неожиданно.
Анна. Мама, не расстраивайся.
Карин. Я не расстраиваюсь. *(Легко.)*
Анна. Мы говорили с фрёкен Сэлль. Она предложила нам пожить у настоятеля. В епископских покоях. Ослепительно элегантно, можешь поверить.

Настоящие свадебные покои. Там все очень рады нашему скорому приезду, говорит она.
Карин. Понимаю. И вы сможете следить за ходом ремонта в пасторской усадьбе.
Анна. ...и в церкви.
Карин. Все будет наверняка сделано превосходно. На дачу в июле не приедете?
Анна. Конечно, приедем. Не меньше, чем на неделю.
Карин. Мы, помнится, говорили о трех?
Анна. Думаю, Хенрику не терпится приступить к своим обязанностям раньше, чем было оговорено. И я хочу быть вместе с ним с самого начала. Это важно для нас обоих.
Карин. Понимаю.
Анна. Мне тоже надо проявить уступчивость. Хенрик и так уже уступил по многим пунктам.
Карин. Неужели? *(Улыбается.)*
Анна. Да, но об этом мы сейчас говорить не будем.
Карин. Да, вот именно, Анна.

Карин подходит к дочери и бережно берет в руки ее голову. Они смотрят друг на друга.

Анна. Ты можешь ведь п о п ы т а т ь с я полюбить Хенрика. Ради меня. Хоть чуточку.
Карин. Старое забыто.
Анна. Если бы это было так.

Глаза фру Карин темнеют. Она целует Анну в щеку и лоб и выходит. Анна медленно поворачивается к зеркалу.

Анна *(тихо, про себя)*. Какой переполох! Какие приготовления! Я делаю что хочу. Никакого свадебного путешествия? Вот как! Никакой дачи? Вот как! Кстати, а хотела ли я всего этого? Не знаю. Знаю ли я, чего хочу, или я лишь хочу массу какой-то ерунды? Е с т ь ли у меня вообще воля? Задумываюсь ли я хоть когда-нибудь над тем, что я хочу и м е н н о этого, и потом получается так, как я хочу? Есть ли у меня воля того же рода, что у мамы? Вряд ли. Х о ч у л и я Х е н р и к а? Да, этого я точно хочу. Но хочу ли выйти замуж? Не знаю. Сомнительно. Надо остерегаться желать слишком многого, особенно сейчас, когда мама и другие начинают прислушиваться к моим желаниям.

Дверь открывается, и в щель просовывается постаревшее клоунское лицо Карла. «Входи»,— приглашает Анна, довольная, что кто-то прервал ее немотивированный монолог. Карл входит в комнату целиком — фрак сидит не слишком хорошо на его грузной фигуре, лоб покрыт испариной, пенсне запотело. В руке фужер с коньяком. Он подносит руку к глазам.

Карл. Ты ослепила меня.
Анна. Эрнст только что пошел искать тебя.
Карл. Я улизнул. *(Пьет.)* Хочешь попробовать?
Анна. Спасибо. *(Пьет.)* Уф!
Карл. Уф! Вот уж действительно! Что ты тут натворила, сестрихен?
Анна. Кошмар, правда?
Карл. Я напиваюсь и не имею никакого мнения.
Анна. Ты не можешь подождать до обеда?
Карл. Конечно, конечно. Только не волнуйся. Я не испорчу твой праздник. Кстати, ты хочешь, чтобы мама учредила надо мной опеку?
Анна. Какую опеку?
Карл. Опеку, экономическую опеку. Мама с братом Оскаром заберут мои деньги и передадут их опекуну. Что ты на это скажешь?
Анна. Бедный Карл!

Карл. Я буду получать ежемесячное содержание.
Анна. Может, это своего рода забота?
Карл. Забота?
Анна. Ты легкомысленно обращаешься с деньгами. Сам знаешь.
Карл. Хочешь еще глоточек? Ты ужасно бледная.
Анна. С удовольствием. *(Пьет.)*
Карл. Хватит, черт возьми. Оставь и мне несколько капель. Сядь сюда. Ко мне на колени.
Анна. Не могу. Платье помнется.
Карл. Тогда я лягу.

У стены в ряд стоят четыре стула. Карл ложится, опершись головой на руку. Смотрит на Анну, улыбается печально, с надломом.

Анна. Почему ты так смотришь?
Карл. Когда я смотрю на тебя, сестрихен, и наслаждаюсь твоей головокружительной красотой, у меня возникают космические видения. Я вижу Млечные пути и галактики и безумную пляску планет. А в центре — ты! *(Вздыхает.)*
Анна. Ты хорошо себя чувствуешь, а, Карл?
Карл. О да! Превосходно. *(Вздыхает.)* А в центре — ты, в лучах всей земной красоты, и я ослеплен, мои глаза наполняются слезами. Знаешь почему?
Анна. Говори побыстрее, а то мне скоро надо...
Карл. Так вот, ты опровергаешь бессмысленность. Сейчас, в эту минуту, сестричка, ты опровергаешь ледяную бессмысленность Млечного Пути и безжалостную пустоту Вселенной. Если я встану рядом с тобой, вот так — нет, смотри сюда, не смотри на часы. Посмотри на нас! Посмотри на наши отражения в зеркале. Я соответствую высшим требованиям бессмысленности, предъявляемым галактикой. Теперь поглядим на тебя, рыбка моя. Ты до краев наполнена смыслом и содержанием. Прямо религиозным чувством проникаешься. Можно сказать, что ты воплощаешь божественный замысел, некий скрытый, но прозреваемый смысл. Смешно и красиво звучит, правда? Понимаешь, что я хочу сказать?
Анна. Ужасно трогательно, только бы не расплакаться. Мы с тобой самые близкие друзья, да?
Карл. По-твоему, я на самом деле идиот? Полоумный?
Анна. Зачем ты говоришь такие глупости?
Карл. Развивающееся затмение? Слабоумие?
Анна. Ты самый милый, умный, добрый...
Карл. Видишь ли, я, пожалуй, болен.
Анна. Ты болен?
Карл. Да, но об этом говорить нельзя.
Анна. Может, ты все придумал?
Карл. О нет, нет!
Анна *(осторожно)*. Нам надо идти. *(Молчание.)*
Карл. Стоит мне закрыть глаза, я тотчас представляю себе бесконечную Смерть. А как только открываю глаза, вижу тебя и непостижимую, величественную Жизнь. И с этим ничего не поделаешь.
Анна. Идем, мой милый Карл, возьми меня под руку, мы будем поддерживать друг друга. И вместе выйдем к гостям и тому, что нам предстоит.

И они вместе входят в залу. В хрустальной люстре и бра — солнечное мерцание. Семейство уже в полном сборе, они оживленно переговариваются, ведь актеры выучили свои реплики, и тональность спектакля известна. При появлении невесты действующие лица встают, раздаются бодрые крики и редкие аплодисменты. Анна светится от улыбок, купается во взглядах и комментариях. Вот Хенрик в новехоньком, прекрасно сидящем пасторском сюртуке. У него вдруг на глазах выступают слезы. От радости или боли, или от того и другого, сказать трудно.

Свадебная ночь без свадебного путешествия быстро и тактично вылилась в организационный вопрос. Фру Карин велела поставить в комнату Анны дополнительную кровать. Уверения в том, что это совершенно не нужно, были проигнорированы. Светлую комнату украсили малой толикой свадебных букетов. На подушках букетики ландышей, а на письменном столе аккуратной стопкой сложены телеграммы и письма. Однако предложение Марты насчет шампанского и подходящих к случаю бутербродов было решительно, с возмущением отвергнуто.

На несколько часов волнение в доме улеглось. Свет уличного фонаря проникает сквозь тонкие цветные роликовые шторы, мирно потрескивает огонь. Часы Домского собора отбивают четверти и часы, им вторят большие часы гостиной где-то в глубине квартиры. Кровати стоят на расстоянии полуметра друг от друга, Анна и Хенрик держатся за руки над бездной.

Анна. Сколько пробило?
Хенрик. Четыре.
Анна. Не могу заснуть.
Хенрик. Я тоже.
Анна. Я слишком возбуждена.
Хенрик. А я... наверное... слишком взвинчен.
Анна. Как в детстве, в ночь перед Рождеством.
Хенрик. Я чувствую себя... гм, а как я себя чувствую?
Анна. Подожди. Вот устроимся в епископских покоях. Тогда уж нацелуемся!
Хенрик. Сегодня ночью мы скорее как брат и сестра.
Анна. Так лучше.
Хенрик. Через три часа мы будем сидеть в поезде.
Анна. С ума сойти.
Хенрик. Тебе совсем не грустно?
Анна. Нет. Ни в одном уголке моего сердца нет ни капли грусти.

Они лежат с закрытыми глазами, держась за руки. Анна улыбается, Хенрик посерьезнее. Аромат цветов. Потрескивает, пышет огонь. Сейчас начальник транспортных перевозок вполне мог бы находиться где-то в этом неподвижном мраке.

Хенрик. Я весь вечер думал о твоем отце.
Анна. Я тоже. *(Садится.)* Черт!
Хенрик. Что случилось?
Анна. Черт! Знаешь, о чем я забыла?
Хенрик. О фотографе.
Анна. О фотографе. Свадебной фотографии. Черт!
Хенрик. Никто не вспомнил о фотографе!
Анна. Это коньяк Карла!
Хенрик. Что?
Анна. Как раз перед тем, как надо было отправляться в церковь, он украдкой пробрался ко мне с фужером в руке и сказал: выпей, это успокаивает и поддерживает. Я влила в себя почти все.
Хенрик. То-то мне показалось, что у алтаря пахнет коньяком. Я подумал, что это пробст...
Анна. Вот мы и забыли про фотографирование.
Хенрик. Расстроена?
Анна. Ничуточки. *(Ложится.)*
Хенрик. Можем сфотографироваться в Евле. *(Ложится.)*
Анна. У нас осталась фотография в н у т р и.
Хенрик. Кажется, я засыпаю.
Анна. Я тоже.

Передо мной на письменном столе лежат две фотографии, датированные весной 1914 года. На одной мать и отец: мать улыбается мягкими, словно часто целованными губами, волосы в легком беспорядке, она скло-

нила голову на плечо отца, возможно, ей не совсем по себе, она была уже на четвертом месяце. Отец серьезен, он сидит, горделиво приосанившись в своем опрятном пасторском сюртуке. В тощей когда-то фигуре появилась основательность. Он покровительственно обнимает мать за плечи (этого не видно, но можно догадаться). Снимок выражает гармонию, пробивающуюся уверенность в себе и скромное счастье. На другом снимке мать сидит в неудобном кресле, слегка подавшись вперед, как всегда элегантная, в длинной, по щиколотку юбке, с пуговицами на боку, в ботинках ручной работы на высоких каблуках, блузке с мелким узором и золотой брошью у ворота. Перед ней — Як, маленький, мускулистый, почти квадратный пес лапландской породы.

Выражение лица у нее как у обреченного на смерть самурая. Мать и Як с улыбкой смотрят друг на друга. На более ранних фотографиях мать никогда не смеялась. Сейчас она весела, раскованна, благожелательна. Из этих свидетельств можно вывести не слишком рискованное заключение, что первые годы совместной жизни Анны и Хенрика были вполне благополучны, о чем, кстати, родители не раз вспоминали.

Одно, быть может, несколько портило радость — мать Анны ни разу не навестила пасторскую усадьбу. В письмах она вечно ссылалась на разные причины. В июле молодожены наносят краткий визит на дачу. Даг появился на свет в октябре в Академической больнице Уппсалы. Спустя несколько недель, понадобившихся на выздоровление, семья возвращается в Форсбуду. Первенец родился здоровым и крепким, по ночам орет во всю глотку, обстоятельство, которое в письмах комментируется с усталой бодростью.

В первый день нового 1915 года приходит сообщение о приезде брата Эрнста. Он едет из Христиании в Стокгольм, но сделает крюк через Фалун, пересядет в Макмюре на одноколейку и прибудет в Форсбуду в два часа дня.

Мощные сугробы, ясно и безветренно, солнце погружается в пылающую дымку, скрипят подошвы, паровоз выпускает клубы дыма, кипит вода в нагревательных шлангах вагонов, весь маленький поезд окутан влажным паром. Поэтому Анна никак не может найти брата, поэтому он обнимает ее сзади — бурная радость без слов. Оба изменились, но не сильно: красивые, милые, ухоженные, излучающие тепло, еще не тронутые жизнью. Да, Эрнст женился — на темноволосой полнотелой красавице знатного происхождения, которую фру Карин и остальные родственники приняли сразу и безоговорочно. Они живут в соседней стране и приезжают весьма редко. Даже свадьба не стала семейным событием, бракосочетание было гражданским — в то время явление новое, и тут же отбыли в Египет. Семью информировали почтой. Комментарии были на удивление кроткими: да, у Эрнста своя голова, с него где сядешь, там и слезешь. Другой вариант: Мария всегда поступала по-своему, с этим ничего не поделаешь. И Эрнст, и Мария были любимчиками, семьи качали головой, но одновременно улыбались. Сейчас Мария беременна и потому осталась в Христиании. Эрнст, стало быть, приехал один. Получив из багажного отделения дорожный сундук и проследив, чтобы его поставили сзади на сани, брат с сестрой закутываются в полости, высокая рыжая девушка садится на облучок, и они со свистом несутся сквозь льдисто-синие сумерки.

Могу предположить, что разговор несколько экзальтированный, ведь они так давно не виделись. Столько было ожиданий, в письмах о многом умалчиваешь, они взахлеб говорят о каких-то мелочах, но это неважно, мы будем вместе целых четыре дня, времени масса!

Анна. Хенрик просил обнять тебя особо, вместо него, и сказать, что ты и *его* брат тоже и что он счастлив будет увидеть тебя, старый Недотепа. Кстати, это правда, что тебя называли Недотепой? — вот уж не знала. Как и твоих делишек с девицами, я и половины не знала.

Эрнст. Мария, разумеется, тоже передает привет. Ей бывает ужасно плохо по утрам, поэтому она предпочитает сейчас никуда не ездить. Мы очень

хотим, чтобы вы приехали к нам летом. У нас дача в Сандефьорде, прямо на берегу моря. Это дача Марии, конечно, отец подарил ей на свадьбу. Тебе понравится Мария, я совершенно уверен. Очень похожа на тебя, только чуть повыше. Поскольку я не мог жениться на тебе, пришлось выбрать Марию, и пока у меня не было причин раскаиваться. Сама увидишь. У меня с собой прекрасные фотографии.

Анна. Тебе не холодно? Ну, ясно, уши замерзли, вот ненормальный — возьми мою шаль и обмотай голову, утром было двадцать три градуса, а к вечеру еще похолодает, наверняка до тридцати дойдет. Нет, оставь, сними свою дурацкую шляпу, я укутаю тебя шалью. Вот теперь ты выглядишь замечательно. Ты вообще замечательный. Наверное, самый замечательный на свете. Ты даже не представляешь себе, как я по тебе соскучилась. Именно потому, что мне так хорошо. Когда человек так счастлив, он становится ненасытным!

Пасторская усадьба приветствует гостя подвесными фонарями на столбиках ворот и на лестнице, свечами в окнах, оставшимися от Рождества запахами. «Добро пожаловать в мой дом»,— говорит Анна, когда они переступают порог и освобождаются от многочисленных одежек и сапог.— «Ты будешь жить в моем кабинете»,— продолжает она, открывая дверь. Подвешенная к потолку керосиновая лампа освещает светлую мебель и светлые обои — внимательный человек узнал бы кое-что из комнаты Анны на Трэдгордсгатан. Рыжая Мейан и темноволосая Миа, рослые девицы, сестры, в опрятных синих платьях, ловкие, пахнущие потом, весело хихикая, втаскивают громадный сундук. «Сейчас будет кофе со свежими булочками, которые испекла Миа,— решительно говорит Анна.— Но сначала ты должен взглянуть на Дага. Пошли, познакомься с племянником».

«Хороший малыш,— говорит Эрнст без всякого интереса.— По-моему, похож на Карла. Только пенсне не хватает».— «Он спит днем, а ночью буянит, погоди, ты у себя внизу тоже его услышишь». «Ночные привычки тоже от Карла»,— говорит Эрнст. «Все, хватит,— шепчет Анна, выталкивая Эрнста из детской.— Идем! Ты не оценил моего сына по достоинству, и я вообще-то немного обижена, но кофе ты все-таки получишь. Хенрик — самый добрый и хороший отец на свете, лучшего и пожелать нельзя. Если бы я ему не препятствовала, он бы менял сыну пеленки». «А почему бы и нет, если ему это нравится?» — спрашивает Эрнст. «Ну нет, это было бы просто неприлично,— наставительно отвечает Анна.— Давай садись сюда! Елку зажжем после обеда».

За окном со светлыми занавесками качается, переливается северное сияние. Далеким органом звенит водопад, гудит огонь за железными дверцами кафельных печей, теплый воздух пропитан ароматом Рождества и березовых дров.

Анна. ...ну, а как мама?
Эрнст. ...я видел ее в прошлом месяце, да, в середине декабря. Она была в хорошем расположении духа. Как мне показалось.
Анна. ...ей одиноко?
Эрнст. Я не понимаю, что ты имеешь в виду под словом «одиноко». С ней фрёкен Лисен. У них было по горло дел со всеми рождественскими подарками, которые предстояло разослать.
Анна. Значит, на Рождество она была одна?
Эрнст. Не одна. С фрёкен Лисен.
Анна *(нетерпеливо)*. Да, да, конечно. Я хочу сказать, к ней никто не собирался приехать? Ее никто из братьев не пригласил к себе?
Эрнст. Вроде бы нет. По крайней мере, она об этом не упоминала
Анна. А у вас с Марией не возникло мысли пригласить ее на Рождество?
Эрнст. Это было невозможно. Мы справляли Рождество у родителей Марии.
Анна. А вы не могли...
Эрнст. Почему ты сама ее не пригласила?
Анна. Ты же знаешь отношение Хенрика. Я даже предложить не решилась.

Эрнст. Неужели он так чертовски злопамятен?
Анна. Он с трудом забывает унижения.
Эрнст. Да, мы вели себя не лучшим образом в то время.
Анна. Не лучшим.
Эрнст. Время лечит все раны. *(Похлопывает ее по плечу.)*
Анна. Он переживал, что я рожала не здесь, а в Академической больнице Уппсалы. Как только мама приходила меня навещать, Хенрик уходил. И наоборот. Кстати, он вовсе не страдал. Он был в бешенстве. И отказывался бывать в Трэдгордсгатан. Все время меня пилил, говорил, что я предала женщин здешнего прихода. Акушерка в Форсбуде тоже была обижена. У меня на несколько дней почти пропало молоко. Так я переживала. Хотя сейчас все опять наладилось. Правда, иногда вдруг всплывает масса прошлых обид. Чтобы в таком милом и добром человеке, как Хенрик, скрывалось столько ненависти — непостижимо. Мне хочется помочь ему, но...

Анна замолкает и проводит рукой по лицу — ото лба вниз, к подбородку и шее.

Эрнст. Мама говорила о Хенрике весьма дружелюбно. О том, что ты сейчас рассказала, она не упоминала. Она сказала, что вы счастливы, что у вас все хорошо, что ты, кажется, довольна, и она этому рада.
Анна. Да. *(Молчание.)* В октябре он получил письмо, написанное дрожащим, почти неразборчивым почерком. От деда. *(Молчание.)* Его дед просил о примирении. *(Молчание.)* Он хотел, чтобы мы с Хенриком приехали. Писал, что хочет попросить у своего внука прощения. *(Молчание.)* Хенрик показал письмо мне. Я спросила его, что мы будем делать. Он ответил совершенно спокойно, что не видит оснований для примирения с этим человеком.
Эрнст. А ты?
Анна. Я? А что я могла сделать? Иногда я ничего не понимаю. Иногда передо мной разверзается пропасть. И я отхожу в сторону, чтобы не упасть туда.
Эрнст. А можно отойти в сторону?
Анна. Я отхожу. И м о л ч у. Через два-три часа все приходит в норму, и Хенрик опять самый нежный, веселый, милый человек на свете... Ну, да сам увидишь.
Эрнст. Анна!
Анна. Нет, нет! Он пришел.

(Я пишу о том, что вижу и слышу, иногда дело так спорится, что я забываю прислушаться к интонации, которая бывает важнее слов. Нет ли в голосе Анны налета настоящего, подавленного страха? Воспринимает ли Эрнст ее возможное беспокойство? Занималась ли Анна в своих мыслях тщательно скрываемыми и редко обнажаемыми ранами Хенрика, воспаленными, незалеченными ранами его души? Или она слишком занята сегодняшним днем, всем новым и неожиданным? Анна способна быть легкомысленно-отважной. Хенрик — человек мягкосердечный, любящий и по большей части веселый. Чередой проходят дни. Сами не зная почему, Анна с Хенриком начинают воспринимать друг друга все более отстраненно. «Откуда мне знать почему»,— говорит извиняющимся тоном Анна. «Разве мне дано понять?» — потрясенно спрашивает Хенрик. «Н е в с е г д а же это возможно!» — возражает Анна. «Не знаю, почему меня должна мучить совесть»,— бормочет Хенрик.)

Хенрик, громко топая, входит в прихожую: «Эрнст тут? Эрнст приехал!» На нем военный полушубок, вязаная шапка, шея и подбородок обмотаны вязаным шарфом. Брюки заправлены в меховые сапоги, в руках кожаный чемоданчик с пасторским сюртуком, ризой и деревянной шкатулкой, где лежит священный реквизит для причастия. У его ног вьется лапландский пес Як.

Когда Эрнст появляется в дверях столовой, Як, окаменев от отвращения, грозно рычит. «Молчать, Як! — кричит Анна, беря его за ошейник.—

Это же Эрнст, глупая псина, мой брат, мы пахнем одинаково, если ты соблаговолишь принюхаться!»

«Дорогой мой Недотепа, как я рад тебя видеть»,— говорит Хенрик, обнимая зятя. «Дорогой мой Плут, дай-ка посмотреть на тебя. Черт, ну и здорово же ты раздался! — восклицает Эрнст, хлопая Хенрика по щекам.— Прямо настоящий пират. Куда делся элегический поэт?» «Лес полезен для здоровья»,— отвечает Хенрик, стаскивая с себя перчатки, шапку, полушубок и сапоги.

Он обнимает Анну и Эрнста и внезапно говорит: «Вот теперь я счастлив». Он растроган до слез, руки его опускаются, он приказывает Яку поприветствовать Эрнста и говорит, что Як — его оруженосец. В этих местах нужен защитник такого калибра. «Кстати, Як у нас большой церковник,— говорит Анна.— Когда Хенрик читает проповедь, он лежит в дверях ризницы. Знает и алтарную службу, и причастие. Нам надо немедленно садиться за стол! В семь придут женщины». «Какие женщины?» — спрашивает Эрнст. «По четвергам у нас кружок рукоделия, на него приходят женщины, и молодые, и старые, из всего прихода. Иногда собирается до сорока душ, тесновато бывает. Хенрик читает вслух, а потом мы пьем кофе, каждая приносит с собой что-нибудь к кофе. Погоди, сам увидишь, это вовсе не так глупо. Когда мы только сюда приехали, все сидели по домам. Теперь начинается хоть какое-то о б щ е н и е! Погоди, сам увидишь».

Моя мать рассказывала кое-что об этом кружке рукоделия. Сразу по приезде, приведя в порядок свой дом, они принялись систематически обходить прихожан и знакомиться. Анна сообщала, что по четвергам в семь вечера в пасторской усадьбе двери открыты для всех желающих. Устраивается кружок рукоделия с чтением вслух и вечерней молитвой.

Подозрительность со стороны жителей была очевидна: ага, ну-ну, новая метла! Пятидесятники и члены миссионерского союза отвергли приглашение: это соблазн дьявола. Коммунисты воротили нос: еще чего, чтобы их бабы распивали кофе с церковью, денежными мешками и военными — никогда. Безработные качали головами — что за штучки! Ведь с собой надо еду приносить. Кто, черт возьми, может принести с собой какое-нибудь угощение, когда тут не знаешь, как прожить день. Так что поначалу народу собиралось — кот наплакал. Приходило несколько набожных особ из крупных усадеб да три пожилые женщины из рабочего поселка, наверно, в знак протеста против взглядов, царивших на кухне дома. Постепенно (но очень медленно) любопытство победило. К тому же — и этого не следует забывать — моя мать была профессиональной медсестрой, а до местного врача приходилось добираться двенадцать километров по плохой дороге, акушерка же была в постоянных разъездах. Мать умело врачевала человеческие недуги, детей, животных и цветы. После консультации с врачом она приобрела небольшой набор инструментов и безопасных лекарств. Недугов было хоть отбавляй, и мать чувствовала себя значительной и деятельной. Отец, по свидетельству матери, делал скромные, но несомненные успехи.

Все началось с несчастного случая в заводской кузне. У одного рабочего оторвало руку, и он скончался от потери крови до прибытия врача и «скорой помощи». По традиции, бригада хотела бросить работу и разойтись по домам, так было заведено, когда кто-нибудь умирал. Руководство воспротивилось, ссылаясь на поставки и сроки (шла война, на заводе производили важную военную продукцию). Внезапно гнев выплеснулся наружу. После унижений 1909 года и разыгравшихся следом боев местного значения противоречия, загнанные внутрь, продолжали свербеть. Выключили рубильники, машины остановились, цеха и люди утонули в свинцово-серых сумерках.

Когда из заводской конторы наконец-то прибыл директор Нурденсон, пастор уже был там, он сидел на скамейке у стены с несколькими пожилыми рабочими. Остальные стояли, сидели или лежали прямо на полу — в конце августа было еще тепло. Нурденсон заговорил спокойно и вежливо, только одно колено у него сильно дрожало. Никто не ответил. Он обратился к пастору, тот тоже промолчал — сумерки, тишина, жара. Покинув кузню, Нурденсон позвонил настоятелю. Настоятель потом вызвал к себе пастора

и сделал ему выговор, ссылаясь на несколько туманные слова Учителя о том, что, мол, Богу Богово, а кесарю кесарево.

Эпизод обсуждался на заводе и в усадьбах, вероятно, в несколько приукрашенном свете. Пастора посчитали одним «из наших». К тому же он легко сходился с людьми, у него была хорошая память на имена и лица, он навещал стариков и больных, говорил с ними просто и понятно, иногда пел какой-нибудь псалом или что-то другое, подходящее к случаю. Он без шума реформировал предконфирмационное обучение — знакомил своих учеников с вопросами, которые задаются во время конфирмационного экзамена, и ответами на них, отменил домашние задания и говорил с ребятами о том, что было интересно и им, и ему самому. Раз в месяц он устраивал вечера для прихожан, чаще всего в пасторской усадьбе, потому что протопить часовню было слишком трудно. Заказал в издательстве Социального церковного управления диапозитивы и отпечатанные лекции. Навестил главу Миссионерского союза и предложил сотрудничество. Шаг оказался неподобающим. Настоятель запретил контакты подобного рода, и миссионерский пастор в язвительных выражениях ответил отказом.

В приходе, без сомнения, началась скромная духовная деятельность, что было выгодно и Миссионерскому союзу, и пятидесятникам, поскольку конкуренция и борьба за души усилились и обострились. Вообще-то после того, как улеглось первое любопытство, пастору приходилось читать свои проповеди в довольно-таки пустой часовне, в большой церкви пустота была еще заметнее. Но мало-помалу, страшно медленно, на мессы и вечерние псалмопения стало приходить все больше людей.

К этому следует добавить, что мать с отцом были красивой парой, жившей в очевидном согласии на ярко освещенной сцене пасторской усадьбы с дверьми нараспашку. Никто не ставил под сомнение их благие намерения.

Собрание кружка рукоделия — процедура неспешная, но имевшая успех, особенно зимой. Этим вечером в семь часов в пасторской усадьбе собралось двадцать девять женщин. Они основательно закутаны, в руках мешочки с рукоделием и угощение (у каждой корзинка, в ней — термос с кофе, сливки, сахар, чашка, ложка, блюдце, а также булочки и печенья в разных количествах и разного качества). Корзинки принимают Миа, Мейан и несколько дежурных конфирмантов. Обеденный стол быстро переоборудуют в кофейный, принесенный с собой кофе (с цикорием, кстати, поскольку идет вторая военная зима) сливают во вместительный хозяйский медный кофейник. Итак, гости снимают с себя многочисленные одежки, на стульях в прихожей и на лестнице растет гора пальто и шуб, женщины воспитанно сморкаются, приглаживают волосы перед зеркалом, слышны сдержанный гомон и гул. Анна и Хенрик, стоя в дверях, приветствуют пришедших. Керосиновые лампы, свечи, огонь в кафельных печах, внесенные в столовую столы и все имеющиеся и занятые у соседей стулья. «Здравствуйте, здравствуйте, добрый вечер, как хорошо, что вы, фру Пальм (Густавссон, Даниэльссон, Юханссон, Юханссон, Юханссон, Талльрут, Гертруд, Карна, Альма, Ингрид, Текла, Магна, Альва, фру Дебер, Гюлльхеден, Андер, Мэрта, фру Флинк, Веркелин, Крунстрём) сумели прийти, захотели прийти, у нас сегодня много народа, несмотря на мороз. Это мой брат, Эрнст Окерблюм, он только что приехал из Норвегии, там, кажется, еще холоднее. Сейчас будет очень кстати выпить по чашечке кофе, мама прислала мне сто граммов настоящего яванского. Мы высыпали его в кофейник. Фру Веркелин, я приду к вам завтра, если вас это устроит, и посмотрю вашу свекровь».

Анна замечает что фру Юханссон прячет левую руку за спиной, два пальца обмотаны тряпочкой и перевязаны шнурком — «просто по-дурацки обожглась о плиту». «Ничего, подлечим, наш врач дал мне мазь, займемся, когда начнется чтение, у меня есть болеутоляющие таблетки». «Да, жуть как болит»,— смущенно бормочет фру Юханссон.

Гости суетливо, с церемониями рассаживаются. На стол наконец-то

водружают медный кофейник. Разговоры становятся чуть оживленнее, звенят ложки и чашки. Это прелюдия, протяжная, в сдержанном темпе.

Хенрик занимает место за столиком у окна, деля керосиновую лампу с фрёкен Нюквист, фру Флинк и кроткой Альвой, которая, несмотря на свою умственную отсталость, вполне справляется с разного рода рукоделием. Он раскрывает книгу и просит тишины. После чего пересказывает содержание последних глав. Выбор литературы весьма необычный, чтобы не сказать дерзкий: «Анна Каренина» Толстого.

Хенрик *(читает)*. «В первый же день приезда Вронский поехал к брату. Там он застал приехавшую из Москвы по делам мать. Мать и невестка встретили его как обыкновенно; они расспрашивали его о поездке за границу, говорили об общих знакомых, но ни словом не упомянули о его связи с Анной. Брат же, на другой день приехав утром к Вронскому, сам спросил его о ней, и Алексей Вронский прямо сказал ему, что он смотрит на свою связь с Карениной как на брак; что он надеется устроить развод и тогда женится на ней».

Анна, пока идет чтение вслух, удаляется на кухню вместе с фру Юханссон — светлокожей, круглолицей женщиной с голубыми глазами, ее обычно румяные щеки белеют от боли, губы дрожат, когда Анна обнажает уже загноившуюся рану. Кожа с внутренней стороны среднего и безымянного пальцев слезла совсем. Теперь предстоит снять обручальные кольца. Анна и фру Юханссон на кухне одни, если не считать Яка, который спит на своей подстилке под мойкой. «Я позову брата и принесу острые щипцы,— решительно говорит Анна.— До завтра ждать нельзя, иначе может начаться гангрена». У Эрнста побелел нос, но он берет щипцы и, перекусив кольца, разгибает их. После чего Анна накладывает на рану мазь, перебинтовывает руку и делает перевязь. Эрнст приносит и разливает коньяк. Фру Юханссон серьезно кивает, Анна с Эрнстом кивают в ответ, и все трое одним глотком опустошают стаканы — коньяка было на донышке.

Анна. Левой руке теперь нужен покой. Справитесь?
Фру Юханссон. Справлюсь как-нибудь.
Анна. А завтра я позвоню доктору и спрошу, надо ли показать ему рану. Я не решаюсь целиком брать на себя ответственность.
Фру Юханссон. Спасибо, все будет в порядке.
Анна. Возьмите несколько вот этих болеутоляющих таблеток на ночь, чтобы поспать. Но днем постарайтесь терпеть боль.
Фру Юханссон. Спасибо, спасибо, потерплю.
Анна. Пойдемте слушать чтение?
Фру Юханссон. Наверно.
Анна. Что случилось, фру Юханссон?
Фру Юханссон. Не знаю. Не знаю, стоит ли говорить.

Анна садится. Эрнст отошел от освещенного кухонного стола к мойке и устроился там, он курит и осторожно налаживает отношения с Яком, который ведет себя уже не так агрессивно.

Анна. Посидим минутку.
Фру Юханссон *(после паузы)*. Может, все ничего. Дети выросли. Дочка — учительница младших классов в Худиксвалле, а парень во флоте, призван пожизненно. Мы с Юханнесом — мужем моим то есть — уж два года как одни, и у нас все ладно. Все хорошо. Юханнесу дали работу полегче после того, как он легкими болел,— работает в заводской конторе, все хорошо. *(Молчание.)*
Анна. Но что-то все-таки не очень хорошо?
Фру Юханссон. Не знаю. Не знаю, как сказать.
Анна. Может быть, мой брат...
Фру Юханссон. Нет, нет, Бог с вами. Я, верно, делаю из мухи слона. *(С*

разгону.) Дело в том, что у моей племянницы, которая замужем в Вальбу, есть сынок семи лет. Папаша сбежал пару месяцев тому назад. Брак был не особенно удачный. Кто тут виноват, постороннему судить трудно, так что я не осуждаю. Но мы с Юханнесом решили, что все-таки мальчику, его Петрус зовут, надо жить у нас. Племянница-то поехала в Евле, к родителям мужа. Там она устроилась работать на кухню в городской гостинице, неплохо в общем. Папаша исчез бесследно, а так все нормально. Петрус, само собой, теперь пойдет в школу здесь, в Форсбуде. Занятия-то осенью начнутся?

Анна. Ему семь?

Фру Юханссон. Он немного припозднился, но я говорила с учительницей, и она сказала, что препятствий не будет. Некоторые дети начинают и позже... *(Молчание.)*

Анна *(осененная догадкой)*. Ч т о-т о не так с Петрусом?

Фру Юханссон. Не знаю.

Анна. У него какие-нибудь трудности? Он...

Фру Юханссон. Нет, что вы. Он умеет и читать, и писать, и считать. Он скорее — как бы это сказать — развитой. И по большей части хороший мальчик, помогает, слушается. И, похоже, привязан и ко мне, и к Юханнесу. У мужа маленькая мастерская во дворе, и он любит... В свободное время они с Петрусом не вылезают оттуда.

Анна. Но все же что-то не так?

Фру Юханссон. Учительница милая, но она на следующий год уходит на пенсию. Так что с ней я говорить не могу, я пыталась, но сбилась, еще не начав как следует.

Анна. Петрус болен?

Фру Юханссон. Нет, нет. *(Неуверенно, тихо.)* Он с т р а д а е т . Муж не замечает, а я...

Анна. Страдает?

Фру Юханссон. У него глаза растерянные, не все время, но ежели присмотреться, так сказать. Бегает, бегает, а потом вдруг...

Анна. Приведите сюда Петруса, фру Юханссон, мы поговорим с ним.

Фру Юханссон *(беспомощно)*. Хорошо.

Анна. Может, это возрастное.

Фру Юханссон. Может.

Анна. Или ему кажется, будто мама...

Фру Юханссон. Возможно.

Анна. Приходите с ним на следующей неделе. В субботу у нас базар, так что сейчас...

Фру Юханссон. Ясное дело. Сейчас много чего...

Анна. Пойдемте, присоединимся к остальным?

Фру Юханссон. Не рассказывайте ничего об этом.

Анна. Но я должна рассказать Хенрику.

Фру Юханссон. Да, само собой.

Анна. Идемте. Пастор, наверное, уже решил, что нам не нравится, как он читает.

Через час или около того Хенрик захлопывает книгу и встает. Огонь в печах погас, стеариновые свечи домашнего изготовления горят так быстро, что почти совсем ушли в подсвечники. Керосиновые лампы, одолеваемые сном, потихоньку коптят. Уютно, тепло, кое-кого совсем сморило. Хенрик, сцепив пальцы, читает благословение. Потом предлагает спеть псалом Еспера Сведберга «День прошел» — «Вы ведь знаете его?» Анна усаживается за пианино. Хенрик и Эрнст запевают, прихожане подпевают в твердой уверенности, что улицы небесного Иерусалима вымощены золотом: «День прошел, и ночь близка. Солнце село в облака. Ты прииди к нам, Иисус. Не вводи нас во искус. Укрепи и сохрани. Страх из жизни изгони. Мир в душе, покой во сне».

В половине десятого последняя гостья, нацепив на себя все одежки, вываливается в ночь, держа в руках мешочек с рукоделием и опустошенную

корзинку. Анна будит своего кротко дремлющего сына и перепеленывает его. Когда она усаживается в низкое креслице, чтобы покормить ребенка, пес, тяжело дыша, укладывается ей на ноги. Ответственность его возросла. Раньше надо было защищать и заботиться о двух богах, теперь их стало трое, это нелегко. Як, зевая и пуская слюни, борется с ревностью.

Управившись с делами, Анна с Яком спускаются вниз — Эрнст и Хенрик сидят за убранным столом и жуют бутерброды с козьим сыром, запивая их молоком. Патефон, последовавший за хозяйкой с Трэдгордсгатан, уже заведен. На диске — пластинка фирмы «Виктор» с последним шлягером. «Прошу,— говорит Эрнст,— это тебе подарок, Анна, вроде как запоздалый рождественский презент». «Что это?» — с любопытством спрашивает Анна. «One-step,— с вызовом отвечает Эрнст,— последняя новинка из Нью-Йорка, самый модный танец. One-step, он называется one-step». Из красной трубы патефона выскакивают синкопы Соала Милтона. «Вот как его танцуют, страшно увлекательно»,— говорит Эрнст, демонстрируя па. Через две-три минуты Анна начинает ему подражать. Он притягивает ее к себе, и они танцуют one-step вдвоем. Хенрик и Як наблюдают, отмечая радость брата и сестры, их близость, рвение, смех. «Еще раз»,— кричит Анна, заводя патефон. «Теперь с тобой»,— говорит она задорно и тянет Хенрика за руку. «Нет, нет, только не я»,— протестует Хенрик, отступая. «Идем, не глупи, ведь весело же, а?» — «Нет, нет, мне гораздо веселее смотреть на вас с Эрнстом». «Танцуем все вместе,— восклицает Анна, в ней уже взыграло упрямство, щеки раскраснелись.— Ты, я, Эрнст — и Як!» — «Нет, Анна, отстань, не конфузь меня». «При чем тут конфуз?» — смеется Анна, сбрасывая с себя туфли, волосы у нее уже распущены не без помощи Эрнста, позаботившегося о нескольких шпильках и двух гребенках. «Вот так! — восклицает она, поднимая руки.— Вот так! Иди же, Хенрик, ты ведь замечательно танцевал, помнишь Весенний бал?» «То был вальс»,— возражает Хенрик. «Пожалуйста, будем танцевать вальс под one-step,— призывает Анна, обнимая мужа.— Это твой пасторский сюртук мешает. Мы его снимем!» И она принимается расстегивать пуговицы на животе и дальше вниз. Эрнст заводит патефон. Хенрик прижимает к себе жену. «Ты меня раздавишь»,— кричит она с ноткой раздражения. Он приподнимает ее и отпускает, легонько толкнув в грудь так, что она, попятившись, натыкается на стул. Он качает головой и громко хлопает за собой дверью.

Эрнст со смущенной улыбкой поднимает адаптер. «Не только Хенрику не нравится one-step»,— говорит он без уверенности в голосе и, сняв пластинку с диска, засовывает ее в зеленый картонный конверт. В ту же секунду дверь рывком распахивается, и в комнату входит Хенрик! «Я знаю, я вел себя по-идиотски»,— говорит он быстро извиняющимся тоном. «Мы хотели только немножко поиграть, подурачиться»,— с нежностью отвечает Анна. «Я вечно порчу игру,— отзывается Хенрик.— Ничего не поделаешь».

«Давайте разведем огонь, посидим, поболтаем»,— предлагает Эрнст, переводя разговор. «Мы с Яком почувствовали себя ненужными,— говорит Хенрик в жалкой попытке пошутить.— Мы с Яком склонны к ревности. Правда, Як?»

Огонь трещит с новой силой, дверцы кафельных печей раскрыты, керосиновая лампа слабо освещает круглый стол у окна. Все трое сидят рядком на диване: Эрнст, Анна, Хенрик. Эрнст набивает трубку и неспешно ее разжигает. Як спит на подобающем расстоянии, время от времени открывая один глаз или навостряя ухо — нельзя терять из виду ни богов, ни их ненадежных друзей.

«Я летал на самолете,— внезапно говорит Эрнст.— Наш институт арендует у норвежской армии «Форман Гидро». У машины два мотора и два крыла, она взлетает и садится на воду. Мы ежедневно поднимаемся в воздух для наблюдения за погодными фронтами, измеряем температуру и давление. И фотографируем сверху скопления облаков. Иногда идем на высоте три тысячи метров, в таких случаях приходится пользоваться кислородом, иначе дышать трудно. Однажды мы поднялись на четыре тысячи метров, и небо стало темно-синее, почти черное. Все краски пропали, а звук мотора делался все слабее и слабее». «Тебе не страшно?» — спрашивает

Анна. «Страшно? Наоборот. Появляется невероятное ощущение — не знаю даже, как сказать,— ощущение власти. Нет, не власти. Совершенства. И я буквально теряю голову от счастья! Мне хочется броситься в этот воздушный океан и поплыть самому. И тогда я думаю: вот так себя чувствовал Создатель в седьмой день, когда увидел, что его Творение хорошо».

Здесь уместно рассказать, как получилось, что семилетний Петрус Фарг остался в пасторской усадьбе. Был конец января, мороз сменился серой пронизывающей оттепелью с внезапными дождями и хлестким снегом. Погода выкидывала странные штуки: как-то ночью разыгралась гроза, и молния ударила в заводской трансформатор.

Однажды утром, когда Анна спустилась к завтраку в половине восьмого (Хенрик уже ушел в пасторскую контору, которая открывалась в восемь), она увидела фру Юханссон за чашкой кофе и бутербродом. На скамеечке возле дровяного ларя сидел Петрус Фарг. Мейан сновала между кухней и кладовкой — ей предстояло сегодня много печь, поэтому особого восторга в связи с визитом гостей она не испытывала. Миа где-то убиралась, напевая при этом,— она любила петь, когда бывала не в духе. Фру Юханссон тотчас поднимается со стула и, слегка присев, здоровается. Рука у нее по-прежнему забинтована. Петрус тоже встает и после напоминания кланяется. Анна, совершенно забывшая про свое обещание, немного сбита с толку и потому отвечает очень коротко, а фру Юханссон немедленно начинает извиняться за вторжение. Анна, прихватив большую чашку с чаем и бутерброд, приглашает гостей пройти с ней в столовую.

Петрус Фарг стоит у торца стола, заложив руки за спину, худенький, высокий мальчик с толстыми губами и большими невыразительными глазами, высоким лбом, прямым, выпирающим носом, крупными красными ушами и волосами, постриженными под ежик. Одет он основательно — толстый свитер с чересчур длинными рукавами, темно-синие короткие брюки с большой заплатой на заду и длинные черные вязаные чулки. Ботинки остались в сенях. У него насморк, он шмыгает носом, из одной ноздри течет сопля, которую он по мере надобности украдкой слизывает.

Фру Юханссон извиняется еще раз: она не договорилась заранее, пришла слишком рано. Анна пьет чай и вежливо бормочет, что, мол, ничего страшного, она ведь обещала, хорошо, что фру Юханссон наконец-то решилась, как рука? Спасибо, лучше, уже может шевелить пальцами, доктор был доволен помощью, оказанной фру пасторшей.

Анна, поставив чашку, подзывает Петруса. Он сразу же поворачивается к ней и подходит, но руки по-прежнему держит за спиной. Смотрит на нее без страха или робости, но в то же время как бы мимо, точно слепой. «Дай мне посмотреть твою руку»,— говорит Анна. Он кладет ладошку в руку Анны — узкая, длинная ладонь с длинными пальцами, отчетливыми прожилками, сухая, шершавая кожа, обкусанные ногти, на указательном пальце ноготь обгрызан до мяса. Фру Юханссон качает головой: «Страшное дело, как он грызет ногти. Я уж и горчицей мажу, и уговариваю, и обещаю награду — ничего не помогает». Анна, не отвечая, переворачивает ладошку: внутренняя сторона испещрена красноватыми черточками и узорами — старческая рука.

Анна. Так осенью пойдешь в школу?
Петрус. Да.
Анна. Нравится?
Петрус. Не знаю. Я же там не был.
Анна. Но ты уже умеешь читать и писать?
Петрус. И считать. Таблицу умножения знаю.
Анна. И кто тебя научил?
Петрус. Сам.
Анна. Никто не помогал?
Петрус. Нет.
Анна. А не дядя Юханнес?

Петрус. Когда мы бываем с дядей Юханнесом в мастерской, он обычно меня спрашивает, а я отвечаю.
Анна. А друзья у тебя есть?
Петрус *(молчит)*.
Анна. Я хочу сказать, ты играешь с какими-нибудь мальчиками?
Петрус. Нет.
Анна. Значит, ты совсем один?

Петрус молчит.

Анна. Может быть, тебе нравится быть одному?
Петрус. Наверно.
Анна. А что ты читаешь?

Петрус молчит.

Анна. У тебя есть какие-нибудь книги?

Петрус молчит.

Фру Юханссон. У нас есть несколько старых рождественских журналов, да муж иногда покупает газету «Ефле дагблад». Так что по большей части он читает энциклопедию, хотя у нас всего один том: от Крагдюва до Юлланд. Это пробный экземпляр, Юханнес купил его всего за семьдесят пять эре.
Анна. По-моему, у меня есть несколько книжек, которые тебе понравятся, Петрус. Подожди, сейчас увидишь.

Она подходит к белому книжному шкафу со стеклянными дверцами и, поискав немножко на нижней полке, вытаскивает толстую книгу с золотым корешком и золотыми буквами на красном коленкоровом переплете. Это «Скандинавские сказки», «переработанные и изданные для детей». Почти на каждой странице — иллюстрация, некоторые цветные. Анна кладет книгу на стол перед Петрусом. «Пожалуйста,— говорит она.— Читай, а когда прочитаешь, у меня найдутся другие, не хуже. Бери, Петрус! Сейчас только обернем ее, как оборачивают школьные учебники, чтобы не запачкалась».

Фру Юханссон. Поблагодари как следует.
Петрус. Спасибо.

В нескольких километрах к югу от пасторской усадьбы, там, где Грэсбэккен впадает в Евлеон, располагается лесопильня. Она принадлежит Заводу и обслуживается двадцатью двумя работниками, которые живут со своими семьями в нескольких ветхих домах барачного типа над лесоспуском. Пиломатериал переправляется на заводской причал по одноколейке. Вокруг покосившихся распиловочных навесов с полуобвалившимися крышами громоздятся штабеля пахучей древесины. Плотина над лесопильней глубокая, через закрытые зимой и летом шлюзы пробиваются тонкие струйки воды.

Однажды в середине февраля происходит следующее: бригадир коротко объявляет, что Арвид Фредин уволен с сегодняшнего дня, и ему приказано в недельный срок освободить жилье. Поначалу сообщение не вызвало ни протестов, ни комментариев. Работа продолжается как обычно и на лесопилке, и у товарняка. За завтраком в одиннадцать утра кое-кто из сортировщиков начинает обсуждать увольнение, считая его несправедливым. Конечно, Арвид Фредин болтун и выпивоха, но рабочий хороший, это все признают, ни разу не получал замечаний за прогулы или пьянку на работе.

Сам Арвид стоит во дворе непривычно тихий, руки безвольно повисли. Вид у него ошеломленный и, похоже, убитый. Жена, открывая через равные промежутки окно, велит ему что-то делать: сходить в контору, поговорить с начальством, пожаловаться Нурденсону. С этим мириться нельзя!

Во время перерыва на завтрак и по дороге на вечернюю смену многие останавливаются поговорить с Фредином. «Тебя уволили за то, что ты сказал на собрании в понедельник,— говорит Монс Лагергрен, один из самых старых работников, который уже начинает заниматься социал-демократической политикой.— Я предупреждал тебя, чтобы ты не распускал язык». «Я был не хуже других»,— возражает Арвид. «Возможно, но ты прочитал кое-что, что сам написал. Что-то вроде м а н и ф е с т а или черт его знает, как это обозвать»,— отвечает Монс, раскуривая кисловатую трубку.

На грязном, раскисшем дворе собралось еще человек десять. «Они хотят создать прецедент,— говорит Андерс Эк, делая шаг в сторону лесопильни.— Идем же, черт побери, а то еще больше неприятностей будет». Никто не двигается с места, все продолжают стоять.

Хенрик навещает больную в южном бараке. У одной из его учениц свирепая простуда, девочка никак не поправляется, сильно кашляет, задыхается. Наверное, это вовсе не простуда, а что-то похуже. Хенрик только что говорил с матерью, и они решили, что нужно посоветоваться с доктором, Хенрик обещает позвонить сегодня же.

Выглянув в окно, Хенрик видит толпу. «Что там еще?» — спрашивает он у фру Карны. «Не знаю,— раздраженно отвечает та.— Теперь вечно какие-нибудь склоки. По-моему, они уволили Арвида. Арвида Фредина. Чего там говорить. Настоящий агитатор, пьяница и драчун. Болтает, что мы, дескать, должны примкнуть к мировому коммунизму и пристрелить Нурденсона или повесить его на колокольне. Не знаю, лучше ничего не знать. На прошлой неделе он был у нас, шумел с Ларссоном, заставлял его что-то подписать. Пришлось позвать соседа, чтобы тот помог его домой доставить. Так что ежели он уедет, я не буду против».

Хенрик прощается и выходит во двор. В этот момент на холме появляется бригадир, но близко не подходит. Он пытается действовать уговорами: «Пошли, ребята. Давно пора, не будем наживать еще больше неприятностей». Никто не двигается, при этом некоторые удивляются сами себе. «Успокойся, придем через десять минут»,— говорит кто-то. «Ну, тогда я спускаюсь, подожду там, не хочу слушать вашу дерьмовую болтовню». «Коли идешь вниз, так пришли сюда остальных».

Бригадир, не ответив, поворачивается и уходит. Вообще-то он мог бы позвонить в заводскую контору, там имеется что-то вроде местного телефона, но он этого не делает.

«Вопрос не в Арвиде Фредине,— говорит Юханнес Юханссон.— Дело больше в принципе. Мы должны дать им понять, что не согласны...» «С чем? — спрашивает кто-то.— Не согласны с тем, что Арвида уволили, хотя он пьет и болтает черт знает что?» Неодобрительный гул. «Они хотят создать прецедент,— хриплым голосом упрямо твердит свое Андерс Эк.— Создают прецедент и выбирают для этого Арвида Фредина, потому что он умеет писать и выражать свои мысли. Конечно, он опасен, вот его и вышвыривают. А не потому, что он пьяница и дерьмо».

Говорится это вполне добродушным тоном. Все смеются, даже Арвид улыбается. «Как бы там ни было, но мы не можем согласиться с тем, как они поступили с Арвидом Фредином,— решительно говорит Монс Лагергрен.— Мы должны высказаться четко и ясно, но вежливо. Орать и ругаться незачем. И так сыты этим по горло. Агитаторы из Евле нам не помогли. Наоборот».

Собравшиеся согласны с Лагергреном. Собственно, Арвида Фредина не особо любят здесь, пусть он хороший и умелый работник, но больно языком треплет и читает отрывки из никому неизвестных книг.

На какое-то время наступает молчание. Надо бы начинать вечернюю смену, давно уже пора. Бригадир — приличный человек, его хорошо здесь знают, он из местных. Понапрасну не ругается, но у него могут быть неприятности, если работа не возобновится. Несмотря на это, все продолжают стоять — мрачные, в нерешительности. «Давайте соберемся и как следует все обсудим,— говорит Юханнес.— В этом деле много разных моментов, нам не решить эту проблему, стоя здесь с разинутыми ртами».

Гул одобрения. «Тогда вопрос в том, где нам собраться,— продолжает Юханнес.— Надо позвать и ребят с завода, а не только наших. Ежели мы соберемся в помещении завода, нас выгонят, и опять будут неприятности. На улице в эту чертову погоду не получится, а на сеновале у Роберта холоднее, чем на улице».

«Можно собраться в часовне,— говорит Хенрик, не дав себе времени на обдумывание.— В часовне будет тепло, по крайней мере после мессы. Печи топятся все утро. Там помещается сто пятьдесят человек, этого ведь хватит?» Хенрик вопрошающе обводит взглядом присутствующих. Закрытые, недоверчивые, удивленные лица. «В часовне? — переспрашивает Юханнес.— А что скажет на это настоятель?» «Я имею право устраивать собрания и встречи, мне дано такое право». «Вот как? — говорит Лагергрен, в голосе которого все еще слышится удивление.— Ну что, примем предложение пастора?» — «А почему бы нет, ежели только пастор не передумает». «Не передумаю»,— заверяет Хенрик насколько возможно спокойно. «В воскресенье, в два?» — предлагает кто-то. «Подходит»,— отвечает Хенрик. «Вы, пастор, тоже придете?» — «Разумеется. Ключ-то у меня».

Той же ночью Анну и Хенрика разбудила гроза, разыгравшаяся в Форсбуде. Над озером Стуршён, горными грядами и горами словно гремит непрерывная канонада. Град волнами накатывает на крышу. «Никогда в жизни не видела такой странной погоды»,— шепчет Анна. Она зажигает свечу, приносит Дага, который безмятежно спит, не обращая внимания на грохот. Все трое лежат в кровати Хенрика. «Гроза в феврале — прямо Судный день».

Постепенно гром стихает, теперь лишь зарницы вспарывают небо да кротко шумит дождь. «Что это за звуки на веранде?» — вдруг спрашивает Анна, разом проснувшись. «Никаких звуков, тебе показалось».— «Нет, не показалось, кто-то стучит в застекленную дверь».— «Кто же, призрак, что ли?» — «Нет, тихо, неужели не слышишь?» — «Ты права, на веранде кто-то есть».

Анна зажигает керосиновую лампу, они накидывают халаты, суют ноги в тапочки, лестница скрипит. Теперь стук слышен совершенно отчетливо — слабый, отрывистый. Хенрик отпирает замок и открывает. Анна светит лампой: на лестнице, вырисовываясь на фоне дрожащего снежного света, стоит, пригнувшись, темная фигура. Это Петрус в чересчур длинном дамском пальто, громадной фуражке и сапогах. Он стоит, не шевелясь, руки беспомощно повисли, козырек фуражки закрывает глаза, рот полуоткрыт. Анна протягивает руку и, втащив его в прихожую, снимает с него фуражку. Взгляд голубых глаз безжизненный, лицо бледное, губы дрожат. «Замерз?» — спрашивает Анна. Он мотает головой. «Зачем ты пришел?» — спрашивает Хенрик. Опять мотанье головой. «Идем, я тебе молока согрею,— приглашает Анна.— Сними пальто и сапоги». Опустив голову, мальчик послушно плетется за ней.

Утром Миу посылают к Юханссонам, которые только-только проснулись и обнаружили пропажу. На кухне пасторской усадьбы ранние гости. Юханнес с женой, стоя посреди кухни, рассыпаются в извинениях. Когда один переводит дух, вступает другой. Миа, сидя за кухонным столом, ест свою утреннюю кашу. Мейан хлопочет у плиты. Хенрик безуспешно предлагает гостям выпить кофе или хотя бы сесть. Анна пошла в комнату для гостей, чтобы разбудить Петруса, что излишне. Он уже проснулся и, съежившись в комочек, укутавшись в красный плед, прижался к спинке кровати — из-под пледа выглядывают широко раскрытые, водянистые глаза на бескровном лице. В зрачках мечется слепой вихрь, сухие губы крепко сжаты. Анна, взяв стул, садится напротив своего удивительного гостя. «Идем,— говорит она мягко.— За тобой родители пришли».

Петрус *(помолчав)*. Они мне не родители.
Анна. Они вместо родителей.
Петрус. Не хочу.
Анна. Они ведь славные люди, Петрус.
Петрус. Да.

Анна. Лучше и не найдешь.
Петрус. Да.
Анна. Значит, пойдешь?
Петрус. Да.
Анна. Никто на тебя не сердится.
Петрус. А почему кто-то должен сердиться?
Анна. Нет, нет, конечно, ты прав.
Петрус. Только я не хочу.
Анна. Это не тебе решать, Петрус.
Петрус. Да.

Он смиренно встает, Анна позволяет ему не снимать пледа. Покорно и грустно он тащится за ней через прихожую и столовую в кухню. Увидев приемных родителей, он останавливается и плотнее закутывается в плед. Анна, стоя сзади, пытается подтолкнуть его поближе, но безрезультатно — он не двигается с места.

Фру Юханссон, которая только что произнесла что-то кроткое, но горестное, обрывает себя. «Иди сюда, Петрус»,— говорит приемный отец, делая шаг в сторону мальчика. Тот молниеносно поворачивается и вцепляется в Анну, прижимается лицом к ее животу, она растерянно и беспомощно гладит его по голове. Юханнес пытается осторожно разжать его руки, но тот не дается, Юханнес дергает сильнее, Анна с вцепившимся в нее Петрусом плашмя падает на пол. Тогда Юханнес, уже не жалея сил, хватает мальчика, заламывает ему руки, перехватывает поперек живота и поднимает вверх. Молча, не издавая ни звука, мальчик отчаянно старается высвободиться. Извивается, брыкается, царапается, пытается укусить приемного отца за руки.

«Отпустите его,— говорит Хенрик.— Отпустите, так продолжаться не может». Юханнес опускает мальчика на пол, и тот немедленно вцепляется в Анну. Фру Юханссон стоит, прижав руку ко рту, она словно окаменела. Юханнес тяжело дышит, лицо у него красное, в глазах слезы. «Не понимаю,— говорит он.— Не понимаю. Мы же с Петрусом такие друзья. Разве нет?» Но мальчик не отвечает, не делает ни одного движения, только льнет к Анне. Она положила руки ему на голову. Миа беспомощно замерла на стуле, завтрак стынет. Мейан забывает вычистить из плиты золу.

«Пусть Петрус останется на пару дней,— произносит наконец Хенрик.— Он успокоится и подумает». «Конечно, пусть поживет у нас пару дней»,— говорит Анна. Приемные родители растерянно смотрят друг на друга, возможно, они испытывают унижение, во всяком случае, глубокое смущение. Предложение пастора принимается без слов благодарности.

Церковный приход состоит из четырех общин, расположившихся вокруг чересчур просторной церкви, построенной в начале прошлого века. Пасторская контора уже много лет помещается в западном флигеле настоятельского дома. Контора представляет собой вытянутую холодную комнату с тремя столами в ряд у окон. Здесь хозяйничают ординарный пастор, младший пастор (это Хенрик) и звонарь, который сидит ближе всех к двери. У противоположной стены стоят длинный деревянный диван с потертой кожаной обивкой, два стула и дубовый стол. На столе — графин с водой и церковные журналы. В торце комнаты изо всех сил старается железная печка, но из дряхлых окон так сильно дует, что господам разрешено оставаться в пальто, шарфах, ботах и валенках. Возле дивана — дверь в комнату, где настоятель может вести доверительные беседы, и короткий коридор, ведущий в архив и небольшую библиотеку. Полы покрыты вытертым линолеумом, над диваном висит картина в черной деревянной раме, изображающая Доброго пастыря с агнцем и львом. Пахнет сыростью, плесенью и тяжелой верхней одеждой.

Контора открыта по будням с восьми до десяти. Здесь решаются практические вопросы: крестины, похороны, свадьбы, принятие в члены общины, переезды. Спасение душ ограничивается регулярным посредничеством между воюющими супругами. Эти деяния совершаются настоятелем

в его кабинете. Прочие так называемые «доверительные» беседы ведутся в архиве, где стоят два хлипких стула.

Утро в начале марта 1915 года. Ледяной дождь хлещет по грязным стеклам. Свет зыбкий, ленивый.

Звонарь, работающий по совместительству в народной школе, правит тетради. Хенрик занят справкой о переезде, у его стола стоит молодая пара, женщина почти на сносях. Ординарный пастор обсуждает похороны. Вдова, ее сестра и зять тихо о чем-то беседуют, для одетой в траур бормочущей и плачущей жены усопшего принесли стул. Дверь в комнату настоятеля Граншё приоткрыта. Он громко разговаривает по телефону, белая бородка подпрыгивает, блестят очки.

Дверь в сени резко распахивается, входит инженер Нурденсон. На нем перепоясанный полушубок, брюки заправлены в грубые сапоги, каракулевую шапку он с головы стащил, жидкие седые волосы встали торчком. Голова выдвинута вперед, нос покраснел от ветра и насморка. Быстрым наметанным взглядом черных глаз он находит нужного ему человека. Не терпящим возражения тоном он бросает через всю комнату, что желает поговорить с пастором Бергманом — немедленно. Хенрик предлагает инженеру Нурденсону присесть и чуть-чуть подождать: «Я скоро закончу». Нурденсон нетерпеливым жестом бросает перчатки на стол с религиозной литературой, замирает, словно обдумывая, не уйти ли, гневно хлопнув дверью, потом вздыхает и усаживается на скрипучий диван. Вынимает очки, несколько минут изучает последний номер «Нашего пароля», но скоро отбрасывает его и закуривает. «Простите,— говорит звонарь,— но в пасторской конторе не курят». «Сейчас курят»,— отвечает Нурденсон, растягивая губы в ухмылке, которая не затрагивает глаз. Мужество звонаря на сем иссякает. Слабым взмахом руки он указывает на объявление, висящее у двери, и возвращается к своим тетрадям.

Настоятель, закончивший разговор по телефону, по опыту определил, что в его конторе что-то происходит. Он выходит и видит Нурденсона, который, поднявшись, сердечно жмет ему руку: «Я не вас ищу, брат, а вашего младшего пастора»,— говорит Нурденсон, вытягивая длинный палец. «За чем же дело стало?» — вежливо спрашивает настоятель. «Он делает вид, что занят»,— отвечает Нурденсон. «Иди сюда, Бергман, звонарь доделает. Подойди сюда, пожалуйста».

Хенрик поднимает глаза от своей писанины и неохотно, но покорно встает. «Инженер хочет поговорить с тобой, можете устроиться в моем кабинете, я все равно иду завтракать». Настоятель вынимает карманные часы: «Уже десять, самое время. Прошу вас, входите! Здесь вам никто не помешает».

Нурденсон усаживается на стул для посетителей и опять закуривает. Хенрик придвигает массивный стул с высокой спинкой — в кресло у стола сесть не решается. Окно застеклено цветным стеклом. Тикают настенные часы.

Нурденсон. Всю жизнь прожил здесь у Стуршёна, но подобной погоды в феврале никогда не видел. Точно сам черт с цепи сорвался.

Хенрик. Люди утверждают, что инфлюэнцу принесла с собой погода. Не знаю, чему и верить.

Нурденсон. Не погода, а война, пастор. Миллионы трупов разлагаются. Инфекция переносится ветром. Но скоро этому конец. Американцы найдут повод, и все закончится. Поверьте.

Хенрик. Через год, два, пять?

Нурденсон. Весьма скоро. Я был в Кёльне несколько недель назад. Изменилось все. Продукты кончаются. На улицах беспорядки. Никто не верит в победу. Хотя пока все идет хорошо.

Хенрик. Хорошо?

Нурденсон. Я имею в виду — для н а с . Пока идет война, мы прокормимся. Закончится война — и прокормиться уже будет нельзя.

Хенрик. Вы в этом уверены?

Нурденсон. Вы, пастор, не слишком хорошо информированы?

Хенрик. Весьма плохо.
Нурденсон. Я так и думал. *(Молчание.)*
Хенрик. Вы хотели поговорить со мной, господин Нурденсон?
Нурденсон. Да это больше внезапный порыв. Шел мимо пасторской конторы и подумал: а не зайти ли поболтать с молодым Бергманом? Как дела у девочек?
Хенрик. Спасибо, хорошо.
Нурденсон. Я слышал, что вы отменили домашние задания в предконфирмационной подготовке?
Хенрик Более или менее.
Нурденсон. А вы имеете на это право?
Хенрик. Никаких подробных правил ведения занятий не существует. Есть только общая фраза — «конфирмант должен быть подобающим образом подготовлен к своему первому причастию».
Нурденсон. Так-так, значит, сейчас вы подготавливаете моих дочерей? Вам ведь, пастор, вероятно, известно, что это происходит против ясно выраженной мной воли? Нет, нет, черт возьми, поймите меня правильно! Никаких стычек по этому поводу у нас не было. Решение принимали Сюзанна, Хелена и их мать. Я только сказал, что я против этой истерической возни с кровью Христа. Но моя малышка Сюзанна настаивала на своем, а моя кроткая Хелена не захотела отставать, и девочки уговорили свою мать, которая — как бы это выразиться — несколько мечтательная натура, и вопрос был закрыт. Что может старый косматый язычник противопоставить атаке трех молодых женщин? Ни черта, пастор!
Хенрик. Сюзанна и Хелена делают большие успехи.
Нурденсон. Черт побери, каким образом можно делать успехи, не уча уроков,— у меня в голове не укладывается.
Хенрик. Кое-кто из учеников делает открытия, которые им пригодятся в повседневной жизни. Мы беседуем.
Нурденсон. Беседуете?
Хенрик. О жизни. О том, что можно делать и чего нельзя. О совести. О смерти и духовной жизни...
Нурденсон. ... духовной жизни?
Хенрик. ... о той жизни, которая ничего общего не имеет с телесной.
Нурденсон. Вот как! И такая есть?
Хенрик. Есть.
Нурденсон. Моя жена начала вместе с дочерьми читать вечернюю молитву. Это должно знаменовать собой то, что вы, пастор, называете «духовной жизнью»?
Хенрик. Думаю, да.
Нурденсон. Когда девочки ложатся спать, моя жена идет в их комнату, закрывает дверь, и все трое, опустившись на колени, читают вечернюю молитву, которой вы их научили.
Хенрик. Они не мои слова повторяют. Августина.
Нурденсон. Мне плевать, чьи это слова. Меня бесит, что я в стороне.
Хенрик. Вы ведь тоже можете принять участие в молитве.
Нурденсон. И как же это, черт меня возьми, будет выглядеть? Инженер Нурденсон на коленях со своими бабами?
Хенрик. Можно сказать: пусть я и не верю во все это, но я хочу быть вместе с вами. Я хочу делать то, что делаете вы, потому что я вас люблю.
Нурденсон. Уверяю, дамам мое присутствие будет сильно мешать.
Хенрик. Попробовать-то можно.
Нурденсон. Нельзя.
Хенрик. Ну, в таком случае...
Нурденсон. ... в таком случае это безнадежно?
Хенрик. Мне кажется, и Сюзанна, и Хелена понимают сложность проблемы. Как и их мать.
Нурденсон. Как и их мать. Вы, пастор, говорили с моей женой обо мне.
Хенрик. Ваша жена, господин Нурденсон, приехала в пасторскую усадьбу и попросила разрешения исповедаться.

Нурденсон. Вот как. Элин была у вас, пастор? Не могла удовольствоваться настоятелем, этим старым козлом? До которого ничего не стоит дойти пешком?
Хенрик. Человек, которому нужен духовник, имеет права выбирать его по собственному желанию, никоим образом не сообразуясь с географическими обстоятельствами.
Нурденсон. С интересами своих близких она тоже не должна сообразовываться?
Хенрик. Простите, инженер, но я не совсем понимаю...
Нурденсон. Забудьте. Стало быть, вы говорили обо мне. И что же? Если позволено будет спросить.
Хенрик. Спрашивайте сколько угодно, господин Нурденсон, но отвечать я не имею права. Священники и врачи, как известно, связаны тем, что называется обетом молчания.
Нурденсон. Извините, пастор. Я забыл об этом самом обете молчания. *(Смеется.)* Смешно.
Хенрик. Что же тут смешного?
Нурденсон. Мне тоже есть кое о чем рассказать. Но я лучше помолчу. Не собираюсь чернить свою супругу.
Хенрик. Думаю, не нарушу обета, если скажу, что фру Нурденсон говорила о своем муже с большой нежностью.
Нурденсон. Она говорила с вами обо мне «с большой нежностью». Так-так. С нежностью. Черт.
Хенрик. Мне очень жаль, что я упомянул об этом разговоре.
Нурденсон. Ну что вы. Не волнуйтесь, пастор. Язык сболтнул. Это человеку свойственно.
Хенрик. Надеюсь, фру Нурденсон не пострадает...
Нурденсон *(улыбается)*. Что? Будьте совершенно спокойны, пастор. Из всех осложнений, которые возникали у нас с женой за все эти годы, это одно из самых незначительных.
Хенрик. Слава Богу.
Нурденсон. Значит, вам, пастор, теперь известна наша тайна.
Хенрик. Я ничего не знаю ни о каких тайнах.
Нурденсон. Но вы же знаете, разумеется, что моя жена меня бросала? Два раза, чтобы быть точным.
Хенрик. Нет, этого я не знал.
Нурденсон. Вот как. *(Пауза.)* Кстати, чем закончилось собрание в воскресенье?
Хенрик. Предполагаю, что вы, господин Нурденсон, имели там своих информаторов. По крайней мере одного конторщика я там видел.
Нурденсон. Как великодушно было с вашей стороны приютить рабочих лесопильни.
Хенрик. Ничуть не великодушно, просто логично.
Нурденсон. Настоятель что-нибудь сказал?
Хенрик. Да, безусловно.
Нурденсон. Можно полюбопытствовать?
Хенрик. Настоятель Граншё был настроен очень решительно. Он сказал, что если я еще раз предоставлю помещение церкви для социалистических или революционных сходок, он будет вынужден подать на меня рапорт в Соборный капитул. И что он не намерен смотреть сквозь пальцы, как Божий дом превращают в прибежище анархистов и убийц.
Нурденсон *(довольный)*. Старый козел так и сказал?
Хенрик. Как ни печально, но собрание оказалось бессмысленным. Арвида Фредина все равно уволили.
Нурденсон. Уволили, верно.
Хенрик. Я бы должен был выступить, но промолчал.
Нурденсон. А не лучше ли держать язык за зубами? Иногда?
Хенрик. Когда доходит до дела, я бываю трусоват.
Нурденсон. Не расстраивайтесь, пастор. В следующий раз вы будете стоять на баррикадах.

Хенрик. Я никогда не буду стоять на баррикадах.
Нурденсон. А может, ваша милая женушка не слишком одобрительно отнеслась к вашему поспешному решению предоставить им часовню?
Хенрик. Приблизительно так.
Нурденсон. *(довольно)*. Вот видите, вот видите.
Хенрик. Что вижу?
Нурденсон. Этого я не скажу. А как бы вы, пастор, отнеслись к идее своего рода сотрудничества?
Хенрик. Сотрудничества с кем?
Нурденсон. Со мной. В следующий раз, когда начнутся беспорядки, вы взойдете на трибуну или влезете на деревянный ящик или на станок и обратитесь к массам.
Хенрик. С чем же?
Нурденсон. Вы могли бы, например, сказать им, что самое главное сейчас — постараться не перебить друг друга.
Хенрик. С рабочими на заводе обращаются хуже некуда, их постоянно унижают. И *я* должен посоветовать им, чтобы они позволяли с собой так обращаться?
Нурденсон. Все не так просто.
Хенрик. Вот как! А как же на самом деле?
Нурденсон. По-моему, нам с вами, пастор, ни к чему продолжать этот разговор.
Хенрик. У меня есть время.
Нурденсон. Мне кажется, он был не особенно плодотворным.
Хенрик. Я, в основном, испытывал страх.
Нурденсон. Неужели?
Хенрик. Некоторые люди меня пугают.
Нурденсон. Я вам не нравлюсь.
Хенрик. Скорее, пугаете.
Нурденсон. А вам, пастор, никогда не приходило в голову, что я тоже, возможно, испытываю страх? Только другого рода?
Хенрик. Нет.
Нурденсон. Со временем, быть может, придет.

Инженер Нурденсон встает и молча пожимает руку Хенрику. Тот провожает его до выхода и придерживает дверь. Дождь со снегом тяжелой массой обрушивается на холм. Дорога серая и скользкая. Хенрик стоит, провожая глазами черную фигуру, удаляющуюся к воротам. И внезапно понимает, что только что говорил с человеком, который намерен его убить.

IV

В пасторской усадьбе весенняя уборка: выставляют зимние рамы, выбивают ковры, драят полы, протирают книги, чистят керосиновые лампы, вешают летние шторы. Солнце и ласковый ветер, синие тени под деревьями, вот-вот распустятся березы. Грохочет водопад, вода в реке под холмом поднялась. Спешат куда-то белые облака. Як, растянувшись на солнце у подножья лестницы, следит и сторожит. Поблизости стоит детская коляска, в ней спит Даг. Анна, в большом переднике, с растрепавшимися волосами, выбивает диванные подушки, Миа и Мейан вытряхивают одеяла — пыль стоит столбом. Соседка с дочкой моют полы и лестницу. Пастор предпочел не путаться под ногами.

В самый разгар хорошо продуманного Анной разгрома появляется настоятель. С букетом весенних цветов в руках, он многократно просит прощения за нежданный визит, но у него важное дело, да, оно в такой же степени касается Анны, он хотел бы незамедлительно поговорить с Хенриком и Анной, это не займет много времени, нет, никаких неприятностей, скорее наоборот. Нет, коляска подождет у ворот, настоятель воспользовался экипажем Нурденсона. «Хенрик, наверное, удит рыбу внизу, у реки». Анна велит Петрусу немедленно привести его. Потом просит настоятеля

войти, приглашает его на второй этаж, предлагает кофе, от которого гость отказывается, снимает с себя большой, в синюю полоску, передник и усаживается.

Граншё. Мальчик Фарг до сих пор живет у вас, он вам не мешает?
Анна. Не знаю, что и сказать. Он отказывается возвращаться домой, ему здесь нравится. Он славный, послушный, внимательный. Охотно и терпеливо играет с Дагом.
Граншё. Никаких проблем того рода...
Анна. Иногда он отключается, глаза бегают, и он не слышит, что ему говорят. Но такое бывает редко. К лету он переберется в каморку над кладовой. Ему там хорошо.
Граншё. Но вопрос как-то надо решать?
Анна. Да, да, знать бы только, как?
Граншё. Вы, судя по всему, на здоровье не жалуетесь.
Анна. Нет, спасибо.
Граншё. И вам здесь хорошо?
Анна. Почему бы мне было плохо? У нас есть все, что мы только могли пожелать. И лето не за горами!
Граншё. После такой необычно жуткой зимы.
Анна. Забудем ее. *(Смеется.)*
Граншё. ... забудем. *(Улыбается.)*
Анна. Я слышу, Хенрик пришел.

Она подходит к двери и кричит: «Мы наверху, в твоем кабинете. Только сними сапоги, полы везде вымыты. Где ты нашел этот старый свитер? Я думала, что спрятала его достаточно надежно». На Хенрике поношенный длинный свитер, мешковатые рабочие брюки и носки, лицо загорелое. Настоятель и его помощник сердечно, хотя и немного церемонно, здороваются. Все усаживаются.

Хенрик. Ты ничего не предложила нашему гостю?
Граншё. Спасибо, спасибо, я ничего не хочу. Я вам и без того помешал.
Хенрик. И чем мы обязаны такой честью?
Граншё. Я получил письмо.

Он открывает свой черный, несколько потрепанный портфель и, поискав среди бумаг, вынимает конверт с эмблемой прихода Стурчуркан.

Граншё. Итак, я получил письмо. *(Обстоятельно, с долей задора.)* Оно написано моим весьма добрым другом протопресвитером прихода Стурчуркан в Стокгольме Андерсом Алопеусом. Протопресвитер является также Первым придворным проповедником в Дворцовом приходе. Именно в этом своем качестве мой старый друг мне написал.

Настоятель, сделав искусственную паузу, смотрит на Хенрика и Анну сквозь толстые стекла очков.

Хенрик. Вот как?
Граншё. Письмо мне показалось настолько важным, что я счел необходимым немедленно, без задержек, ознакомить вас с его содержанием. *(Разворачивает письмо.)*
Хенрик. Потрясающе.
Граншё. Вот именно, пастор. Может быть, слишком потрясающе.
Анна. И оно касается нас?
Граншё. Разрешите мне прочитать вслух. *(Поправляет очки.)* Так, в начале кое-какие личные вопросы, начало, так сказать, носит больше личный характер. Вот! Отсюда можно читать. Слушайте внимательно: «Как моему брату, разумеется, известно, Софияхеммет — создание королевы Софии. Она живо интересовалась шведским здравоохранением и пожелала учре-

дить показательную больницу на уровне высших европейских стандартов. Королеве, с помощью крупных пожертвований из собственных средств, удалось создать учреждение, которое сегодня знаменито и прославлено своим значительным вкладом во врачебное искусство. Королева была председателем Правления, пост, который после ее кончины заняла Ее Величество Королева Виктория». Да, ну и так далее. Итак, к главному! «Сейчас Ее Величество совместно с Правлением решила учредить постоянное место пастора на полставки. Задача — возглавить и организовать духовную работу в больнице, а также — насколько позволит время — вести занятия в Медицинском училище и тем самым позаботиться о духовном воспитании юных слушательниц. С настоятелем прихода Хедвиг Элеоноры Челландером достигнута договоренность, что предполагаемая служба в больнице будет дополнена подходящей службой в вышеназванном приходе, так, чтобы материальная сторона соответствовала условиям и обстоятельствам ординарного священника. В дальнейшем Правление планирует устроить пасторское жилье на территории больницы». Да, да. Так. А теперь — гвоздь программы, если мне будет позволено так выразиться. *(Пауза.)* «Ее Величество Королева, которая для поправления своего слабого здоровья пребывает, в основном, за границей, несколько недель назад посетила Отечество по важным семейным обстоятельствам, в устройстве коих нижеподписавшийся принимал посильное участие. При встрече Ее Величество упомянула Софияхеммет, ибо проблемы сего заведения волнуют ее сердце. Особую озабоченность Ее Величества вызвало предполагаемое учреждение пасторского места, и Ее Величество подчеркнула, насколько важно найти подходящего человека. Наш архиепископ, присутствовавший при сем разговоре, тотчас воскликнул: «Думаю, у меня есть подходящий человек!» При последующих расспросах архиепископ назвал молодого священника по имени Хенрик Бергман».

Настоятель Граншё, полностью вошедший в роль драматического чтеца, делает торжественную паузу, с наигранным удивлением повторяет имя и утвердительно кивает — да, здесь так и написано: Хенрик Бергман, и, должно быть, это тот самый человек, что сейчас сидит напротив меня, повернувшись лицом к солнцу. Анна вцепилась в руку Хенрика, ее радость заметнее, чем у мужа.

Хенрик. Черт подери!
Граншё. Одним словом, архиепископ вспомнил про Хенрика Бергмана, который служит младшим пастором в приходе Форсбуда. Протопресвитер вспомнил, что тамошний настоятель — его старый друг и соученик, и немедля написал это письмо. Следует, вероятно, отметить, что дальше в своем восьмистраничном письме протопресвитер говорит, что *если* я считаю Хенрика Бергмана *непригодным* для столь почетного поручения, об этом письме не следует забывать. После чего он желает мира мне и моему дому.
Хенрик. Черт подери.
Анна. Это неправда, неправда.
Граншё. Правда. Истинная правда, моя юная фру Бергман. Получив, прочитав и обдумав это послание, я осмелился за собственный счет заказать — не без трудностей — дорогостоящий телефонный разговор со своим другом протопресвитером. Он подтвердил написанное и рассказал в дополнение, что архиепископ встретился с Хенриком Бергманом однажды на рассвете много лет назад в саду настоятельского дома в Миттсунде. У них состоялась беседа, которая произвела впечатление. Кроме того, архиепископ слышал проповедь Хенрика Бергмана, благодаря чему его убеждение окрепло.
Хенрик. Я не знаю, что сказать.
Граншё. Ничего говорить и не надо. Пастору следует все обдумать и обсудить с фру Анной.
Хенрик Когда мы должны дать ответ?
Граншё. Как можно скорее. Если ответ будет положительный, Ее Величест-

во желает встретиться с вами перед своим ежегодным отъездом на Борнхольм. Другими словами, весьма скоро придется принарядиться и поехать в Стокгольм на чашку чая во дворце. Дворцовая канцелярия оплатит билеты и проживание. *(Указывает на письмо.)* Об этом написано в постскриптуме. *(Читает.)* «Особо подчеркивается, что Ее Величество желает встретиться и с пастором, и с его молодой женой». Да, да, смотрите-ка, он приписал поперек кое-что, чего я не заметил. «Молодая жена Анна, урожденная Окерблюм, имела удовольствие с отличными оценками получить образование в Медицинском училище Софияхеммет весной 1909 года». Здесь так написано, я не заметил.
Анна. Я же заболела.
Граншё. О болезни здесь ни слова. Только «с отличными оценками». Ну вот, это все, то есть много чего, и я оставляю моих молодых друзей больше в радости, как я надеюсь, чем в растерянности. Одновременно хочу первым принести свои поздравления, хотя меня самого поздравлять не с чем, ибо я теряю молодого коллегу, который мне пришелся по душе, и его молодую жену, которая мне тоже по душе и которая вносит большой вклад в работу прихода.

Настоятель Граншё, протянув свою старческую руку, похлопывает Анну по щеке. Потом похлопывает по щеке Хенрика, но посильнее.

Хенрик. Отказаться ведь не запрещено.
Граншё. Не запрещено, но практически невозможно. Подобные почетные предложения делаются не часто и могут определить всю дальнейшую жизнь.
Хенрик. Да, дальнейшую жизнь, пожалуй, определить могут.
Граншё. Однако я должен идти.
Анна. Спасибо, что пришли. *(Приседает.)*
Граншё. До свидания, фру Анна. Передайте привет сыну.
Хенрик. До свидания, господин настоятель.
Граншё. До свидания, Хенрик Бергман, да поможет вам обоим Господь в вашем важном решении.

В саду цветут фруктовые деревья. На белой, но несколько поцарапанной скамейке сидят Анна и Хенрик. Даг дремлет на одеяле. Петрус лежит на животе и, зажав уши руками, читает книгу. Як занял стратегическую позицию, так, чтобы можно было без помех сторожить своих подопечных. Суббота (решающий день), празднично звонит колокол на часовне. У подножья травянистого откоса, молчаливо переливаясь на солнце, течет река. Издалека доносится грохот водопада. Нежные ароматы, ласковый ветер, усердие насекомых. Хенрик курит трубку, Анна вяжет кофту сыну. Мирный покой, насыщенный невысказанными вопросами и безответными ответами.

Хенрик (тихонько смеется.)
Анна. Ты что?
Хенрик. Вспомнил прадеда — великого проповедника, которого считали чуть ли не святым. Когда ему надо было принять трудное решение, он раскрывал наугад Библию и по ее словам всегда находил правильный ответ.
Анна. И ты сейчас сделал то же самое?
Хенрик. В шутку. *(Перелистывает карманную Библию.)*
Анна. Ну и?..
Хенрик. Вот послушай. Я попал на третью главу Откровения, и вот что там написано: «Бодрствуй, и утверждай прочее близкое к смерти; ибо Я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом Моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся».
Анна. Ты наверняка сжульничал!
Хенрик. Клянусь!
Анна. И как же это понимать?
Хенрик. У меня только одно толкование.

Анна. Что мы должны остаться в Форсбуде?
Хенрик. Несомненно.

Тишина. Жужжат пчелы, колокол замолк, певчий дрозд-новосел пробует голос. Хенрик закрывает книгу и разжигает погасшую трубку. Анна, разгладив рукой вязание, внимательно его рассматривает.

Анна. Ты не спрашиваешь, чего хочу *я*.
Хенрик. Не спрашиваю, потому что знаю.
Анна. Ты уверен?
Хенрик. Абсолютно.

И снова тишина. Анна, отложив в сторону рукоделие, прищурившись, смотрит на солнце и цветущую ветку над головой. Хенрик, подавшись вперед, зовет Яка, который тотчас подходит и устраивается у ног хозяина, Хенрик чешет ему шею под ошейником.

Анна. В этом случае мои желания имеют второстепенное значение. Ты должен следовать велению совести.
Хенрик. Ты вполне уверена?
Анна. Да, Хенрик, вполне.
Хенрик. Не пожалеешь?
Анна. Конечно, пожалею, тысячу раз пожалею, но будет поздно. Не...
Хенрик *(перебивает)*. ...сейчас здесь как в раю. А через несколько месяцев будет минус тридцать, ни пройти ни проехать, темень почти целый день, красные носы и лающий кашель.
Анна. ... и пусто в церкви, и беспорядки на заводе, и брань Нурденсона по поводу анархии и вражды. И лед в кувшине с водой.
Хенрик. ... и мы забудем, что мы вместе.
Анна. ... нет, этого мы никогда не забудем.

Анна сжимает ладонь Хенрика. Он откладывает трубку, которая все равно погасла, и крепко зажмуривает глаза.

Анна. Но согласись, что было бы здорово попить чаю в королевском дворце с Ее Величеством королевой.
Хенрик. В первую очередь это был бы щелчок по носу нашим друзьям на Трэдгордсгатан.
Анна. Или вдруг предложить: давай сегодня вечером пойдем в Драматический театр, посмотрим Андерса де Валя.
Хенрик. ... или на концерт, послушаем симфонии Бетховена.
Анна. ... или в магазин «Лейа», купим мне шелковую блузку.
Хенрик. ... да, можно пофантазировать.
Анна. ... опасные фантазии, Хенрик! *(Улыбается.)*
Хенрик. ... опасные? Почему? *(Улыбается.)*
Анна. Нет, конечно, не опасные. Мы же приняли решение, или, вернее, эта вот книга решила.
Хенрик *(легко)*. Уж не иронизируешь ли ты?
Анна. Я? Да нисколько! Я серьезна, как любая из героинь Сельмы Лагерлёф. Решение принято. И это наше общее решение.

Петрус, оторвавшись от книги, прислушивается. Присев на корточки возле скамьи, он поворачивается своим бледным, странно слепым лицом к Анне.

Петрус. Вы собираетесь уезжать?
Анна. Нет, наоборот, Петрус.
Петрус. Мне показалось, вы сказали, что уезжаете.
Анна. Значит, плохо слушал. Мы как раз решили остаться.
Петрус. Так вы не уезжаете?
Анна. Перестань болтать глупости, Петрус. Мы остаемся.

Семилетнее старческое личико Петруса выражает недоверие и грусть. «Мне показалось, вы говорили, что собираетесь уезжать»,— произносит он чуть слышно, делая вид, будто вновь погрузился в книгу. На глазах у него выступили слезы, он тихонько шмыгает носом.

Хенрик. Кстати! Ты получила письмо от матери?
Анна. Да, забыла рассказать: она спрашивает, не приедем ли мы на дачу, когда у тебя будет отпуск. Эрнст и Мария с друзьями едут на Лофутен. Оскар и Густав снимают дачи в шхерах. Так что там будем только мы и Карл.
Хенрик. А что ты думаешь?
Анна. А ты? Маме будет одиноко.
Хенрик. Мне казалось, ей нравится одиночество.
Анна. Ну, раз так...
Хенрик. Что «раз так»?
Анна. Ответ достаточно ясный.
Хенрик. Здесь нам лучше. *(Пауза.)*
Анна. Всего на неделю?
Хенрик. Это необходимо?
Анна. Нет, нет. Мама и не рассчитывает, что мы приедем. Спрашивает просто для порядка.
Хенрик. Да, кстати, не собирались ли мы завести еще одного ребенка?
Анна. Конечно, собирались.
Хенрик. Тебе уже расхотелось? Это была твоя идея!
Анна *(смеется)*. Слишком много было разных дел. Моя бедная голова совсем идет кругом.
Хенрик. Пошли в дом? Становится прохладно.

Анна берет на руки малыша, который просыпается и начинает хныкать. Хенрик собирает все остальное — соску, погремушку, одеяло, трубку и Библию, подзывает Яка и направляется в усадьбу. На полпути он останавливается.

Хенрик. Идем, Петрус.
Петрус. Только дочитаю.
Хенрик. Становится холодно.
Петрус. Мне не холодно.
Хенрик. Не забудь книгу.
Петрус. Не забуду.
Хенрик. Пошли в шахматы сыграем!
Петрус. Я дочитаю.
Хенрик. Ну, как хочешь.

Анна, которая уже поднялась на крыльцо веранды, останавливается и улыбается Хенрику — Петрус не сводит с нее глаз. Дверь веранды захлопывается. Он перекатывается на спину и поднимает вверх руки — растопырив пальцы.

Теплым летним днем в середине июня 1917 года Анна и Хенрик Бергман ожидают в Зеленой гостиной, в личных покоях королевы. Она расположена в западном крыле дворца с видом на Стрёммен, Национальный музей и Шеппсхольмен. С ними протопресвитер Андерс Алопеус, величественный рыжеволосый священник внушительных габаритов. Стоя возле одного из огромных окон, они тихо беседуют о потрясающей панораме. «Вот только дует,— говорит Алопеус.— Сквозит так, что занавеси колышутся, правда, ветер в эту сторону, хорошо, что сейчас не зима».

В глубине комнаты два лакея в ливреях и белых перчатках занимаются устройством чайного стола. Они двигаются бесшумно, разговаривая между собой с помощью сдержанных жестов.

Пропорции гостиной хорошо продуманы, она почти квадратная.

Обставлена элегантно, только с излишним уклоном в стиль 80-х годов: пузатые диваны и кресла, обитые блестящей тканью, расписанные вручную шелковые обои, обильная лепнина по периметру потолка и над высокими дверями, установленные друг против друга зеркала в позолоченных рамах, которые делают комнату бесконечной. Массивные хрустальные люстры, искусно задрапированные торшеры, толстые, заглушающие шаги ковры на скрипучем паркете. Потемневшие картины в затейливых рамах, пальмы и бледные скульптуры, шаткие столики, загроможденные безделушками, рояль, накрытый восточной шалью и уставленный фотографиями лиц более или менее княжеского звания.

На Анне серо-голубой дневной костюм и шляпа с загнутыми полями и крошечным белым пером. Мужчины в пасторском облачении, ботинки Хенрика слишком новые, слишком блестящие и слишком тесные. С ужасом глядя на Анну, он хватает ее за руку: «У меня все время бурчит в животе, будет катастрофа».— «Не надо было есть суп из репы,— шепчет Анна.— Попробуй глубоко вздохнуть». Хенрик делает глубокий вдох, лицо у него землисто-серого цвета. «Не надо было мне соглашаться, не надо...»

Открывается дверь, на пороге вырастает камергер Сегерсвэрд. В мундире, с ослепительной улыбкой, обнажающей зубы поразительной белизны. От него исходит запах тонкой помады и снисходительной любезности. Бледная, вялая ручка. «Это, стало быть, женушка пастора, добро пожаловать, и пастор Берглюнд, добро пожаловать. С придворным проповедником мы уже встречались сегодня, мы с ним в одном благотворительном комитете. Хотел бы только, между прочим, обратить ваше внимание на некоторые мелочи: к Ее Величеству обращаются «Ее Величество», если возникнет такая надобность. Однако следует избегать прямого обращения. Вопросы задает и ведет разговор Ее Величество, в собственные рассуждения пускаться не подобает. Должен к тому же заметить, что Ее Величество нездорова и весьма утомлена. Я смиренно предложил отложить свидание до более подходящего времени, но Ее Величество преисполнена сознанием долга и весьма интересуется всем, что касается Софияхеммет. Посему Ее Величество отклонила мое предложение. Но встреча будет очень короткой. Все практические вопросы следует обсудить с нашим другом протопресвитером, который полностью информирован. Ее Величество выйдет из этой двери. Я предлагаю — таков этикет — гостям встать здесь. Ее Величество сначала поздоровается с придворным проповедником, потом с женой пастора, которая должна сделать глубокий реверанс, и, наконец, Ее Величество поздоровается с пастором Берглюндом».

Алопеус. Бергманом. Хенрик Бергман.
Камергер. Неужели я? Невероятно!! Очевидно, ошибка в моем списке!! Прошу прощения, мне очень неловко, дорогой пастор Бергман. Простите старика!

Ослепительная улыбка, серые вытаращенные глаза, пухлая вялая ручка касается плеча Хенрика. Часы на мраморной каминной полке отбивают три звонких удара. Открывается дверь, и в наше повествование вступает королева Виктория. Она высокая, худая, широкоплечая, густые, с проседью волосы собраны в искусный пучок на затылке. Бледное лицо, вокруг синих глаз — морщинки боли. Тонкие губы сжаты, выражая выдержку и тоску. На ней шелковое, ниспадающее складками платье мягкого серого цвета, лиф и вырез украшены кружевами. Единственные украшения — нитка жемчуга, бриллиантовые сережки и бриллиантовое кольцо между двумя обручальными. Она появляется в обществе фрейлины, которая бесшумно закрывает дверь. Графиня Бьельке — маленькая, пухленькая, седовласая, румяная, глаза ее излучают детское, неподдельное веселье. Ее туалет состоит из длинной темно-зеленой юбки и чесучовой блузки, скрепленной у горла камеей. Через руку перекинута легкая кашемировая шаль.

Королева медленной, не совсем твердой походкой приближается к ожидающим ее гостям. С мимолетной сердечной улыбкой протягивает руку

Анне. Анна делает элегантный реверанс (натренировалась). Потом королева здоровается с Хенриком и наконец с придворным проповедником.

С легким акцентом она говорит: «Как хорошо, что мы смогли встретиться, очень любезно с вашей стороны было проделать столь длинный путь, давайте сядем, надеюсь, вы не откажетесь от чашечки чая, чай у нас пока еще настоящий. Впрочем, сама я с удовольствием пью чай из яблоневого цвета и ромашки».

Пока одетые в ливреи лакеи разливают чай, королева интересуется, как они доехали, как здоровье Дага (она хорошо информирована), не собираются ли они пойти вечером в театр, она сама недавно была на представлении «Старой драмы о Любом» [1] — «потрясающее впечатление, это было словно богослужение, мы даже не осмелились аплодировать».

Выражение боли уступает место мягкой приветливости, бледные щеки розовеют, голос тихий, иногда неразборчивый, но ласковый. Говоря, она не сводит глаз с Анны и Хенрика, лицо открытое и ранимое.

Королева. Мы, стало быть, возлагаем большие надежды.
Хенрик. Мы с женой все еще пребываем в некотором страхе. Всё случилось так быстро. И мы не знаем, что от нас требуется. Я имею в виду, что требуется на самом деле. Мы знаем только, что не пожалеем сил.
Королева. На последнем заседании Правления наш архитектор сделал сообщение о новостройках ближайших лет. Для профессора Форселля будет возведен наисовременнейший рентгеновский институт, а для нашего священника — пасторская усадьба. Где конверт, графиня? Ах, вот он. Прошу вас, это карандашный эскиз предполагаемого жилища. Оно будет построено на небольшой возвышенности. Рядом с лесом — лесом Лилль-Янс. Настоящее загородное поместье, но в центре города. Идеально для детей.
Анна. Я прекрасно знаю это место. Напротив Дома для престарелых сестер. Сульхеммет.
Королева. Да, разумеется, фру Бергман знает. Она же училась в нескольких сотнях метров от своего будущего дома. На первом этаже — три просторные комнаты и прекрасно оборудованная кухня. На втором — четыре комнаты. Под детскую предполагается отвести угловую комнату. Там солнце весь день и, естественно, все удобства. Через несколько лет все будет готово. Пока же жилье обеспечит приход Хедвиг Элеоноры.
Анна. Потрясающе.
Королева. Я понимаю, как вам трудно будет расстаться с Форсбудой!
Хенрик. Да, нелегко.
Анна. Сначала нас одолевали беспокойство и сомнения. Нам казалось, что мы хотим изменить своему предназначению.
Хенрик. ... жизненному предназначению.
Анна. Я, наверное, боялась меньше, чем Хенрик.
Хенрик. Я считал, что оставляю людей в беде...
Королева. В больнице люди в не меньшей беде, пастор Бергман.
Хенрик. Да, я знаю. *(Улыбается, качает головой.)* Знаю.
Королева. Скажите мне одну вещь, пастор. Вы верите, что наши страдания ниспосланы нам Богом?

Камергер Сегерсвэрд осторожно посасывает свои вставные зубы, вопрос Ее Величества представляется ему непристойным, лицо его теряет всякое выражение. У кроткой графини Бьельке глаза увлажняются, но ее растрогать ничего не стоит. Протопресвитер откидывается назад, всей тяжестью своего грузного тела налегая на хрупкую спинку кресла, и с профессиональной улыбкой, подобающей вопросу, бросает требовательный взгляд на своего младшего коллегу. Анна внезапно осознает, что эта высокая, измученная женщина задала вопрос, выходящий за рамки принятых условностей.

Хенрик. Я могу лишь высказать свое собственное мнение.
Королева. Я поэтому и спросила.

[1] Английская драма XIX века.

Хенрик. Нет, я не верю, что страдания ниспосланы Богом. Я думаю, что Бог с грустью и ужасом смотрит на свое творение. Нет, страдания не от Бога.
Королева. Но страдание призвано нас очистить?
Хенрик. Ни разу в жизни я не видел, чтобы страдание помогало. Зато знаю множество примеров того, как страдание разрушает и деформирует.
Королева *(своей фрейлине)*. Графиня, не будете ли вы так любезны передать мне шаль.

Графиня Бьельке тотчас вскакивает и накидывает легкую шаль на плечи королеве. Та какое-то время сидит с закрытыми глазами, прижимая правую руку к груди.

Королева *(глядя на Хенрика)*. Если дело обстоит так, как вы говорите, пастор, разве возможно дать утешение хоть одному человеку?
Хенрик. Любое утешение преходяще.
Королева. ... преходяще?
Хенрик. Да. Единственная возможность — уговорить человека, ищущего помощи, заключить мир с самим собой. Простить самого себя.
Королева. Разве не Бога мы должны просить о прощении?
Хенрик. Это одно и то же. Если ты прощаешь себя, значит, и Бог тебя простил.
Королева. Неужели Бог так близко?
Хенрик. Бог и человек неразделимы, слиты воедино. Отделять Бога от человека — чудовищная жестокость! Бог как верховное существо, карающая инстанция, самодур — это в корне противоречит всему, чему учил нас Христос. А уж Он-то знал!

Королева вновь закрыла глаза, она чуть откинулась назад, полуоткрытые губы побелели. «Я страшно устала сегодня, извините меня, пожалуйста, друзья.— Она с трудом, пошатываясь, поднимается, фрейлина незаметно поддерживает ее.— Спасибо вам за откровенность»,— говорит она со слабой улыбкой.

Потом поворачивается к Анне: «Позаботьтесь, чтобы пастор перебрался в свою новую усадьбу. Думаю, у вас обоих будет широкое поле деятельности».

Она кивает протопресвитеру и камергеру. Подскакивают лакеи, отодвигают кресло и открывают дверь. «Разрешите откланяться,— шамкает барон Сегерсвэрд, протягивая жирную вялую руку,— новая вставная челюсть не позволяет ему даже улыбнуться.— Янссон, будьте добры, помогите гостям».

Он исчезает за зеркалами. Отбытие поспешно и безмолвно. Гостям подают их верхнее платье, и господин Янссон провожает их к Западному порталу. Все происходит быстро, без комментариев. Короткий поклон, двери закрываются. Протопресвитер, выйдя на Борггорден, внутренний дворцовый двор, щурится на солнце. Дует сильный теплый ветер.

Протопресвитер. Так, так, уже пять, у меня служба, надеюсь, молодые люди справятся без старика. До свидания, фру Бергман, до свидания, пастор Бергман, поздравляю с превосходной, хотя и крайне неортодоксальной, испытательной проповедью. Она безусловно произвела впечатление на Высокородную Даму. Новые нотки, воистину новые нотки, терпкие и свежие: Бог оплакивает свое Творение, а почему бы нет? Времена меняются, смелые личные толкования нынче в моде. Интересно, если бы я в молодости... *(Смеется)* Да что же это я разболтался. Поздравляю, успехов вам! Если вы пожелаете обсудить практические детали, то настоятель Челландер полностью в курсе дела.

Он пожимает им руки и, приподняв шляпу, уносится по пустынному, залитому солнцем Борггордену. Хенрик, поглядев с минуту вслед мячиком укатившему прелату, зашагал к Слоттсбаккен — быстрые, резкие движения,

бурное дыхание. Анна с возмущением просит его сбавить скорость, она за ним едва успевает.

Анна. Что с тобой? Что случилось? Почему ты рассвирепел? Все ведь прошло хорошо? На протопресвитера злиться нет смысла, настоящий тупица, он сгорал от зависти, это было видно невооруженным глазом. Не беги. Я за тобой не успеваю!
Хенрик. Нет! Нет!
Анна. Что нет? Что значит «нет»?
Хенрик. Нет, нет и нет! Я не перееду в Стокгольм, я не соглашусь на Софияхеммет, я не намерен говорить с придворными проповедниками, камергерами и королевами. Я остаюсь в Форсбуде. Я был идиотом. Идиотом в квадрате. Круглым идиотом. Теперь у меня спала пелена с глаз. Спасибо этому протопресвитеру, спасибо этой Высокородной Даме! Ниспосланы ли страдания Богом? Утонченнейшая утонченность и торжество глупости! Ты слышала, как я молол языком, польщенный, изолгавшийся, высокомерный! Мне нужно вернуться в гостиницу, почистить зубы. Какая муха меня укусила, я совсем свихнулся. Ослепленный и соблазненный, Анна! Ослепленный и соблазненный этой несчастной Дамой и ее любезностями, произнесенными с французским прононсом. Нет, нет. Все, с бергмановской дурью покончено. Мы едем домой, в Форсбуду, к нашим каменистым полям и недовольным, бедным, упрямым согражданам. Я говорю «нет». Нет. Нет.
Анна *(в бешенстве)*. О с т а н о в и с ь , я сказала!

Она тянет его за рукав, за руку, заставляет остановиться. Стоит напротив него у подножья обелиска на Слоттсбаккен, маленькая, разгневанная, запыхавшаяся.

Анна. Ты бы только послушал себя! Но разумеется, ты везунчик, тебе это не грозит. Я, я, я! Я говорю «нет» — что это, черт подери, за вздор, чистой воды д е р ь м о в ы й в з д о р ! Нас ведь д в о е , но ты, наверное, про это забыл там, в тех самых глубинах, где прячутся твои грандиозные видения. Меня зовут Анна, и я твоя жена. Я — о д н а и з н а с . И имею право высказать свое мнение. А по моему мнению, ты ведешь себя как истеричная примадонна. О чем ты болтаешь? Что за решения принимаешь? Как ты смеешь принимать решения по... жизненно важному... жизненно важному для нас вопросу... жизненно важному, Хенрик!.. не посоветовавшись со мной. Я твоя жена, и у меня должно быть право высказать свое мнение. Вот, я реву, но если ты думаешь, будто я реву потому, что расстроена, то ты, как всегда, ошибаешься. Слезы льются от боли, потому что ты меня п о п и р а е ш ь . Попираешь своего самого верного друга, и я реву, потому что разъярена. Я в бешенстве, вне себя и вполне способна влепить тебе пощечину прямо здесь, перед Стурчуркан — верблюд ты.
Хенрик. Не кричи, кругом же народ, спятила ты, что ли? Можно ведь и спокойно поговорить? *(Смеется.)* Ты просто прехорошенькая, когда вот так сердишься.
Анна. Перестань разговаривать со мной этим дурацким снисходительным тоном! Перестань ухмыляться! Еще одно слово, и я уйду от тебя, вернусь на Трэдгордсгатан и не стану с тобой говорить, даже если ты приползешь в Уппсалу на четвереньках.
Хенрик *(внезапно ласково)*. Анна, прости меня.
Анна *(милостивее)*. Испугался, а?
Хенрик. Господи, ну и рассвирепела же ты.
Анна. У меня бешеный характер, так и знай. И в дальнейшем — если будет дальнейшее — я намерена быть злее обычного.
Хенрик. У меня есть предложение — смиренно прошу выслушать.
Анна. Так, значит, у тебя есть предложение.
Хенрик. Давай купим по рожку малинового мороженого, сядем на паром и поедем в Юргорден.

Анна. Ты хочешь сказать, что нам надо поговорить?
Хенрик. Анна, дорогой мой дружочек. Ведь это так важно для тебя и так важно для меня, и мы с тобой так близки. Мы обязаны, черт подери, найти решение.
Анна. Конечно, мороженое успокаивает и охлаждает.

Юргорденский паром деловито пыхтит, глухо бурча и слабо дрожа, блестит маслянистое зеркало воды, в бурунах играют солнечные зайчики. Анна с Хенриком одни занимают целую скамейку на самом носу, легкий ветерок ласкает их щеки. Анна сняла шляпу и положила ее рядом с собой на скамейку. Они едят мороженое в рожках.

Анна. Сними шляпу.
Хенрик снимает шляпу.
Анна. Можно попробовать твое мороженое?
Хенрик. Давай поменяемся. *(Меняются мороженым.)*
Анна. Начинай ты.
Хенрик. Мне сказать нечего.
Анна. Десять минут назад ты много чего наговорил.
Хенрик. Могу повторить то, что я сказал.
Анна. Только более мягким тоном.
Хенрик. Более мягким тоном.
Анна. Я слушаю.
Хенрик. Как обычно, главное для меня — чувство. На этот раз у меня перед глазами возникли огромные, гигантские буквы — НЕТ, нет. Больше ничего. И я расстроился и разозлился на себя самого и на этого толстяка протопресвитера. *(Замолкает.)*
Анна. ...а потом?
Хенрик. Не знаю. Ничего.
Анна *(тихо)*. И что будем делать?
Хенрик. Чего т ы хочешь?
Анна. Уже не знаю. Такая огромная ответственность. Почему нельзя относиться к жизни чуть легкомысленнее?
Хенрик. Мы не того сорта люди.
Анна. Т ы не того сорта.
Хенрик. Я не могу заставить тебя всю жизнь проторчать в Форсбуде. Если бы тебе пришлось пожертвовать своими представлениями о хорошей жизни, ты бы ведь огорчилась и возмутилась. И преисполнилась желанием мести?
Анна. Ты бы тоже, Хенрик.
Хенрик. Да. Угу. Пожалуй что.
Анна. Точно.
Хенрик. Не могу выразить, до чего мучителен для меня этот разговор.
Анна. Кто-то должен уступить. Уф, придется мне, я знаю. Не понимаю, почему я вообще завелась. Ты следуешь своему предназначению, а твое предназначение — жить и умереть в глуши среди язычников и людоедов. Это твое предназначение, ты должен ему следовать — а я следую за тобой. Может, в этом мое предназначение. Но у меня нет твоей уверенности. Наверное, я думала, что жизнь будет многоцветнее и ярче. Великие жертвы и великие чувства. А не похороны заживо. Помнишь наши фантазии о священнике и сестре милосердия и страдающем человечестве?
Хенрик. Но ведь наши мечты осуществились.
Анна. Нет, Хенрик. Мы не мечтали о Форсбуде.
Хенрик. Неужели это так ужасно?
Анна. Несколько недель назад это было вовсе не ужасно. Тогда у нас не было выбора *(Легонько вздыхает.)* Ах, Хенрик, я думала, что все будет так замечательно. *(Вновь вздыхает.)* Наверное, я была немножко наивной. *(Улыбается.)*
Хенрик. Бедная моя Анна. Твой глупый священник оказался вовсе не прекрасным принцем. Надо было тебе выходить за Торстена Булина.

Анна. Но все-таки разве не странно? Торстен Булин мне был нисколечко не нужен, мне был нужен только ты.
Хенрик. Ты не захотела Торстена Булина только потому, что твоя семья сходила по нему с ума.
Анна. Ты считаешь? Может быть.
Хенрик. И вышла за меня, потому что твоя мама меня на дух не принимала.
Анна *(улыбается)*. Вполне правдоподобно.

Больше добавить к этой сцене мне нечего.

Ниже следует отрывок из письма протопресвитера Андерса Алопеуса своему дорогому брату Настоятелю Самуэлю Граншё из Форсбуды. «Получив Твое драгоценное Послание от тринадцатого сего месяца и тщательно изучив его содержание, я поспешил попросить аудиенции у Ее Величества королевы. Вынужден заметить, что Ее Величество выказала глубокое разочарование по поводу в равной степени странного и неумного отказа со стороны молодого Бергмана. Тем не менее я осмелился, в эту болезненную минуту нерешительности, предложить некоторую отсрочку наших планов. Я смиренно предположил, что мы, возможно, действовали чересчур стремительно, и, возможно, нам следовало бы дать нашему молодому другу и его милой жене время на обдумывание, скажем, год. Ее Величество соблаговолили оценить мою мысль как достойную внимания, и посему я предлагаю Моему Высокочтимому Брату при благоприятном для сего дела случае вернуться к милостивому предложению Ее Величества. Я убежден, что мой Высокочтимый Брат, призвав на помощь всю свою мудрость, сумеет повернуть мысли нашего молодого друга в желательном направлении, не забывая при этом, вне всякого сомнения, решающего влияния очаровательной фру Анны на мысли и чувства своего супруга. Может статься, я ошибаюсь, но мне показалось, что молодая дама с энтузиазмом отнеслась к возможности столь блестящего и почетного Продвижения. Ее Величество королева особо просила меня передать моему Высокочтимому Брату, что Она с полным доверием перекладывает это деликатное поручение в опытные руки моего Уважаемого друга. И наконец, я призываю на тебя, мой Любимый Брат во Христе, и на Твой дом Божий мир и Благословение. Tuus [1] Андерс Алопеус».

Настоятель, два раза прочитав письмо, отправился отдохнуть на своем шезлонге, обдумал послание и решил ждать подходящего момента. После чего сладко заснул и спал до обеда, пока фрёкен Сэлль легким стуком в дверь не разбудила его, пригласив откушать свежего картофеля и вареной лососины. Конечно, страна переживала кризис, но на картофельных полях и в реке не было заметно ни малейшего кризиса.

В субботу, накануне Иванова дня, пастор собирает своих учеников, чтобы украсить часовню цветами и только что распустившимися ветками березы. Анна с Хенриком, в сопровождении Мии и Мейан, Петруса, сына Дага и пса Яка вышли из дома сразу после полудня. У всех, кроме Яка, в руках большие охапки белой и лиловой сирени, сломанной с кустов, пышущих ароматом и красками. Сейчас хозяин дома и все его домочадцы на пути к часовне. Внезапно Анна левой рукой обнимает мужа за талию, прижимается лбом к его плечу и говорит, что она счастлива. «Я счастлива, Хенрик, я чувствую, что опять по-настоящему счастлива. В тот раз, наверное, ты был прав, я была слишком ослеплена блеском. Теперь я чувствую, что все это, все это ребячество позади. Ты проявил ум, это не значит, что ты всегда бываешь умным, но именно в тот раз ты был умный, а я глупая».

Все это Анна произносит шепотом, обнимая мужа за талию и приноравливаясь к его шагам, сейчас они идут в ногу, на ней белое летнее платье с высоким лифом и широкой юбкой, ботинки и чулки она сняла, идет босая

[1] Твой (*лат.*).

и простоволосая, густые каштановые волосы заплетены в косу, закинутую за спину. Хенрик, не дав себе времени на размышления, говорит, что часто задумывался над тем, как может выглядеть Рай, скорее всего, никакого Рая нет, но е с л и он есть, то наверняка здесь, на земле, июньским субботним полднем в приходе Вальбу. «И я, Хенрик Бергман, иду по Райским кущам в совершенном Счастье. Никогда бы не поверил. Никогда не думал, что такое может со мной случиться. Никогда в жизни. И ангелы! И райский пес! Невероятно, непостижимо!»

Учеников пятнадцать человек, семь мальчиков и восемь девочек, кое-кто из бараков вокруг лесопильни, некоторые заводские, младший сын доктора и обе дочери директора Нурденсона, Сюзанна и Хелена. Они старше всех, Сюзанне — семнадцать, Хелене — шестнадцать. Все заняты уборкой и украшением часовни под наблюдением фрёкен Магды (темно-синий передник на светлом летнем платье и широкополая шляпа.)

Появляется пастор со своими домашними в полном составе, теперь в часовенке двадцать один человек, не считая ребенка и собаки. Прервав работу, собравшиеся здороваются, переговариваются, Анна усаживается за орган, Петрус накачивает воздух, под сводами церкви звучит летний псалом фон Дюбена: «О, сладостное лето, душа моя раскрылась, о, радуйся Всевышнего дарам! Для нас с тобой земля так нарядилась».

Никто не замечает, что в дверях часовни стоит Нурденсон. На нем элегантное летнее пальто, светлый костюм и красиво завязанный галстук. Шляпу он держит в левой руке. Лицо бледно, он похудел, правый уголок рта дергается, взгляд затуманенный, жидкие седые волосы прилизаны и напомажены.

Первым обнаруживает посетителя Хенрик, но он читает благословение после песнопения. Закончив, делает несколько шагов навстречу Нурденсону. Теперь его увидели все, в церкви воцаряется тишина.

Хенрик. Добро пожаловать. Не хотите присесть, инженер Нурденсон? Или поможете нам? У нас еще множество дел осталось.
Нурденсон. Сожалею, что помешал, но я пришел за дочерьми.
Хенрик. Ценю вашу заботу, но Сюзанна и Хелена будут заняты еще примерно час. Мы собирались повторить вопросы и ответы перед завтрашним экзаменом.
Нурденсон. Я сознаю, что возникнут трудности, но боюсь, моим дочерям придется отказаться.
Хенрик. Фрёкен Сэлль наверняка охотно проводит девочек, когда мы закончим. Вам совершенно нет необходимости их ждать.
Нурденсон. Я пришел за своими дочерьми. Моими дочерьми. Сюзанной и Хеленой.
Хенрик. Я понял, что вы собираетесь забрать своих дочерей. К сожалению, в ближайший час это невозможно. Девочки заняты другими делами.
Нурденсон. Вот как. Они заняты. Другими делами. Хелена и Сюзанна заняты.
Хенрик. Таким образом, вы не сможете их забрать раньше чем через час.
Нурденсон. Сюзанна, иди сюда!

Сюзанна не двигается с места.

Нурденсон. Хелена, иди сюда!

Хелена не двигается с места.

Нурденсон *(спокойно)*. Идите сюда, девочки. Я не могу ждать до бесконечности.
Хенрик. Давайте выйдем во двор и разберемся. Здесь, очевидно, какое-то недоразумение.
Нурденсон. По этому вопросу я могу вас успокоить, пастор. Тут нет ни малейшего недоразумения. Независимо от времени или места, Хелена и Сюзанна обязаны беспрекословно слушаться своего отца.
Хенрик. Должно быть какое-то решение.
Нурденсон *(спокойно)*. Безусловно, пастор Бергман. Решение заключается в том, что мои дочери идут со мной. Н е м е д л е н н о!

Хенрик. А если они ослушаются?
Нурденсон. Не ослушаются.
Хенрик. Что произойдет, если я попрошу вас покинуть помещение церкви?
Нурденсон *(тихо)*. Тогда я применю силу.
Хенрик. Против кого?
Нурденсон. Против кого угодно.
Хенрик. Это невозможно.
Нурденсон *(примирительно)*. Прекратите этот спектакль, пастор Бергман. Учтиво прошу вас велеть моим дочерям пойти со мной.
Хенрик. Вы пьяны.
Нурденсон. Вы тоже пьяны, пастор Бергман. Но гораздо опаснее. Вы опьянены своей властью над моими дочерьми. Вы сознательно унижаете меня на глазах у моих детей. Тем самым вы лишаете Сюзанну и Хелену возможности принять участие в конфирмации и причастии.
Хенрик *(после короткой паузы)*. Сюзанна и Хелена, подойдите к отцу.

Девочки бросают то, чем они занимались. Не оглядываясь, подходят к отцу и замирают, отвернувшись, руки безвольно повисли.

Нурденсон. Ваш приказ опоздал ровно на полминуты, пастор Бергман. Пятнадцать секунд назад я решил предотвратить их участие в ваших кровавых ритуалах. Когда-нибудь они будут мне благодарны.
Хенрик. Вы не можете этого сделать.
Нурденсон. Чего я не могу сделать? Не могу воспрепятствовать эмоциональному насилию, отвратительному обезьянничанию, вонючей оргии слез и крови, которым будут подвергнуты мои дети? Чего я не могу сделать, пастор Бергман?

Хенрик, нарушая хореографический рисунок, преодолевает небольшое расстояние, отделяющее его от Нурденсона. Он очень бледен, под глазами выступили синие тени, губы дрожат.

Хенрик. Вы подлец. Мстительный, ревнивый и отвратительный.
Нурденсон *(недвижимый)*. Весьма любопытно — священник позорит отца на глазах у его детей и в присутствии свидетелей. Слышать от духовного лица такие слова в Божьем доме — ну просто восхитительно. Бог есть Любовь, и Любовь есть Бог, разве не так, пастор? Дом Бога и Любви. Так сказать, Любовный дом.
Хенрик. Я способен вас убить. *(Почти неслышно.)*
Нурденсон. Что? У вас голос пропал. По-моему, я различил слово «убить». Возможно ли? Сбейте меня с ног. Это совсем просто. Я не собираюсь защищаться. Вы молоды и сильны! Ударьте меня. Я стар, измотан и, как сказано,— пьян.
Анна. Хенрик! Прекрати!

Голос доносится издалека, вряд ли достигая его ушей. Неподвижность, отягощенная ненавистью, раскалывается. Нурденсон поворачивается и уходит. Дочери следуют за ним.

Зима наступила рано. Уже в начале октября над Форсбудой разразилась первая снежная буря, выведя из строя электричество, телефонную сеть, дорожное и железнодорожное сообщение. После бури ударили арктические холода. У лесопильни и в лесах вокруг завода термометр показывал минус тридцать. Стуршён и река покрылись льдом. Только водопад и стремнина внизу у пасторской усадьбы не позволили себя сковать, поток между кромками льда казался угольно-черным, вдалеке грохотал водопад.

К необычным и странным морозам добавились испытания кризисного времени, быть может, не столь ощутимые в сельской местности, как в городах. Были введены карточки на хлеб и кофе (уже год люди пили кофе из одуванчиков). Исчез карбид, стеариновые свечи и керосин

стали дефицитным товаром. Но в лесу были дрова, и потому в чугунных и кафельных печах можно было поддерживать огонь. Форсбуда более или менее справлялась. Завод и лесопильня работали на полную мощность, люди не голодали, в домах и бараках тепло, и на карточки особого внимания не обращали. Но в арктической ночи было темно и тихо.

Наконец-то мать Хенрика выбралась к ним погостить. Она выглядит оживленной и вроде здоровой. Сильные морозы плохо действуют на ее астму, но кафельная печь в комнате для гостей топится днем и ночью. Фру Альма предпочитает сидеть в качалке с книгой или рукоделием, а Даг мирно играет на расстеленном одеяле или замирает у бабушкиных колен, чтобы послушать сказку. Фру Альма любит рассказывать сказки.

Солнечным днем незадолго до отъезда у фру Альмы заныл бок, ее обычные таблетки не помогают. Она встает с качалки, чтобы позвать на помощь, но валится на пол. Чтобы не напугать ребенка, она с легким смешком говорит, что толстуха бабушка такая неуклюжая, пусть Даг приведет маму или папу.

Даг тем не менее, не двигаясь с места, серьезно разглядывает упавшую бабушку: «Ты сейчас умрешь?» Потом садится на пол совсем рядом и кладет ладошку на лоб больной. Она закрывает глаза, думая, вероятно, что, может, сейчас все пройдет. Но боль в боку возобновляется с новой силой, она начинает задыхаться. Открыв глаза, она строгим голосом велит Дагу о б я з а т е л ь н о привести папу или маму или кого-нибудь другого, кто бы помог бабушке лечь в кровать.

Даг неохотно встает и отыскивает маму на кухне. Усадив Яка в чан, она моет его мыльной стружкой. Мейан варит щи, Петрус сидит за столом с книжкой про индейцев, а Миа на финских санках укатила за почтой.

Альму поднимают с пола, губы у нее посинели, боли усилились, отдают под лопатку, она опять начала задыхаться. Общими усилиями грузную женщину раздевают и укладывают в постель. Петрус и Даг, стоя в сторонке, наблюдают за удивительным спектаклем с серьезным видом, но без особого страха. Як, выскочив из чана, отряхивается, забрызгав весь пол на кухне, после чего прячется под кровать Мейан.

Хенрик пытается дозвониться до доктора, но на телефонной станции отвечают, что линия в Вальбу оборвалась под тяжестью снега, ожидается, что ее починят в конце следующей недели. Поскольку Хенрик хороший лыжник, принимается решение немедленно отправить его в путь. Он рассчитывает вернуться вместе с доктором меньше чем через два часа. Мейан поручается заняться мальчиками (и Яком, которого надо ополоснуть и вытереть). На дне банки осталось немного какао. Мейан готовит шоколад с молоком и, отрезав два толстых куска хлеба, намазывает их жиром. В пасторской усадьбе вновь воцаряется тишина. Белизна безветренна, опушка леса освещена солнцем. В комнате для гостей (собственно, детской, но Даг, пока бабушка гостит у них, спит в спальне родителей, где ему очень нравится) все еще светло.

Анна сидит у постели и держит руку старухи. Боль отпустила, больная задремывает. Безмолвие на небе и на земле. Светит солнце. Часы в столовой бьют два. Мейан и мальчики смеются. Як лает. И вновь тишина.

Альма. Анна.
Анна. Да?

Анна наклоняется вперед, видит мягкую ладонь, изрезанную мелкими линиями и черточками, веки закрыты, но слабо подрагивают, дыхание едва слышно, пульс медленный, замедляется, в уголке рта выступила слюна, жидкая прядь седых волос упала на низкий, широкий лоб. Рука.

Альма. Малыш испугался?
Анна. Не думаю.
Альма. Я имею в виду, когда я грохнулась?
Анна. Он сейчас на кухне, пьет шоколад, там Петрус и Мейан. И Як.

Альма. Я такая неуклюжая. Не удержалась. Вот грохоту наделала.
Анна. Как глупо, что никто не услышал.
Альма. Как по-твоему, Хенрик успеет вернуться?
Анна. Тут не слишком далеко. А у доктора есть лошадь и сани, и дорога расчищена.
Альма. Ты собираешься бросить Хенрика?
Анна. Нет.
Альма. У меня такое странное чувство.
Анна. У нас были сложности. Но сейчас все хорошо.
Альма. Не понимаю, почему я волнуюсь.
Анна. У нас все хорошо, бабушка.
Альма. Хенрик... нет.
Анна. Одинок?
Альма. Замкнут...нет. Не знаю. Не знаю.
Анна. Я никогда его не брошу. Обещаю.
Альма. Видишь ли, дело было так: когда Хенрик был еще совсем малец и его отца не стало, и я понятия не имела, как мы будем жить дальше... *(Замолкает.)*
Анна. И?
Альма. Я сделала ужасную глупость.
Анна. Может, не надо...
Альма. Надо. Все это ужасно. Мы целый год прожили в усадьбе деда Хенрика. Дед Хенрика и его брат жили там, на севере, ты знаешь. Хиндрих был настоятель, а другой, тот, длинный, депутат риксдага. Не тогда, позднее. Нам деваться было некуда, и нас приютили в усадьбе. Я стояла в дверях и смотрела, как Хиндрих плеткой хлестал моего мальчика, ему было, наверное, столько, сколько сейчас Дагу, годика три. Это было своего рода воспитание. Для его же блага, утверждал Хиндрих. Дед Хенрика тоже смотрел, но ни словечка не обронил. Я совсем потеряла голову. Просто застыла.

Альма говорит спокойно и отчетливо, без эмоций, как будто из воспоминания о наказаниях испарились все чувства — удивительная картина, которую важно по какой-то неясной причине вызвать из небытия.

Анна. И часто это случалось?
Альма. Хиндрих был одержим этим самым «воспитанием», как он выражался. У него были взрослые дети, дочь жила дома, она в общем-то молчала. Говорила только: будь уверена, у отца самые добрые намерения, ничего страшного в этом нет, нас тоже лупили, и ничего дурного с нами не случилось. Ты чересчур чувствительная. Мальчик тоже стал неженкой, в тебя. Его надо закалять. Вот такое она болтала. Бабушка Хенрика была женщина добрая, но боязливая, она никогда не решалась... может, пару раз.
Анна. Но, тетя Альма, вы ведь не остались там?
Альма. Нет. Однажды я взяла сына и поехала в Эльфвик, ну, ты знаешь, к сестрам в Эльфвик, в то время там было не так роскошно. Но вполне прилично. Бленда, та, у которой есть голова на плечах, одолжила мне денег. Она не хотела, чтобы мы жили с ней, потому что не любила меня. Но одолжила мне немного денег. И мы переехали в Сёдерхамн.
Анна. Мужественный поступок.
Альма. Мужественный?
Анна. Хотите попить? Чаю?
Альма. Спасибо, у меня от этих таблеток во рту пересохло.

Анна кладет руку Альмы на одеяло, Альма лежит совершенно неподвижно. Солнце еще не зашло, но скрылось за деревьями, и тени в комнате сгустились. Длинные, вытянутые облака подернуты морозной зеленью.

На кухне покой и уют. Петрус читает вслух Дагу, они пристроились рядышком за кухонным столом. Мейан погружена в рукоделие. Ароматно дымят щи. Як после помывки в изнеможении растянулся на полу. День угасает.

Мейан. Как себя чувствует старая фру?
Анна. Кажется, заснула.
Мейан. У нее были сильные боли?
Анна. Безусловно. Надо бы приготовить ей чаю.
Мейан. Сейчас сделаю.
Анна. Дагу пора спать. Пойду уложу его. Хенрик с доктором должны явиться с минуты на минуту, правда?

Ожившие, вновь обретенные будни. Спокойные голоса, привычные действия, дела. Анна зовет сына, который неохотно отрывается от читающего вслух Петруса. Як машет хвостом, показывая, что он бодрствует, но страшно устал. Мейан, заварив липовый чай, наливает его в большую, расписанную цветами чашку, кладет на тарелку несколько сухарей. Анна берет Дага на руки и поднимается по лестнице. «Я хочу сам»,— говорит он грустно, но и не думает вырываться. Вот он стоит на кровати, рубашка и штанишки уже сняты. «Пописать хочешь?» — «Нет, я уже писал».— «У тебя дыра на чулке, надо надеть другие!» — «Нет, спасибо, новые чулки колючие». «Быстро в постель, вот так, поцелуй маму, вот так. А куда поцеловать Дага? Ага, в носик. Пожалуйста».

Анна отгораживает кроватку Дага зеленой ширмой. «Бабушка умрет?» — тихо спрашивает Даг. «Нет, не умрет, доктор придет с минуты на минуту».

«А когда смерть придет за бабушкой и погрузит ее на тачку, она может и еще кого-нибудь прихватить?» — спрашивает Даг. «Что ты такое болтаешь»,— говорит Анна, по-прежнему стоя рядом с ширмой. В белой комнате густой сумрак, сквозь окна втекает и вытекает не дающий тени снежный свет. «А вдруг она меня по ошибке прихватит. Или маму».— «Смерть не приходит с тачкой,— говорит Анна.— Откуда ты это взял?» — «Папа читал тетям книгу!» — «Ах, вот оно что, а ты слышал? Но понимаешь, это ведь сказка. Смерть не приходит с тачкой, и смерть не ошибается. Если бабушка умрет, так потому, что она очень устала и ей страшно больно». Даг внимательно слушает материны объяснения. А потом спрашивает: «Дети тоже умирают?» Анна в задумчивости молчит и тут слышит, как Хенрик снимает лыжи и, топая на крыльце, отряхивает снег с пьексов.

«Папа вернулся,— говорит Анна.— Спи, мой мальчик, мы как-нибудь поговорим обо всем этом, когда у нас будет побольше времени». Она быстро проводит рукой по его лбу и щеке, и он безропотно закрывает глаза.

Хенрик. Доктора нет дома, но сестра Бленда обещала немедленно ему передать, как только он вернется. Несчастный случай в кузне.
Мейан. Старая фру спит. Я подала ей чай, а она сказала, что хочет спать. Но чаю немножко выпила. Я помогла ей.

Хенрик в сенях расшнуровывает пьексы, лицо у него раскраснелось от мороза, он нанес в сени снега, полушубок и шапка брошены на дровяной ларь. Он шмыгает носом.

Анна. Я довольно долго сидела у нее, голова у нее совершенно ясная. Может быть, приступ на сей раз миновал.
Хенрик. Поднимусь к ней, взгляну.
Анна. Лучше я! Ты весь потный, я положила тебе сухую одежду возле печи в кабинете.
Хенрик. Нельзя ли сегодня пообедать пораньше? У меня в шесть часов назначена встреча с людьми и с церковным старостой.
Мейан. Через десять минут можно садиться.
Анна. Я тоже должна была пойти. Насчет рождественского базара. Тебе придется сказать, что я никак не могу.

Хенрик на цыпочках поднимается наверх, чтобы переодеться, а Анна осторожно открывает дверь в комнату, где спит фру Альма. Она сразу же понимает, что старуха умерла, но на всякий случай подходит к кровати

и делает быстрый профессиональный осмотр. Закрывает покойной глаза, складывает ей руки на груди и убирает со лба, еще теплого и чуть влажного, волосы. Потом зажигает полуобгоревшую стеариновую свечу на ночной тумбочке и свечу, стоящую на высоком зеленом комоде. Затем возвращается к кровати и смотрит на покойную. Пытается понять, что она чувствует: да, торжественность. Жалость. Величие смерти. Из твоего чрева появился на свет Хенрик.

Услышав шаги Хенрика на лестнице, она выходит из комнаты и закрывает за собой дверь. Он сразу понимает, что произошло, на мгновение замирает на последней ступеньке лестницы, а потом, взяв Анну за правую руку, начинает плакать, громко, непривычно, без слез. Странный, душераздирающий плач. Анна, преодолев первую растерянность, тянет его с собой в комнату к покойной. Он останавливается у дверей, плач быстро прекращается — словно бы это нечто запретное, с чем надо справиться как можно быстрее.
Анна. Она просто заснула, это видно.
Хенрик. Да, но в одиночестве. В одиночестве. Она всегда была одинока.

В начале ноября в районе Стуршёна разражается снежный буран, который с короткими перерывами продолжается почти целую неделю. Стужа словно пламенем горелки обжигает людей и их жилища, выедает спинной мозг, минус тридцать, буран — это настоящий ад, гибель земли.

Как-то рассветным утром Анну рвет в ведро, сначала она решила, что виновата салака, она была жирная, отвратительная. Потом ее рвет еще раз, от страха Анна покрывается испариной. Нет, это не салака. Хенрик поддерживает ей голову, он стоит в кальсонах и нижней рубахе, только что приступил к бритью, лицо в мыльной пене. «Тогда, значит, колбаса на бутерброде вчера вечером, я почувствовал тухловатый запах».— «Я не ела колбасы,— возражает Анна, беспомощно глядя в зеркало.— Не ела».— «Ну, тогда не знаю. Может, живот переохладила в уборной».— «Не думаю,— бормочет Анна, спускает рубашку и обнажает левую грудь.— Видишь!» — говорит она. «Что? Что я должен увидеть?»

Анна. Черт подери, неужели не видишь, что она стала...
Хенрик. Красивее?
Анна. Идиот! Неужели ты не видишь, что она изменилась?
Хенрик. За ночь?
Анна. А вдруг я беременна?
Хенрик. Что? Мы же были...
Анна. ...осторожными. Хотя я не знаю, что ты, собственно, имеешь в виду под осторожностью.
Хенрик. ...ты же говорила, что хочешь ребенка.
Анна. ...это просто слова.
Хенрик. ...когда мама...
Анна. ...Э!
Хенрик. Жилки появились.
Анна. ...она здорово увеличилась всего за одну ночь. Сейчас опять вырвет.
Хенрик. Встань на колени. Я подержу тебе голову.
Анна. Ничего не выходит.
Хенрик *(садится на пол)*. Иди сюда, я тебя обниму.
Анна. Мне холодно. Почему все время такая холодина?
Хенрик *(укутывает ее в одеяло)*. Сейчас согреешься.
Анна. Ты меня мылом перемазал.
Хенрик. Девочка моя любимая. Похныкай, пожалуйся!
Анна. Я такая несчастная, Хенрик.
Хенрик. Такая несчастная?
Анна. Почему должно быть так жутко холодно и так жутко темно? Можешь мне ответить?
Хенрик. Мы сами выбрали такую жизнь.
Анна. И так тихо. И так одиноко. Давай куда-нибудь поедем, а? Всего на пару недель. На неделю.

Хенрик. Где мы возьмем деньги?
Анна. У м е н я есть деньги. Я плачу́.
Хенрик. Я не могу уехать сейчас, когда у настоятеля инфлюэнца, ты же знаешь.
Анна. Фу, черт, до чего мне плохо.
Хенрик. Залезай в постель.
Анна. Нет, с тобой лучше. *(Обнимаются.)*
Хенрик. Жалуйся, жалуйся!
Анна. Я страшно скучаю по маме! Сумасшествие какое-то, но я жутко соскучилась по маме.
Хенрик. Я напишу ей вежливое письмо и попрошу приехать навестить нас: «Тетя Карин доставит нам искреннюю радость, если наконец, несмотря на все неудобства, соберется навестить нас в нашей глуши».
Анна. Полный кошмар.
Хенрик. Тогда уж и не знаю.
Анна. Я скучаю по Трэдгордсгатан. По маме, Лисен и Трэдгордсгатан. И по Э р н с т у! *(Всплакнула.)* Я соскучилась по моему брату!
Хенрик. Бедная моя, любимая девочка.
Анна. А ты х о ч е ш ь еще одного ребенка? Отвечай честно. Хочешь еще одного малыша?
Хенрик. Я хочу десяток. Ты знаешь.
Анна. И лучше девочек?
Хенрик. Раз ты спросила, я отвечаю — на этот раз мне бы хотелось девочку. Тебе ведь тоже хочется девочку.
Анна. Мне совершенно не хочется быть беременной.
Хенрик. Я буду особенно внимательным и заботливым.
Анна. Ты такой, какой есть.
Хенрик. Что это за тон?
Анна. Ты совершенное дитя, Хенрик. Мне хочется, чтобы у меня наконец был взрослый, зрелый муж.
Хенрик. И ты сама бы смогла быть маленькой девочкой.
Анна *(дружелюбно)*. Глупо и банально.
Хенрик. Если хочешь поехать к маме на пару месяцев...
Анна. И дать ей в руки такой козырь? Ни за что!
Хенрик. Ну, тогда не знаю.

Они сидят на полу в обнимку, укутавшись в одеяло. Светает, снег валит и бесчинствует, беззвучно, но не зная пощады.

Вечер четверга в начале декабря. Собрание кружка рукоделия в пасторской усадьбе. Все как обычно, но гостей непривычно мало, всего пять человек, причину чего следует искать не только в морозе, плохих дорогах или нехватке керосина, свечей, кофе и других предметов первой необходимости.

Есть повод представить присутствующих: Гертруд Талльрут семьдесят, она вдовствует уже не один год, муж работал в кузне. Сейчас она помогает на почте, когда требуется дополнительная рабочая сила. Высокая, худая, сгорбленная, глаза за стеклами пенсне ясные, жидкие волосы, на тяжелом подбородке что-то вроде бороденки, характер веселый, голос глубокий. На ней просторная вязаная кофта, на ногах сапоги. Ковыряет в ухе спицей, выглядит это жутковато.

Альве Нюквист около пятидесяти, она много лет служит в заводской конторе. Общительная, лицо круглое, с бледным румянцем, глаза черные и любопытные. Обожает рассказывать о местных катастрофах и интересных слухах. Не замужем, без нежности ухаживает за увечной кузиной. Начитанна, набожна, ездит за границу. Она принадлежит, так сказать, к заводской верхушке, поскольку живет на наследство отца, удачливого оптовика в Евле.

Фру Магна Флинк за эти годы стала другом пасторской семьи. Ее муж большую часть года проводит в разъездах как представитель фирмы станков, главный офис которой расположен в Ёнчёпинге. Магна — темно-

волосая, статная красавица с решительным характером и полным сознанием собственной значительности. Она возглавляет местную женскую организацию гражданской обороны. Дети выросли и учатся в Уппсале. В характере Магны есть неприятные черточки — она ревнива и властолюбива, но весьма умело это скрывает.

Мэрте Веркелин, новой учительнице младших классов, тридцать. Добрая душа, сразу заметно, молчаливая, глаза голубые, чуть навыкате. С лица не сходит удивленное выражение, густые пепельные волосы, женственная, о чем она сама не подозревает. Поскольку она в этих местах новенькая, она мало что знает о здешних делах.

Текла Крунстрём замужем за рабочим с лесопильни. Мать пятерых детей. Острый взгляд серых глаз, широкий лоб, высокие скулы, большой рот (зубы все на месте), большая грудь и большой зад. Нос курносый, короткая стрижка, небольшого росточка. Эти пять женщин принимают участие в нынешнем собрании кружка рукоделия, они пьют кофе из одуванчиков и слушают пастора, читающего им вслух.

Хенрик *(громко читает)*. «Гнев, овладевший Люсьеном после этого поражения, отнюдь не лишил его мужества, напротив, придал новые силы его тщеславию. Как и все люди, которые инстинктивно стремятся в высший свет, достигают его, еще не будучи к этому готовыми, Люсьен был намерен пожертвовать всем, чтобы остаться в высшем обществе. Во время прогулки он вытаскивал, одну за другой, вонзенные в него отравленные стрелы. Громко говорил сам с собой, отбривал встреченных им дураков, находил колкие ответы на дурацкие вопросы, сердясь на себя за то, что его остроумие оказалось столь запоздалым...»

Хенрик замолкает, переворачивает страницу — новая глава, он захлопывает книгу и кладет ее на круглый стол с керосиновой лампой. Анна встает и наливает ему кофе. Присутствующие вроде бы полностью поглощены своим рукоделием. Хенрик, пригубив горький напиток, отставляет чашку.

Хенрик. Мне, в отличие от героя Бальзака, хотелось бы перейти прямо к делу.

Гости будто и не слышат. Анна обходит их, предлагая еще по чашечке. Пес Як зевает.

Хенрик. Мне бы хотелось узнать, почему нас в последнее время так мало.

Молчание.

Хенрик. В начале осени нас собиралось от двадцати одного до тридцати пяти человек. Сейчас нас *(считает)* пятеро. Кроме Анны и меня самого — и Яка, разумеется.

Молчание.

Хенрик. Предположим, виноват мороз и плохие дороги, но думаю, это объяснение не полно.

Молчание. Все сосредоточенно работают.

Хенрик. Хорошо, тогда я спрошу прямо. Что вы полагаете, фру Таллрут? Вы иногда работаете на почте и встречаетесь с людьми.

Гертруд Таллрут в ответ на такое прямое обращение чешет подбородок и, прищурившись, бросает взгляд поверх пенсне.

Гертруд. Не знаю, что и ответить. *(Пауза.)* Мне кажется, люди немножко боятся или как там еще сказать. Не знаю, но мне так кажется.
Хенрик *(ошеломленно)*. Боятся?
Текла. Я не из тех, кто особо прилежно посещает церковь, вовсе нет. Но кое-какие вещи трудно не заметить.
Хенрик. Да, люди не слишком часто ходят в церковь.
Текла. Одно с другим не связано.
Магна. Верно.

Кое-кто из женщин соглашается: да, тут разные причины. Молчание.

Хенрик. Да.
Мэрта. Может, это из-за проповедника пятидесятников.
Хенрик. Забудем про церковь и поговорим о наших четвергах. Фру Талльрут говорит, что люди боятся. Чего бы им бояться?
Альва *(живо)*. Это всем известно.
Хенрик. Мне нет.
Альва. Говорят, в конторе есть список всех, кто участвует в кружке рукоделия.
Хенрик. Это правда?
Альва. Я сама не видела его, но Турстенссон из конторы сказал, что список есть и что он хранится в сейфе инженера.
Хенрик. Зачем Нурденсону такой список?
Текла. Нетрудно догадаться. Ежели это правда.
Альва. А почему бы это было неправдой?
Текла *(сердито)*. Потому что этот Турстенссон — дерьмо, он может придумать что угодно, только чтобы попугать. Точно как его господин и хозяин.
Хенрик. Я все равно не понимаю. Неужели Нурденсон...
Альва. Я тоже слышала болтовню про этот список. А к т о - н и б у д ь пострадал?
Гертруд. Еще бы. Юханссона, Бергквиста и Фрюдена вышвырнули без объяснений, а Гранстрёма перевели на более тяжелую и хуже оплачиваемую работу.
Текла. Бригадир, я имею в виду Сантессона, спросил моего Адольфа, хожу ли я по-прежнему на эти бабские посиделки у пастора. «Твоя баба все еще ходит на эти бабские посиделки у нашего бабы-пастора?» Адольф рассвирепел и ответил, что Сантессон сам хуже бабы и не его собачье дело, чем он и его Текла занимаются по четвергам.
Хенрик *(побледнев)*. Это невероятно!
Мэрта. Никто не забыл того случая в часовне с Нурденсоном на прошлый Иванов день.
Гертруд. Ясное дело. Это надо понимать.
Мэрта. Я немного знаю Сюзанну, его старшую. Сюзанна не раз говорила, что отец никогда не простит, как его унизили в присутствии конфирмантов, он никогда не простит.
Хенрик *(в ужасе)*. Но почему никто...
Текла. Почему никто ничего не сказал? Не много ли вы хотите, пастор, а?
Альва. Говорили много, только не пастору. И не пасторше.
Анна. Магна, ты об этом знала? И ни слова нам не сказала. Это же...
Магна. Я слышала какие-то сплетни, но не обращала на них внимания, потому что, по-моему...
Анна. Но ты ведь видела, что наши четверги...
Магна. Видела, конечно. Но, по-моему, есть более подходящее объяснение.
Анна. Более подходящее? Что ты имеешь в виду?
Магна. Об этом мы поговорим в другой раз.
Анна. А почему не сейчас?
Магна. Потому что тогда и фру Крунстрём, и фру Талльрут расстроятся, а я этого не хочу.
Хенрик. Я хочу — я требую *(возмущенно)*, т р е б у ю, чтобы ты рассказала все, что знаешь. Или думаешь, что знаешь.

Текла. Из-за меня пусть не смущается. Я уже и так вся киплю, больше некуда.
Гертруд. Ежели это то, о чем мы все знаем, так уж лучше спросить пастора напрямую.
Альва *(внезапно)*. Хотя, по-моему, есть и третье объяснение.
Хенрик *(по-настоящему испуган)*. Магна, ты утверждаешь, что ты наш друг. Я прошу тебя. Расскажи, что тебе известно.
Магна. Настоятель рассказал своей экономке фрёкен Сэлль, что Хенрик с Анной были во Дворце у королевы Виктории в июне, в начале июня, кажется. Фрёкен Сэлль проговорилась об этом кое-кому из нашей организации гражданской обороны, наверное, все наперебой хвалили Хенрика, тут она и сказала, что долго он у нас не задержится, потому что ему предложили место придворного проповедника. Ну, а потом наступило лето, пришла осень, все только об этом и говорили, и, как я могу предположить, многие были расстроены. Кое-кто посчитал, что Хенрик — человек двуличный, поскольку он не признается, что скоро покинет нас.
Анна. Почему ты сама ничего не сказала?
Магна *(обиженно)*. Если вы оба собрались уезжать, ничего никому не говоря, то я не из тех, кто побежит следом спрашивать о причинах.
Анна. Но, Магна!
Магна. Словечко-другое можно было бы сказать. Чего уж тут говорить.
Анна. Но, Магна! Мы же отказались! Хенрику сделали предложение весной. И речь вовсе не шла о месте придворного проповедника. Ему предложили место священника в большой больнице, Правление которой возглавляет королева. Предложение соблазнительное, ничего удивительного тут нет. Но Хенрик отказался. Я была не так тверда. Но Хенрик отказался.
Магна. Вот как. *(Все еще оскорбленно.)*
Анна. Теперь ты все знаешь. О чем же тут было рассказывать.
Магна. По этому поводу могут быть разные точки зрения.
Анна. Ничего не изменилось. Мы остаемся. Мы решили.
Магна. Что-то вроде жертвы?
Анна. Мы хотим остаться здесь.
Магна. Очень мило.
Хенрик. Не понимаю, почему ты так сердита.
Магна. Я не сердита, я расстроена.
Хенрик. Не понимаю, почему ты расстроена.
Магна. Ну да, конечно.
Текла. Когда вы приехали сюда, в Форсбуду, мы обрадовались или как это еще назвать. Я хочу сказать, не только те, кто постоянно ходит в церковь, но большинство были довольны.

Открывается дверь, в комнату входит Миа с охапкой дров. Раздув угли в кафельной печи, она подкладывает дрова — огонь разгорается.

Гертруд. Иногда вдруг воображаешь себе, что существует какая-то общность.
Мэрта. Пастор приходил изредка к нам в школу, читал утреннюю молитву или вел урок библейской истории. Это была большая радость, должна вам признаться. И для детей, и для меня. Мы не могли дождаться прихода пастора. И говорили: он уже давно не был у нас, значит, скоро придет.
Хенрик. Почему же никто ничего не говорил?
Мэрта *(растерянно)*. Что нам надо было говорить?
Хенрик. Вы могли бы сказать: приходите поскорее опять.
Мэрта. Нам надо было так сказать?
Хенрик. Хотя бы так.
Мэрта. Извините, пастор, но это было бы не совсем удобно. Это могло показаться назойливым.
Хенрик. Но мы ведь считали себя одной семьей?

Молчание. Гертруд Талльрут, разглаживая на столе свое вязание, качает головой. Альва Нюквист подшивает край, споро работает игла. Белыми короткими зубами перекусывает нитку, бросая вокруг острые, любопытные взгляды. Магна Флинк сидит без дела, сложив большие руки на животе, пяльцы лежат рядом на столе. Расстроенная, с раскрасневшимися щеками, она то и дело сглатывает. Мэрта Веркелин тянется за книгой, из которой читали, и начинает листать ее, не видя. Она незаметно вздыхает. Текла Крунстрём, развернувшись всем своим грузным телом, смотрит на Анну, которая стоит у нее за спиной с кофейником. Хенрик положил руки на подлокотники кресла: невольная иллюстрация чувства — что же такое происходит в эту минуту здесь, в нашей хорошо знакомой столовой, при свете нашей милой лампы, которая, кстати, слегка коптит, керосин никуда не годится. Надо подойти к столу и поправить фитиль, чтобы пламя не коптило в потолок. Хенрик осторожно встает, подходит к столу и, подняв руки, уменьшает красноватое, дымящее пламя.

Хенрик. Коптит.
Гертруд. Керосин плохой.
Альва. В Евле керосина вообще не достать. В конторе говорили.
Текла. Скоро будем сидеть в темноте, как какие-нибудь первобытные дикари. И грызть старые кости.
Мэрта. Папа написал, что мы наверняка вступим в войну. Чтобы помочь Финляндии. И тогда придут русские со своим флотом, нападут на Сёдерхамн, и Евле, и Лулео и все сожгут и разорят, как в прошлый раз.
Анна. Война должна скоро кончиться.
Текла. Она кончится только тогда, когда народ возьмет власть в свои руки и перебьет генералов.

Вновь воцаряется молчание. Хенрик садится на стул у обеденного стола, проводит рукой по лицу, головокружительное чувство нереальности не отпускает его.

Хенрик. Значит, мы с Анной все вообразили?
Текла. Что вы имеете в виду, пастор?
Хенрик. Мы думали, что мы...*(Замолкает.)*
Гертруд. Никто не винит ни вас, пастор, ни вашу жену. Вы делаете все, что можете. В благих намерениях нет ничего дурного. Клубок все равно в конце концов запутается.
Текла. На вашем месте, пастор, я приняла бы предложение и уехала бы отсюда как можно скорее. Здесь, в Форсбуде, делать нечего.
Анна *(тихо)*. Мы думали, что сможем принести пользу.
Текла. Простите, какую такую пользу?
Анна. Принести пользу. *(Беспомощно.)*
Текла. Очень трогательно. До слез.
Гертруд. Не язви, Текла.
Текла. Что могут такой вот маленький, красивый пастор и его красивая женушка сделать в нашей проклятой глухомани?
Гертруд. Текла, сейчас ты говоришь, как настоящий большевик.
Текла. Э, чушь собачья. Послушай, Гертруд, тебе сейчас никого защищать не требуется. И меньше всего пастора. У него все в порядке. Он получает твердый доход от государства.
Альва. Я слышала другое объяснение.
Текла. Твои объяснения никому не интересны. Ну, я пойду домой, пока не начала болтать чепуху.

Текла Крунстрём вздыхает и принимается обстоятельно собирать свои вещи. Наконец снимает очки и прячет их в видавший виды футляр. Бросает долгий взгляд на Анну.

Анна. Можно задать вам вопрос, фру Крунстрём?

Текла. Пожалуйста.
Анна. Зачем вы приходили сюда каждый четверг? Я хочу сказать, если...
Текла. Между нами и вами нет ничего общего. Вы не понимаете наших мыслей и не понимаете нас. Так во всем.
Анна. Вы не ответили на мой вопрос.
Текла. Вот как. Ну да. Ответ простой. Мне нравились и пастор, и его жена. Мне нравилось слушать, как он читает вслух эти романы. Мне хотелось посидеть здесь пару часов со всеми остальными. Наверное, мне это казалось приятным.

Она молча пожимает Анне руку, кивает остальным женщинам. Прощание, немногословное и смущенное, слова повисли в воздухе, точно мокрые тряпки. Альва Нюквист решила быть полезной — она убирает со стола, серебряной щеточкой сметает крошки, помогает сложить скатерть. Внезапно она говорит: «Ой, кажется, все ушли, одна я осталась». Анна и Хенрик в нерешительности, друг на друга не смотрят.

Альва. Много чего здесь наболтали. И потом, конечно, этот с п и с о к. Но я думаю, есть другая причина. Похуже. Сплетня, само собой, как и все остальное.

Анна, Хенрик и Альва стоят посреди комнаты. Хенрик пытается разжечь трубку, Анна взяла кочергу, чтобы поворошить угли в печи. Альва, скрестив руки на груди и чуть откинув голову, щурится из-под полуопущенных век. Ни Анна, ни Хенрик не просят ее остаться или высказаться.

Альва. Ежели бы я не знала, что это постыдный, да, постыдный оговор, не сказала бы ни слова, это точно. И вы это должны понять.

Она ждет реакции, но напрасно. Откашлявшись, она опускает голову и разглядывает носок ботинка, выглядывающий из-под юбки.

Альва. О самом я д о в и т о м, верно, никому не хотелось упоминать. Мне, правда, очень жалко вас обоих. А особенно жалко пасторшу, конечно.

Она выжидает несколько секунд, но ответа не последовало. Як поднимается и встает рядом с Анной.

Альва. Многие считают, что самое ужасное — это тайное общение с Нурденсоном. Скорее всего, имеется в виду общение с фру Нурденсон. Или, вернее, общение п а с т о р а с фру Нурденсон. Многие возмущены. И говорят, что понимают, почему Нурденсон так ненавидит пастора. Я все о той истории с его дочерьми. Верно, дело было не в дочерях. Многие считают, что Нурденсона можно пожалеть. Что это стыд и срам. Я не собираюсь сплетничать, но всем известно, что фру Нурденсон, что Элин — особа ветреная. Она хороша собой, настоящая фру Нурденсон. И так приветливо улыбается, но вокруг нее витает смрадный запах, да, смрадный запах похоти. Так что этот список, ежели он вообще существует, пожалуй, не истинная причина того, почему люди перестали ходить в церковь и на четверги.

Все это произносится вежливым, деловым тоном. Фру Альва Нюквист не распаляет себя и не торопится. Она переводит взгляд своих темных глаз с Анны на Хенрика и обратно, изредка улыбаясь мимолетной, извиняющейся улыбкой. Закончив свое сообщение, она делает беспомощный жест рукой: теперь я все сказала. Это было больно, но необходимо, простите меня, мы ведь не верим в это чудовищное...
Хенрик утвердительно кивает и жмет ей руку.

Хенрик. Спасибо за информацию. Весьма ценные сведения. Мы с Анной вам очень благодарны. Какой в е ч е р, фру Нюквист! Я ошеломлен. М ы ошеломлены. И благодарны. *(Улыбается.)*

Наконец Альва Нюквист удаляется. Дверь прихожей захлопывается. Хенрик запирает и поворачивается к Анне. Лицо его бледно, но он смеется.

Хенрик. Теперь, Анна! Теперь я знаю твердо. Знаю твердо, как важно, чтобы мы не обманули этих людей, Анна!

Он растроганно обнимает ее и потому не видит ее лица. Внезапно кто-то начинает царапаться в стекло входной двери, после чего раздается громкий стук. Анна выскальзывает из объятий мужа и открывает.

На крыльце Мэрта Веркелин. Она взволнована, на глазах слезы. «Простите за беспокойство, простите, но я должна сказать вам что-то важное». Анна впускает гостью. Та останавливается у двери под высоко висящей керосиновой лампой, приваливается спиной к стене и бурно рыдает, одновременно стаскивая толстые варежки и меховую шапку, распущенные пепельные волосы струятся по плечам. Анна и Хенрик неприятно удивлены. «Давайте зайдем присядем»,— говорит нехотя Анна.

Мэрта Веркелин энергично трясет головой и сморкается: «Нет, нет, я сейчас пойду, просто я сперва должна вам кое-что сказать». Так они и стоят — Мэрта, привалившись к стене, Хенрик, положив руку на перила лестницы, Анна возле дверей в столовую. Мэрта тянет за концы своей длинной шали.

Мэрта. Все так ужасно, я так расстроилась. Почему должно быть так, как сегодня вечером? Это же... нелепо. Ненормально. И мне было так стыдно. Стыдно, что я не осмелилась сказать то, о чем все время думала. А я думала, что все происходящее — т о ч ь - в - т о ч ь история с моей блузкой.

Она еще раз сморкается. Сейчас, взволнованная, со слезами на слегка выпуклых глазах, припухшими от плача губами и блестящими волосами, рассыпанными по плечам, она поразительно хороша.

Мэрта. Как было с моей блузкой. Однажды я надела красивую блузку. Это было весной, погода прекрасная. Мне хотелось, чтобы мои ученики увидели меня нарядно одетой. Увидели что-нибудь красивое. Блузка из настоящих кружев с высоким воротничком и пуговицами на русский манер, если вы понимаете, о чем я говорю, рукава широкие, а манжеты из другого материала. Кружева ажурные, а под ними красный шелк, и я приколола золотую брошь, которая досталась мне по наследству. Я приколола ее у горла, а волосы заплела в толстую косу на спине. И пошла к детям, и мы с ними спустились по склону рядом со школой, и там проводили занятия, ничего странного в этом не было. А потом пошли разговоры. О блузке. Прямо ничего не говорили. И я умирала со стыда. Словно сделала что-то неприличное. Но ни разу никто мне прямо ничего не сказал. *(Пауза.)* И сегодня вечером было т о ч ь - в - т о ч ь как с блузкой. Не умею объяснить, но это то же самое. Откуда такая ненависть, откуда такое отвращение? Здесь в этом мраке и без того несладко. И теперь пастор уедет, понятное дело. Ни вам, ни вашей жене совершенно ни к чему терпеть подобные гадости и эту темень. А я вынуждена остаться. Мне не предлагают место учительницы во дворце. *(Смеется.)* Вы думаете, я завидую, но я не завидую, простите меня! Я желаю вам выбраться отсюда. Ну вот, теперь я пойду, бедненькие, вы и так расстроены после всех сегодняшних гадостей, а тут еще я являюсь и реву. Спокойной ночи, и простите меня. Нет, ничего не говорите, спасибо, что проявили ко мне такое терпение. Спокойной ночи.

Мэрта Веркелин протягивает свою тонкую руку и еще раз желает спокойной ночи. И ныряет в арктическую ночь, трусцой преодолевает пригорок, ведущий к воротам, и пропадает из виду.

Анна гасит свет в столовой и закрывает заслонки печей. Под ложечкой ворочается тяжелый, бессловесный гнев. Хенрик тушит лампу в прихожей. В холле второго этажа перед спальней и кабинетом слабо колеблется пламя

ночника. В окно справа от лестницы льется лунный свет. На лоскутном ковре разбросаны игрушки и кубики. Петрус и Даг устроили из холла комнату для игр, хотя это запрещено после того, как Даг свалился с крутой лестницы. Хенрик входит в спальню, зажигает ночники возле кроватей, быстро раздевается, умывается в тазу, чистит зубы. Печь вечером протопили, она еще горячая, шторы тщательно задернуты.

Анна собирает игрушки и кубики. Ходит взад-вперед по холлу как попало, не торопясь. Бросает что-то со стуком в большой деревянный ящик. Потом все оставляет и открывает дверь в комнату, где спят Даг и Петрус. (Это, собственно, комната Анны, которую во время пребывания Альмы переоборудовали в детскую. После смерти Альмы перебраться обратно так и не собрались.) Мальчики спят глубоким безмятежным сном. Даг лежит в постели Петруса. Анна берет сына и перекладывает его в его собственную кровать, проводит рукой по его головке, волосам, щеке. Гнев, не выраженный словами. Петрус дышит беззвучно, лицо разгладилось, рот приоткрыт, веки подрагивают, на вытянутой шее бьется пульс. Может, он не спит? Притворяется? Нет, спит, почти наверняка.

Гнев на Хенрика, бессловесный, слепой. Бродит ощупью, спотыкается. Ребенок в животе ворочается беспокойно, без нежности.

Она закрывает дверь и возобновляет уборку в холле. Деревянный паровоз, еловые шишки и картонный кружок, кубики, большой оловянный солдатик, мишка с оторванным ухом. Хенрик чистит зубы и сплевывает в таз, сплевывает в таз, она сотни раз просила его сплевывать в ведро. Лоскутная дорожка кое-как приглушает нерешительные шаги Анны. Хенрик почистил зубы, сливает грязную воду в ведро. Становится совсем тихо, потому что Анна замерла с тряпичной куклой в руках. Лунный свет.

Хенрик *(невидимый)*. Ты идешь?
Анна. Скоро.
Хенрик *(невидимый)*. Что-то случилось?
Анна. Нет, вовсе нет.

Анна делает несколько шагов, останавливается в нерешительности, идет обратно, опять останавливается, бросает тряпичную куклу в ящик.

Хенрик *(невидимый)*. Ну и топочешь же ты там.
Анна. Да что ты говоришь?
Хенрик. Но туфли красивые. *(Выглядывает.)* На высоких каблуках.
Анна. Может, не слишком подходящие?
Хенрик. Что ты хочешь сказать?
Анна. Для сегодняшнего вечера.
Хенрик. Да нет, почему? *(Не двигается, короткая пауза.)* Ты идешь?
Анна. Скоро.
Хенрик *(растерянно)*. Так я, пожалуй, лягу?
Анна. Я скоро приду.
Хенрик. Ага. *(Отходит от двери.)* Ладно... *(Пауза.)*
Анна. Хенрик.
Хенрик. Да? *(Возится с подушками.)*
Анна. Мы должны отослать Петруса. Чем скорее, тем лучше.
Хенрик. Анна, милая, поговорим об этом завтра, хорошо?
Анна. Нет, с е й ч а с!

Стоя на пороге спальни, она начинает вынимать из волос шпильки, лицо вполоборота, голос ее не слушается, дыхание учащенное.

Хенрик. Почему вдруг такая спешка с Петрусом? Бедняга, он ведь никому не мешает.
Анна. Я не обещала, что он здесь останется навсегда. Я не обещала заменить ему мать. Ты должен поговорить с фру Юханссон.
Хенрик. Разумеется. *(Сговорчиво.)* Я поговорю с фру Юханссон.

Анна *(с внутренней дрожью)*. И без того тяжело. Я не могу взваливать на себя ответственность еще за одного ребенка, тебе следовало бы это понимать.
Хенрик. Не злись, пожалуйста, Анна.
Анна. Я не злюсь. С чего бы мне злиться?
Хенрик *(садится на кровать)*. Иди сюда, сядь.
Анна. Мне и здесь хорошо.
Хенрик. Я поговорю с фру Юханссон.
Анна. Немедленно. Завтра.
Хенрик. Как можно скорее.
Анна. Я пыталась полюбить этого беднягу, но у меня ничего не выходит. Он как с о б а к а.
Хенрик. Ты ведь любишь собак.
Анна *(чуть улыбается)*. Идиот.
Хенрик. Да, он нам чужой.
Анна. Чужой. И хорошо бы побыстрее покончить с этим делом.
Хенрик. Слез, конечно, не оберешься. Бедный малыш.
Анна. У нас, между прочим, свой будет.
Хенрик *(покорно)*. Да, разумеется.
Анна. Он беспрестанно толкается и буянит.
Хенрик. Она. Это девочка.
Анна. Петрус... Он смотрит на меня своими собачьими глазами, а я злюсь, а потом злюсь на себя, потому что нельзя испытывать отвращения к детям.
Хенрик *(устало)*. Сегодня у нас был трудный вечер, а завтра мне вставать в шесть, давай спать, а?
Анна. Ты понимаешь, что я имею в виду?
Хенрик *(покорно)*. Конечно, понимаю.
Анна *(ложится)*. Тогда давай спать. Спокойной ночи.
Хенрик *(целует ее)*. Спокойной ночи, злючка.
Анна *(целует его)*. Спокойной ночи, пастор.

Она задувает свечу. Лунный свет. Петрус Фарг неподвижно стоит в холле. На нем длинная ночная рубашка с красной каймой и носки.

Утром — ледяное безветрие и туман. Падает редкий снежок. В пасторской усадьбе неутомимая Мейан лежит в постели, у нее высокая температура и лающий кашель, горло обвязано чулком, лицо красное, глаза блестят. Миа, которая спит с ней в одной кровати валетом, тоже простужена, но тем не менее сейчас за кухонным столом занимается приготовлением обеда. (Вообще, в пасторской усадьбе завтракают в половине восьмого кашей, яйцами и бутербродами. В час дня подают какой-нибудь горячий напиток, бутерброд и второе блюдо, это с полным правом называется обедом. Ужин в пять часов, он состоит из двух блюд. Перед сном — чай или молоко и хрустящий хлебец с сыром.) Итак, Миа готовит обед — делает бутерброды с жиром и колбасой, накрывает на стол. Дворник принес дрова и укладывает их в дровяной ларь. Анна с Петрусом несут по корзинке лучины для непомерно жадных кафельных печей. Даг уже сидит в своем стульчике и сосет сухарь, он хнычет и шмыгает носом.

Анна *(входит)*. ...с сегодняшнего дня мы перестаем топить в гостиной, в столовой и детской. Будем поддерживать тепло в кухне, комнате для прислуги и на втором этаже. Нет ли у Дага температуры?
Миа. Сопливится-то точно.
Анна. Как дела, Миа?
Миа. Мейан стало хуже. Кашляет так, что кровать трясется. Не очень-то выспишься.
Анна. Перебирайся наверх, к Петрусу и Дагу. Мы поставим там раскладушку.
Миа. Лишь бы Мейан поправилась.
Анна. Ей надо горячее питье и потеплее укутаться.

Анна наполняет чашку горячей водой и эмсеровской солью и идет к Мейан, та мигает своими красными глазами, губы пересохли, лающий кашель.

Мейан. Мне уже получше, думаю, к обеду встану.
Анна. Выпей вот это и ни в коем случае не вставай.
Мейан. Но мне может понадобиться в уборную.
Анна. Придется в ведро, ничего не поделаешь.
Мейан. Вот ужас-то.
Анна. Могло быть хуже. У нас тепло, еда есть и керосин еще остался. Ну-ка, посмотрим, какая у тебя температура. Тридцать девять, немного упала. Увидишь, через несколько дней будешь на ногах.
Мейан *(кашляет)*. У меня, наверное, чахотка.
Анна. Нет у тебя никакой чахотки, Мейан. Уверяю.
Мейан. Вы, фру, ведь были сестрой милосердия. Стало быть, знаете.
Анна. Вот именно. Ложись, я принесу тебе микстуру от кашля.

Анна выходит на кухню и закрывает дверь в комнату для прислуги. Мейан кашляет. Миа стоит в пальто и сапогах.

Анна. Куда это ты собралась?
Миа. На почту. Пастор ждет газету.
Анна. В такой мороз, простуженная?
Миа. Возьму финские санки, дорога расчищена.
Анна. Пойду застелю постели. Обедать будем через час, ты успеешь вернуться?
Миа. Само собой.

Миа выходит и удаляется по направлению к воротам, толкая перед собой санки. Анна находит книгу сказок с картинками и протягивает ее Петрусу: «Сядь и почитай Дагу, а я пойду застелю постели. Вы с Яком следите за Дагом и друг за другом». Як, дремавший у теплой плиты, тотчас поднимается, показывая тем самым, что он готов выполнить возложенную на него задачу.

Анна, запахнувшись в широкий вязаный жакет, бежит через выстуженные гостиную и столовую, взлетает по лестнице в верхний холл, где на лоскутном ковре все еще стоит деревянный ящик с собранными игрушками. Она поднимает его и вносит в комнату мальчиков. И сразу же принимается застилать постели быстрыми, раздраженными движениями. В дверях возникает Хенрик.

Анна. Входи и закрой дверь, а то выстудишь комнату.
Хенрик *(подчиняется)*. Я думал о нашем разговоре.
Анна. Каком разговоре?
Хенрик. Каком? Мы же говорили о Петрусе.
Анна. Ах, о Петрусе. Ну, это не к спеху.
Хенрик. Вчера вечером ты требовала отослать немедленно.
Анна. Вот как?
Хенрик. Не могу я писать свою воскресную проповедь, зная, что мне надо выставить Петруса из дома. Не могу.
Анна *(дружелюбно)*. Поступай как хочешь.
Хенрик. Нам же надо вместе решить.
Анна. Разумеется. Вот мы и решим, что ты поступаешь как хочешь. Воскресная проповедь — дело важное. *(Без иронии.)* Этого забывать нельзя.
Хенрик. Петрус ведь человек.

Анна прекращает возню с постелями, смотрит на него.

Хенрик. В чем дело?

Анна. Ни в чем.
Хенрик *(берет ее за руку)*. Анна, не будь такой колючей.
Анна. Я тоже человек, хоть и твоя жена.
Хенрик. Разве мы не можем помогать друг другу?
Анна. Помогать друг другу?
Хенрик. Анна!
Анна *(дружелюбно)*. Конечно, друг мой! Мы должны помогать друг другу. А теперь иди и пиши свою воскресную проповедь, а там поглядим. Теперь ты доволен?

Хенрик не двигается с места, посасывает потухшую трубку, которая слабо попискивает. На нем просторный свитер, на плечах шаль, мятые брюки с наколенниками, заправленные в теплые носки, на ногах тапки. Похоже, он хочет сказать еще что-то, но Анна повернулась спиной и продолжает застилать постели, поэтому он плетется назад, к своей проповеди и тексту Евангелия, за возможность толкования которого с церковной кафедры он заплатил сполна. «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение; и море восшумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания б е д с т в и й, грядущих на вселенную». Я буду стоять перед горсткой людей и говорить о Непостижимом. Хенрик откусывает сломанный ноготь: он опять начал грызть ногти, как в детстве. И еще Анна — колючая и беременная!

Анна перешла наводить порядок в спальню, резкие движения успокаивают ее: бедный Хенрик, я злая, веду себя как настоящая ведьма. Рассмеявшись про себя, она распрямляется и бросает взгляд в окно.

Сначала она не соображает, что видит, потом, поняв, заходится в крике, все как будто во сне: она видит Петруса, он бежит в одних носках, без шапки и без пальто, сжимая в объятиях Дага, который крепко обхватил его за шею. Як несется следом, описывая большие круги. Петрус оскальзывается, бежит, тащится вниз по расчищенной тропинке, ведущей к мосткам. Петрус мчится с Дагом в объятиях. К реке.

Анна одним духом слетает с лестницы, она хочет отрезать путь Петрусу, пустившись прямо по склону, но тут же по колено увязает в снегу. Она видит, как Петрус все больше удаляется, а ведь последний отрезок тропинки круто обрывается вниз, к воде. Она барахтается в снегу, словно во сне, она едва продвигается вперед. Кричит, чтобы Петрус остановился, тот поворачивает голову, но продолжает бежать. Вот она на заду съезжает со скользкого склона. Видит, как сломя голову мчится Хенрик, он предпочел расчищенную дорогу, вот он падает плашмя, поднимается, поскальзывается и опять падает. Петрус скрылся из виду у подножья холма, он осторожно держит Дага перед собой на вытянутых руках, Даг заливается криком. Як прыгает вокруг, плохо понимая, что происходит.

Выбравшись наконец из снега, Анна, с трудом волоча ноги, перебирается через снежный сугроб и медленно спускается по скользкому склону. У кромки воды стоит Хенрик, прижимая к себе сына. Петрус сидит на земле. Из носа у него льется кровь, губа разбита. Кровь капает на снег, он сидит, низко опустив голову, наклонившись вперед, не жалуясь, ладони вжаты в снег. Анна берет все еще орущего Дага, пытается успокоить его, он весь в слезах и соплях, волосы в снегу. У мостков стремнина не дает воде замерзнуть, бурлящая, пугающая, черная на фоне белой кромки льда вода. Хенрик хватает Петруса за шиворот, ставит на ноги, оба тяжело дышат. Анна направляется к дому, сопровождаемая Яком. Оборачивается. Хенрик бьет мальчика по лицу, бьет сильно, Петрус падает. Хенрик поднимает его и бьет еще раз, мальчик валится на бок и остается лежать.

Хенрик рывком поднимает его за воротник, ставит на ноги и тащит за собой по дороге. Он убьет его, равнодушно думает Анна. Петрус не плачет, лицо его распухло, все в крови, руки тоже в крови.

На следующее утро за кухонным столом в пасторской усадьбе сидит фру Юханссон. Хенрик стоит в дверях, на нем сапоги и полушубок, вязаную шапку он держит в руках. Во дворе ожидает лошадь, запряженная в сани.

Входит Анна, подталкивая в спину Петруса, они останавливаются посередине кухни. Як беспокойно виляет хвостом и перебирает лапами.

Анна. Добрый день, фру Юханссон.
Фру Юханссон. Добрый день, фру Бергман.
Анна. Прошу прощения за беспорядок. Обе девушки больны.
Фру Юханссон. Да везде так. На лесопильне половина рабочих хворает, а в школе учительница, так что ее замещает прежняя.
Анна. Кажется, Петрус все свои вещи собрал. Я положила ему с собой несколько книжек. Он ведь любит читать.

Петрус стоит, ни на кого не глядя. Слепой взгляд лишен всякого выражения. Один глаз заплыл, губа рассечена.

Фру Юханссон. Пастор все рассказал. Тут мало чего можно добавить.
Анна. Надеюсь, фру Юханссон, вы понимаете, что при сложившихся обстоятельствах мы не решаемся...
Фру Юханссон. Нет, нет, само собой. И говорить не о чем.
Анна. Ну что ж, прощай, Петрус.

Анна треплет его по щеке, он отклоняет голову.

Фру Юханссон. Тогда мы, пожалуй, поедем.

Она тяжело поднимается и жмет руку Анне: «Спасибо вам за терпение и заботу». Анна отводит глаза: «Жаль, что так все кончилось». Фру Юханссон смущена: «Вы с господином пастором все равно же не смогли бы вечно заботиться о мальчике».

Молчание. Наконец фру Юханссон хватает Петруса за шкирку и выталкивает в дверь. Хенрик берет чемодан, и они молча выходят на улицу. Як с ними — он любит кататься на санях. Хенрик помогает фру Юханссон и Петрусу устроиться, накрывает их меховой полостью, садится на козлы, понукает лошадь. Звенит колокольчик, экипаж скрывается за пригорком у ворот.

Анна смотрит им вслед. В ее душе великая тьма. Наконец она заставляет себя сбросить оцепенение и стучится в дверь прислуги. Там страшная теснота. Раскладушка Мии загораживает вход. Она лежит, свернувшись калачиком, лоб в испарине. Мейан сидит на раскладном диване и вяжет, глухо кашляя. Гудит кафельная печь, дребезжат железные дверцы, в комнате жарко, как в бане, воздух пропитан запахом пота и испарений.

«Завтра встану»,— решительно говорит Мейан. «Если температуры не будет,— отвечает Анна.— Как Миа?» — «По-моему, бредит. Такие чудные вещи говорит, что меня смех разбирает»,— говорит Мейан. «Надо бы проветрить здесь,— советует Анна.— Очень душно».— «И не подумаю выпускать такое доброе тепло»,— возражает Мейан, кашляя. «Ты эмсеровскую настойку пьешь?» — «Само собой. А Петруса, стало быть, отправили?» — «Да, он уехал».— «Мне этот парнишка всегда был не по душе,— решительно говорит Мейан, стуча спицами.— Может, все-таки я помою посуду?» — «Лежи!» — приказывает Анна и выходит на кухню, затворив за собой дверь.

У плиты стоит медный бак с горячей водой. Анна открывает кран, кипяток с шипением льется в таз. Она добавляет холодной воды и кусочек зеленого мыла (дефицитный товар). Потом ставит таз на мойку, отчего у нее заломило спину, но Анна целиком погружена в свою тьму, из глаз текут слезы. Она принимается мыть посуду, оставшуюся после вчерашнего ужина. Потом вдруг резко бросает это занятие и садится за кухонный стол. Плита шумит и потрескивает, а так — вокруг тишина. Необъятная тишина, придавившая Анну, столпом вздымается в ледяной космос.

Она просидела так довольно долго, может, даже немного вздремнула. У ворот раздается перезвон колокольчика, выходит сосед, одолживший сани. Хенрик здоровается, слезает с козел, передает вожжи. Они

перекидываются парой слов, Хенрик на крыльце оббивает снег с сапог. Анна встает и расправляет спину, что-то стала побаливать, не исключено, она тоже захворала, было бы неудивительно. Открывается и закрывается дверь. Анна моет посуду. Хенрик у дверей снимает полушубок. Анна моет посуду. Хенрик садится на стул и стаскивает сапоги. Анна моет посуду. Звякают стекло, фарфор, вилки, ложки, ножи. Хенрик сидит у окна, полушубок на коленях, сапоги возле стула, шапка и перчатки на столе. Он неотрывно смотрит на Анну, моющую посуду. Як лежит под столом.

Хенрик. Так оно лучше.
Анна моет посуду.
Хенрик. Здесь его нельзя было оставлять.
Анна моет посуду.
Хенрик. По-моему, он понял.
Анна гремит посудой.
Хенрик. Он даже не плакал.
Анна кладет в таз тарелки.
Хенрик. Почему ты не отвечаешь?
Анна молчит.
Хенрик. Так не пойдет, Анна!
Анна моет посуду.
Хенрик. У тебя нет ни малейшего основания так себя вести.
Анна прекращает мыть посуду, стоит.
Хенрик. Можно подумать, я во всем виноват.
Анна качает головой, моет посуду.
Хенрик. Прекрати мыть посуду, повернись!
Анна продолжает мыть посуду, не поворачивается.
Хенрик молчит.
Анна молчит.

Внезапно Хенрик встает, преодолевает расстояние, отделяющее его от Анны, вырывает у нее из рук тарелку и с грохотом швыряет ее на мойку — осколки летят во все стороны. Потом с силой берет ее за плечи и поворачивает к себе. Он тяжело дышит. Лицо подрагивает.

Хенрик. Говори со мной!
Анна. Ты порезался. Из пальца кровь идет.
Хенрик. Плевать.
Анна *(спокойно)*. Идем отсюда. Ни к чему девушкам нас слышать.

Вытерев руки о передник, она впереди Хенрика направляется в гостиную. Там пронизывающий холод.

Хенрик. Может, поднимемся ко мне в кабинет? Здесь чудовищно холодно.
Анна. Нет. Я перенесла Дага к нам в спальню. Мы будем топить только в спальне и в твоем кабинете. Что ты хотел мне сказать?
Хенрик. Поговори со мной.
Анна. Ни к чему.
Хенрик. Скажи что угодно. Только не молчи.
Анна. И это говоришь ты?

У Хенрика изо рта валит пар. Анна стоит спиной к окну, скрестив руки, спрятанные в рукавах шерстяной кофты, на груди. Синий передник Мейан ей явно велик. Волосы в беспорядке, лицо серое.

Хенрик. Скажи что угодно.
Анна. Я несу ответственность. Ответственность за Дага и за будущего ребенка. И эта ответственность велит мне уехать отсюда. Моя ответственность за ребенка важнее, чем моя лояльность по отношению к тебе.
Хенрик. Я не понимаю.

Анна. Я обязана забрать Дага и уехать. Ты желаешь остаться, ибо таково твое убеждение. Я уважаю твое убеждение, но не разделяю его.
Хенрик. И куда ты поедешь?
Анна. Куда, куда. Домой, естественно.
Хенрик. Твой дом здесь.

Анна молчит.

Хенрик. Ты не можешь причинить мне такую боль.
Анна. Я уже написала маме.
Хенрик. Какой козырь. Для нее.
Анна. Вот, значит, о чем ты подумал в первую очередь.
Хенрик. Я запрещаю тебе уезжать.
Анна. Ты не можешь ничего запретить, Хенрик.
Хенрик. И сколько ты собираешься там пробыть?
Анна. Когда ты возьмешься за ум, мы поговорим о будущем.
Хенрик. Каком еще будущем?
Анна. Я разговаривала с настоятелем, вернее, он разговаривал со мной. Он подчеркнул, что предложение остается в силе.
Хенрик. Стало быть, ты действовала у меня за спиной.
Анна. Можно и так сказать.

Изо рта у обоих валит пар. Стужа давит на лица и тела. Но они непоколебимы: Анна спиной к окну, Хенрик у двери.

Хенрик *(спокойно)*. Этого я тебе никогда не прощу.
Анна. Ну что ж, запомним. А теперь мне надо на кухню, домыть посуду.

Она проходит мимо него, он поворачивается, с силой хватает ее за руку, желая остановить, она высвобождается и смеется. Он бьет ее по лицу, она замирает, воззрившись на него.

Хенрик *(в панике)*. Давай уезжай! *(Кричит.)* Уезжай, к ч е р т у! Не хочу тебя больше видеть! Катись! Ты мне врала, ты тайком действовала за моей спиной. У е з ж а й! *(Кричит.)* Давай уезжай!

И он снова бьет ее по лицу. Она отступает, медленно подносит руку к щеке. Смотрит на него, не отрываясь, скорее ошеломленная, чем напуганная.

Анна *(тихо)*. Ты ненормальный.
Хенрик. Я знал, что так будет. Я знал, что ты меня бросишь. З н а я!

Не слушая его, она уходит на кухню, закрыв за собой дверь. Хенрик начинает кружить по комнате, холод через доски пола поднимается по ногам, добирается до живота, груди, подступает к горлу, рту, глазам.

Три дня спустя все готово к лишенному всякого драматизма отъезду. Анна сообщает, что едет с сыном в Уппсалу навестить свою мать — ее намерение все находят вполне естественным. Супруги разговаривают дружелюбно и вежливо. Пес Як молча льет слезы над чемоданами. Анна, укладывая вещи, ловит себя на том, что она напевает. Миа и Мейан поправились, и привычный домашний распорядок более или менее восстановлен.

Пастор провожает жену на станцию. Дует сильный ветер, поднимая молчаливые тучи крупитчатого снега, багровое солнце похоже на открытую рану, половина десятого утра. Они схоронились в зале ожидания, просторном помещении с проморенными стенами, привинченными к полу деревянными скамейками и внушительной железной печкой, которая больше раскаляется, чем греет. Миа, получив багажные квитанции на многочисленные чемоданы, переносит их на перрон к тому месту, где останавливается

багажный вагон. Хенрик с Анной в зале одни. Они сидят рядышком на скамейке, Хенрик держит Дага на коленях, но тот хочет на пол. Никто не произносит ни слова. Но вот раздается гудок паровоза, он с грохотом минует стрелку, в морозном воздухе повисают густые, белые облака пара.

Молельный дом представляет собой большую комнату с четырьмя высокими окнами, за ними — снежный буран и арктическая ночь. Голые деревянные стены, выкрашенные в зеленый цвет. На помосте трибуна и педальный орган. Позади трибуны висит черный деревянный крест. Две высокие железные печки обеспечивают обогрев помещения. Под потолком на железных крюках подвешены восемь карбидных ламп, дающих яркий сине-белый свет. В зале пятнадцать длинных скамеек без спинок. Несмотря на непогоду, явились все, зал полон, больше того, набит битком, люди стоят в проходах, сидят на полу — удушающе жарко, присутствующие обливаются потом.

Общее песнопение: «Когда несется грешник слепо навстречу гибели своей, на помощь поспешишь Ты с Милостью Твоей и крикнешь: Стой, грешный раб! Спасай скорее душу! Проснись, узри грехи свои!»

Хенрик обводит взглядом собрание, он стоит, прижатый к стене. Все поют, пурга бьется в окна, резкий свет карбидных ламп освещает бледные лица — старики, молоденькие девушки, семьи с детьми, парни в форме, одинокие. Его прихожане.

Они садятся, пересаживаются, устраиваются поудобнее, стоит тихий, перемежающийся кашлем гул. Пастор Левандер занимает место на трибуне. Прочитав тихую молитву, он поднимает глаза, обводит серьезным взглядом собравшихся и начинает говорить — высоким, пронзительным голосом.

Левандер. Привели к Нему глухого, косноязычного, и просили Его возложить на него руку.
Прихожане. Хвала Тебе, Господи!
Левандер. *Иисус* отведя его в сторону от народа, вложил персты Свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его;
Крики. Аллилуйя! Благословен Господь!
Левандер. И, воззрев на небо, вздохнул, и сказал ему: «еффафа́», то есть: «отверзись».
Крики. Еффафа, Иисус Спаситель мой!
Левандер. И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто.
Крики. Стал говорить, говорить. О Иисус! Иисус!
Левандер. И повелел им не сказывать никому. Но, сколько Он ни запрещал им, они еще более разглашали.
Крики. Прииди ко мне, Иисус! Отверзи мое сердце!
Левандер. И чрезвычайно дивились, и говорили: все хорошо делает: и глухих делает слышащими, и немых — говорящими. Аллилуйя, братья и сестры, давайте вместе воздадим хвалу Господу нашему Иисусу Христу за те чудеса, что творит Он для нас денно и нощно. Возвысим же с радостью наши голоса в хвале и молитве.

Запищал, заскрипел орган, но мощный хор тут же заглушил его.

Все *(поют)*. «Раздавленный законом грозным, Тобой ведомый, иду я к трону благодати, к подножию креста — спасенье там мне уготовано, и я очищусь кровию Христа. Там дух окрепнет мой, и в вере жизнь тебе дарована!»
Левандер. Благодать и мир от Бога нашего вам всем, но в особенности тому, кто явился из крайней тьмы, в особенности тому, кто есть раб своих деяний, в особенности тому, кто мнит себя отверженным и плачет кровавыми слезами, тому, кого душат злые его слова и помыслы, тому, чьи уста полны праха, а дух пропитан змеиным ядом. Благодать тебе! Благодать тебе от Иисуса Христа! Да смилостивится Он над тобой в эту ночь и подаст тебе мир!

Прихожане. Аллилуйя! Божья благодать! Христова любовь!
Левандер. Да выведет рука Божья заблудшего. Да узрит одинокий и мнящий себя отверженным уже сегодняшней ночью великий свет во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Прихожане *(кричат)*. Аминь, аминь, аминь.

Хенрик пытается пробраться к выходу — он задыхается от духоты и давки. Но вот присутствующие встают, на помосте появляется трубач. Это Тур Акселин из лавки, он член музыкального корпуса добровольного общества обороны.

Прихожане *(оглушительно)*. «Кровь Христова грех смывает. Иисус нам все прощает. Иисус к добру зовет. Благодать нам ниспошлет. Обрету приют надежный в глубине Христовых ран. Иисус всегда поможет, вечный мир нам будет дан».

Хенрик, уже пробравшийся к выходу, протискивается в дверь. Замечает удивленные лица, улыбки, перешептывание. И наконец выбирается из этой огромной, загадочной человеческой толпы, из этой человеческой плоти. Ледяные иглы в лицо. Боль-освобождение.

Фру Карин Окерблюм ждет поезда, который опаздывает из-за бурана, разразившегося над северным Уппландом. Женщины встречаются на перроне, но на проявление чувств времени нет. Внук капризничает, необходима твердая дирижерская рука: заранее нанятому городскому посыльному вручаются багажные квитанции, на улице ждет заказанный экипаж.

В дверях прихожей стоит Лисен, теперь можно и чувства излить — она ведь не видела сыночка; повсюду свет, тепло. Стол накрыт к ужину: ручной росписи английские чайные чашки. Анна и фру Карин быстро обходят квартиру, ее не узнать — еще один повод для проявления чувств. Столовая разделена пополам и превращена в кабинет с письменным столом и книжными полками, диван-кровать разложен на ночь. «Здесь буду спать я,— говорит фру Карин.— Ты с малышом займешь мою комнату, посмотри, какая уютная получилась! Я отделила треть гостиной и сделала из нее прелестную спальню. Мы купили кроватку для малыша, надеюсь, ему понравится».

После ужина надо уложить Дага, он засыпает, не успев дочитать вечернюю молитву. Лисен возится в своей комнате (единственно, что не претерпело изменений). Фру Карин и Анна запирают дверь. «Ну, дай мне наконец посмотреть на тебя,— говорит мать, обнимая Анну за талию,— посмотреть на тебя».

Женщины стоят на зеленом ковре гостиной, хрустальная люстра погашена, зеркальные стекла бра отражают нежные язычки свечей. «Я так ужасно соскучилась»,— говорит Анна. Мать, качая головой, гладит лоб и щеки дочери: «Как бы то ни было, а ты все-таки здесь, у меня».

Анна. Понимаешь, я чудовищно устала.
Карин. Естественно, ты же на третьем месяце.
Анна. Все заболели, мне стало страшно.
Карин. Когда у тебя срок?
Анна. По мнению местного доктора, в июле.
Карин. Сходишь к Фюрстенбергу. Я говорила с ним. Он примет тебя в понедельник.
Анна. Мама?
Карин. Да?
Анна. Будет лучше, если я... *(Замолкает.)*
Карин *(после паузы, осторожно)*. Что?
Анна. Я совсем сбита с толку, плакать хочется.
Карин. Ты целый день провела в дороге.
Анна. Я не собираюсь разрушать свой брак. Не собираюсь бросать Хенрика. У тебя, возможно, создалось неверное впечатление из моих писем.

Карин *(тихо)*. Иди сюда, Анна, давай посидим на диване. Как в старые добрые времена. Хочешь немножко хереса или коньяка? Я намерена выпить коньяка — ты тоже, да? После всей этой сумятицы.

Мать подает напиток и рюмки на маленьких круглых серебряных подносиках. После чего они устраиваются на приветливо-пухлом зеленом диване. Фру Карин ставит под ноги скамеечку, Анна сбрасывает тапочки (обе одеты и причесаны на ночь) и подбирает под себя ноги. На столике возле дивана стоит маленькая лампа с раскрашенным абажуром. Дверцы кафельных печей открыты, раскаленные угли подмигивают и мерцают. За вышитыми ширмами двойных рам проглядывают причудливые морозные цветы. Анна закрывает глаза. Фру Карин ждет. На улице звенит колокольчик саней. Домский собор отбивает три четверти, вдалеке.

Двенадцатого декабря 1917 года завод объявляет себя банкротом и прекращает все выплаты. Утром того же дня инженера Нурденсона находят мертвым в гостиной его дома. Он застрелился, сунув себе в рот штуцер. Полголовы припечаталось к книжным полкам.

В зыбком, льдистом утреннем свете перед запертыми дверями заводской конторы собралось человек сто. На доске объявлений выведенное четким почерком сообщение: «Выплаты не производятся». По ту сторону ворот стоят на посту два полицейских, вызванных из Вальбу. Ленсман с помощником сидят в большой гостиной, пытаясь вызвать на разговор фру Элин, которая, отвернувшись, с ничего не выражающим лицом и вежливой улыбкой отвечает: «Да, нет, не знаю. Он не делился со мной своими трудностями, в последнее время вообще со мной не разговаривал. Мой муж не хотел меня волновать, я ничего не знаю».

В пасторской конторе чудовищный холод. Чтобы хоть сколько-нибудь по-братски поделить ничтожное тепло, сражающееся с ледяным сквозняком из незаклеенных окон, настоятель приоткрыл дверь в свой кабинет. В данный момент ординарный священник занят служебными делами, а звонарь на пути в церковь, дабы починить, если то будет возможно, запавшую клавишу органа. Как только в мехи органа закачивают воздух, он издает пронзительный отчаянный звук, надобно его утихомирить.

Настоятель зовет своего помощника: «Не будет ли Хенрик Бергман столь добр зайти ко мне и закрыть за собой дверь. Садитесь, пожалуйста. Где новый звонарь? Не годится вот так уходить, даже не предупредив. Хотя, разумеется, он новенький и поет хорошо. Красивый голос у этого парня».

Хенрик. Он пошел в церковь чинить орган. Там в верхнем регистре клавиша запала. Он надеется, что сможет привести ее в чувство.
Граншё. Хенрик, тебе нужно сходить на завод, на случай если там потребуется твоя помощь, внутри или снаружи. Я останусь удерживать позиции здесь. В такую стужу у меня страшно болят тазобедренные суставы, едва могу передвигаться, там бы я был только помехой.
Хенрик. Иду немедленно. *(Встает.)*
Граншё. Девочки Нурденсон дома или уже уехали к бабушке?
Хенрик. Уехали.
Граншё. Присядь на минуту.
Хенрик. Да?
Граншё. Как дела?
Хенрик. Прекрасно.
Граншё. Я слышал, Анна уехала в Уппсалу.
Хенрик. Верно.
Граншё. А сын?
Хенрик. Матери Анны захотелось наконец-то увидеть внука.
Граншё. Она вернется к Рождеству?
Хенрик. Не знаю.
Граншё. А ты в о о б щ е знаешь, когда она вернется?

Хенрик. Нет.
Граншё. Что произошло?
Хенрик. Простите, но я не готов к исповеди. Я могу идти?
Граншё. Разумеется.
Хенрик. Не хочу показаться невежливым и ценю ваш интерес, но мне кажется, сейчас, когда завод стоит на пороге катастрофы, обсуждать мои личные обстоятельства не ко времени.
Граншё. Катастрофа завода — свершившийся факт. Твою катастрофу можно предотвратить.
Хенрик. Что-нибудь еще?
Граншё. Хочу подчеркнуть, что предложение остается в силе.
Хенрик. Предложение? Для меня оно не актуально.
Граншё. Стало быть, я могу написать соответствующему лицу и сообщить, что для Хенрика оно не представляет ни малейшего интереса. Ты хочешь этого?
Хенрик. Был бы премного благодарен.
Граншё. Премного благодарен. Принято к сведению.
Хенрик. Я знаю свое место.
Граншё. А твоя жена?
Хенрик. Она тоже приняла решение.
Граншё. Иди, Хенрик Бергман. И принеси пользу.

Хенрик, отвесив вежливый поклон старику, возвращается в контору. Застегивает полушубок, натягивает перчатки, в сенях надевает меховую шапку. Сухие глаза свербит от бессонницы. Внизу, у поворота на завод, ему навстречу попадается Магда Сэлль, она приветливо здоровается.

Магда. На завод идешь?
Хенрик. Дядя Самуэль послал.
Магда. Ходят слухи, что пришлют войска.
Хенрик. Неужели дела так плохи?
Магда. Не знаю. Но об этом говорили. Когда возвращается Анна?
Хенрик. Точно не знаю.
Магда. Нам надо обсудить проведение базара. Теперь, наверное, придется его отложить.
Хенрик. Дядя Самуэль в конторе.
Магда. Я как раз за ним. В такие морозы он едва ходит. И боли бедного мучают беспрерывно.
Хенрик. Я дам о себе знать.

Магда что-то говорит, но Хенрик уже шагает по холмистой дороге к заводу. На железнодорожной станции стоит паровоз с прицепленными к нему пустыми товарными вагонами. Кругом ни души. Смеркается. Свинцово-серое освещение.

На площадке перед конторой и по другую сторону ограды черно от людей. Ленсман забрался на лестницу, прислоненную к стене склада. Напрягая голос, он говорит, что стоять здесь бесполезно. «Все должны разойтись по домам и ждать известий, которые поступят завтра или послезавтра. Представитель Государственной комиссии по безработице уже в пути, обсуждается возможность возобновления работы к Новому году. У завода есть невыполненные заказы, кредиторы, собравшиеся сейчас в Евле, разрабатывают планы по дальнейшей эксплуатации предприятия. Итак, я прошу вас разойтись по домам. Расходитесь по домам. Пожалуйста, идите домой. Повода для беспокойства нет. И в первую очередь нам не нужны беспорядки».

Твердый снежок ударяет в стену. Ленсман ошеломленно смотрит на место, куда попал снежок, потом переводит взгляд на молчаливую толпу. Похоже, он собирается что-то сказать, но передумывает, слезает с лестницы. Люди расступаются. Хенрик обескуражен. Он узнает своих прихожан, но не осмеливается приблизиться к ним. Идет мимо молчаливых группок, изредка здороваясь, ему отвечают.

Инженер Нурденсон лежит на кожаном диване в своем кабинете. Голова перевязана, из-под бинтов видно лицо, крупный нос выпирает больше обычного, тонкие губы приоткрыты, обнажая верхний ряд зубов, кожа в пятнах, черная щетина, красные веки. Он по-прежнему одет в изгвазданный халат, рубашку без воротничка, мешковатые брюки и тапочки. Горит только одна лампочка под потолком, поэтому углы погружены в темноту.

К Хенрику подходит фру Элин, трогает его за руку. Она держит письмо, написанное четким почерком Нурденсона.

Элин. Это его прощальное письмо. Вы, может быть, хотите послушать, что он пишет. *(Не ожидая ответа, начинает спокойным голосом читать.)* «Последние годы, точнее говоря, последние два года я почти каждый вечер запирался в своем кабинете и засовывал в рот дуло ружья. Не стану утверждать, будто я пребывал в особенном отчаянии. Просто хотел поупражнять свою волю перед неизбежным. Будет большим облегчением уйти в окончательное и, как я себе представляю, абсолютное одиночество. Я обеспечил своих близких, Элин и девочек, экономические трудности им не грозят. У меня нет ни малейшего повода просить прощения за собственную смерть, хотя она и причинит целый ряд практических и гигиенических хлопот. Нет у меня и повода просить прощения за свою жизнь. Меня, как известно, привлекали всякого рода игры. Изредка я выигрывал, это было любопытно, но в принципе это меня не волновало. Сама жизнь — одна из банальнейших игр, игра, в которую я был вынужден играть в основном по чужим правилам. О случайности тут и речи не было. Возможно, иногда я играл против самого себя. Если так, то это единственный смешной момент. Сейчас я пьян, пьян достаточно и потому ставлю точку».

Фру Элин, опустив письмо, прерывисто дышит, словно всхлипывает без слез. Смущенно улыбается.

Элин. Вы не прочитаете молитву, пастор?
Хенрик. Нет, не думаю.
Элин. Вы не считаете...
Хенрик. Не думаю, чтобы инженеру Нурденсону понравилось, если я бы начал читать здесь молитвы. *(Пауза.)* Вы говорили с девочками, фру Нурденсон?
Элин. Они останутся у бабушки на Рождество.
Хенрик. Могу я чем-нибудь помочь? *(Беспомощно.)*
Элин. Нет, спасибо. Передайте настоятелю Граншё, что я приду в контору завтра утром, обсудить похороны.
Хенрик. Непременно передам.
Элин. Тогда разрешите мне поблагодарить вас, пастор, за то, что вы пришли.

Хенрик не отвечает, он лишь пожимает ей руку и откланивается. По дороге домой он проходит мимо заводской конторы. Она по-прежнему закрыта, но в окнах горит свет, и внутри двигаются незнакомые господа в шляпах и пальто — разговаривают, вынимают папки, сидят за столами, перелистывают бумаги. Поднялся ветер, с черных ледяных просторов Стуршёна метет густая поземка. Над опушкой леса повисла зеленоватая, колеблющаяся полоска света. Причал и дорога пустынны. Народ разошелся по домам. Беспорядков не было. Кто-то лишь пульнул снежком, да и то мимо.

Анна нарядилась в длинное серо-синее шелковое платье с высоким лифом и широким поясом под грудью, широкими рукавами, овальным вырезом, туфли на высоких каблуках с ремешками, ажурные шелковые чулки, на шее колье, в ушах серьги. Свои густые волосы она заплела в косу, достающую до талии, надушилась и накрасила черной тушью ресницы. Сын Даг впервые в жизни обряжен в белый матросский костюмчик, белые гольфы и новые блестящие туфли. На фру Карин серое

платье из тонкой шерсти с кружевным воротником и широкими манжетами. Седые волосы собраны в замысловатый пучок на затылке. Фрёкен Лисен в честь праздника надела черное выходное платье, брошь, маленькие золотые сережки, в волосах настоящий черепаховый гребень, на ногах выходные скрипящие ботинки.

В таком снаряжении три женщины и малыш Даг собираются справлять самое грустное в истории Дома Рождество. Елка, стоящая в простенке между окнами гостиной, в традиционном убранстве. Несмотря на кризис и карточную систему, горит множество свечей. Под елкой лежат подарки, упакованные в разноцветную бумагу. Мерцает хрустальная люстра, в зеркалах бра многократно отражается пламя свечей. На столе — рождественские ясли, дециметровые фигурки воссоздают библейский сюжет. Благодаря скрытой электрической лампочке, обернутой в красную папиросную бумагу, свет струится от фигур Девы Марии и Младенца. Потрескивает огонь, постреливая снопами искр в защитный экран.

Ровно в пять раздаются громовые удары в дверь, и в комнату вваливается дядя Карл, выряженный Дедом Морозом. «Просто кошмар! — кричит он.— Кошмар! Свихнуться можно! А! Черт подери! Есть здесь какие-нибудь милые детки? Или только скучные старухи да сбежавшие от мужей жены? Ладно, ладно, мамхен, буду серьезным, но я чуть от смеха не лопаюсь, когда вижу ваши старания, с ума сойти. Итак, равнение на середину: есть здесь какой-нибудь славный малыш?» Дядя Карл поворачивается лицом в жуткой маске к четырехлетнему мальчику, который тотчас начинает плакать. Карл сдирает с себя маску, сажает Дага на колено и принимается играть на губе, одновременно трубя носом. Мальчик, затихнув, с восхищением взирает на одутловатое, кроткое лицо, которое гримасничает и наигрывает разные мелодии. «Теперь я заслужил рюмочку,— вздыхает дядя Карл, надевая пенсне.— Черт подери, ну дамы и вырядились! Глазам не верю».

«Пора за стол,— говорит фру Карин, беря мальчика за руку.— Ты будешь сидеть с бабушкой».

На кухне все так, как бывало всегда. «Здесь не пахнет ни кризисными временами, ни голодом»,— говорит Карл, хлопая в пухлые ладоши. «Мы сначала решили не праздновать Рождество в этом году,— объясняет фру Карин.— Но потом передумали. Нельзя лишать мальчика привычного праздника».

Несколько часов спустя силы истощены, маски потрескались, свечи в держателях и подсвечниках мигают и умирают, огонь в печах чахнет и тлеет, воцаряется сумрак. Даг заснул в своей все еще слишком большой кровати в окружении подарков. Дядя Карл сник на зеленом диване. Язык у него заплетается, а в паузах он задремывает. Лисен сидит на стуле с прямой спинкой, сложив руки на шелке платья, и не отрывает взгляда от свечи на елке, которая, помигав, гаснет, потом вдруг опять разгорается почему-то голубоватым пламенем.

Фру Карин и Анна устроились в креслах, лицом к кафельной печи, они смотрят на тлеющие угли, погрузившись в тепло, уже пахнущее пеплом.

Карин. Я начала перед сном выпивать по рюмке коньяка. И помогает, и согревает.
Анна. Помогает?
Карин. Плохо стала спать.
Анна. У тебя ведь никогда не было бессонницы.
Карин. Это время прошло. Раньше в штормовые дни я прекрасно спала. А теперь уже нет. *(Пьет.)*
Анна. Спасибо большое, мамочка, за замечательный сочельник.
Карин. По-моему, было ужасно.
Анна. Даг вполне доволен.
Карл *(хрюкает)*. Я тоже весьма доволен, мамхен.
Карин. Спасибо, милый Карл, ты очень добр. *(Потягивается.)* Я не отличаюсь большой чувствительностью, отнюдь. Но мне хотелось плакать.

Несколько раз возникало такое желание. И тогда я сказала;себе: ты сошла с ума, Карин Окерблюм, чего это ты расхныкалась?
Карл. Надо быть храбрым. *(Тихонько хихикает.)*
Анна. Сегодня утром пришло письмо от Хенрика.
Карин. Я не хотела спрашивать.
Анна. Пишет, что все хорошо.
Карин. Приятно слышать.
Анна. Передает привет.
Карин. Спасибо, передай ему тоже, когда будешь писать.
Карл *(шмыгает носом)*. Я предупреждал его. Берегись, черт тебя задери, семейства Окерблюм, говорил я.
Анна *(не обращая внимания)*. Он будет служить рождественскую заутреню в большой церкви. Часовню пока закрыли. Там печка сломалась.
Карин. Значит, у него все в порядке.
Анна. Вроде бы. На праздники он отослал домой Мейан и Миу. Они с Яком ходят на долгие лыжные прогулки.
Карин. А как он справляется с едой?
Анна. Его часто приглашают обедать к настоятелю.
Карин *(пьет)*. Как хорошо, что у него все в порядке.
Анна плачет.
Карин смотрит на дочь.
Лисен, обернувшись, смотрит на Анну.
Карл. Ну, Деду Морозу пора в гостиницу. Спасибо за сегодняшний вечер, дорогая мамхен. Спасибо, фрёкен Лисен. Спасибо, Анна-плакса. *(С нежностью.)* Никакого сладу с тобой. Дай я тебя облобызаю. Поплачь, душенька! Женщины плачут, чтобы у них глаза красивее были. Да, да, мамхен. Я ухожу. И завтра мы не увидимся, потому что я утром еду в Стокгольм. Нет, нет, я сам справлюсь. Сиди, сиди же, черт побери. Я не слишком пьян. Костюм Деда Мороза оставлю в гостинице. Да, кстати, передай привет братцам и поздравь их от меня с Новым годом. Впрочем, нет, н е передавай привета. Есть пределы моей способности к лицемерию. Сегодня вечером я их достиг и перешел. До Нового года новых поступлений не будет.

Хлопает дверь прихожей. Карл насвистывает на лестнице. Лисен, взобравшись на стул, задувает последние свечи на елке. Потом желает спокойной ночи и исчезает на кухне, где убирает со стола и наводит порядок. Карин протягивает руку и ловит руку дочери.

Карин. Тебе холодно?
Анна. Нет, нет, тепло.
Карин. Твоя ладонь.
Анна. Знаю. Когда мне грустно, руки и ноги просто леденеют. Ты же помнишь. (*Без перехода.*) Мне так страшно за Хенрика: меня совесть из-за него замучила.

Итак, Хенрик на неопределенное время отослал домой Миу и Мейан. После чего проявил практические и организационные таланты: в частности, предпринял эффективное сокращение линии фронта и перебрался в опустевшую комнату для прислуги. Таким образом, он может бороться с космической стужей. Плита топится круглосуточно, стенка, прилегающая к плите, и кафельная печь поддерживают тепло. В остальном же порядок в доме соблюдается скрупулезно: он ежедневно моет посуду, застилает раскладной диван, экономно расходует керосин, пополняя его запасы по мере надобности, чистит свое пасторское облачение, гладит брюки, раз в день ест горячую пищу. Все необходимое приносит сосед, который ежедневно ходит по делам в лавку. Каждое утро Хенрик на лыжах отправляется в пасторскую контору — получасовая прогулка, если дорога нормальная. Домой возвращается в сумерках. Як следует по пятам, сторожит, горюет, правда, о непостижимом отсутствии Кое-кого, но со своими обязанностями справляется.

Хенрик пишет проповеди за кухонным столом, обычно он одет в просторный вязаный жакет с длинными рукавами и большим воротником, теплый, как шуба. Брюки заправлены в серые носки, на ногах деревянные сабо. Он отрастил бороду, которую подстригает забытыми Анной ножничками для ногтей. Он перенес в каморку книжный шкаф с любимыми книгами: Толстой, Рюдберг, Фрёдинг, Лагерлёф, Вальтер Скотт, Жюль Верн, Альберт Энгстрём и Натан Сёдерблюм.

Будильник отмеряет время — старое чудовище из жести и латуни, звонок которого способен разбудить мертвого, мирно тикает. Гудит огонь в плите, пастор сидит за кухонным столом, сочиняя новогоднюю проповедь. О смоковнице, не желавшей плодоносить, и заботливом виноградаре: «господин! оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом: Не принесет ли плода...»

Он зажигает свою хорошо обкуренную трубку: табак настоящий, рождественский подарок настоятеля, который только что бросил курить. Хенрик втягивает в себя мягкий сладковатый запах. Як спит на ковровой подстилке под столом, ноги его подрагивают, он тихонько рычит. Вдруг он вскакивает и замирает у двери, кто-то движется там, у ворот, кто-то на финских санках. Хенрик выходит в сени, плотно прикрыв за собой дверь, чтобы не выпустить тепло. Магда Сэлль дергает входную дверь, крыльцо черного хода из-за ночной метели превратилось в большой сугроб.

Магда. Добрый день, Хенрик, желаю тебе приятных праздников. Я принесла тебе и Яку кое-что вкусненькое. Дядя Самуэль приглашает тебя встретить с нами Новый год. Нас будет немного — семь-восемь человек.

Магда Сэлль протягивает корзину. Высокая, широкоплечая женщина заполнила собой сени. Из-под платка выбивается прядка волос с проседью, завитком падая на лоб, щеки и благородный нос покраснели от холода. Черные глаза смотрят на Хенрика бесхитростно, губы улыбаются. «Неужели так и будем здесь стоять? — спрашивает она, дружелюбно смеясь.— Не угостишь чем-нибудь горяченьким?» Она стаскивает с себя валенки: «Пальцы на ногах окоченели. Несмотря на валенки. Можно я поставлю их у плиты? Здесь так тепло и уютно. Вот как! Значит, ты переехал в комнату для прислуги, а из кухни устроил себе кабинет. Так, так! Я вижу, пастор готовит свою проповедь, а я мешаю, но я ненадолго. Просто немножко посижу, дух переведу. Кофейник горячий. Нальешь чашечку? А у тебя, как я посмотрю, прибрано. И посуду моешь».

Она сбросила с себя тяжелую шубу и шаль, концы которой перекрещены на груди. «Свитер стащила у дяди Самуэля, а юбке уже лет двадцать, но в этом климате это то, что нужно. Чего это Як рычит, сердится, что я тебе мешаю?»

Магда. Как дела?
Хенрик. Хорошо. Отлично.
Магда (*улыбается*). Это хорошо.
Хенрик. Судя по твоей улыбке, ты мне не веришь.
Магда. Но, Хенрик, милый...
Хенрик. Разве м о ж е т одинокий мужчина, покинутый своей женой, справляться сам? Исключено, правда?
Магда. Это был просто вежливый вопрос.
Хенрик. А я тебе вежливо отвечаю. Хорошо. Я хорошо себя чувствую. У меня все в порядке. Приспособился.
Магда. Ты, кажется, сердишься.
Хенрик. За свою интонацию я не отвечаю. Ты прилетаешь на финских санках, до краев переполненная сочувствием. И ставишь меня в затруднительное положение. Я не соответствую твоим ожиданиям.
Магда. Но, дорогой Хенрик! (*Смех.*)
Хенрик. Я тебе кое-что открою, Магда. Я из породы одиночек. На самом деле я всегда был одинок. Время, проведенное с Анной и сыном, сбило меня

с толку. Оно совершенно не совпадало с моим прежним опытом. Например, я воображал, будто существует некое особое счастье, предназначенное только мне и ждущее меня за углом. Анна заставила меня поверить в нечто подобное. Анна и Даг. Я был до смешного благодарен. И, как я уже сказал, сбит с толку.
Магда. Ты говоришь убедительно... но все-таки, мне кажется...
Хенрик. Нет никаких «но», Магда! Как ты видишь, я совершенно спокоен, говорю спокойным голосом. Если у меня прорвалось раздражение, то по чистой случайности. Мне не нравится, когда ко мне пристают. Перестань приставать, и я обещаю, что буду дружелюбным и разговорчивым.
Магда (*улыбается*). Я признаю, что ожидала увидеть убитого горем человека, которого я утешу приветливыми словами и остатками рождественской ветчины.
Хенрик (*улыбается*). Ценю твою заботу. Я рад тебе.

Магда ставит чашку на плиту, берет стул и садится напротив Хенрика, раздумчиво глядя на него.

Магда. Я беседовала с дядей Самуэлем. Ты знаешь, что он к тебе хорошо относится. В последнее время он сильно сдал. Ну ладно, мы говорили о тебе, мы начинаем понимать, что ты твердо решил остаться в здешнем приходе, несмотря на все трудности. *(Хенрик порывается что-то сказать.)* Подожди немножко, Хенрик, дай мне договорить. У нас с дядей Самуэлем есть предложение. Сейчас ты должен спросить: что еще за предложение? И хорошо бы в твоем голосе было хоть чуточку заинтересованности.
Хенрик (*милостиво*). Что еще за предложение?
Магда. Просто-напросто ты переедешь к нам в усадьбу. Мы можем элементарно при минимальных расходах переоборудовать правый флигель в твое личное жилье. (*Со сдержанным энтузиазмом.*). Внизу у тебя будут гостиная и кухня, наверху — спальня, а по другую сторону лестницы — кабинет с видом на озеро. Мы бы нашли тебе помощницу, которая убиралась бы и готовила. Она может жить в большом доме, у нас несколько комнатушек на мансарде. (*Сдерживает энтузиазм.*) Думаю, церковный совет и коммунальные чиновники будут весьма довольны. Они смогут, не испытывая угрызений совести, закрыть часовню и пасторскую усадьбу.
Хенрик. Часовню закрывают?
Магда. По крайней мере, на зиму.
Хенрик. Я об этом не слышал.
Магда. Вчера у дяди Самуэля был Якобссон. Они обсуждали возможность закрытия. На зиму. Отопление стоит больших денег.
Хенрик. Удивительные новости.
Магда. Не обижайся. Это не новости, просто разговоры. Никакого решения без обсуждения с тобой принято не будет. Надеюсь, ты это-то понимаешь?
Хенрик. А если Анна вернется?
Магда. Ты в ё р и ш ь, что Анна вернется?
Хенрик. Ничего окончательно не решено. Она уехала в Уппсалу на несколько месяцев. Ребенок должен родиться в июле.
Магда. И потом она вернется?
Хенрик. Откуда такая недоверчивость, дорогая Магда? Почему бы ей не вернуться? Разве двое молодых людей не имеют права пожить несколько месяцев отдельно, чтобы проверить свои чувства?
Магда. Только что ты говорил очень убедительно.
Хенрик. Убедительно?
Магда. О своем одиночестве. «Я всегда был одинок и всегда буду одинок. Совместная жизнь с Анной сбила меня с толку». И так далее.
Хенрик. Именно так я чувствую с е й ч а с. Через несколько месяцев, или недель, или, быть может, завтра я, возможно, изменю мнение.
Магда. Ты любишь спорить, верно?
Хенрик (*смеется*). С риском ввязаться в спор я отвечаю: нет, нет, вовсе нет. В обычной жизни я нерешительный, бесхарактерный и чуточку трусоватый человек. Как правило, мне кажется, что все остальные правы, а я ошибаюсь.

Магда. Тебе идет борода.
Хенрик. Выражает мою истинную сущность? Или, может, признак лени — не надо греть воду каждое утро. И бриться.
Магда. Разве не здорово было бы, если б ты переехал к нам во флигель, как считаешь?
Хенрик. А ты?
Магда (*улыбаясь*). Играли бы в шахматы, в карты, слушали бы музыку, читали вслух, вкусно ели. Были бы вместе, а, Хенрик?
Хенрик. Да, да. Конечно.
Магда. О чем ты думаешь?
Хенрик. О том, что хотел тебе сказать, когда ты меня сбила, заговорив о моей бороде.
Магда. Прости. (*С улыбкой.*) Так что же ты хотел сказать?
Хенрик. Я думаю, что лучше всего себя чувствую, живя на краю света. В буквальном и переносном смысле. Тогда я достигну той твердости, той ясности... мне приходят на ум лишь банальные слова для чего-то очень важного. Магда, попытайся понять меня. Я должен жить в лишениях. Тогда, т о л ь к о т о г д а я, быть может, получу возможность стать хорошим священником. Таким, каким я х о ч у быть, но никогда не м о г. Я не создан для великих свершений, я не особенно умен — говорю это без всякого кокетства. Но я знаю, что стал бы добросовестным виноградарем, если бы жил без оглядки.
Магда. Сейчас ты говоришь очень убедительно. Я отхожу в сторону.
Хенрик. В твоем голосе звучит ирония.
Магда (*мягко*). Не ирония, а слезы.
Хенрик. Да, слез придется пролить немало.
Магда (*проводит рукой по его щеке*). Я пойду, пока не поздно. Я имею в виду, что уже темнеет. Счастливо закончить проповедь.
Хенрик. Она будет о смоковнице, которая отказывалась плодоносить. И господин сказал: сруби ее, на что она и землю занимает?
Магда. Знаю, знаю. И виноградарь ответил: дай мне обиходить ее и увидим, не принесет ли плода...

Хенрик обнимает ее, какое-то время они стоят так, покачиваясь, потеряв дар речи. Потом она высвобождается и рукой убирает волосы со лба.

Хенрик. У меня все хорошо, Магда. Не слишком весело, но хорошо. Каждый день я заставляю себя встречаться лицом к лицу с самим собой. Занятие тоскливое, но опыт неоценимый.
Магда. Но на новогодний обед ты ведь можешь все-таки прийти?
Хенрик (*улыбаясь*). Не думаю.
Магда. Тогда до свидания.
Хенрик. Спасибо, что зашла.

Магда начинает одеваться. Валенки. Шаль на голову, тяжелая шуба, варежки. Як встал, он доволен, что гостья, очевидно, собирается уходить.

Магда. Похороны Нурденсона состоятся в Сундсвалле, там есть крематорий. Дядя Самуэль настаивает, чтобы мы туда поехали. Они же были, как ни странно, друзьями. Я видела их склоненными над шахматной доской: зрелище редкостное, поверь. Дядя Самуэль — такой добрый, похожий на ангела. И Нурденсон — мятущаяся душа из преисподней, демон. У тебя правда замечательная борода. Надеюсь, Анна будет довольна.
Хенрик. Анне не нравится, когда я с бородой.
Магда. Как жалко!
Хенрик. Ты наверняка успеешь домой до темноты.

Дверь кухни захлопывается. Входная дверь сопротивляется, снегу намело еще больше. С глухим стуком она закрывается. Магда размашистыми шагами идет к воротам, толкая впереди себя финские санки. Корзину она забыла на мойке.

И вот Хенрик остается один.
Он кричит? Нет.
Плачет, склонившись над кухонным столом? Вряд ли.
Ходит взад-вперед по выстуженной столовой?
Такое не исключено, но нет.
Что же он делает, как вы думаете?
Садится за стол и углубляется в свою неоконченную проповедь.
Раскуривает трубку. Зажигает керосиновую лампу.
На мгновенье взглядывает в окно.
Тусклые сумерки, снег.
Стужа.

На этом игру можно было бы и закончить, ведь всякий конец и всякое начало произвольны, ибо я описываю кусок жизни, а не рассказываю побасенку. Тем не менее я решил добавить *эпилог*, он целиком и полностью плод моей фантазии. Никаких документальных свидетельств о первой половине 1918 года не осталось.

Как бы там ни было, сейчас весна, начало лета, июнь. Студенты сдали экзамены, отпраздновали, отвеселились, отпелись и исчезли, профессора и доценты, опустив роликовые шторы, разъехались по дачам. Улицы пустынны, парки пламенеют и источают ароматы. Тени от деревьев стали гуще. Кротко журчит Фюрисон. Трамвай ходит вдвое реже, внезапно появляются старушки в черном, всю зиму не казавшие носу из дома. Они прибирают могилы, подглядывают в зеркальца-сплетники, спрятавшись за занавесками, сидят на скамейках в Ботаническом саду или Городском парке, грея на солнышке суставы и кости.

Солнечным утром четверга в семь часов в начале июня к выложенной камнем грузовой платформе Центрального вокзала Уппсалы прибывает товарняк. К хвосту состава (так было в то время) прицеплены два допотопных пассажирских вагона с деревянными скамейками, плевательницами и железной печкой, но без малейших признаков удобств. Единственный пассажир сходит на перрон. Ресторация уже открыта, он заказывает бесхитростный завтрак (выбор небогат, кризис в разгаре). Потом идет в уборную, умывается, бреется и надевает чистую рубашку. На нем опрятный темный костюм, жилет, твердый воротничок и черный галстук. Предметы первой необходимости помещаются в потрепанном черном портфеле, который он вкупе со шляпой и плащом сдает в камеру хранения.

После чего размеренным шагом он поднимается вверх по Дроттнинггатан и сворачивает на Трэдгордсгатан, где занимает пост напротив дома номер двенадцать, тщательно укрывшись за воротами, ведущими во двор Училища. Никого не видно. Трамвайчик со скрежетом скрывается за пригорком. На Лебедином пруду крякают утки. Светит солнце, тени укорачиваются. Домский собор бьет десять.

Но вот открывается дверь, и Карин Окерблюм выходит на резкий белесый свет. Она везет прогулочную коляску, Даг идет рядом, крепко держась за подлокотник. Затем показывается и та, что придерживала двери. Это Анна. Под светлым платьем вырисовывается огромный живот, на ногах белые ботинки. На голове ничего. Летнее пальто брошено в коляску. Маленькое общество сворачивает направо и медленно направляется к Лебединому пруду. Хенрика, который не спеша следует за ними по противоположному тротуару, скрытому от глаз глубокими тенями деревьев и домов, они не видят. Женщины останавливаются, и фру Карин сажает мальчика в коляску, он становится на колени лицом вперед и с довольной миной обозревает окрестности. Движение возобновляется. Фру Карин говорит что-то дочери, Анна, склонив голову на левое плечо, с улыбкой отвечает. Обе улыбаются, разговор, очевидно, шел о малыше.

Обойдя Лебединый пруд, они останавливаются перед рестораном «Флюстрет», только-только открывшим свое летнее кафе. Хенрик стоит по другую сторону пруда. Даг кормит уток. Анна дает ему кусочки хлеба из

бумажного пакета. Фру Карин что-то говорит, Анна смеется. Он слышит ее смех, хотя и стоит далеко. Дует ветерок, он-то и доносит до Хенрика смех.

Анна вынимает из коляски свое пальто и книжку, наклонившись, завязывает шнурок на ботинке, поворачивается к сыну, что-то ему говорит и целует его. Потом выпрямляется, кивает фру Карин и неспешным шагом направляется к тенистому покою Городского сада. Хенрик идет следом.

Она устраивается на скамейке под сенью лип. По другую сторону гравиевой дорожки плещется фонтан, окруженный роскошными клумбами. Она тяжело садится, выгибает спину, убирает со лба волосы (ведь ветерок) и раскрывает книгу.

Хенрик прячется поблизости. Может, он невидимка, может, он здесь лишь мысленно, может, это сон. Он разглядывает ее: склоненная голова, темные ресницы, закинутая за спину коса, руки, держащие книгу, огромный живот, до чего громадный, ботинок, выглядывающий из-под юбки. Она переворачивает страницу, отрывается от книги, поднимает глаза, плещется фонтан, шелестят от ветра липы, жужжанье среди цветов, певчий дрозд упрямо повторяет одну и ту же мелодию, где-то вдалеке кричит паровозный свисток. Я здесь, совсем близко, ты не видишь меня? Она опускает книгу на скамейку, ладони тоже прижаты к скамейке. Ты не видишь меня? Нет. Да. Ее взгляд устремляется в его сторону, она увидела его, закрывает лицо руками, застывает в неподвижности.

Анна. Что тебе надо?
Хенрик. Просто внезапный порыв. Услышал, что ночью пойдет товарняк.
Анна. Что тебе надо?
Хенрик. Не знаю. Я хочу сказать, что я... (*Замолкает.*)
(*Анна молчит.*)
Хенрик. Я все время думаю о тебе и малыше. Невыносимо тоскую.
Анна. Я не вернусь, ни за что.
Хенрик. Знаю.
Анна. Никогда, что бы ты ни говорил.
Хенрик. Знаю.
Анна. Я чудовищно страдала. Чувствовала себя предательницей. Сейчас уже лучше. Не рви мне душу снова. У меня больше нет сил.
Хенрик. Тебе не надо возвращаться, Анна. Обещаю. Я написал протопресвитеру и принял предложение. Осенью мы переезжаем в Стокгольм.

Он замолкает и переводит взгляд на фонтан. Анна ждет. Оба взволнованы, их бьет внутренняя дрожь, но говорят они спокойно, спокойными голосами. Она сидит здесь, он там. На разных скамейках.

Анна. Что ты хотел сказать?
Хенрик (*улыбаясь*). Я не слишком талантливый мученик. Благих намерений недостаточно.
Анна. Возможно, мы никогда не сумеем простить друг друга.
Хенрик. Значит, ты не хочешь продолжать?
Анна. Ты же знаешь, что хочу. Только этого и хочу. Это мое единственное желание.

Что еще надо и можно сказать, они не знают. Поэтому долго молчат, погрузившись в собственные мысли, каждый на своей скамейке. Анна наверняка занята практическими вопросами, связанными с предстоящим переездом. Хенрик думает, как ему заставить себя смотреть в глаза прихожанам в оставшееся время.

Форё, 29 октября 1988 г.

ЛЮБОМИР ФЕЛЬДЕК

Перевод со словацкого ОЛЕГА МАЛЕВИЧА

От переводчика

«Homo scribens» — так назвал Любомир Фельдек одну из своих книг и тем самым определил собственное назначение в этом мире. Он не поэт, не драматург, не прозаик, не детский писатель, не переводчик, не эссеист, ибо он — все это вместе. Человек пишущий...

В 1992 году вышел итоговый сборник Фельдека-поэта «Улыбающийся отец». Последний, восьмой, раздел в нем (семь предыдущих включают в себя стихи из семи сборников, изданных автором ранее) озаглавлен «1989». Фельдек был одним из тех, кто на братиславских площадях делал «бархатную» революцию. 29 ноября 1989 года, в день, когда чехословацкое Национальное собрание отменило статью конституции о руководящей роли компартии, Фельдек вышел из второго ряда почетного президиума, сидевшего на сцене Словацкого национального театра (в первом ряду сидели Вацлав Гавел, певица Марта Кубишова и другие диссиденты и жертвы павшего режима), и сказал:

«Как видите, я сижу во втором ряду. Этим я хочу сказать, что сижу во втором ряду и в переносном смысле слова. ...В первом ряду сидят те, кто все предшествующие двадцать лет сумели прожить на вольном пространстве духовной свободы, хотя физически часто находились в тюрьме. А во втором ряду сидим мы, которые все эти двадцать лет физически были свободны, хотя и жили в духовной темнице. Лишь с трудом сквозь стену этой тюрьмы мы пробивали брешь к первым».

Сейчас словацкий поэт Любомир Фельдек — в первом ряду. Ибо он снова борется. Борется с духовными наследниками нацизма. На заборе его дома кто-то малюет: «Чех!» (этот «кто-то» дознался, что в жилах Фельдека словацкая кровь течет вперемешку с чешской), «Жид!» (кто-то выяснил, что писательница Ольга Фельдекова, жена этого живого классика словацкой детской литературы и мать его пятерых детей, наполовину еврейка). Но Фельдек не сдается и в духе народных ярмарочных песен издевается над «ура-словакизмом».

Начав с эпатажа, со студенческих выходок в жизни и стихах, вкусив «соленый хлеб» родины в глубинке, попытавшись огородить себя и свою семью «меловым кругом» духовного отшельничества, Фельдек совершил затем, подобно Сирано де Бержераку, сатирическую вылазку на Луну (сборник «Словак на Месяце»), и вот уже второе десятилетие печатает лирические «примечания к эпосу» наших дней. Его поэзия — поэзия парадоксов и оксюморонов, всегда опрокидывавшая привычные нормы и понятия, разрушавшая стену между «поэтическим» и «прозаическим», по-прежнему несет в себе заряд молодого бунтарства.

Перед колибой [1]

1

Дым костра между нами
как вода над которой склоняюсь
чтоб увидеть мое лицо в полнолунии твоего
и мой глаз
как сильный молодой мужчина
кидает в огонь два прекрасных деревца
твоего взгляда

А поодаль от костра колода
будто зачарованный путник
многое видевший издали
и теперь неспособный забыть и уйти
голова в росе
а ноги горячи
словно кто-то сидит у костра
но первую папиросу
по привычке зажигает от спички

2

Ты спишь за дверью колибы рядом с матерью
словно на дне глубокой реки
что течет у другой под дном
как ночь под днем
или это ночной ливень
заливал костер

и все же утром
ты словно во сне
приходила ко мне из колибы
вечерние угли не гаснут

3

Утро как молодой сильный мужчина
что вольготно шагает по склону
и видит множество молодых красивых женщин
выходящих из палаток
и спешащих к ручьям
а когда они склоняются над водой
чтобы увидеть улыбку на дне
над ней
расцветают и опадают улыбки
и вода ласкает стройные ноги
поднимаясь по шкале как гаммы в клавирной школе

Молодые красивые женщины будто ветви
жарко жестикулируют на холодном ветру
пока вдруг не становятся пронизанным ветром гнездом
ожидающим прилета птиц

[1] Колиба — пастушья хижина в горах.

© Ľubomir Feldek, 1970

А утро вольготно шагает меж тем
навстречу ветру
как мужчина который уже выбрал ту
что выберет его
И вот сейчас перед колибой
он прислушивается к родным голосам
и оценивает их на глаз готовый откликнуться на глас

своей будущей пробуждающейся жены
точно птицеголосый ветер
что трепещет поодаль в пастушьей свирели
и становится звуком
прекрасным и смертным
как сердце

Лéпеши

В детстве мне хотелось знать,
в самом ли деле мой отец над жизнью и смертью.
Что касается жизни — вне всяких сомнений,
ведь он породил меня.
А вот как со смертью? Приговорил ли судья Фельдек
кого-то хоть раз к виселице или расстрелу?

«Нет, ни разу,— ответил отец.—
Мне претило и пожизненное заключение.
Только однажды, вскоре после окончания войны,
когда сверху меня стали упрекать
за слишком мягкие приговоры,
мне стало известно,
что некий Лепеши,
бывший эсэсовец,
бежал из-под стражи за границу.
Заочно я дал ему
пожизненный срок.
Беглеца схватили
где-то близ города Аш,
и приговор обрел силу...»

Лет десять спустя
отец продолжил рассказ:
«Не было для меня минуты ужасней той,
когда нас выстроили на плацу

и заключенный, стоявший сзади,
прошептал мне на ухо:
«Вы судья Фельдек?
Меня зовут
Лепеши...»
Отец замолчал
и после долгой паузы добавил:
«Я на свободе, а он все еще сидит».

Тут отец ошибался.
На свободе была только тень, не тело.
А тени мало радости от свободы.

Отец мертв.

Но дело его живет.
Двое приговоренных к пожизненному сроку:
я и Лепеши.

Любовь на лугу

Расстилаю под тобой луг хотя бы на ту минуту,
пока из твоих лопаток не прорастут крылья.

Зайчик танцует на холме,
перебрасывая вечернюю звезду с уха на ухо.

Сломанный цветок стоит на коленях у твоей головы
и просит принять в дар последнее благоуханье.

По горизонту бегут
зеленые от зависти
рощи!

Нас еще двое — но вот уже вместо нас
по лугу скачет кентавр!
Скачет полуконь-полуженщина!
Мечется полумужчина-полурыба!
В беспамятстве полумуж-полужена!
А под них положена
полуземля, полузвезда...
...И вот вновь у каждого из нас свои ноги,
и твое сердце колотится в моем теле...

В капкане

Приятель пожаловался: «Ты заметил? Мы постоянно
в каком-то капкане...» Пожалуй, он прав. Я вкладываю
лист бумаги в капкан пишущей машинки. Раздвигаю
капкан занавесок. Оказавшись в капкане слабого зренья,
ищу очки. Рассеянность — тоже капкан. По дороге
идет женщина с детской коляской и брюхом. Ребенок
в капкане коляски. Ребенок в капкане брюха. Женщина
в капкане детской коляски и брюха. И все трое
в капкане дороги Е 75 —
да и тротуар здесь в таком состоянии,
что каждый год кто-то высвобождается из проклятого капкана жизни.
А животное? Что оно делает, оказавшись в капкане?
Так же, как и нам, ему не вырваться из капкана.
Говорят, однако, лисица отгрызает попавшую в капкан лапу
и уходит на трех... Вот видишь, приятель,
кроме этих наших капканов
есть еще нечто: скулишь от боли, истекаешь кровью,
но хоть и на краткий миг — тебе все же достается капкан свободы.

Тристан Тцара играет в шахматы с Лениным

В январе
1916 года
в Цюрихе

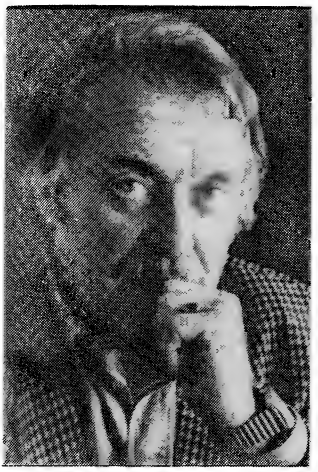
в «Cafe Terasse»
сели за шахматную доску
два малознакомых человека.

Тцара играл черными,
делал бессмысленные ходы
и выкрикивал при этом слова,
которые вскоре войдут
в манифест дадаизма:
«Да здравствует анархия!
Смерть порядку!
Да здравствует случайность!
Долой закон!»

Ленин качал головой:
«Вы не правы, приятель!
От плохого порядка не избавишься,
пока его не заменишь лучшим.
И лишь хороший закон
может восторжествовать над плохим!»
При этом старался не подать виду,
что готовит революцию, которая победит,
так же как он в этой шахматной партии.

А поскольку оба партнера спешили
выполнить свою историческую миссию,
ответную партию они отложили.
«У меня найдется свободное время лет эдак через сто»,—
рассмеялся Ленин.
«Отлично! В таком случае — до встречи в аду! —
воскликнул Тцара.—
Но там я уже буду играть белыми!»

■



ПАВЕЛ КОГОУТ

Мерзость

ПЬЕСА

Перевод с чешского В. КАМЕНСКОЙ

Молодому поколению читателей имя Когоута, видного чешского прозаика и драматурга, пожалуй, ничего не говорит. Но старшее поколение помнит, какой успех имели его пьесы в нашей стране. В 1952 году трое молодых ленинградских переводчиков (в том числе пишущий эти строки и переводчик публикуемой ниже пьесы «Мерзость») в соавторстве с поэтом Л. Друскиным перевели пьесу П. Когоута «Хорошая песня». Замечательный режиссер Н. П. Акимов поставил ее на сцене театра им. Ленсовета. На тогдашнем драматургическом безрыбье и эта наивно-оптимистическая и наивно-назидательная пьеса казалась «рыбой». К тому же в спектакле дебютировала одна из будущих «звезд» БДТ З. Шарко. Но настоящую широкую популярность у нас принесла Когоуту другая пьеса, затрагивавшая проблемы личных отношений смелее, чем это было принято тогда в советской драматургии,— «Такая любовь» с блеснувшей Ией Савиной в главной роли. Пьеса с предисловием С. Образцова была опубликована в «Иностранной литературе» (1957, № 12). В конце 40-х — начале 50-х годов П. Когоут был как бы «официальным» поэтом Чехословацкого союза молодежи, чем-то вроде чешского Роберта Рождественского, но вскоре в его творчестве появились «фрондерские» мотивы. А после выступления на IV съезде чехословацких писателей 1967 г. он снискал славу и политического фрондера. Во время «пражской весны» Павел Когоут возглавлял партийную организацию столичных писателей и был одним из авторов «Заявления» в поддержку нового курса Дубчека, под которым были собраны тысячи подписей граждан Чехословакии. После «дружеской» оккупации Когоут был исключен из партии, лишен возможности печататься, выселен из пражской квартиры. В конце 1976 года вместе с Вацлавом Гавелом он составляет манифест «Хартия-77», ставший программой борьбы за права человека, которая завершилась в конечном счете «бархатной» революцией.

6 января 1977 г. документ был перехвачен органами государственной безопасности еще до того, как его успели передать в Национальное собрание. Уже на следующий день Павел Когоут и его жена Елена (тоже драматург и киносценарист) оказались в пражской тюрьме Рузине. У Когоута это была не первая встреча с «органами». Еще в 1974 году его вызвали на Бартоломейскую улицу и подвергли допросу, а потом выяснилось, что ему просто хотят вручить... паспорт. Как и в предыдущий раз, Когоута и его жену освободили. В 1978 году ему была присуждена Большая австрийская государственная премия, а венский Бургтеатер пригласил его в качестве литературного консультанта. Когоуту с женой разрешили выехать за границу, но зато не пустили назад. Их недобровольная эмиграция кончилась только в ноябре 1989 года. О своей политической и нравственной эволюции на протяжении того периода, который можно назвать «от советских танков на улицах Праги в мае 1945 г. до советских танков на пражских улицах в августе 1968 г.», Когоут рассказал в книге «Из дневника контрреволюционера», вышедшей за границей в 1969 году. Позднее в мемуарном романе «Где зарыта собака» он поведал о том, как «органы безопасности и правопорядка» преследовали не только его с женой, но и их собаку Эдисона. Продолжал Когоут работать и над драматическими произведениями, где также писал о судьбах диссидентов в Чехословакии. Выдающейся актрисе В. Храмостовой, лишенной права выступать на профессиональной сцене и вынужденной играть в «домашнем» театре, посвящена пьеса «Мария борется с ангелами» (1981).

Одноактная пьеса «Мерзость» входит в его триптих, включающий в себя также пьесы «Аттестация» и «Сафари». Герой их — писатель Ванек, знакомый читателям нашего журнала по пьесе Вацлава Гавела «Протест», напечатанной в седьмом номере за 1990 г. Образ Ванека, созданный Гавелом и вобравший и некоторые черты автора, оказался настолько жизненным и привлекательным для единомышленников будущего президента, что с разрешения Гавела к нему обратились в написанных вслед за Гавелом пьесах и недавний министр иностранных дел Чехословакии Иржи Динстбир, и популярный актер Павел Ландовский.

В основу пьесы П. Когоута, изданной в 1981 г. в Гамбурге, легли реальные факты, связанные с созданием «Хартии 77» и арестом Гавела.

Премьера ее в немецком переводе состоялась в Геттингене в 1982 г.

Итак, спустя тридцать с лишним лет П. Когоут снова на страницах «Иностранной литературы». Как и многие другие чешские писатели, он возвращается к русскому читателю.

О. МАЛЕВИЧ

Посвящается осужденному ВАЦЛАВУ ГАВЕЛУ, писателю, лауреату Большой австрийской государственной премии по европейской литературе, в настоящее время находящемуся в Исправительно-воспитательном заведении, Гержманице, п/02, Острава, 13, 71302

Действующие лица

Фердинанд Ва́нек — писатель
Первый следователь — 40 лет
Второй следователь — 50 лет
Третий следователь — 60 лет
Четвертый следователь — 30 лет (но играть его может и актер, исполняющий роль Первого следователя — в другом парике)
Марушка — 25 лет
Франтик — 20 лет

Место действия

Кабинет в Следственном управлении Комитета государственной безопасности, Прага, Рузине.

Время действия

Понедельник, 11 января 1977 года.

Помещение, обставленное казенной мебелью. Письменный стол, на нем лампа на шарнире, телефон. За столом — три деревянных кресла, перед столом — стул. В стороне — столик для машинистки, возле него еще один стул. Опечатанный металлический шкаф, служащий сейфом. Вешалка. Диван с ядовито-зеленой обивкой. Пыльные шторы прикрывают зарешеченное окно, за которым виден корпус тюрьмы напротив. Портрет президента. Выцветший плакат, призывающий к созидательному труду. Грязный умывальник с разбитым зеркалом, вода из крана течет. Единственная дверь, ведущая в коридор, распахивается. В сопровождении практиканта Франтика появляется Ва́нек в накинутой на плечи короткой спортивной куртке на меховой подстежке, в правой руке он несет сумку, которую можно вешать через плечо. На Франтике разноцветная модная заграничная лыжная куртка. Он закрывает дверь. Отдаленные звуки: во дворе кто-то командует «раз-два-три-четыре»... топот ног; приглушенные приказы и шум строящихся солдат будут повторяться довольно часто.
Краткий, но выразительный этюд: ожидание. Постепенно Ванек успокаивается, начинает замечать окружающую обстановку. В конце концов он настолько осваивается, что у него появляется нормальная реакция на происходящее.

Ванек. Можно хотя бы присесть?

Франтик пожимает плечами.

(*Глянув на часы и заметив, что они стоят, огорченно снимает их с руки, трясет, снова надевает*). Не могли бы вы сказать, который час?

Франтик пожимает плечами.

Это что, государственная тайна?

Франтик показывает ему на запястье, где нет часов.

Извините. *(Стоит, смущенный тем, что он кого-то несправедливо обидел.)*

Слышны чьи-то приближающиеся шаги, предупреждающий свист, и то и другое разносится в коридоре гулким эхом. В дверях появляется симпатичный человек в кожаной куртке (ему около сорока). Под мышкой он несет длинный рулон, ест яблоко. В недоумении возвращается в коридор, проверяет номер на двери, затем снова входит.

Первый. Я вижу, вас тут маловато. Ну да ладно, не имеет значения. Садитесь.

Оба, удивленные, не трогаются с места.

Первый *(Ванеку.)* Садитесь, товарищ! *(Молодому человеку.)* Не бойтесь, все осилим! Главное — не унывать!

Оба наконец садятся.

(Развернув настенную схему автомобильного мотора, после некоторого колебания вешает ее на выключатель под портретом президента). Ну-с, начнем. Автомобильные моторы большей частью бывают... вы! *(Показывает на Ванека.)*

Ванек растерянно молчит.

(Показывает на Франтика). Вы!

Франтик *(вскочив).* Внутреннего сгорания! *(Садится.)*

Первый. Правильно. И делятся на... *(Показывает на Ванека.)*

Ванек растерянно молчит.

(Показывает на Франтика). Вы!

Франтик *(вскочив).* Двухтактные и четырехтактные. *(Садится.)*

Первый. Хорошо. И их работа обеспечивается чем? *(Показывает на Ванека.)*

Ванек *(уже опомнившись, встает).* Простите, но...

Первый. Сперва попытайся ответить.

Ванек. Бензином...

Первый показывает на Франтика.

Франтик *(вскочив).* Запасом горючего. *(Садится.)*

Первый. Ясно. *(С укором Ванеку.)* Ай-ай-ай! Придется тебе хорошенько потрудиться, товарищ, если хочешь когда-нибудь заиметь водительские права.

Ванек. Права у меня есть.

Первый. Есть?! Можно на них взглянуть?

Ванек, поставив сумку на стол, одной рукой извлекает из нее водительские права.

(Небрежно раскрывает книжку, глядя при этом на Ванека). Тогда что ты тут делаешь?

Ванек показывает на Франтика.

Франтик, вытянувшись в струнку, протягивает Первому сложенную бумажку.

Вы не ошиблись, товарищ? Тут должен быть мотокружок.

Франтик отрицательно качает головой.

(Пожав плечами). Что ж это я... *(Идет к телефону, не спуская с Ванека глаз, набирает трехзначный номер.)* Что-то мне ваше лицо знакомо. Где же я вас видел, товарищ? Не в клубе ветеранов?

Ванек. Нет...

Первый *(подает ему свободную руку).* Моя фамилия — Влтавский.

Ванек *(неуверенно).* Ванек...

Первый *(заглянув в водительские права).* Ага, ты и есть тот самый Франта Ванек из дактилоскопии?

Ванек. Нет, я...

Первый. Ах да, вижу — Фердинанд. Извините. *(Наконец дозвонился.)* Влтавский. Где вы пропадаете, Марушка? Вы бы лучше брали из дому вязанье. А где должен быть мотокружок? Ну и идиот я! Чао. *(Положив трубку, улыбается Ванеку.)* Слыхали анекдот о маразматике, который пришел к доктору и спрашивает, не знает ли тот, зачем он к нему пришел?

Ванек. Нет...

Первый *(снимает и сворачивает в рулон схему).* Так вот, приходит, значит, к доктору маразматик и спрашивает: «Не знаете ли, доктор, зачем я к вам пришел?» *(Смеется.)* Да ведь я этажом выше! *(Внимательно приглядывается к Ванеку.)* Но мы же с тобой знакомы!

Ванек. Право, не знаю...

Первый. Ты в прошлом году не отдыхал в Румынии, товарищ?

Ванек. Меня за границу не пускают.

Первый. Тебя не... минуточку... можно поинтересоваться твоей... вашей профессией?

Ванек. Я писатель.

Первый *(от удивления садится на стол)*. Фердинанд Ва... Не может быть! *(Начинает декламировать.)*

Прости, что коротко мое посланье
и, может быть, совсем не те слова...

Помните, как дальше?

Ванек. Нет...

Первый. Называлось «Письмо из армии». *(Продолжает декламировать.)*

Не знаю, что еще сказать мне на прощанье —
Да и к чему? Ведь ты всегда права.

Как давно это было! Меня призвали после технического училища, в шестьдесят седьмом — и я нашел это в своей тумбочке. Тогда, скажу вам честно, я только посмеялся, в то время в моде было совсем другое, а это, не сердитесь, казалось, точно из прошлого века. Но потом Верушка, девчонка моя, написала, что у нее есть ухажер, и я решил: застрелюсь. Такому мальчишке *(показывает на Франтика)* вечно кажется, что лучшей не найдешь. Я как раз должен был заступать в караул и получить боевые патроны, перед уходом заглянул в тумбочку — там была наклеена Верушкина фотокарточка, и вдруг одна строка так меня и резанула:

Ты пишешь, что тебе самой неловко.
Боишься, как бы не стряслась беда...
Жизнь защищать должна моя винтовка.
Не застрелюсь! Не бойся. Никогда!

Когда меня сменили на посту, я напился — и дело с концом. Через месяц познакомился с Ярушкой, а теперь у нас трое сорванцов. И за все, честно говоря, я должен благодарить вас. Факт. Мы с Ярушкой частенько вас поминаем добрым словом.

Ванек. Но ведь это...

Первый. Позавчерашний день, знаю. Пишете что-нибудь новенькое? Когда появится?

Ванек. Да ведь я с шестьдесят восьмого запрещен.

Первый. Все еще? Я думал, с этим давно полный порядок. А почему вы тут? Ведете у нас литературный кружок? Я хоть и увлекаюсь машинами — но если бы литературный кружок вели вы...

Ванек. Меня арестовали.

Первый. Что вы говорите?! *(Франтику.)* А это не ошибка?

Франтик. Я принял его у ворот от оперативной службы.

Первый. Так ведь и они могут ошибиться! Дайте-ка взглянуть еще раз!

Ванек. Думаю, они не ошиблись...

Первый *(изучает бумажку)*. Но вы не арестованы. Вы только вызваны как свидетель.

Ванек. Тогда почему в моей квартире вышибли дверь?

Первый. Они у вас... А не могло им показаться, будто у вас пожар?

Ванек. У нас ничего не горело.

Первый. Возможно, кто-нибудь им позвонил, что горит. Или что к вам забрались воры. Вы не поверите, сколько хулиганья так забавляется!

Ванек. Думаю, меня арестовали... *(Поправляется.)* Или, возможно, вызвали на допрос. Очевидно, она их страшно интересует.

Первый. Кто она? Как ее имя?

Ванек. Не имя, а название, Хартия.

Первый. А это что еще такое?

Ванек. Такая... гражданская инициатива.

Первый. И что же в ней преступного?

Ванек. Ничего. Мы воспользовались своим правом обратиться с петицией.

Первый. И зачем им вас из-за нее арестовывать?

Ванек. Но ведь факт, что арестовали! *(Увидев, что Первый собирается возразить, поправляется.)* Во всяком случае — вызвали на допрос.

Первый *(изучает бумажку)*. Сам факт еще ни о чем не говорит. *(Франтику.)* Кто ожидает пана Ванека?

Франтик. Не знаю.

Первый. А что вам сказали у ворот?

Франтик. Чтобы привел его сюда и посторожил.

Первый. Знаете что, сбегайте поговорите с начальником.

Франтик. С начальником?

Первый. Если его нет — с секретаршей.

Франтик. Что сказать?

Первый. Мол, кто-то из оперативников вышиб у пана Ванека дверь. Пускай их враз успокоит и прикажет, чтобы мигом починили!

Франтик. Есть! *(Открывает дверь.)*

Первый. Стойте! Скажите, что пана Ванека беру я.

Франтик. Есть!

Первый. Стойте! И пускай мне подадут машину.

Франтик. Есть! *(Подождав немного, выходит; шаги его некоторое время слышны в коридоре.)*

Ванек. Спасибо...

Первый. Не за что. Когда вернется, отвезу вас домой. Если дверь не будет починена, я им покажу!

Ванек. Вы очень любезны.

Первый. Это моя обязанность. Я не хотел говорить при молодом человеке, он еще практикант, но между нами: эти молодчики малость переусердствовали. А коли уж тут служишь, ясное дело — хочешь, чтобы у органов была хорошая репутация.

Ванек. Главное, чтобы... тут ведь в пятидесятые стряпались такие процессы!

Первый. Процессы?

Ванек. Сланский... Вы этого не знаете — были казнены десятки ни в чем не повинных людей.

Первый. В общем и целом... Припоминаю. Но я с этим, пан Ванек, не имею ничего общего. Факт. Я тогда еще под стол пешком ходил.

Ванек. Я лишь хотел сказать, что те, кто тут работает, постоянно должны об этом помнить.

Первый. Я не собираюсь взывать к вашей совести, пан Ванек, но ведь это больше по вашей части, а?

Ванек. По... моей?

Первый *(с пафосом декламирует)*:

Мы страха и сомнения не знаем —
и к этому нас партия зовет:
мы на удар ударом отвечаем!
За Готвальда, за Сталина — вперед!

Вам это еще нравится?

Ванек. Нет.

Первый. Но когда-то нравилось?

Ванек. Нет.

Первый. Зачем же вы это писали, пан Ванек?

Ванек. Я этого не писал.

Первый. Как так?

Ванек. И то первое, которое вы тут...

Первый. Кто же их написал?

Ванек *(собирался что-то сказать, но передумал)*. Я не хочу здесь называть никаких фамилий.

Первый. Черт побери, пан Ванек, мы же говорим только о поэзии!

Ванек. Но здесь...

Первый. Здание не виновато, что тут, возможно, когда-то нарушалась закон-

ность. Как и пражский Град не несет ответственности за то, что в нем жил Гитлер! Сегодня там живет товарищ Гусак... *(Предпочитает не развивать тему.)* У меня чистые руки!

Ванек. Ваши предшественники тоже не родились с окровавленными руками.

Первый *(вздохнув)*. Ну да... Слыхали анекдот о невесте, как она перед свадьбой спрашивает у матери, что ей делать, чтобы муж не узнал, что она не девица, а мать ей и говорит: «Сунь туда бритву»?

Ванек *(смутившись)*. Нет...

Первый. Так вот. Перед свадьбой невеста обращается к мамаше: «Матушка, как бы мне сделать, чтобы муж не узнал, что я не девица», а мамаша отвечает: «Сунь туда бритву!» *(Смеется, неожиданно серьезно.)* Так это правда не ваши стихи? Постойте, кажется, их написал Когоут? Верно?

Ванек пожимает плечами.

Боже мой, я ведь могу и дома посмотреть. У вас, писателей, одно плохо: что написано пером — того не вырубишь топором.

Ванек пожимает плечами.

Удивляюсь вам. Как получилось, что сегодня вы с ним на одном корабле? Ведь он никогда не был вам по душе. Это же типичный карьерист!

Ванек. Тогда почему он запрещен?

Первый. Да бросьте вы! О нем никто и не вспоминает!

Ванек. Вы сами только что читали его сти... *(Не договаривает.)*

Первый. Значит, вспомнили? Ничего, ничего... Да снимите же наконец куртку, пан Ванек, пожалуйста...

Ванек. Не стоит. Вы же говорили...

Первый. Видите ли, мы — учреждение, да к тому же помещаемся в тюрьме, здесь каждая вещь должна быть на своем месте. Я повешу, потом возьмете, чтобы вы не простыли... *(Помогая Ванеку снять куртку, замечает, что у него рука на перевязи.)* Господи, что с вами? Надеюсь, не они вас...

Ванек. Всего-навсего воспаление сухожилий.

Первый. А я было испугался. Отчего же вдруг? Копали на даче, я угадал?

Ванек. Когда я долго пишу, рука начинает болеть. А потом...

Первый. А кое-кто думает: быть писателем — это лежать на диване и плевать в потолок. Присядьте. *(Указывает на стул перед столом.)* Сигарету?

Ванек. Спасибо... сейчас нет...

Первый *(закуривает, пододвигает пачку сигарет и зажигалку к Ванеку)*. Если вдруг захочется. Но крепкого кофейку выпьете? *(Тут же набирает номер.)* Марушка? Влтавский. Пусть нам принесут сюда кофе покрепче.

Ванек. Спасибо, я не хочу.

Первый. Выпейте, кофе всегда полезен. Ну да, Марушка, отличное настроение. *(Вешает трубку.)* Слыхали анекдот о женихе, как он после брачной ночи сидит и говорит супруге: «Так ты даже кофе сварить не умеешь?»?

Ванек *(нерешительно)*. Нет...

Первый. Так вот. Сидит, значит, жених после брачной ночи за завтраком и говорит супруге: «Так ты даже кофе сварить не умеешь?» *(Смеется, потом серьезно.)* Что вы сказали о той... ну, я еще подумал, что это женщина...

Ванек *(машинально)*. О Хартии.

Первый. Ага! Это что, Когоут придумал?

Ванек пожимает плечами.

Он ведь такой горлопан! Не выходит с пьесами — делает себе рекламу другим способом. А потом еще сердится, что попал сюда.

Ванек. Я тоже попал сюда.

Первый. Ну, вы — другое дело.

Ванек. Почему другое?

Первый. Хотя бы потому, что вы никогда не были коммунистом, кроме того, вы — порядочный человек.

Ванек. Тогда почему я здесь?

Первый. В этом наверняка разберутся. Лично мне вы раз в десять симпатичней, чем... *(указывает куда-то, на воображаемого Когоута)* именно потому, что вы никогда не делали себе рекламы. Потому и теперь пишете, в то время как он вынужден сочинять разные Хартии. Разве не так?

Ванек. Мне неизвестно, он ли сочинил Хартию.

Первый. В то время как вы сидите дома и корпите. До того, что рука начинает болеть.

Ванек. И еще вы мне вышибли дверь.

Первый. Пан Ванек, это уже игра не по правилам. Я велел ее починить.

Ванек. Знаю, простите.

Шаги, входит Франтик.

Франтик. Приказано доложить, что товарищ начальник отсутствует.

Первый. Чертова работенка. Вы спешите, пан Ванек?

Ванек. Разумеется... мне же надо писать...

Первый. Чертова работенка! *(Смотрит на часы.)*

Ванек *(тоже посмотрев на часы)*. Не знаете, который час? Мои остановились...

Первый. Наши конторские, видно, тоже.

Ванек. Я не в претензии.

Первый. Вот и прекрасно.

Ванек. Мои упали, когда к нам ломились...

Первый. Скоро три. Вы торопитесь, пан Ванек?

Ванек. Да ведь... надо же писать...

Первый. И что-то печатают? Хотя бы за границей...

В коридоре стук дамских каблучков; дверь распахивается — входит пышногрудая, модно одетая черноволосая девица, на граммофонной пластинке несет пластмассовые чашки, от которых поднимается пар.

(Как бы по рассеянности сует водительские права Ванека в карман). Спасибо, Марушка, вы славная... Боже, на чем вы принесли?!

Марушка *(ледяным тоном, не глядя на него)*. Надо было заказать в буфете. Франтик, возьми скорее!

Франтик помогает ей поставить чашки на стол.

Первый *(отерев пластинку рукавом)*. Как-никак это вещественное доказательство... *(Марушка на него даже не взглянула. Ванеку.)* Знаете эту пластинку? Вальсы Штрауса. У вас есть такая?

Ванек. Я не очень люблю вальсы Штрауса.

Первый. Тут, между прочим, не музыка, а разные ехидные текстики. Лебединые песни эмиграции.

Марушка уже в дверях бросает на Первого выразительный взгляд.

Спасибо, Марушка. Сахар положили? *(Ванеку.)* Я забыл спросить, вы пьете с сахаром?

Ванек. Спасибо, я правда не буду.

Первый. Не любите кофе?

Ванек. Здесь — нет...

Первый. Думаете, мы его отравили? Или плюнули в вашу чашку? Слыхали анекдот, как посетитель в ресторане спрашивает официанта, принесшего суп, зачем он держит палец в тарелке, а тот и говорит, у него, мол, в большом пальце ревматизм и надо держать его в тепле. Посетитель рассердился, лучше бы, говорит, вы сунули палец себе в задницу, а официант ему: «До этого я его там и держал». *(Смеется.)* Ты слышала этот анекдот, Марушка? Нет? Ну так вот, посетитель спрашивает официанта...

Марушка окидывает его ледяным взглядом.

(Как можно спокойней). Вам что-нибудь нужно?

Марушка. У меня пацан в детском саду.

Первый. Не бойтесь, Марушка, не опоздаете. Представьте себе — это писатель Фердинанд Ванек! Вы бы попросили его подписать на память книжку... *(Встретив ледяной взгляд.)* для вашего мальчика, когда подрастет...

Марушка. Я попрошу. *(Ультимативно.)* До четырех — и ни минутой позже! *(Уходит, стук каблучков удаляется.)*

Первый. Возьмите все-таки.

Ванек отрицательно качает головой.

Но почему?

Ванек. Как она вас нашла?

Первый. Кто, Марушка? Обыкновенно...

Ванек. Да ведь вы должны были находиться этажом ниже.

Первый. За кого вы меня принимаете, пан Ванек? Я, знающий ваши стихи лучше вас...

Ванек. Это не мои стихи!

Первый. Как вам будет угодно. С этим соглашусь, но ваши сомнения несправедливы. Это точно!

Ванек. Но все-таки каким образом она вас нашла?

Первый. Если это вас интересует, пойду справлюсь у нее. *(Захватив рулон, быстро выходит, шаги за дверью удаляются.)*

Ванек *(Франтику)*. Простите, где здесь клозет?

Франтик. Что?..

Ванек. Уборная.

Франтик. Не знаю. *(Заметив удивление Ванека.)* Я сам тут первый раз.

Ванек. Значит, мы с вами в одинаковом положении. А может, вместе бы и нашли?

Франтик. Нельзя.

Ванек. Как это?

Франтик. Только когда придет товарищ.

Ванек смиряется.

Приближаются энергичные шаги. Дверь распахивается — в кабинет, как танк, врывается мужчина в возрасте Ванека, высокий, крупный, в мятом, неопределенного цвета костюме, вид у него грозный. В руке он держит блокнот. Франтик вытягивается по стойке смирно. Ванек медленно встает. Мужчина шумно плюхается в кресло, достает из ящика стола пачку чистой бумаги и несколько карандашей, с треском швыряет все это на стол перед Ванеком. Вытаскивает из кармана газету «Стадион», разворачивает и заслоняется ей. Удивленный Ванек взглядом ищет у Франтика объяснения, но тот отводит глаза.

Ванек *(после паузы)*. Простите...

Второй *(из-за газеты, лаконично)*. Да!

Ванек. Тот пан, что был перед вами, обещал отвезти меня домой...

Второй. Когда напишете.

Ванек. Что?

Второй. Все!

Ванек *(растерянно)*. Я бы...

Второй *(все еще из-за газеты)*. Писать не умеете?

Ванек растерян.

(Вдруг отбросив газету, пододвигает к себе пачку бумаги, подгребает карандаши, хватает один из них и, даже не взглянув на Ванека, выкрикивает). Тогда диктуйте. Ну, живо: кто эту Хартию выдумал, кто помогал, где это писалось и как попало за рубеж?

Ванек растерян.

(Кричит). Я вас слушаю!

Ванек пришел в себя, но продолжает молчать.

Ничего не слышу, пан Ванек!

В а н е к. Наверное, потому, что я ничего не говорю.

В т о р о й *(орет)*. Кончайте шутить! Вы тут не в театре, а в Комитете госбезопасности!

В а н е к *(тихо, но твердо)*. На каком основании я должен это определить?

В т о р о й. Что, что?

В а н е к. За последний час мне довелось видеть несколько неизвестных, которые вышибли у меня дверь, затем парочку других, которые безо всяких объяснений доставили меня сюда, одного любителя поэзии да вот этого паренька, который не знает, где тут... А теперь врываетесь вы и, не представившись, начинаете на меня кричать. И из этого я должен сделать вывод, что нахожусь в Комитете госбезопасности?

В т о р о й. Экие вы все нежные, когда наступишь вам на мозоль! С нами вы так не деликатничали.

В а н е к. Кто — мы, и с кем — с вами?

В т о р о й. Осторожней на поворотах, меня на такую удочку не поймаешь, я из шахтеров! Живо: автор Хартии?

В а н е к. Фердинанд Ванек.

В т о р о й. Смотри ты, выходит, мы попали в самую точку!

В а н е к. Я вам только представился. Могу я узнать вашу фамилию?

В т о р о й. Не могёте. Написали или нет?

Ванек садится на стул, молчит.

(Стукнув кулаком по столу). Я не разрешал вам садиться!

В а н е к. Пока вы мне не представитесь, вы для меня незнакомый человек, перед которым я не обязан стоять и на вопросы которого не обязан отвечать.

В т о р о й. Вижу, вы в этих делах поднаторели. Кто вас учил? Ваши благодетели из ЦРУ?

Ванек молчит.

(Орет). Я не стану с вами миндальничать!

Ванек молчит.

Знаете что, пан Ванек? Чтобы вы не подумали, будто я вас испугался... Вы меня на фонаре не повесите, не дождетесь, пан Ванек! Моя фамилия Лабский, и я требую, чтобы вы отвечали на мои вопросы. Автор Хартии?

В а н е к. Могу ли я видеть ваше удостоверение?

В т о р о й *(собирается снова заорать, но раздумывает, вынимает из кармана маленькую красную книжечку, раскрывает; захлопнув, суёт назад в карман)*. Пожалуйста. Теперь ваша душенька довольна? Тогда начнем: кому первому пришла в голову эта идея?

В а н е к. Пан Лабский, когда наступают такие времена, приходится подучиться — и я приобрел закон о национальной безопасности. Там сказано, что если я не арестован, на допрос меня должны пригласить повесткой. Я арестован?

В т о р о й. А вам бы это было на руку? Чтобы уже к вечеру всякие там агентства передавали это по радио, а завтра вы обтяпали бы свои делишки, да? Вам нужно сбыть какую-нибудь антисоциалистическую пьеску? Они уже и на Западе плохо идут, да?

В а н е к. Если я не арестован, на допрос меня должны пригласить повесткой.

В т о р о й. Я вас и пригласил.

В а н е к. Теперь что, вместо вручения повестки выламывают двери?

В т о р о й. А зачем вы забаррикадировались?

В а н е к. Позвольте, я вовсе не забаррика...

В т о р о й. Наши сотрудники утверждают, что вы забаррикадировались. Насилие было применено ввиду грозившей опасности — вы могли выкинуть какой угодно номер.

В а н е к. Зачем мне что-то выкидывать? Это ложь!

Второй. Кончилось ваше золотое времечко, когда в шестьдесят восьмом вы доводили наших товарищей до самоубийства, пан Ванек! Но мы не мстим, наоборот, как видите, мы предпочитаем рисковать тем, что вы обвините нас в насилии, чем допустить, чтобы с вами что-нибудь случилось. Хотя, на мой взгляд, культура бы от этого не пострадала. Итак, живо, чтобы от зубов отскакивало: автор Хартии?

Ванек. Очевидно, вы хотите меня спровоцировать?

Второй. Вы все время себя переоцениваете, пан Ванек. Для меня вы обыкновенный гражданин, как любой другой.

Ванек. Тогда я могу видеть обыкновенную повестку?

Второй. Не могёте.

Ванек. Не скажете ли — почему?

Второй. Не скажу.

Ванек. Тогда я подожду.

Второй. Вот это — пожалуйста, пан Ванек. Ждите. Времени у нас достаточно.

Ванек. У меня — нет, но ради вас постараюсь найти.

Второй *(снова бухает кулаком по столу)*. Хватит! И откуда, уважаемый, у вас такая наглость? Ведь мы вас видим насквозь, вы для нас как стеклышко! Типичный продукт своего класса: папочке принадлежало пол-Праги, и вы хотели бы получить все назад! Ради этого готовы привести нацию на край гибели, а когда партия в последний момент наводит порядок, вы еще изображаете из себя мученика? Не выйдет, пан Ванек! Ваша песенка спета! Быть или не быть — вот о чем у нас с вами речь! *(Идет к шкафу, достает ключ, отпирает дверцу, вываливает на стол большую кипу бумаг.)* Все это вы, пан Ванек! Ваши подначки, подножки и подковырки! Все проверено, документально подтверждено и одобрено к печати. Когда это прочтут ваши хозяева на Западе, вы для них будете ноль! Ведь там есть и сотрудничество с нами!

Ванек. Меня бы удивило, если бы этого там не было.

Второй. Когда заглянете сюда — вам будет не до смеха!

Ванек. Не сердитесь на меня, но я и заглядывать не стану, пока не получу повестку.

Второй. Зачем вам она, когда вы уже здесь?

Ванек. В пятидесятые годы с этого и начиналось: сперва мирились с тем, что арестованы без надлежащих бумаг, а под конец сами просили для себя виселицу.

Второй. Очень скоро мы снова поймем: так с ними и нужно было поступать! Им просто не повезло, что они попали под колеса, а у таких ловкачей, как ваша семейка, нашлись денежки, чтобы выйти сухими из воды. Вам бы и теперь хотелось иметь пол-Праги, верно?

Ванек. Нет.

Второй. Но тогда вам это нравилось!

Ванек. Нет.

Второй. Выходит, вы радовались, когда мы ее у вас отобрали?

Ванек. Мы никогда ею не владели.

Второй. Как это? Кем был ваш отец?

Ванек. Лесничим.

Второй. А дядя?

Ванек. Тоже.

Второй. Тогда кто из ваших дружков имел папашу-архитектора, а дядюшку — крупного предпринимателя?

Ванек хотел что-то сказать, но передумал.

Ну?!

Ванек пожимает плечами.

Я ведь могу и сам узнать!

Ванек *(пожав плечами)*. Я уже сказал вашему коллеге, что ни одного имени здесь не назову.

Второй. А что, если я до тех пор не отпущу вас домой?

Ванек *(пожав плечами)*. Тогда мне придется здесь ночевать.

Второй. У нас времени достаточно, пан Ванек. У меня его навалом.

Ванек. У меня — нет, но для вас постараюсь найти.

Второй. Это случаем не Гавел? Я ведь угадал — Гавел?

Ванек пожимает плечами.

Второй. Да это же знает каждый: Гавел — сынок миллионера!

Ванек. Маркс тоже был сынком миллионера. Какое кому дело — отец пана Гавела выстроил самый красивый квартал в Праге, а дядя основал чешское кино.

Второй. Но главное — набили себе карманы! Вот видите, вы все-таки вспомнили, кто автор Хартии!

Ванек. Я никогда не говорил, что он...

Второй. Странно, что именно вы его защищаете, ведь вы в сравнении с ним пролетарий! Потому-то он и требовал, чтобы к нам вернулись капиталисты.

Ванек. Где? Когда?

Второй. А нас собирался вешать на фонарях.

Ванек. Покажите, где он это говорил.

Второй. Вам бы тоже хотелось, чтобы нас вешали на фонарях. Бог даст, такого не будет, пан Ванек!

Ванек. Покажите мне, где и кто выражал это желание!

Второй. Кончайте комедию, пан Гавел.

Ванек. И не называйте меня Гавелом.

Второй. Отчего же?

Ванек. Моя фамилия Ванек!

Второй. Ну и что?

Ванек. Вы назвали меня Гавелом!

Второй. Все вы одним миром мазаны.

Ванек. Я буду на вас жаловаться!

Второй *(громко смеется, показывая Франтику на Ванека как на дурачка)*. Он будет на меня — ха, ха, ха!

Ванек *(Франтику)*. А вас попрошу быть свидетелем.

Второй *(так же)*. А тебя попросит... ха, ха, ха!

Ванек *(сердито)*. Вы злоупотребляете своим служебным положением и оскорбляете меня! Вы утверждаете, будто я написал то, чего я никогда не писал, и умышленно называете меня Гавелом!

По коридору приближаются шаги, входит элегантный симпатичный мужчина лет шестидесяти. Второй и Франтик вытягиваются по стойке смирно.

Третий. Нельзя ли чуточку потише, товарищи? Что тут происходит?

Второй *(изменившись до неузнаваемости, говорит тихо, точно стыдится за Ванека)*. Да вот, пан Ванек так со мной дискутирует...

Ванек *(все еще сердито)*. Я с вами не дискутирую!

Второй *(обиженно)*. Ясное дело, у вас на наш счет иные планы...

Ванек. Я никого вешать не собираюсь!

Второй. А кто говорит, что кто-то кого-то собирается вешать? Вот видите, пан Ванек, так невольно и проболтаешься!

Ванек *(открыл было рот, потом поворачивается к вошедшему)*. Я обращаюсь к вам с жалобой на этого гражданина! Он утверждает, что я не писал того, что писал, то есть, что я написал то, чего не писал... нет... хотя да, то, чего не писал. И нарочно называет меня... не моим именем.

Второй пожимает плечами как бы в знак того, что спорить с Ванеком не стоит.

Третий *(приветливо)*. Не могли бы вы нас оставить одних, товарищи?

Второй и Франтик, отдав честь, выходят из помещения; звук шагов одного из них удаляется.

Что у вас с рукой?

Ванек *(постепенно успокаиваясь)*. Ничего. Всего-навсего воспаление сухожилий...

Третий. Отчего такое случается с писателем?

Ванек *(строго)*. Оттого, что он много пишет. Можно мне задать вопрос?

Третий. Разумеется. Присаживайтесь, пан Ванек.

Ванек. Спасибо. Не хочу.

Третий. Не будете же вы тут стоять!

Ванек. Мне еще никто не объяснил, почему я должен здесь сидеть.

Третий *(смеется)*. Что у вас за мысли! Да, чтобы не забыть... *(Показывает ему красное служебное удостоверение.)* Для порядка.

Ванек *(совсем успокоившись)*. Благодарю. Эту самоочевиднейшую вещь тот гражданин забыл, и к тому же был груб.

Третий. В последние дни наши товарищи очень перегружены, и нервы у них сдают, понимаете? Они почти не видятся с семьями.

Ванек. Я тоже разлучен с семьей.

Третий. Да, но они... Впрочем, оставим это. *(Берет в руки лежащую на столе пачку сигарет.)* Сигарету?

Ванек. Сейчас нет...

Третий *(закуривает, подвигает пачку к Ванеку)*. Когда захочется... Кофе вам, как вижу, дали.

Ванек. Я предупреждал, что пить не буду!..

Третий. Вы бережете здоровье или просто подозрительны? *(Серьезно.)* Так чего бы вы хотели, пан Ванек?

Ванек *(ошарашен)*. Я?!

Третий. Говорят, вы хотели меня видеть?

Ванек. Ерунда какая! В моей квартире вышибли дверь, безо всякого предупреждения я нахожусь здесь в ожидании...

Третий. Кого?

Ванек *(саркастически)*. Годо.

Третий. Кто это?

Ванек *(устыдившись)*. Простите, это название одной пьесы...

Третий. Вашей?

Ванек. Нет, Беккета.

Третий. К своему стыду, не знаю. Он из вашего круга? Я имею в виду людей, поставивших свои подписи под Хартией?

Ванек. Нет, француз.

Третий. Ага. А мы еще удивлялись, что первым Хартию опубликовал «Монд». Но не в этом дело. Чем, собственно, вы возмущаетесь, пан Ванек?

Ванек. Мне вышибли дверь только для того, чтобы тут при мне оскорблять моих коллег?

Третий. Коллег? А знаете, я чуть было тоже не стал вашим коллегой.

Ванек не понимает.

Но пока тут царили Гавелы, я мог в лучшем случае работать землекопом. Да, да, первый мой стишок мне вернули, мол, в нем десять грамматических ошибок. Это было при капитализме, пан Ванек, я еще застал его. Теперь вы скорее всего захотите возразить, что Когоут был коммунистом. *(Снимает обручальное кольцо, протягивает его Ванеку.)*

Ванек не понимает.

Загляните внутрь.

Ванек заглядывает.

Еще можно прочесть? С тех пор прошло двадцать семь лет...

Ванек *(читает)*. Власте Власта.

Третий *(показывает)*. Двадцать первое декабря пятидесятого года! Вам эта дата, вероятно, мало что говорит?

Ванек пожимает плечами.

День рождения Сталина. Мы поженились в день его рождения, как те двое в пьесе Когоута, как она называлась? Ну, та, что в стихах...

Ванек пожимает плечами.

«Хорошая любовь», нет... «Такая песня» или что-то в этом роде... Но у него нынче третья, молодая, жена, а у меня все та же, старая! *(Погрустнел было, но тут же взял себя в руки.)* Так вот, пан Ванек, политически мы с вами, возможно, по разные стороны баррикады, но как художника и человека я вас уважаю гораздо больше, чем тех... оставим их в покое... пускай говорят что хотят!

Ванек. Лучше об этом ни перед кем не заикайтесь.

Третий. Плохо вы меня знаете, я такой же упрямец, как вы, но мне не к чему было ждать Дубчека. Думаете, я не вижу, какие нынче писатели? Достаточно включить телевизор. Взять хоть последний многосерийный фильм Франека, смотрите его?

Ванек. Да...

Третий. Удивляюсь вам, это же такое убожество! Как раз вчера я сказал Власте: вот если бы это написал Ванек!

Ванек. Спасибо...

Третий. А что, собственно, этому препятствует?

Ванек. Возможно, то, что сейчас я сижу не в клубе писателей, а у вас.

Третий. Вам бы не только в клубе, вам бы сидеть за председательским столом!

Ванек. Сказать по чести, я предпочитаю сидеть у вас.

Третий. Знаете, этого я не могу понять. Представьте себе, что там будет задавать тон не Франек,— между нами, его жалкие книжонки не хотят издавать даже болгары,— а люди с таким международным авторитетом, как вы.

Ванек. Вы преувеличиваете...

Третий. Ни капельки! Я знаю, что завтра появится в «Монде»! Готов побиться об заклад! Что плохие полицейские вышибли у вас дверь. И не жалко вам на это тратить свои силы?

Ванек. Но они и правда вышибли дверь.

Третий. Попробуйте взглянуть на это с другой стороны: вы забаррикадировались...

Ванек *(встает)*. Если вы собираетесь повторять эту глупую ложь...

Третий *(тоже встает)*. Что вы забаррикадировались от реальной действительности — ложь? Простите, но я так считаю.

Ванек *(устыдившись)*. Извините, я думал, вы...

Третий *(с улыбкой)*. С вами и правда нелегко дискутировать.

Ванек. Это недоразумение... От какой действительности?

Третий *(кивком предлагает ему сесть, садится сам)*. От той обстановки, какова она есть. Забаррикадировались, когда вы нужнее всего... Вот сама жизнь к вам и явилась! Жизнь в вас нуждается, пан Ванек!

Ванек. Переведите на нормальный язык.

Третий. Если бы вы сейчас не приняли участия в создании Хартии, мы смогли бы наконец добиться, чтобы ушел Франек. Союз попал бы в руки таких людей, как Станек, это приличные писатели, которые не совершали никаких подлостей, а только не сумели сказать «нет». А где Станек, как говорится в песне, там и Ванек, а где Ванек, там будут и другие, конечно же, потихоньку и разумно, чтобы франеки снова не настроили против нас Москву.

Ванек. Москва разозлилась бы уже оттого, что уйдут Франека.

Третий. Попали пальцем в небо. Могу вам сообщить — но пусть это останется строго между нами: такой ветер дует от них.

Ванек. Не может быть!

Третий. Поверьте. И вот что вас наверняка порадует: вы для них по-

прежнему остались международным авторитетом. Думаю, у вас там немало старых друзей?

Ванек делает жест, означающий *вполне возможно.*

Вы с ними еще встречаетесь?

В а н е к. Тот же жест.

Где же?

В а н е к. Простите, но почему я, собственно, здесь?

Т р е т и й. Вы здесь как известный чешский писатель, пан Ванек, которому мы хотим предоставить возможность в момент, для всей нашей литературы столь критический, выполнить свой моральный долг. Вы удовлетворены ответом? Ага... дверь у вас я велел вышибить потому, что не счел нужным, чтобы о нашей с вами беседе кто-нибудь узнал. Сейчас тут Паточка, Вацулик, Павличек и Гавел, пан Когоут только что прибыл вместе с супругой. Все затеряется в общей массе. Здесь у нас настоящий съезд писателей. *(Смеется.)*

Ванек смотрит на него, качая головой.
Звонит телефон.

(Подняв трубку, строго). Позвоните позднее! *(Кладет трубку.)*

В а н е к. Что это за моральный долг, позвольте поинтересоваться?

Т р е т и й. Вы удивитесь, но абсолютно не то, чего вы ожидаете. Ни публичного покаяния, ни тайного сотрудничества мы вам не предлагаем. Просто: создание предпосылок для перемены курса в культуре, а для этого вы должны выше ценить самого себя.

В а н е к. Для этого — что?

Т р е т и й. Вы, пан Ванек, уже почти десять лет, как практически потеряли цену, а подписав Хартию, доводите свою ценность до нуля. Вот я и предлагаю: станьте твердой валютой.

В а н е к. Как это?

Т р е т и й *(достает из нагрудного кармана бумажник, из него — листок).* Вам это знакомо?

В а н е к *(после мгновенного раздумья).* Мне очень жаль, но я принял твердое решение ни на один вопрос здесь не отвечать. Если вы делаете из меня писателя с международной известностью, так не разговаривайте со мной как с провинциальным карманником.

Т р е т и й. С вами и правда нужно иметь терпение, пан Ванек. По вашей вине мне приходится набираться терпения в разговорах со своей Властой, неужто не хватит и на вас? Вот ваша подпись на Хартии-77 — из чемодана, обнаруженного в машине Ландовского и Гавела.

В а н е к. Это хорошо...

Т р е т и й. Что — хорошо?

В а н е к. Насколько мне известно, они хотели показать эти подписи Национальному собранию.

Т р е т и й. Вот видите, а по дороге раздумали и привезли нам. *(Смеется.)* Шучу. *(Серьезно.)* А что, если мы теперь эту бумажку... *(Показывает жестом: уничтожим.)*

В а н е к. Да ведь все уже знают, что я подписал.

Т р е т и й. Не знают. Пока сведения не поступят от нас — официально об этом не будет известно. А от нас вечером поступят такие сведения, о каких мы с вами договоримся.

В а н е к. Это уже печаталось за границей... *(быстро добавляет)* вы сами сказали.

Т р е т и й *(подмигнув ему).* Я говорил — вы говорили... Знаете, вы мне подсказали идею. Запишем в протокол — сугубо конфиденциально... что вам там приписал этот ваш... по тамошним я не специалист, с меня по горло хватает своих литераторов... Беккет, что ли?

Ванек. Бессмыслица, абсурд!

Третий. Вы сами его назвали! Я его вообще не знаю.

Ванек. Но назвал в совершенно иной связи...

Третий. Не будем спорить, пан Ванек. *(Смеется.)* Я не собираюсь клещами тянуть из вас имена, у меня задача поважнее. Извольте, пусть значится, что вас приписал тот, кто посылал это за границу, мы его не знаем, так что отрицать он не сможет.

Ванек. А дальше?

Третий. Дальше — ничего. Просто впервые в нашем отчете не будет вашего имени. Вот и все.

Ванек. А что я скажу своим друзьям?

Третий. Ничего. Для них-то вы подписали! Понимаете, как это гениально? Для мира вы останетесь подписавшим Хартию, а мы с вашего согласия сообщим наверх, что это «утка», и для тех, кто в вас заинтересован, этого будет достаточно. *(Пауза.)* Что скажете? Как вы считаете, пан Ванек, что важнее, судьба литературы или горстка друзей, которым вы к тому же этим поможете?

Ванек. Кажется, вы предлагаете мне их обмануть?

Третий. Ну-ну, зачем бить из пушек по воробьям? Речь идет лишь о том, чтобы вы не попали вместе с ними в беду. Ради благого дела.

Ванек. Благо, достигнутое подлыми средствами, ничего не стоит.

Третий. А вы когда-нибудь задумывались, чего стоят ваши друзья?

Ванек. Ради них я здесь, в Праге. Друзья — это моя родина.

Третий *(отпирает шкаф, рядом с первой грудой бумаг водружает на столе вторую)*. Вот она.

Ванек. Кто?

Третий. Ваша родина. Из этого можно составить сборник: Фердинанд Ванек глазами друзей. Отрывки из писем, телефонных разговоров, записи высказываний, донесения официантов, а также целые ученические сочинения — все, что ваши друзья тут нам о вас порассказали и понаписали. Извольте взглянуть! Познай свою родину! Одной наивной верой у вас будет меньше.

Ванек. Я на это смотреть не стану.

Третий. Значит, вместо того чтобы открыто признать ошибки, лучше тупо стоять на своем? Или, может, боитесь, что вас стошнит? Ничего удивительного. *(Листает.)* Вот, к примеру, что пишет ваша приятельница, ваша соседка...

Ванек *(решительно встает)*. Не желаю слушать!

Третий. Обманутая любовь? Пожалуй, недурное название для пьесы.

Ванек. Не желаю знать о своих друзьях, когда они во власти страха. Страха, который им внушаете вы! Насильник не может назвать шлюхой изнасилованную им женщину!

Третий. Я похож на насильника?

Ванек. Вы — нет... Но тот, что был до вас,— вполне!

Третий. Однако сейчас тут я, пан Ванек, а я вам, право, желаю добра. Отчего вы мне не верите?

Ванек. Вы обращаетесь ко мне по фамилии...

Третий. А это что, нельзя? Если пожелаете...

Ванек. Можно. А я должен называть вас... по номеру в удостоверении?

Третий. Его я и сам не помню. У меня тоже есть фамилия.

Ванек. Разрешите угадать? Вы случайно не Дунайский?

Третий. Вы меня утешили. Я уж было испугался, что вы ясновидец. Нет, я с Моравы, моя фамилия Одерак.

Ванек. Ага. К такой фамилии подошло бы имя Юра.

Третий. О нет!

Ванек. Йожка?

Третий. Опять мимо. Представьте себе — Томаш. Я восемнадцатого года

рождения, и назвали меня в честь Масарика, видите — и у полицейского порой отыщется ахиллесова пята.

Ванек. Томаш — красивое имя. Куда лучше, чем Власта.

Третий. Власта? *(Наконец догадывается. Машинально глянув на свое обручальное кольцо, не сразу находится, что сказать.)*

Ванек наблюдает за ним со смесью любопытства и сочувствия.
Звонит телефон.

(Взяв трубку). Не мешайте! *(Кладет трубку.)* Понимаете, пан Ванек, к этому вынудили нас вы со своими «Мондами»... но я бы не хотел, чтобы вы подумали, будто и остальное было лишь игрой. Присядьте — потом спокойно уйдете.

Ванек. Пан... вы сказали... Одерак? Я уже эти реки путаю... Хотелось бы внести ясность: я арестован?

Третий. Внесем ясность, пан Ванек: нет, вы не арестованы, я только хотел с вами побеседовать, и мое предложение остается в силе.

Ванек. В таком случае я хотел бы уйти домой.

Третий. Как вам будет угодно. У вас на руках пропуск?

Ванек. Нет... он у того паренька...

Третий *(открывает дверь в коридор)*. Эй, вы, идите сюда!

Франтик, войдя, вытягивается по стойке смирно.

Третий. Дайте мне его пропуск.

Франтик. Его взял товарищ Лабский.

Третий. Черт побери... минутку, пан Ванек. *(Уходит, быстрые шаги смолкают.)*

Ванек *(тупо смотрит на часы)*. Вы уже узнали?

Франтик. Что?

Ванек. Где тут уборная?

Франтик. Нет... *(После паузы.)* Мне еще не надо было...

Ванек *(в отчаянии смотрит на умывальник)*. А мне надо!

Франтик. Он засорен.

Ванек смиряется.

Быстро приближается стук дамских каблучков, входит рассерженная Марушка.

Марушка. Где товарищ начальник?

Франтик. Не знаю.

Марушка. Уехал домой?

Франтик. Не знаю.

Марушка. Кто-нибудь ему звонил? Два раза.

Ванек *(поскольку она теперь смотрит на него)*. Да...

Марушка *(Франтику)*. Трубку снимал ты, ясненько! В следующий раз будь любезен спросить, что, мол, надо, ясненько? Я вам не нанялась бегать по этажам как угорелая!

Франтик. Подходил не я...

Марушка *(Ванеку)*. Значит, вы?

Ванек. Нет. Ваш начальник.

Марушка. Нач... Ну да ладно... *(Идет к телефону, набирает номер, видит на столе сигареты, берет одну.)* Драгушка? Марушка. Послушай, где бы мог быть Ладя? А его тачка еще стоит? Глянь в окно. *(Кивает, чтобы Франтик зажег ей сигарету, ему нечем, Ванек щелкает зажигалкой, она предлагает ему сигарету.)* Ага, нормальненько. Если появится, скажи, чтоб звякнул. Да так, чтобы до него сразу дошло! Спасибочки! *(Кладет трубку, снова набирает номер, смотрит на часы. Заметив, что Ванек не взял сигарету.)* Не хотите? *(Садится за стол.)*

Ванек. Спасибо.

Марушка. Не курите?

Ванек. Курю. Но не здесь.

Марушка. Спокойно курите. Я разрешаю.

Ванек. К сожалению, я не захватил свои.

Марушка *(в телефон)*. Поручика Гавранека... не знаю, какой номер, я не у себя... Послушайте, говорит Гавранкова, мне позарез нужно его найти! *(Ванеку.)* Вполне приличные.

Ванек. Вы очень добры, но понимаете, я решил ничего у вас не брать...

Марушка. Это не мои, они принадлежат фирме.

Ванек. Какой фирме?

Марушка. Ну... я хочу сказать — казенные... *(В телефон.)* О господи, так спросите в гараже, где-то же он должен быть!

Ванек. Вот именно... я читал и знаю от своих друзей, что после этого чувствуешь себя зависимым от вас, я имею в виду всех вас, и обязанным как-то вас отблагодарить... Однако если бы вы сейчас сказали своему коллеге... *(Стыдливо намекает Франтику.)* Вы хотели что-то спросить...

Франтик. Я? Что?

Ванек. О чем я вас спрашивал...

Франтик. Я же вам ответил, что... *(показывает на умывальник)* он засорен.

Ванек *(быстро перебивает)*. Где здесь туалет...

Франтик. Когда придет товарищ...

Марушка. Ищете сортир? Тут, напротив. Можете туда отлучиться.

Франтик. Мне приказано его караулить.

Марушка. Так сходите вместе.

Ванек. Спасибо. Благодарю вас... *(Сгорает со стыда.)*

Марушка. Вот уж, право, не за что. *(Смеется, потом, пожав плечами.)* Господи, там опять какой-то болван!

Франтик *(Ванеку)*. Сумку оставьте здесь.

Ванек *(здоровой рукой перекинул сумку через плечо)*. Что вы сказали?

Франтик. Сумку оставьте.

Ванек. С вашего позволения, там мои личные вещи, и я бы не хотел...

Франтик. С сумкой туда нельзя.

Марушка. Пан Данек арестован?

Ванек *(вежливо ее поправляет)*. Ванек... Нет, я только, как сказал ваш начальник, вызван для беседы.

Марушка. Объяснения, да? На основании девятнадцатой статьи? Тогда будьте спок — можете ее взять. *(Франтику.)* Ответственность беру на себя. *(Ванеку.)* Не стоит благодарности. *(В телефон.)* Руда? *(Машет им, чтобы наконец уходили. Ванек в сопровождении Франтика покидает кабинет. Шаги удаляются.)* Послушай, Руда, у нас тут сегодня аврал... Ты, поди, слыхал от ребят... Ну ты как, вовремя кончаешь? Вот и славненько. Послушай, если я до четырех не звякну — ты не мог бы взять Рудика? Ага. И еще — купи ему два сладких сырка и булочку.

В коридоре шаги, появляется Первый, удивленно оглядывается по сторонам.

Первый. Где он?.. Где они?..

Марушка *(прикрывая трубку рукой, цыкает на него)*. В уборкоме! Тсс, пришел мой старик! *(В телефон.)* И присмотри за ним, пускай все съест. Вчера я нашла сырок знаешь где? В твоих резиновых сапогах. Вот было бы смеху, если б ты в них влез! *(Первый подходит к ней сзади, целует в шею; она быстро кончает разговор.)* Руда, мне пора, идет наш старик, сегодня он готов нас всех убить! И не беспокойся, к двенадцати буду дома! *(Кладет трубку.)*

Первый *(испуганно выпрямившись)*. Почему к двенадцати? Будешь в семь!

Марушка. Раз уж выдался такой случай! *(Прижимается к нему, но он, вывернувшись, отскакивает к стене; приподняв портрет президента, что-то выключает.)*

Первый. Обалдела?!

Марушка. Ты так думаешь? А мне сперва показалось, будто ты...

Первый. Само собой, Марушка, но сегодня... сегодня...

Марушка. А жаль. Мне вы, товарищ начальник, не навесите лапшу на уши, будто задерживаетесь на службе.

Первый. Я бы тебе никогда... ведь я тебя, сама знаешь... но сегодня у нас гости...

Марушка. Черта с два гости! Барушка вас ждет с закусочкой, а потом вы с ней будете это самое...

Первый. Да что ты...

Марушка. Как каждые понедельник и субботу.

Первый. Да это же...

Марушка. Говорят, четверги вы уже отменили.

Первый. Откуда ты...

Марушка. Барушка сказала Драгушке. Так вот. С нынешнего дня вы отменяете и понедельники.

Первый. Но это...

Марушка. Слушай, Ладя, чтобы не было недоразумений: если ты не сможешь, меня обещался подвезти до дому замначальника Кучера, но уж он получит и все, что за это причитается. И вкушай тогда радости жизни со своей клячей хоть каждый день! Может, она и посмеется над твоими идиотскими шуточками.

Первый. Но как же?..

Марушка. Хватит с меня казенных диванов. Отвезешь меня или нет?

Первый *(открывает рот, чтобы что-то сказать)*. Да ведь ты... ты тоже...

Марушка. Я-то в два счета разведусь!

Шаги. Входит Ванек, за ним — Франтик.

(Сладко). Если буду вам нужна — я у себя. До четырех!

Громко захлопывает дверь, победоносный стук удаляющихся каблучков.

Первый *(кричит на Франтика)*. Почему он с сумкой?!

Франтик. Товарищ разрешила.

Первый *(закрыв рот, поворачивается к Ванеку; ни следа от добродушного тона первой сцены)*. Садитесь!

Ванек. Если позволите...

Первый. Не позволю. Садитесь!

Ванек. Тогда, к сожалению, я вынужден повторить, что не получил...

Первый *(быстро достает из нагрудного кармана сложенную бумажку)*. Повестку? Пожалуйста. Сядьте же.

Ванек. Еще я хотел бы вас по...

Первый. Развлечения окончены, пан Ванек, теперь начинается допрос!

Ванек. Потому-то я и хочу попросить, чтобы вы предъявили свое удостоверение.

Первый *(овладев собой, небрежно открывает красную книжку)*. Сядьте.

Ванек садится.

В соответствии со статьей девятнадцатой закона о национальной безопасности требую от вас показаний для выяснения личности преступника.

Ванек. Вынужден повторить, что ни на один ваш вопрос я отвечать не намерен.

Первый *(кричит)*. Значит, пан собирается молчать?! Где, по-вашему, вы находитесь?

Ванек. В учреждении, которое должно охранять мою безопасность.

Первый. Экий вы обидчивый, когда затронута ваша персона! С нами бы вы так не церемонились.

Ванек. Кто бы не церемонился и с кем?

Первый. Не старайтесь понапрасну, здесь такими разговорчиками никого не проймешь. Будете отвечать?

В а н е к. Пока вы кричите, я вообще говорить не намерен.

П е р в ы й *(перестает кричать)*. Знаете что? Чтобы упростить для вас дело: пока вы не станете отвечать, мы вас не отпустим.

В а н е к. В таком случае я требую, чтобы меня отвели в камеру.

П е р в ы й. А вам того и надо? Чтобы вечером о случившемся сообщили все телеграфные агентства, а завтра у вас не было бы отбоя от выгодных предложений? Хочется опубликовать новую оду? Ваши старые вирши уже не покупает даже ЦРУ, разве я не прав? Будете вы, наконец, отвечать или нет?

Ванек молчит.

Шаги. Входит Т р е т и й. Как ни странно, Первый и Франтик встают.

П е р в ы й *(явно удивлен)*. Что случилось?

В а н е к. Пан начальник, вы мне обещали...

Т р е т и й. Минутку, пан Ванек. Встаньте.

В а н е к *(удивленно)*. Зачем?

Т р е т и й. Хотя бы потому, что я вас прошу.

В а н е к. Пожалуйста. *(Встает.)*

Т р е т и й *(вежливо)*. Не будете ли вы так любезны на минутку отвернуться...

В а н е к. Да, пожалуйста... *(Отворачивается.)*

Третий за его спиной показывает Первому на портрет президента; Первый, стукнув себя по лбу, сразу же что-то под ним включает; виновато улыбается.

В а н е к. Могу я знать...

Т р е т и й *(так же резко, как вначале Второй, а теперь Первый)*. Не можете, пан Ванек. Теперь желаем знать мы. Будете вы отвечать или нет?

В а н е к. Все это уже напоминает пятидесятые годы!

Т р е т и й. Хватит! Откуда вы набрались такого нахальства, уважаемый? Ведь мы вас видим насквозь, до самой печенки! Сперва заставляете всю нацию переженироваться с помощью своей «Хорошей любви», а когда партия наводит порядок, решили изображать из себя мученика? Не пройдет, пан Ванек, кончились ваши пьески! Прага вам больше принадлежать не будет! *(Поднимает груду бумаг, вынутую из шкафа Вторым.)* Все эти ваши подначки, подножки и подковырки! Когда это прочтут ваши бесценные дружки, вы для них станете пустым местом.

В а н е к. Над тем, что я с вами сотрудничаю, мои друзья только посмеются. Могу я отправляться в камеру?

Т р е т и й. Вам только того и надо, чтобы сегодня же вечером о случившемся сообщили все телеграфные агентства, а завтра у вас не было бы отбоя от выгодных предложений, верно? Хотите где-нибудь поставить новую пьесу? Написали «Большую любовь» или «Самую большую любовь»?

В а н е к. Я уже понял: смысл всех ваших мнимых ошибок и оговорок — сбить меня с толку. Так вот, чтобы не создавалось неверного впечатления, будто я не подтвердил своей подписи под Хартией, заявляю: я от нее не отказываюсь! Хартия — легальная инициатива по осуществлению Хельсинкских соглашений и закона Чехословакии о гражданских...

Т р е т и й. Какая Хартия?

П е р в ы й. Скоро мы и до ваших баб доберемся, пан Ванек!

В а н е к. Простите, не понял.

Т р е т и й. Вы, очевидно, питаете иллюзии, будто вас позвали сюда из-за политики, но вы здесь из-за банального правонарушения, которое не принесет вам большой славы.

В а н е к. Что еще за новости?

П е р в ы й. Вы возмутились, когда кто-то здесь назвал вас паном Гавелом...

В а н е к. Еще бы...

Т р е т и й. Не любите пана Гавела?

В а н е к. Наоборот.

П е р в ы й. А он вас?

В а н е к. Спросите у него, ведь он здесь.

Т р е т и й. А каковы ваши отношения с пани Гавловой?

В а н е к. Что за предмет для...

Т р е т и й. Предметом расследования является преступное деяние, с которым вас своевременно ознакомят. Однако предметом нашего искреннего изумления является ваш моральный облик. Вот она какова, ваша хваленая дружба: с паном Гавелом вы, так сказать, занимаетесь общественной деятельностью, сочиняете Хартии...

П е р в ы й. ... а с пани Гавловой, так сказать, баинькаете.

В а н е к *(вскочив)*. Но позвольте!

П е р в ы й. И это кажется вам нормальным — спать с женой друга?

Т р е т и й. У нас, нормальных людей, все еще живущих со своими первыми женами, которых мы по вашим советам выбрали, такие вещи, пан Ванек, называются одним словом: мерзость!

П е р в ы й. Как это понравится вашим друзьям, когда все раскроется?

В а н е к *(придя в себя)*. Они над вами только посмеются... даже простые люди не попадутся на вашу удочку...

Т р е т и й. Полагаю, вам-то будет не до смеха, когда напечатают вот это! *(Вынимает из груды бумаг и протягивает Ванеку увеличенную фотографию.)* Ну?

Ванек молча смотрит.

П е р в ы й. Трудно себе представить, что на такое способен поэт, пан Ванек!

Т р е т и й. Это произведение могло бы называться «Задняя любовь», пан Ванек!

П е р в ы й. Не оттого ли у вас рука заболела, пан Ванек?

Т р е т и й. Слыхали анекдот, пан Ванек, как одного спрашивают, отчего у него рука в гипсе, а он: мол, взялся я рукой за овощерезку, а тут откуда ни возьмись Ржезач [1]...

В а н е к. И вам не стыдно?

П е р в ы й и Т р е т и й *(Франтику)*. Это мы-то должны стыдиться, ха, ха, ха!

В а н е к. Хорошеньким вещам вы учите свою смену!

П е р в ы й и Т р е т и й *(друг другу)*. Мы его учим — ха, ха, ха!

В а н е к *(возмущенно)*. Да еще под портретом человека, который на основе такой же фальсификации был осужден, а ныне — президент республики!

П е р в ы й и Т р е т и й *(смеются до слез)*. Президент — ха, ха, ха!

Шаги. Дверь отворяется, входит В т о р о й в сопровождении М а р у ш к и, которая тащит пишущую машинку. Первый, Третий и Франтик вытягиваются по стойке смирно.

В т о р о й *(снисходительно, как прежде Третий)*. Нельзя ли немного потише, товарищи? Что тут происходит?

Т р е т и й *(словно стыдясь за Ванека)*. Это пан Ванек так с нами дискутирует...

В а н е к *(до сих пор не может прийти в себя)*. С вами я... *(Вдруг успокоившись.)* Да ведь вы меня провоцируете... но забываете, господа, история не кончается сегодня.

Т р е т и й. Для вас она кончилась, пан Ванек.

П е р в ы й. Вы нас на фонарях уже вешать не будете, пан Ванек!

В т о р о й *(примирительно, всем)*. Хватит, хватит, товарищи! *(Ванеку.)* Знаете, пан Ванек, вы сами нас до этого доводите. Товарищи в последнее время редко бывают дома, в семье. Ну, как же вы решили, пан Ванек? Может, отпустим их и начнем писать?

В а н е к. Делайте что хотите. А я уже просил отвести меня в камеру.

В т о р о й. Ну-ну, пан Ванек. Теория сера, но вечно зелено прекрасное дерево жизни! Подумайте, политически мы по разные стороны баррикады, но писатель вы настоящий, что ни говори. Вы международный авторитет, и в ваших руках судьбы чешской литературы. Вы сами пишете в разных там «Мондах», что она едина, что

[1] Имеется в виду журналист Томаш Ржезач, сотрудничавший с органами госбезопасности.

к ней принадлежат и Франек, и Станек, и Ванек... Теперь вам предоставляется возможность превратить слова в реальность. *(Достает из нагрудного кармана текст Хартии с подписью Ванека и делает вид, будто хочет его разорвать.)* Предложение вам известно, отличное предложение, оно остается в силе. Ну? Я свое дело сделал, очередь за вами...

Ванек. Мой ответ вы знаете. Моя подпись тоже остается в силе.

Второй *(после паузы)*. Ну, ладно... Маскарад окончен, сбросим маски... Марушка, протокол!

Марушка вставляет бланк в машинку, многозначительно поглядывает на часы и на Первого. Все закуривают сигареты, Ванеку никто не предлагает.

Готово? Поехали! Фердинанд Ванек, прочие сведения спишете с повестки, позвольте, пан Ванек... *(Берет у него бумажку, позднее сует ее в карман.)* Начато одиннадцатого января семьдесят седьмого года в пятнадцать пятьдесят. Напечатали?

Марушка пишет всеми десятью вслепую, бросая взгляды на Первого, который смущенно делает вид, что не замечает их.

Второй. Итак. *(Отбарабанивает.)* Напоминаю, что в соответствии со статьей 100 вы имеете право отказаться от ответов, которые могут нанести ущерб вам или вашим близким; в случае неправдивых ответов вы можете быть привлечены к ответственности за дачу ложных показаний, поняли, пан Ванек? Вопрос первый...

Звонит телефон, Марушка берет трубку.

Марушка. Да, Марушка. Это Драгушка? Да... *(Смотрит на Первого.)* Здесь.

Первый *(в отчаянии)*. Нам некогда, пусть позвонят...

Марушка. Ага, соединяю. *(Невинно.)* Ваша супруга.

Первый *(идет к телефону, как на казнь)*. Сейчас не могу, Барушка. Я тебе звякну... Что? Но мне вечером придется торчать здесь...

Второй *(испуганно)*. Что вы! К шести будете дома!

Первый *(уныло)*. Да, да, знаю... Барушка, я тебе еще... *(Хотел что-то сказать, но она повесила трубку; садится, смотрит на Марушку, которая уже, не обращая на него внимания, погрузилась в дела.)*

Второй. Итак: вопрос первый. Что вам известно о распространении порнографических фотографий, на которых изображены вы и Гавлова Ольга, год рождения, адрес... *(Марушке.)* Дополните потом.

Ванек. Ничего.

Второй. Объясняю: то, что вы заказали такие фотографии, в общем и целом, ваше и пани Гавловой личное дело. Нас это не должно касаться, а вашим согражданам явно не понравится, это гнусно, однако ненаказуемо. Основание для уголовного преследования дает лишь передача порнографии двум или более лицам — вот в чем вопрос!

Ванек. Я полагал... *(Заметив, что Второй кивает Марушке, чтобы она писала.)* Этого не пишите!.. Что вы здесь по крайней мере можете себе позволить такую роскошь, как обратиться за советом к специалисту, например, психологу. Ведь то, что вы проделываете тут со мной,— высшая степень непрофессиональности. Подсунуть мне фальшивку!

Первый. Выходит, вы нас обвиняете... Ну-ну, осторожнее на поворотах! Марушка...

Ванек. Я не обвиняю вас, а утверждаю, что это подлог. Фотомонтаж! И любой психолог вам докажет, что, столкнувшись с бесстыдной ложью, большинство людей скорее разозлится, чем расколется.

Второй. Итак, вы утверждаете, что это подлог, и я даже готов вам поверить, ведь ваши дружки способны и не на такое...

Ванек. Будьте добры — оставьте в покое моих...

Второй. Но как вы докажете людям? Что это фотомонтаж, сегодня не распознают даже у нас в лаборатории.

Ванек. Кому я должен доказывать?

Второй. Ах, этого вам товарищи не сказали? Фотография была предложена для продажи нескольким гражданам, в том числе даже западным дипломатам. Один из них вас узнал и был так потрясен, что передал ее для нашей печати.

Ванек. Трогательно.

Второй. Возможно. Но не столь забавно, как вам кажется. Сатирический еженедельник «Дикобраз» уже поставил ее в следующий номер с подписью: «Голая правда Хартии»... Если не вмешается цензура, да, именно та, на которую вы без конца жалуетесь... Что скажете, пан Ванек, стоит ей вмешаться?

Ванек молчит.

Первый. Значит, вы нам сейчас ничего не скажете, пан Ванек? А до сих пор столько разглагольствовали!

Ванек. Я... я был очень возмущен тем, что вы так неожиданно и при столь драматических обстоятельствах меня арестовали, просто с непривычки... Но чем дольше я слежу за вашими фамилиями, образованными от чешских рек, тем больше мне кажется, будто я участвую в спектакле, но ведь и плохой актер верит в свою роль. Вы же верите, что про вас вы все сохраните в полнейшей тайне, но напрасно, всегда что-то просочится. Вы *(Третьему)*, очевидно, и правда Власта, который женился двадцать первого декабря пятидесятого года, и у вас, безусловно, служебный номер пятьдесят три шестьдесят шесть шестьдесят шесть, у вас *(Первому)* жена Барушка, вы ездите на старой «аэровке» и состоите в клубе ветеранов, а вы *(Второму)* пан начальник за номером пятьдесят четыре восемьдесят три шестьдесят шесть — у меня прекрасная память на числа... судя по цитатам, вы ошивались в каком-то провинциальном театре...

Второй *(нервно)*. О нас не извольте беспокоиться, пан Ванек, лучше подумайте, как к этому отнесутся пан Гавел и ваша жена.

Первый. Может, стоит наконец поговорить серьезно о нашем предложении? *(Теперь он вынимает из кармана бумажку с подписью Ванека и делает вид, будто собирается ее разорвать.)*

Третий. Дурной поступок, к счастью, можно исправить примерным поведением.

Ванек *(он собрался, внутренне спокоен)*. Для меня очень важна добрая репутация, но и ее я скорее вываляю — прошу прощения — в говне, чем протяну хоть палец вашей фирме, это будет лучшая услуга, какую я могу оказать чешской литературе.

Второй. Это ваше последнее слово?

Ванек. Еще одна мелочь. На вашей фальшивой фотографии вы допустили большой ляп, который делает ее смешной хотя бы в глазах моих приятелей и их родных. Для начала с меня и этого достаточно. На этом я умолкаю — для вас троих навсегда, к чему вы меня вынудили сами.

Второй. Послушайте, хватит угрожать! Прошло то золотое времечко, когда вам принадлежало пол-Пра...

Первый. Минутку — какой ляп?

Ванек молчит.

Какой большой ляп?

Ванек молчит.

Это в ваших же интересах! Если вы нам докажете, мы, разумеется...

Ванек молчит.

Как вам угодно. Марушка, повторите вопрос.

Марушка *(встав, причесывается перед зеркалом)*. Мое время истекло.

Первый. Но послушайте, мы еще не кончили!..

Марушка. Мне пора за пацаном в детский сад. *(Складывает вещи, стараясь не глядеть на Первого.)*

Второй *(смотрит на Первого)*. Так пусть за ним заскочит муж.

Марушка. Не получится. *(Набирает номер.)* Товарищ Кучера? Говорит Марушка. Я бы, пожалуй, с вами поехала, лады? Только еще один вопрос: я бы хотела забросить мальчика к тете в Давле... *(Радостно.)* Идет?

Первый *(неожиданно)*. Ничего не поделаешь, Марушка, вам придется задержаться.

Марушка *(в телефон)*. Минутку, они мне тут... *(Первому.)* Что?

Первый. Ваш муж и правда не может? В Давле и я вас довезу...

Марушка *(невинно смотрит ему в глаза)*. Но ведь ваша супруга...

Первый *(смотрит на обоих сотрудников)*. Уж как-нибудь...

Оба кивают.

Марушка *(в телефон)*. Ой, товарищ, я ужасно сожалею, тут сегодня такая запарка, так до следующего раза, идет? Спасибочки! Вы были очень любезны. *(Победоносно вешает трубку. Читает.)* «Ответьте, что вам известно о распространении порнографических фотографий, на которых изображены вы и Гавлова Ольга», год рождения, адрес я допишу.

Ванек молчит.

Первый. Пан Ванек, мы имеем полное право оставить вас здесь!

Ванек молчит.

Второй. Надолго оставить!

Ванек молчит.

Третий. Очень надолго!

Ванек молчит.

Второй. Как вам угодно, не стоит больше на этом задерживаться. Марушка, напишите: свидетель упорно молчит, на вопросы не отвечает. Закончено и подписано в шестнадцать ноль-ноль. Готово? Дайте сюда. *(Кладет бумагу перед Ванеком и подает ему шариковую ручку.)* Здесь подпишите.

Ванек не реагирует.

Первый. Но это вы, полагаю, подписать можете!

Ванек не реагирует.

Второй. Подписать вы обязаны!

Ванек не реагирует.

Третий. Пан Ванек, это в самом деле может иметь для вас тяжелые последствия!

Ванек не реагирует.

Первый. Что ж, тогда... Пойдемте, товарищи, придется обратиться к начальнику.

Все трое уходят. Шаги удаляются.

Марушка *(встав, берет казенную сигарету)*. А теперь сбегу и я.

Ванек подает ей зажигалку.

Вы правда не хотите?

Ванек. Спасибо, нет.

Марушка *(берет фотографию, которая лежит на столе)*. Вот это да! Какой у Гавловой размер?

Ванек. Простите?

Марушка. Я насчет — у нее больше или меньше? *(Гордо выпячивает грудь.)*

Ванек. Явно меньше...

Марушка. А та, что на фотографии, обскакала меня по крайней мере на два размера. *(Широко улыбается.)* Это и есть ляп, верно? *(Уходит, потом снова возвращается.)* Пан Данек...

Ванек *(устало, но терпеливо)*. Ванек.

М а р у ш к а. А вы и вправду не боитесь?

В а н е к *(вопрос настолько неожиданный, что он отвечает лишь после некоторого колебания)*. Боюсь.

М а р у ш к а. А не видать...

В а н е к. Потому что еще больше боюсь... бояться.

Марушка пытается понять, наконец, пожав плечами, уходит.

(Франтику). Можно хотя бы присесть?

Франтик пожимает плечами.

Ванек садится, смотрит на часы, снимает их с руки, трясет, потом бросает это занятие.

Ф р а н т и к. А не могли бы вы подписать при мне?..

В а н е к. Что?

Ф р а н т и к *(показав на стол)*. Этот протокол.

В а н е к. Зачем?

Ф р а н т и к. Мне бы это пошло на пользу...

В а н е к. Молодой человек! Я тут не для того, чтобы ускорять ваше продвижение по служебной лестнице!

Ф р а н т и к. Тогда пардон.

В а н е к. Но могу дать вам недурной совет: смотрите и соображайте!

Томительное ожидание. Снова доносятся знакомые звуки: на дворе кто-то командует: «раз-два-три-четыре», топот. Приближаются одинокие шаги и свист, разносящийся по всему коридору. Входит симпатичный м у ж ч и н а л е т т р и д ц а т и в форме прапорщика Госавтоинспекции, под мышкой несет длинный рулон, ест грушу.

Ч е т в е р т ы й *(Ванеку)*. Садитесь! И не бойтесь — все осилим! Главное — не унывать. *(Разворачивает схему автомобильного мотора, вешает ее на выключатель под портретом президента.)*

В а н е к. У меня водительские права есть.

Ч е т в е р т ы й. У вас есть?.. Можно взглянуть?

В а н е к *(ставит сумку на стол, одной рукой тщетно в ней шарит, потом вспоминает)*. Да ведь вы их взяли!

Ч е т в е р т ы й. Но я для того сюда и пришел, чтобы вас проэкзаменовать, пан водитель. *(Достает бумажку.)* Двадцатого июля прошлого года в девятнадцать часов двадцать восемь минут возле Национального театра вы нарушили правила уличного движения, не пропустив обгонявшую вас машину,— и потому вы здесь. Итак, начнем: автомобильные моторы большей частью... ну?

Ванек не знает.

Франтик садится, смотрит, а возможно, и размышляет.

Конец

■

МЭРИ МОРРИС

Отдых в складчину

РАССКАЗ

Перевод с английского ТАТЬЯНЫ ИВАНОВОЙ

Дом все такой же. Белый, в глубине сада. И так же цветут розовые и пурпурные рододендроны: сперва розовые, потом пурпурные. Иду к заднему крыльцу за ключом, он на том же месте, под вторым цветочным горшком. Нам всегда казалось — вору не придет в голову туда заглядывать, слишком уж на виду. Я добралась сюда раньше других и открывать дом — моя забота.

Этим летом я приехала на уик-энд впервые, вхожу и вижу — кто-то в доме недавно был. В мойке — грязная кофейная чашка, поднимаюсь наверх положить вещи — на моей постели явно кто-то лежал. На этой постели я спала прошлым и позапрошлым летом. Наша с Робертом постель. Разглаживаю вмятину — она почти холодная. Нет, это не Роберт. Словно тут прилегла отдохнуть старуха или ребенок. А может, собака. Только собака не станет варить себе кофе.

Когда я возвращаюсь из рыбного магазина, Мэрилин и Джед, сидя в шезлонгах, потягивают лимонад. Джед рассуждает о Салли, женщине, с которой он жил здесь в прошлом году.

— Она совершенно не похожа на Франческу,— говорит Джед.— Ведь верно, Пэтси?

Никогда в жизни никто не звал меня Пэтси. Три прошлых лета я пыталась заставить его называть меня Патриция, все впустую. И я смирилась, как со многим другим в этом доме.

Синди приезжает немного позже и сразу отправляется на огород. На самом деле это ее огород, хотя мы все временами стараемся ей помочь. Синди рассчитала, сколько нам под силу посадить, и свела огород почти к одному картофельному полю. Она же сеет в междурядье ноготки и выливает на землю остатки пива против слизней.

Синди берет шланг и принимается за работу, но вдруг останавливается: вот уже неделю никого из нас здесь не было, и тем не менее Синди замечает:

— Огород прополот. Кто-то его прополол.

— Ну-ну! Просто ты как следует потрудилась на прошлой неделе,— говорит Джед.

— Не понимаю.— Синди тычет пальцем в землю.— И полито...

— Может, это мальчишка, который стрижет лужайку,— предполагаю я.

Она прячет шланг под цуккини.

— Хотела бы я быть садовым доктором.

— В каком смысле? — спрашивает Джед.— Лечить растения, защищать их среду обитания?

© 1985, by Mary Morris

Синди смотрит на него и хмурится.

— Ты просто тупица. Людям помогаешь, когда занимаешься растениями. Это — кормит.

— Если большой участок,— смеется Джед.

Сперва до нас не доходит. Потом все тяжело вздыхают, а мы с Джедом отправляемся на кухню готовить обед. Джед разворачивает мою рыбу, нюхает ее, разглядывает на свету.

— Что это?

— Камбала,— говорю я, наблюдая, как он тычется в нее носом.

— Камбала должна быть серой, а не синей. Она тухлая.

Откуда мне знать? Впрочем, возвращаясь из магазина, я и вправду не спешила. Шла кружным путем, по берегу, мимо лошадиной фермы — нашим любимым маршрутом.

— В магазине сказали — рыба свежая,— возражаю я.

— Она воняет,— настаивает Джед.

Джед малость гурман, но ничего, перебьется. Он рыбу моет, старательно натирает лимоном и чесноком. Она все еще сохраняет рыбный запах, но теперь из синей стала подозрительно зеленоватой.

— Мы им не скажем,— бормочет Джед,— и они ни за что не узнают.

Артур поспевает к обеду, и нас это немного огорчает. Артур завзятый курильщик, к тому же каждую трапезу он затевает горячий спор относительно американского империализма. Артур собирается поехать в Никарагуа, и мы не пытаемся его отговорить. Он привез подружку, Анжелину. Этого никто не ожидал, хотя Артур клянется, что все обговорил с Джедом. Джед у нас отвечает за гостей, и все гости должны быть с ним согласованы.

Моя комната всегда была моей — просторная хозяйская спальня по фасаду,— только я всегда жила в ней с Робертом. Нам нравилась эта комната большими окнами и удаленностью от ванной. Правда, попасть в малую спальню можно только через нашу, то есть она проходная, но с этим мы мирились.

— Пожалуй, я перейду в маленькую комнату,— предлагаю я.

Но Артур горячо возражает:

— Нет-нет, это твоя комната.— Он придерживается распорядка, точно это Билль о правах.— Мы не отступим от нашего распорядка.

— Мне-то все равно...— настаиваю я, но он не хочет об этом слышать. И тут я вспоминаю: — Знаете, кто-то спал на моей постели.

Джед замечает:

— Может, кто-то задержался здесь на прошлой неделе.

— Да нет,— говорю я; уж это я знаю, потому что следить за распорядком — мое занятие.

— И огород выполот,— вставляет Синди.

— Может, это лютики постарались,— хихикает Артур.

— И в мойке была кофейная чашка.

— Может, с прошлого раза,— вступает Джед. Но я его прерываю:

— Кофе был свежий.

— Я поговорю с агентом,— решает Мэрилин, потому что она постоянно имеет дело с агентом по продаже недвижимости, и так мы и решаем.

Обед — камбала и макароны по-итальянски — проходит при свечах. Артур подивил нас — привез пироги четырех сортов: черничный, вишневый, с ревенем и с персиками. Пироги разложены на буфете под портретом женщины, обитавшей в этом доме пятьдесят лет назад. Ее глаза следят за нами, словно желая удостовериться, что мы не портим вещи.

Толстяк Артур курит между блюдами, и Синди отмахивается от дыма.

— По-моему, нельзя разрешать курить в комнате,— говорит она, но на ее реплику никто не обращает внимания.

Артурово курение бесит Синди, однако здесь мы бессильны. Артур подчинил всех, кроме меня, и переделать его практически невозможно, разве что — избавиться вовсе на будущий год.

У Синди от всего аллергия. Она заставляет нас покупать ключевую

воду, поскольку, как она утверждает, у нее аллергия на пестициды, которые попадают в водопровод. Она не разрешает мне поливать соусом цыпленка, а я жарю его на гриле почти каждую субботу. Для нее приходится готовить отдельно, но иногда я обманом даю ей кусок с соусом, и до сих пор она не заметила разницы.

— Так как вам нравится рыба? — спрашивает Джед.

— Восторг! — отвечает Артур, вынимая изо рта кость.

Джед смотрит на меня и подмигивает.

— Ты любишь камбалу.

Артур кивает, продолжая есть. Джед заводит разговор о Мексике — там служанка готовила ему великолепную рыбу с чесноком и оливками.

Артур вскипает:

— Надеюсь, ты платил ей нормальную зарплату?

— Нормальную,— говорит Джед,— для тамошних мест.

— И в чем она выражалась? Два цента в день?

Джед — старший бухгалтер на крупной страховой фирме, он хорошо готовит, но вообще, по мнению Артура, премерзкий субъект. Нельзя сказать, что Джед невоспитан. Он вполне любезен, внимателен, а только это и имеет значение, когда отдыхаешь в складчину. Но, по мнению Артура, который работает в государственной адвокатской фирме, у него нет совести. Когда они сходятся за одним столом, мы мечтаем пообедать без ссоры.

Ничего не получается. Они неизменно затевают спор. Джед говорит, что он давал бедной женщине подработать, Артур же утверждает, что именно так ведут себя в «третьем мире» транснациональные корпорации. Я беседую с Мэрилин об аукционе, который состоится на следующей неделе. И вдруг понимаю, что устала и хочу спать.

— Извините,— говорю я.— Может, мне все же лучше перебраться в маленькую комнату?

Артур слышать об этом не хочет, несмотря на то что Анжелина дергает его за рукав.

— Мы поспим на воздухе,— предлагает Артур.— У нас есть спальные мешки.

Анжелина не хочет спать на воздухе, это ясно. Она шутит: от укуса москитов, пожалуй, подцепишь СПИД, но никто не смеется.

— Ненавижу, когда люди спят на улице,— говорит Синди, убирая со стола, но не объясняет почему.

Я отправляюсь спать наверх и снова вижу вмятину на постели, хотя твердо помню, что ее расправила.

Под стрехой крыши живет какая-то птица, которая сводит меня с ума. Она издает чудовищный звук, вовсе не птичий, и будит меня каждое утро в пять часов. Сегодня птица кричит громче обычного. Не чирикает и не поет. Скорее, зовет кого-то, настойчиво, неотступно.

Я поднимаюсь с постели, пытаюсь понять, где она, запустить в нее сабо — чем попало. Внизу, во дворе, пламенный революционер Артур, нагрузившийся четырьмя сортами пирогов, пламенно трудится над Анжелиной, опасавшейся интимных сношений с москитами. Спальный мешок вздымается и опадает, мясистая спина Артура двигается вверх-вниз.

Наконец птица замолкает, но я уже не могу уснуть. Надо было мне настоять на переезде в маленькую комнату, впрочем, я не уверена, что уговорила бы кого-нибудь спать на нашей постели. А задний двор тоже был нашим владением. Мы присвоили его давным-давно, когда однажды оказались в доме вдвоем. Стояла прохладная летняя ночь, в темно-зеленом небе висела оранжевая луна, и мы вышли из дома проверить, как поживают овощи. Ночь была безоблачная, я хорошо ее запомнила, потому что Роберт, запрокинув голову, воскликнул: «Боже мой, погляди на звезды». Потом он сдернул с веревки пляжное полотенце и расстелил его на земле. «Надо здесь остаться, во дворе. Лечь на землю и глядеть на звезды».

Утром я долго валяюсь в постели. Наконец встаю, ковыляю вниз и натыкаюсь на Мэрилин; она роется в чулане.

— Что ты там делаешь? — спрашиваю я.

По правде сказать, я несколько шокирована. Чулан обычно заперт.

Мэрилин сообщает:

— Я нашла ключ.

— Но ты же знаешь, мы не должны туда ходить,— возражаю я.

Однако Мэрилин уже разложила вокруг себя всякую старину.

— Погляди, что я нашла.

Она указывает на «блошки», бутербродные палочки, игральные карты и какое-то неизвестное нам лото — все это, наверно, тридцатых годов. А вот куча фотографий. Часть этих вещей я видела и раньше, но не все.

Мэрилин выкладывает передо мной альбом в кожаном переплете. Чья-то коллекция открыток. Альбом много старше лото, и мы медленно листаем его, вынимаем некоторые открытки, читаем. Открытки со всего света. Из Африки и Южной Америки, Соединенных Штатов и Европы, Китая и Японии. Я вижу подножье Эйфелевой башни. На обороте написано: «Эди, ты должна поглядеть на эту башню. Она совершенно нелепа». Или: «Дорогая, мы путешествуем через Судан, жара становится нестерпимой. Напишу тебе еще из дельты Нила, где, говорят, будет прохладней. С любовью».

Все открытки адресованы Эди. Мы знаем, кто такая Эди. Она — жена Ричарда и на мать мистера Венделла, хозяина дома. Это ее портрет висит в столовой над камином. Ричард и Эди давно уже умерли, а Алекс Венделл последние пять лет сдает дом нам. Странно, что Алекс оставил здесь так много родительских вещей. В прошлом году, например, мы нашли фотографию Эди и Ричарда, Ричард на ней совсем скрюченный — сосед говорит, он страдал какой-то редкой болезнью.

Я и раньше натыкалась на памятные вещи. Как-то я брала старый набор для шитья — зашить блузку; сидела на лошадке-качалке в гараже, лошадку вырезал из дерева Ричард. Мы пользовались старым садовым инструментом; хозяин скобяной лавки долго смеялся, когда я попросила его наточить косу.

Странное чувство внушает мне эта коллекция открыток, и в конце концов я говорю Мэрилин:

— Давай лучше уберем этот хлам.

Ночью я просыпаюсь с явным чувством, что лежу не одна. Рядом со мной кто-то есть. Постель около меня теплая, я слышу чье-то дыхание. Казалось бы, следует испугаться, но почему-то я не боюсь. Наоборот, меня охватывает странное спокойствие. И вот уже светает, я протягиваю руку — кровать рядом со мной пустая и холодная, холоднее, чем обычно бывает пустая кровать.

Утром я отправляюсь за необходимыми покупками: туалетной бумагой, сахаром. Когда я вынимаю покупки, Синди — она оказалась на кухне — спрашивает:

— Это что?

Я говорю:

— Туалетная бумага. Четыре рулона.

— Ты что ж, собираешься взять ее с собой в город?

— Нет,— говорю,— думаю, мы используем ее за лето.— Но Синди качает головой:

— Надушена. Бумага надушена. Надо покупать ненадушенную. Ты не будешь возражать, если я ее верну?

— Вернешь туалетную бумагу? Что ж, верни.

Я направляюсь к выходу.

— Да, между прочим,— говорит Синди,— как раз собиралась тебе сказать. Я встретила в автобусе Роберта. Видно, он устроился этим летом на Водяной мельнице.

— А,— говорю я, отступая к выходу.

— Выглядит хорошо.— Она улыбается.— Красивый, загорелый.— Она пытается понять, почему я ничего не спрашиваю о Роберте.— Просил передать привет.

— Спасибо,— бормочу я и скрываюсь во дворе.

Беру в гараже велосипед и еду к океану. Ветерок с картофельного поля ласкает волосы. Уже в который раз я повторяю себе одно и то же, у нас с Робертом не было никакого будущего. Хотя об этом мы не говорили. Но почему-то мне не приходило в голову, что он тоже здесь, только бывает на других пляжах. Что просто продолжает жить — ведь я как-то застыла на месте. Я все так ясно помню, хотя очень хочу позабыть. Как мы бежали трусцой, держась за руки, на пляж. Как пускались наперегонки в воду. Как дурели под дождем. Виноградные плети шатром укрывали наши головы, янтарный свет свечи играл на спелых гроздьях. Сейчас еду и думаю — необходимо все позабыть, но мельчайшие подробности так и стоят перед глазами, будто все это было вчера.

Проезжаю мимо пруда; тучные белые лебеди, изгибая стройные шеи, скользят по воде. Хочется думать: «Какие славные лебеди», а не «В прошлом году мы с Робертом кормили этих лебедей».

В меня точно бес вселился. Мне нелегко в этом признаться. Что-то обосновалось в моем теле и завладело мной. Это странное чувство — будто я всегда не одна. Оно живет во мне. Когда в прошлом месяце я сказала Роберту по телефону, что возьму кое-какие свои вещи, мне показалось, будто в нем что-то давно умерло. А во мне живет. И я понимаю — дай я этому волю, оно заполнит меня всю.

Возвращаюсь домой, а Джед с друзьями играет в бадминтон — задний двор занят. На дворе перед домом Мэрилин рисует магнолию; подсаживаюсь к ней узнать, каковы планы на обед. Она говорит, что Синди собирается доедать оставшиеся с прошлого раза пятнадцать равиоли, Артур отправляется в «Сэг Харбор», в китайский ресторан, а у Джеда обедают его партнеры по бадминтону, и мы не приглашены.

— Не приглашены? В нашем собственном доме?

Она пожимает плечами. Мы-то обе знаем — такого раньше не бывало. Что ж, мы решаем пойти в «Трудолюбивую пчелу».

В «Трудолюбивой пчеле» как раз «обжорный час», можно взять два блюда за цену одного. Все столики заняты, и мы отправляемся в бар. К нам подсаживается какой-то парень, представляется он как Эрик из рекламного, и мы соответственно ему представляемся. Мэрилин говорит, что она работает в нью-йоркском надзоре за летучими мышами, парень заинтригован, хоть и относится к сообщению недоверчиво. Она объясняет, что летучие мыши переносят бешенство, поэтому в ее обязанности входит обследовать заброшенные дома, где они могут селиться.

— Сами понимаете, на Парк-авеню летучие мыши не водятся.

На самом деле Мэрилин высококвалифицированный биолог, и «надзор за летучими мышами» для нее весьма побочное занятие. Зато удобная тема, чтобы начать или прервать разговор. В данном случае — прервать, и Эрик быстренько от нас отчаливает.

Глядя ему вслед, Мэрилин пожимает плечами.

— Мужчины. И кому только они нужны, эти мужчины.

Официантка все приносит и приносит нам без устали. Мы пьем водку с тоником, потом вино. Потом пожираем чизбургеры, запивая их еще несколькими бокалами вина, и выходим в ночь. Тепло, стелется туман, кажется, луна где-то за облаками, но Мэрилин объявляет, что именно сейчас та единственная неделя в году, когда видны падающие звезды, мы плюхаемся на мокрую траву, глядим в небо и иногда в просветах между облаками в самом деле видим падающую звезду.

— Синди встретила в автобусе Роберта,— говорю я, используя паузу в метеоритной активности.

Мэрилин садится.

— По правде говоря, вы, ребята, никогда вместе не смотрелись. Мне кажется, он тебе не подходил.

Я тоже сажусь.

— Я все-таки думала, сейчас уже буду замужем.

— Мы все так думали.— Мэрилин обнимает меня.— Может быть, это просто вывих истории. Все равно как родиться до изобретения пенициллина или оказаться в Польше в тридцать девятом году.

Мы снова молчим.

— Нам нужна любовь — много-много любви,— говорю я.

Мэрилин гладит мою руку.

— Любить — это все равно как зависеть от иностранной нефти.— Мы обе пьяны. Она продолжает: — Нужно уметь жить в одиночестве, даже когда не хочешь.

Я киваю, хотя вовсе не хочу жить в одиночестве. Мне хочется продолжить эту тему, подробнее поговорить обо всем, но пока я собираюсь с духом, Мэрилин вскакивает, она клянется, что на берегу лучше видны падающие звезды, и по совершенно непонятной причине я ей верю.

Мы едем на грузовике, груженном картофелем; лежим на спине, картофель трется о наши ноги, больно бьет в позвоночник. Просто удивительно, до чего твердые эти картофелины. Крепкий лонг-айлендский картофель. Я кладу одну картофелину в карман — на счастье. Фермер — хозяин грузовика — высаживает нас на темную полоску берега, и мы на прощанье ему машем. Пляж жутковатый. За бегущими облаками луны не видно. Океан черен, только белеет наползающий туман. Мы снимаем туфли и, бросив их у дороги, босые идем по песку.

Мэрилин увлекает меня к воде, а потом говорит:

— Давай друг друга хоронить.

Я вовсе не хочу, чтобы меня хоронили, но она непреклонна, а мне неохота спорить. Мы выкапываем могилки и садимся в них в ожидании похорон. Потом медленно сыплем друг на друга песок, пока он не покрывает нас до пояса. На это уходит много больше времени, чем можно было предположить. В конце концов я даже устала, и мокрый песок неприятно холодит.

— А теперь что будем делать? — спрашиваю я.

— Думаю, просто сидеть,— говорит Мэрилин.

Сижу, устремив взгляд на дегтярно-черное море, ноги засыпаны песком, а Мэрилин заводит разговор о гигантских головоногих. Она говорит, до недавнего времени ученым не удавалось увидеть живьем ни одного головоногого. Всё попадались мертвые, величиной — под девять футов, но только мертвые. Мэрилин говорит, головоногие нападали на корабли, и всякий раз вставал вопрос: почему? Ведь не собирались же они съесть корабль. Тогда зачем? Мэрилин, кажется, разгадала, в чем тут дело. Гигантские головоногие живут в самых холодных слоях океанской воды. Когда случается воде перемешаться, они вынуждены всплывать на поверхность. Но в теплой воде у них закипает кровь. Невозможно представить себе, что они при этом чувствуют, говорит Мэрилин. Так вот: нижние слои воды перемещаются вверх, головоногие всплывают, и кровь у них закипает. Потому-то они и вцепляются в корабли.

— Ведь они в агонии.— Мэрилин вздыхает.— В агонии.

Я смотрю на океан и думаю, что под конец, чтобы удержать Роберта, творила невероятные вещи. Однажды голая встала в дверях и не сдвинулась с места, даже когда он пригрозил меня ударить. Молила, обхватив руками его колени.

Я вскакиваю, по ногам струится песок, в глазах слезы. Мэрилин тоже вскакивает и устремляется за мной.

— Эй,— кричит она,— я что-нибудь не то сказала?

Я отрицательно качаю головой. Говорю, что сделала ошибку. Мне следовало этим летом поехать в другое место.

— Мы с Робертом,— говорю я,— у нас это было настоящее...

Не знаю, как я добралась до дома и как легла. Не помню, как разделась и надела ночную рубашку. Я была почти уверена, что умираю. Разбудил меня стук в окно. Еще темно. Выглядываю и вижу в лунном свете: ветку раскачивает ветер, и она ударяет по стеклу. Полусонная, с трудом вылезаю из постели, чтобы отворить окно и обломать конец ветки. Но пока я иду к окну, ветка обретает новую форму, и в тот момент, когда я подхожу,

происходит нечто странное: ветка меня манит. Кажется, пальцы морщинистой руки делают мне знак, прося впустить.

С тех пор как Роберт съехал, были у меня и другие странные видения, и потому это меня не удивило, но все же я не смогла уснуть. Матрас на моей кровати, той кровати, которую я делила с Робертом, старый, и, хотя мы подложили под него доску, он все равно неудобный. Помню, я обычно спала, притулившись к Робертовой спине. Не помню, как я спала на этой кровати до Роберта.

Спускаюсь вниз, в столовую, и усаживаюсь на качалку. И снова это чувство: будто я не одна; поднимаю глаза — картина над каминной полкой словно наблюдает за мной. И я смотрю на Эди Венделл, женщину, которой принадлежал этот дом и у которой была коллекция открыток, и думаю: не скучает ли она по тому, что покинула?

Я решаю проведать овощи, посмотреть, как они поживают. Снимаю фонарь у двери заднего крыльца и, стоя в темном саду, направляю на грядки свет. Кажется, за ночь овощи выросли. Цуккини будто стал выше, усики горошка протянулись дальше. Луч фонаря выхватывает банки из-под пива, в них в темной, клейкой жиже гниют дохлые слизни.

Перемещаю луч по земле и вижу нечто толстое, розовое и мокрое. Пульсируя, оно движется в порыве энтузиазма. Это два земляных червя занимаются любовью, они вздуваются, но мой свет испугал их, они прыснули в разные стороны, уползли в свои норки. И я на мгновенье замираю, не в силах перевести дух.

Сзади стоит Роберт. Он пришел проведать сад. Я чувствую его, как чувствовала в ту ночь, когда мы смотрели на звезды. Он так близко — сто́ит протянуть руку, и я коснусь его. Сто́ит только медленно обернуться; я оборачиваюсь, ветер шуршит листвой, а его почему-то нет.

Возвращаюсь в постель и вижу все ту же вмятину. Но на сей раз я не собираюсь ее разглаживать. На сей раз я кладу голову именно туда, где остался след его головы. И ноги протягиваю в складки простыни, смятой его ногами, и, умостившись целиком в этой вмятине, в этом опустевшем отпечатке его тела, наконец-то засыпаю. Не знаю, долго ли я спала, только разбудил меня все тот же настырный крик птицы и странный ветер, разгуливающий по комнате. Словно кто-то взял меня за плечо, хотя в комнате никого нет.

Утром просыпаюсь, привлеченная запахом кофе, и бреду вниз. Джед за обеденным столом с калькулятором в руках итожит расходы, а Синди ведет учет недостачи по части бакалеи.

Джед спрашивает:

— Пэтси, ты брала из малой кассы деньги на брикеты?

Я и кофе еще не выпила и потому не сразу соображаю, что он имеет в виду. Но, сообразив, киваю.

Джед говорит:

— Знаешь, с брикетами не так, как с туалетной бумагой. Это индивидуальные, а не общие расходы. Поэтому ты должна вернуть в кассу пять долларов тридцать семь центов, но все должны тебе по два доллара семь центов.— Озадаченный, он делает паузу, и на лице его появляется раздражение: из-за меня, из-за того, что я взяла на брикеты из кассы, ему придется все пересчитать.

Синди поднимает голову:

— Не вздумай брать с меня за кофе. Я пью только чай.

— А что делать со звонком в Тулсу? — спрашивает Джед.— Ни у кого нет знакомых в Тулсе.

Джед бросает домашние финансы и углубляется в биржевые отчеты, Синди занялась приседаниями, Мэрилин варит яйца. Артур с Анжелиной в гостиной, они утонули в бумажках. Никто не обращает на меня внимания, но я, проходя по комнате, останавливаюсь и гляжу на них. Какие-то они странные. Постарели всего на один день, а по сравнению со вчерашним днем изменились. В купальнике я незаметно скольжу мимо и уплываю вон из дому.

ЭМИЛИ ДИКИНСОН

Три стихотворения

С английского

Предлагаем вниманию читателей три стихотворения Э. Дикинсон и несколько их русских версий. Некоторые из них были уже опубликованы, другие, хотя и выполнены давно, никогда не появлялись в печати, третьи сделаны специально по заказу редакции. В рубрике «Вглубь одного стихотворения» (к ней может быть отнесена и эта публикация) журнал печатал уже стихи Р. М. Рильке (1990, № 7), Р. Киплинга (1992, № 1) и П. Б. Шелли (1993, № 1).

Очень долго Эмили Дикинсон (1830—1886) оставалась для нас незнакомкой. В антологии она не попадала, в книгах по истории американской литературы не упоминалась. Несколько стихотворений, вошедших в книгу переводов М. Зенкевича (1946), еще пять в сборнике переводов И. Кашкина (1960) — вот практически и все, пока не затеяли монументальную «Библиотеку всемирной литературы».

Дошло дело в этой серии до тома американской поэзии прошлого века, и тут выяснилось, что Дикинсон много лет переводит «в стол» признанный наш филолог В. Маркова: ее все знали, но как специалиста по японской классике. Первая публикация этих переводов В. Марковой состоялась в «ИЛ» (1976, № 12). Нашлись и переводы И. Лихачева. Они сделаны еще в 30-е годы, без надежд на публикацию. Частично их до тома «БВЛ» напечатал алма-атинский журнал «Простор».

Том, где Дикинсон соседствовала с Лонгфелло и Уитменом, вышел в свет, положив начало настоящей русской известности этой затворницы из Амхерста, где прошла вся ее жизнь. И — как прорвало. Переводы из Дикинсон стали предлагать в самые разные редакции. Были переводчики, как покойный А. Гаврилов, поставившие целью перевести Дикинсон целиком, все 1775 стихотворений, составляющих канонический свод ее наследия, окончательно установленный только в 1955 г. Другие выбирали лишь тексты, входящие даже в школьные американские хрестоматии. Зато интерпретации предлагали очень нешаблонные, далеко отклоняющиеся от более или менее утвердившихся в огромной литературе о Дикинсон.

Можно понять и причины долгого ее замалчивания, и последующий всплеск энтузиазма. Пока классиками у нас считались лишь те американские авторы, которые бичевали да обличали, Дикинсон, конечно, не могла фигурировать хотя бы в третьем десятке «представляющих интерес». Социальные вопросы для нее как бы и не существовали всерьез, все земное, суетное меркло перед неотступными проблемами духа, перед этой «кипящей Печалью», которую в ней пробуждала честно ею признанная утрата Бога и невозможность существования без нового обретения.

Окружающее виделось ей слишком приземленным, ординарным, утилитарным, и с годами лишь усиливалось желание вообще уйти от этого мира, замкнуться, сосредоточиться исключительно на тайнах, лежащих за горизонтом повседневного обихода и всего физического существования.

Если вспомнить, что первая русская публикация из Дикинсон пришлась как раз на тот год, когда главный идеолог державы публично обозвал Ахматову кликушей и юродствующей блудницей, вряд ли вызовет удивление многолетний молчаливый запрет даже на упоминание о поэтическом феномене, который при желании можно было бы подвести под ту же характеристику.

Тот пыл, который лирика Дикинсон вызвала у молодых лет пятнадцать назад, с появлением тома «БВЛ» объяснялся, скорее всего, не только бросающейся в глаза оригинальностью этой поэзии. И не только присущим ей огромным эмоциональным напряжением.

Стихи Дикинсон в ту пору приобрели для нашей ситуации непредвиденную актуальность — и прежде всего благодаря доминирующей в них мысли о добровольном отказе от всех благ, равно как всех искушений окружающего мира. Дикинсон, считавшая постыдной даже публикацию своих стихотворений и пришедшая в ужас, когда восемь из них все-таки увидели свет, воспринималась — помню из тогдашних разговоров — как поэт, явивший пример бескомпромиссности во времена приспособленчества и расчета.

Эти неровные, пульсирующие строки, переполненные необычными образами, больше всего пленяли тогда тем, что расчета за ними не чувствовалось никакого: ни единой уступки торжествующей вульгарности и бездарности, ни намека на жажду каких-то знаков признания и успеха. Для многих, кто в те годы писал исключительно в силу внутренней необходимости, а значит, честно, Дикинсон стала и объяснением, и оправданием собственных творческих усилий.

Только теперь мы можем прочесть Дикинсон без таких коннотаций, которые, конечно, заметно корректировали восприятие ее поэзии, мешая проникнуть в глубину. И может быть, в сопоставлении нескольких версий одного и того же текста, принадлежащих и такому выдающемуся мастеру, как Иван Елагин, и переводчикам, чьи имена не на слуху,— может быть, в этом неспешном движении к сокровенному смыслу строк, написанных столетие с лишним назад, мы и почувствуем по-настоящему поэтическую стихию, не имеющую аналогов, как ни соблазнительны, например, сопоставления с Цветаевой.

Может быть, нам наконец откроется, до какой степени обострено у Дикинсон переживание законов смерти. И как тесно этот мир «покоев из алебастра» соотнесен у нее с живым, трепещущим миром. И до чего необычны ее метафоры, соединяющие библейскую аллегоричность с подробностями, немыслимо смелыми по своей зримости, своей вещественности, и до чего нетрафаретны ее поэтические жанры, даже если их условно и можно считать разновидностью медитации или элегии.

Эта «неприметная женщина маленького роста с гладкими рыжеватыми волосами, заплетенными в две косы»,— так ее описал литератор Т. Хиггинсон, первый ее издатель и единственный, кто оставил о ней мемуары,— обладала дарованием не только редкостным по силе, но поистине уникальным: свойственной лишь Дикинсон полной свободой от всего, что почитали обязательным реквизитом поэзии и при ее жизни, и много позже. Наверное, эта совершенно органичная свобода больше всего и поражает читающих ее стихи. Письмо, которое она отправила миру, все еще не расшифровано до конца — смысл этого послания только предстоит понять, потому что оно слишком не похоже ни на чье другое.

А. ЗВЕРЕВ

441

This is my letter to the World
That never wrote to Me —
The simple News that Nature told —
With tender Majesty

Her Message is committed
To Hands I cannot see —
For love of Her — Sweet — countrymen —
Judge tenderly — of Me

1862

Я эти строчки миру шлю,
Хоть он мне не писал,—
Все, что Природы голос мне
По дружбе нашептал.

И я частицы тех вестей
Всем раздаю вокруг.
Ради нее суди добрей
Меня, читатель-друг!

Перевод Э. Гольдернесса
(В кн. Э. Гольдернесс. Искры. Стихи и переводы. Тбилиси, «Мерани», 1971.)

Это — письмо мое Миру —
Ему — от кого ни письма.
Эти вести простые — с такой добротой —
Подсказала Природа сама.
Рукам — невидимым — отдаю
Реестр ее каждого дня.
Из любви к ней — Милые земляки —
Судите нежно меня!

Перевод В. Марковой
(В кн. Эмили Дикинсон. Стихотворения. Пер. В. Марковой. М., «Художественная литература», 1981.)

Тебе мое посланье — Мир —
Хоть ты не знал меня —
Весть — что природой молвлена —
В величии нежна.

Ее наказ завещан
Рукам незримым — к ней
Любовь питая — мой земляк —
Суди меня нежней —

Перевод А. Величанского

Я миру шлю мое письмо,
Хоть он не шлет вестей —
Природа нашептала мне
Немало новостей.

Кому вручат, не знаю я,
Послание мое.
Любите и меня, друзья,
Как любите ее.

Перевод А. Гаврилова

Стихи мои — посланье Миру,
Но он не отвечает мне.
Пишу о том, что мне Природа
Поведала наедине.

Рукам незримых Поколений
Ее Вестей вверяю свод.
Кто к Ней неравнодушен — верю —
Когда-нибудь меня поймет.

Перевод А. Кудрявицкого

Вот весть моя сердцам земным,
Забывшим про меня.
Весть, что природа дарит им,
Величие храня.

Того, кто примет эту весть,
Я вижу лишь во сне,
И по любви, что скрыта в ней,
Судить вам обо мне.

Перевод А. Голова

Письмо я обращаю к миру,
Но он в ответ не пишет мне.
Простые вести от Природы
Я получаю в тишине.

Они нежны, посланья эти,
Даны рукам, не зримым мной.
Мою любовь не мерьте, люди,
Своею меркою земной.

Перевод С. Фетисовой

Вот миру от меня письмо.
Ответ мне незнаком.
Природа говорит со мной
Понятным языком.

Ее живые дневники
Чужие пусть прочтут...
Любя ее — и земляки
Слова мои поймут.

Перевод А. Шараповой

67

Success is counted sweetest
By those who ne'er succeed.
To comprehend a nectar
Requires sorest need.

Not one of all the purple Host
Who took the Flag today
Can tell the definition
So clear of Victory

As he defeated — dying —
On whose forbidden ear
The distant strains of triumph
Burst agonized and clear!

1859

Тем, кто не знал успеха,
Он сладостней всегда.
Вполне оценит не́ктар
Лишь горькая нужда.

Никто в бряцающих Войсках,
Дерзнувших Знамя взять,
Ясней не даст ответа,
Что значит Побеждать,

Как тот разбитый — павший —
О чей бессильный слух
Дробится ликованья
Жестокий, ясный звук.

Перевод И. Лихачева
(В журн. «Простор», 1971, № 7, Алма-Ата.)

Всего милей удача тем,
Кто не знавал удач.
Тот может нéктар оценить,
Кто ведал смертный плач.

И ни один из тех солдат,
Кто флаг теперь берет,
Так ясно не определит
Победы смысл, как тот,

Кто побеждал, кто пал в бою,
Кто слышит, ослабев,
Далеких труб триумфа
Отчетливый напев!

Перевод И. Елагина
(В журн. «Диалог-США», 1976, № 2)

Успех всего заманчивей
На самом дне беды.
Поймешь — как сладостен нектар —
Когда — ни капли воды.

Никто в пурпурном воинстве —
Сломившем все на пути —
Не смог бы верней и проще
Слова для Победы найти —

Чем побежденный — поверженный...
Сквозь смертной муки заслон
Он слышит так ясно — так ясно —
Триумфа ликующий стон.

Перевод В. Марковой
(В кн. Эмили Дикинсон. Стихотворения. Пер. В. Марковой. М., «Художественная литература», 1981)

Всего милей удача
Тем — кто не знал удач —
Вкус нéктара удастся
Лишь горечи постичь.

Никто из алой рати —
Поднявшей ныне стяг —
Высокий смысл победы
Не постигает так —

Как побежденный — павший —
Победы ясный звук
Мучительно и точно
Его терзает слух.

Перевод А. Величанского

Успех считают сладким
Те, кто его не знал.
Узнает вкус нектара —
Кто сильно возжелал.

Не тот из доблестных бойцов,
Кто ныне стяг несет,
Победы настоящей вкус
Почувствовал — а тот,

Кто проиграл сраженье
И умирал в тоске,
Чужой победы пенье
Услышав вдалеке.

Перевод А. Гаврилова

Успех для тех заманчив,
Кто не пресыщен им.
Нектар скорей оценит тот,
Кто Жаждою томим.

В пурпурном Войске, у врага
Сумевшем Флаг отнять,
Никто Победы цену
Не может лучше знать,

Чем тот поверженный солдат,
Что был в бою сражен
И слышал звук победных труб,
Впадая в смертный сон.

Перевод А. Кудрявицкого

Удачу молят те,
Кому родней беда.
Сполна оценит мед
Последняя нужда.

Пурпуроносный царь,
Разбивший вражью рать,
Каков удачи вкус,
Не сможет вам сказать.

Спросите у того,
Кто сам лежит в пыли
И слышит, умирая,
Победный гром вдали.

Перевод Т. Грингольц

126

To fight aloud, is very brave —
But *gallanter,* I know
Who charge within the bosom
The Cavalry of Wo —

Who win, and nations do not see —
Who fall — and none observe —
Whose dying eyes, no Country
Regards with patriot love —

We trust, in plumed procession
For such, the Angels go —
Rank after Rank, with even feet —
And Uniforms of Snow.

1859

Знак доблести — открытый Бой.
Почетней и трудней
Душою ополчиться
На конный строй скорбей.

Ты побеждаешь — мир молчит,
Ты пал — и ты забыт,
И родина, над павшим
Склоняясь, не скорбит.

Но верю, что за гробом
Незримо для живых
Шеренги ангелов пройдут
В доспехах снеговых.

*Перевод Т. Гринголь*ц
(В журн. «Огонек», 1992, № 14-15)

Герой в бою стяжает славу —
Но знаю я — отважней тот,
Кто с целым полчищем Страданий
Борьбу в душе своей ведет.

Он победил — вокруг молчанье,
Он гибнет — рядом никого —
Сочувствием не избалован
Взор угасающий его.

Мне верится — к подобным людям —
В последний путь их провожать —
Снисходит снежными рядами
Святая Ангельская рать.

Перевод А. Кудрявицкого
(В кн. «Поэтическая антология». М., Издательство Российского государственного гуманитарного университета, 1993.)

Бой на виду отважен —
Но доблестнее тот —
Кто с эскадроном скорби
На сердце бой ведет —

Кто победит незримо —
Неведомо падет —
Чьи очи не закроет
Умильно патриот —

Но ангелы в плюмажах
Пойдут за ним вослед —
За рядом — ряд, чеканя шаг —
Мундиры — словно снег.

Перевод А. Величанского

Сражаться в битве — смелым быть —
Но те смелей в сто крат,
Кто в Сердце атакует Грусть
И Конницу Утрат —

Кто побеждал не на виду —
Кто незаметно пал —
И умирая, взгляд страны
С любовью не искал.

Я верю, что парадом
В торжественном строю —
Проходят Ангелы в их честь —
Чеканя шаг — в Раю.

Перевод А. Гаврилова

■

ПОЛ КЕННЕДИ

ГОТОВЯСЬ К XXI ВЕКУ

Книга Пола Кеннеди «Готовясь к XXI веку» была обречена на успех. Имя ее автора, профессора Йейльского университета, специалиста по международным стратегическим исследованиям и обозревателя ведущих периодических изданий, таких, как «Нью-Йорк таймс», «Вашингтон пост», «Атлантик», «Экономист», широко известно на Западе. Опубликованный в 1988 году труд «Взлет и падение великих держав», в котором были предсказаны события последующих лет, стал мировым бестселлером.

Из нового бестселлера Пола Кеннеди, дающего прогноз развития всех важнейших регионов мира, мы выбрали главу, касающуюся непосредственно нашего с вами будущего. Ведь нам безусловно интересно, каким его видит западный исследователь и вместе с ним и многочисленный читатель. Как утверждает газета «Чикаго трибюн», «Эта книга должна лежать на ночном столике каждого крупного политического лидера».

Так что же? Прогноз окончательный и обжалованию не подлежит? Мы сочли необходимым снабдить эти безжалостные выкладки комментарием профессионала с другого, так сказать, берега, известного экономиста и публициста Бориса Пинскера.

БЫВШИЙ СССР И ЕГО РАСПАВШАЯСЯ ИМПЕРИЯ

Описывая перспективы развития государств, составлявших бывший СССР, наблюдатели сталкиваются с той же самой проблемой, которая ставила их в тупик в 1918 году: трудно не только угадать, в каком направлении идет развитие того или иного региона, неясно также, насколько далеко зайдет процесс распада некогда монолитной империи на отдельные части. Кризис настолько тяжел и сложен, что можно определенно констатировать лишь наличие бесконечной неопределенности. Это невероятно затрудняет задачу оценки способности того или иного региона подготовиться к встрече XXI века, поскольку руководство этих регионов заботится прежде всего о том, как пережить существующий хаос, а население поглощено повседневными заботами о том, как бы свести концы с концами. В таких обстоятельствах остается мало сил для того, чтобы следовать глобальным тенденциям, не говоря уж о том, чтобы приспосабливаться к новым проблемам.

Несмотря на существующий общественно-политический кризис, наследники СССР располагают множеством материальных ресурсов. Площадь Советс-

© 1993, by Paul Kennedy

кого Союза составляла 22,4 млн. кв. км, или 8,6 млн. кв. миль — 1/6 поверхности земной суши. Со стратегической точки зрения это делало страну неуязвимой для нападения извне, что и испытали на себе иностранные завоеватели, от Карла XII до Гитлера. С экономической точки зрения это обеспечивало обширный внутренний рынок, тогда как зависимость от внешней торговли была ниже средней, подобные преимущества имеются и в других странах с большой территорией, например в Китае и в США. СССР обладал также потенциально огромной базой земледелия; площадь его пахотных земель была такой же, как в Соединенных Штатах и в Канаде, вместе взятых. На территории СССР, протянувшейся на 6 500 миль, находятся богатейшие запасы сырья в мире; до своего распада эта страна была крупнейшим производителем никеля, железа, свинца, нефти и природного газа, а по добыче каменного угля она занимала третье место в мире. По запасам золота и хрома СССР был на втором месте в мире, лидируя в производстве серебра, меди и цинка. Советские ученые с гордостью заявляли, что «58% мировых запасов угля, 58,7% запасов нефти, 41% — железной руды, 76,7% — апатитов, 25% всех лесных угодий, 88% запасов марганца, 54% — калийной соли и примерно 1/3 фосфатов находились на территории страны». Хотя подобные статистические данные представляются сомнительными, эти земли действительно невероятно богаты природными ресурсами.

Начиная с конца 20-х годов эксплуатация этих запасов позволила создать мощную индустриальную и производственную базу. К середине второй мировой войны, несмотря на огромные территориальные потери, экономика СССР вышла на второе место в мире после Америки. Несколько лет назад Москва хвасталась тем, что занимает первое место по производству стали, чугуна, кокса, нефти, станков, тепловозов и электровозов, цемента, минеральных удобрений, тракторов, текстиля, обуви и полуфабрикатов. Помимо обширной сети железных дорог и воздушных путей, страна имела весьма внушительный торговый флот и самый большой в мире рыболовецкий флот дальнего базирования.

На этой огромной территории проживало 288 млн. человек (данные 1989 года), в распоряжении которых была система образования, считавшаяся одной из самых совершенных в мире. Образование с семи до семнадцати лет было бесплатным, миллионы детей посещали детские сады, и существовало много видов вечернего, заочного и профессионального образования для тех, кто не мог учиться в обычных высших учебных заведениях. Согласно официальной статистике, в начале 80-х годов примерно 100 миллионов человек учились в школах, институтах, училищах и на заочных курсах, в том числе в начальной и средней школе — более 44 млн. учащихся, 4,6 млн. студентов в 4380 технических вузах и 5,2 млн. студентов в 883 государственных университетах и институтах. Система образования была ориентирована скорее на получение экономической выгоды, чем на усвоение знаний как таковых; это находило отражение в огромном количестве инженеров в Советском Союзе — примерно 40% из всех получавших высшее образование — и в наличии многочисленных научно-исследовательских и учебных институтов. В общем, страна гордилась тем, что в 1985 г. в ней было примерно 14,9 млн. «экономически активных ученых и инженеров», которых поддерживали еще 17,4 млн. «экономически активных технологов». В СССР было также 70 000 медиков-исследователей наряду с 960 000 врачей и дантистов — иными словами, больше активных врачей, чем в любой другой стране мира.

Учитывая подобные показатели в науке, технике и инженерном деле, а также достижения в области математики и естественных наук, нельзя удивляться тому, что Советский Союз претендовал на занятие сильных позиций в целом ряде областей, от физики низких температур до изучения растений.

По мнению его собственных лидеров, по крайней мере до недавнего времени главным достижением Советского Союза было то, что он стал одной из двух мировых военных сверхдержав, сравнимой только с более богатыми Соединенными Штатами. Несмотря на высокую социальную и экономическую цену, Сталин и его последователи никогда не сомневались в значении мощных Вооруженных сил, во-первых, для того чтобы удержать капиталистические страны от агрессии и, во-вторых, для того чтобы оказывать влияние на мировые дела. Впоследствии Советский Союз стал обладателем ошеломляющего арсенала ракет, как ядерных, так и обычных, для обслуживания которых, в случае необходимости, могли быть задействованы огромные людские резервы. Даже после того как инициативы Горбачева привели к значительному сокращению стратегических вооружений и численного состава армии, СССР по-прежнему обладал самым большим в мире ракетным арсеналом, второй по численности (после Китая) армией, вторым по величине (после

США) флотом и самыми многочисленными ВВС и бронетанковыми войсками. Если в начале XXI века военная мощь государства еще будет что-то значить для определения его положения в мире, то федеративное государство — наследник СССР или даже такие его части, как Россия и Украина, могут рассчитывать на занятие ведущих позиций.

Учитывая все эти материальные преимущества, данный регион теоретически должен был быть лучше подготовлен к тому, чтобы принять вызов нового столетия, чем другие, менее обеспеченные страны. Однако весь этот потенциал ослаблен глубокими и взаимосвязанными проблемами, угрожающими самой перспективе выживания. Как это происходило с крупными империями и в прошлом, размеры территории и ресурсы сами по себе не могут предотвратить краха системы, если она становится недееспособной.

В основе проблемы Советского Союза лежит тройной кризис, каждый элемент которого влияет на другие и ускоряет процесс разрушения. Кризис *политической легитимности* советской системы взаимодействует с кризисом *экономического производства и социального обеспечения*, а оба эти кризиса усиливаются под воздействием кризиса *межэтнических и культурных взаимоотношений*. В результате появился целый комплекс непреодолимых проблем.

Истинные масштабы экономического краха не были известны до недавнего времени, отчасти из-за скрытности Кремля, отчасти — потому что Запад переоценивал эффективность советской экономики. Сейчас стало очевидно, что спад в промышленности наблюдался уже очень давно, еще до развития теперешнего кризиса.

Скорее всего, эти цифры не в полной мере отражают истинные размеры спада, однако они дают возможность сделать главный вывод: в то время как во второй трети XX века советская экономика развивалась, в последней трети века она претерпевала застой. Рост на ранней стадии был вызван массивными «вливаниями» рабочей силы, дешевизной энергии и изобилием сырья; это были идеальные условия для построения экономики, ориентированной на тяжелую промышленность, в 30-х годах и для послевоенного строительства в конце 40-х и в 50-х годах. Так, железо и сталь, цемент, локомотивы, станки, тракторы, текстиль и блоки для строительства жилых домов производились в огромном количестве согласно планам, намечаемым Центром. До тех пор, пока удавалось достичь поставленных целей, строгая система социалистического планирования не обращала особенного внимания на затраты, защищала управленцев от конкуренции, а работников — от безработицы и не заботилась о потребителе. Разумеется, единственным «потребителем», получавшим то, что ему действительно было нужно, были советские Вооруженные силы, которые пользовались всеми возможными преимуществами при создании заводов, фабрик и оборудования и подготовке квалифицированного персонала для военной промышленности.

Когда, начиная с 60-х годов, мировая промышленность стала отходить от традиционных форм тяжелой индустрии к высокорентабельному производству, интенсивно использующему достижения науки и ориентированному на потребителя: производству компьютеров, электронного оборудования, автомобилей, гражданских самолетов, лекарственных препаратов, средств коммуникации,— Советский Союз не смог следовать по этому пути. Развитие экономики, построенной на интересах потребителя, как в Соединенных Штатах, потребовало бы отказа от централизованного планирования, а интенсивное использование научных достижений на пользу обществу означало бы конец цензуры, строгого контроля, партийной ортодоксальности и монополии. Инвестиции в новые секторы промышленности означали бы отвлечение средств от поддержки колхозов, от субсидий на пищевую промышленность и прежде всего от военной сферы; на деле вложения в эти области продолжали увеличиваться, и на модернизацию устаревшей промышленности и поддержку разрушающейся инфраструктуры уже ничего не оставалось. Советская экономика оказалась в ловушке, завязнув в системе экономического «длинного цикла», замкнутого на промышленности и вложениях 30-х годах.

Классические методы поддержки экономики *вложениями* земли, энергии, сырья и рабочей силы становились в этих условиях все менее эффективными, затраты стали возрастать. Раньше дешевые запасы нефти и природного газа сделали возможной индустриализацию и давали возможность зарабатывать твердую валюту; сейчас, хотя запасы в значительной мере еще сохранились, они расположены на большей глубине или в районах с вечной мерзлотой. Согласно некоторым оценкам, за десять лет, предшествовавших 1985 году, цена добычи нефти выросла на 70% и продолжала расти. Вследствие этого производство нефти стало снижаться еще до того, как начались рабочие беспорядки и транспортные не-

урядицы последних лет. Сказалось и влияние систематического неправильного использования и потерь энергии во всей советской промышленности, неэффективности управления и беспечности рабочих. Советские плановики надеялись смягчить ситуацию путем строительства атомных электростанций, но Чернобыльская катастрофа и недоверие общества к таким станциям разрушили эти надежды. Энергетический сектор требует огромных капиталовложений — для модернизации уже существующих станций, для строительства новых газопроводов,— но ресурсов для этого не хватает. В то же самое время, как будет показано ниже, параллельно с опустошением дешевых источников дополнительной энергии шло и истощение рынка рабочей силы.

Поскольку бывший СССР не может больше делать ставку на использование дешевого сырья и на рост ресурсов рабочей силы, ему, по логике вещей, необходимо улучшить использование доступных материалов и увеличить производительность труда на существующих рабочих местах. Такой упор на *качество,* а не на *количество* противоречит принятой в России практике. Со времен Петра Великого считалось, что главное — это превосходство в количестве (кавалерии, танков, стали, цемента). Каким же образом общество, скованное плохо работающей и неэффективной системой производства, может сделать поворот в сторону качества производимой продукции? Семидесятилетний опыт показал, что централизованный «научный социализм» работать не может. Ответственность и принятие решений стали прерогативой огромной бюрократической машины, контролировавшейся самим Политбюро. Новые идеи и предложения должны были проходить постоянную проверку на идеологическую благонадежность. Самым разумным в таких условиях было подчинение правилам системы. По мере того как снижался уровень общественной морали, неэффективность производства увеличивалась. Советская экономика изнемогала под грузом «противоречий»; какая горькая ирония, если вспомнить, что именно это слово употреблял Маркс, предсказывая неминуемый крах капитализма! Еще одна ирония судьбы — Япония и Германия, страны, побежденные в 1945 году, имели больший валовый национальный продукт, чем СССР, переместившийся со второго на четвертое место в мире еще до своего экономического и конституционного распада. Впрочем, последние оценки годового дохода на душу населения в регионе в целом составляют всего 1 780 долларов США, что предполагает общий уровень производства на уровне 500 млрд. долларов — гораздо меньше, чем в Италии или Великобритании.

В сельском хозяйстве десятилетия коллективного фермерства уничтожили всяческое проявление инициативы работников; мощное субсидирование помогало удерживать цены на продовольствие на низком уровне, но одновременно препятствовало действию закона спроса и предложения, а решение о том, что и когда следует выращивать, принимали не фермеры или крестьяне, а бюрократы. По общему признанию, советское сельское хозяйство сталкивалось и с другими сложностями, от сурового климата до настолько скверной общественной инфраструктуры, что бóльшая часть урожая никогда не вывозилась или портилась по пути на рынок. В то время как большинство хозяйств были коллективизированы, бюрократизированы и находились в условиях постоянного вмешательства в их дела, частные хозяйства (занимающие 4% возделываемых земель России) приносили примерно 25% от общего урожая. До большевистской революции страна была одним из самых крупных экспортеров продовольствия в мире; в настоящее время это — крупнейший в мире импортер пищевых продуктов, на закупку которых тратятся огромные суммы в золоте и валюте. Наконец, в магазины поступает все меньше продовольствия, в то время как большая его часть идет на склады, нарастает напряженность между городом и деревней, и все это еще больше подталкивает экономику к параличу. В будущем можно смягчить этот процесс, выделив крестьянам землю в долгосрочную аренду, но они, вероятнее всего, будут выращивать быстро окупающиеся продукты, такие, как фрукты и овощи, а не необходимые зерновые культуры, остающиеся в ведении колхозов.

Все вышеизложенное в значительной мере относится и к существующему упадку промышленности. Страдающая от нехватки энергии и рабочей силы, искалеченная бюрократическим планированием и чрезмерной концентрацией основных производственных мощностей, не отвечающая запросам потребителя, огражденная от конкуренции на международном и внутреннем рынке промышленность намертво забуксовала. Самое большое в мире производство стали или цемента не приносит результатов, если основная часть этой продукции ржавеет или рассыпается на обочинах железных дорог. Самое большое в мире число инженеров становится сомнительным достижением, если таланты этих людей не находят применения. Сама система управления стала источни-

ком противоречий на советском заводе, цели работы которого намечались сверху и никаких отклонений от плана не допускалось.

Легко перечислить и другие проблемы, приведшие к сегодняшнему кризису. Несовершенная инфраструктура затрудняла возможности доставки продовольствия на рынок, цемента — на строительные площадки, спиленных стволов — на деревообрабатывающие комбинаты и так далее. Еще худшей была ситуация с *валютой;* поскольку потребитель мог купить очень немногое, образовывались «вынужденные сбережения» в размере миллиардов бесполезных рублей, мощный черный рынок, и постепенно произошел возврат к бартерной системе — в то время как население осталось неподготовленным к возможной в будущем конвертируемости рубля, без которой невозможно вхождение в международную систему торговли, инвестиций и производства. Состояние *здравоохранения* постоянно ухудшалось из-за низких стандартов санитарии и общественной гигиены, снижения качества больничного ухода, нехватки жилья и высокого уровня алкоголизма. В отличие от тенденций, наблюдающихся в здравоохранении других индустриально развитых стран, в последние годы в СССР возрастала детская смертность и падала средняя продолжительность жизни мужского населения. В такой ситуации теряло смысл огромное количество врачей, которым так гордилась советская статистика. В общем, по всем признакам и экономика и общество скорее сближались со странами так называемого «третьего мира», чем догоняли мир первый.

Уже эти экономические неурядицы сами по себе были достаточным бедствием и без двух других элементов, составивших тройной кризис СССР,— отсутствия политической легитимности и обострения национальных проблем. Конечно, все эти элементы усугубляли друг друга; например, если бы экономика работала как следует, советское руководство не подвергалось бы такой резкой критике. На деле наблюдаемые изо дня в день безобразные потребительские товары, ужасные жилищные условия и жалкое здравоохранение опровергали провозглашаемое режимом превосходство системы. Пустота лозунгов приводила ко все ширящемуся отвращению по отношению не только к тяготам повседневной жизни, но и к марксистской риторике смехотворных официальных изданий. Из-за суровых мер, принимавшихся КГБ против диссидентов в 70-х и 80-х годах, это отвращение не принимало революционных форм; но отношение к политике становилось циничным, люди уходили в себя, теряли интерес к работе на предприятиях и в учреждениях, не пытались исправить существующее положение вещей и не испытывали гордости за то, что они же сами и производили, выращивали или мастерили. Таким образом, плачевное состояние экономики и не менее плачевное состояние идеологии способствовали возникновению механизма саморазрушения системы. Социальное положение становилось все более безнадежным, и это общее ухудшение с каждым годом все больше подрывало относительно устойчивое положение СССР в мире.

Перестройка была признанием того, что настало время положить конец этому разложению как в политической, так и в экономической сфере. Учитывая сегодняшний хаос, нельзя гарантировать, что выздоровление когда-нибудь наступит. Сатирики в России шутили, что из рыбы легко приготовить уху (то есть превратить свободную рыночную экономику в экономику социалистическую), но никому не известно, как осуществить обратный процесс. Трудно также, следуя букве закона, превратить авторитарную систему в либеральную демократию. Это удалось раньше, когда победители-союзники реформировали державы Оси после 1945 года; но возможно ли успешно осуществить такую реформу силами властей и общественности страны, да еще в разгар экономического хаоса, совершено неясно. Другие примеры подобных перемен можно найти в странах, которые совсем не похожи на развалившийся Советский Союз [1]. Совсем недостаточно разрешить свободные выборы в парламент и существование независимых партий; необходимо также предпринять шаги по устранению рычагов централизованного контроля, от надзора государства за средствами массовой информации до юридического контроля за соблюдением социалистических законов. Все это легче сказать, чем сделать, даже если провал правого путча в августе 1991 г. еще в большей степени дискредитировал старую систему.

Опасность, несомненно, состоит в том, что прежние политические, конституционные и правительственные структуры распадутся раньше, чем на их место придут новые, пользующиеся

[1] В Польше, Чехословакии и Венгрии, например, недавняя демократизация была возвращением к положению, существовавшему между двумя мировыми войнами, а коммунистическую диктатуру можно охарактеризовать как «противоестественное», привнесенное извне явление. Демократизация в Португалии, Испании и Греции, напротив, происходила в странах без коммунистической экономики.

лояльным отношением общественности. Когда радикалы протестуют против слишком медленного хода реформ, консерваторы — против их чрезмерной поспешности, а конституционные и политические изменения вязнут в спорах о противоречивых экономических мерах (например, реформе цен), даже самое разумное реформаторское руководство окажется припертым к стене. Может существовать идея создания процветающей, демократической экономики, основанной на свободном (или социалистическом) рынке, но реализовать ее мгновенно невозможно. Приходится отказываться от гарантий, существовавших при старой системе (гарантированная занятость, субсидии на продовольствие), до того как проявятся материальные преимущества новой (обещанный высокий жизненный стандарт). Люди, теряясь между разрушением привычного мира и неуверенностью в завтрашнем дне, начинают испытывать страх. Хотя интеллектуалы и философы приспосабливаются к таким условиям, домохозяйки, рабочие, крестьяне и бывшие работники государственных учреждений, скорее всего, окажутся в лагере недовольных.

Третьей неотъемлемой проблемой тройного кризиса СССР, может быть самой серьезной и неразрешимой из всех, является масштаб этнических различий и проявлений национализма. Российское и Советское государства были одними из самых разнородных и многонациональных в мире. По конституции существовала федерация из пятнадцати номинально независимых республик, в каждой из которых была своя главенствующая национальная группа; однако внутри каждой республики существовало множество этнических подгрупп, причем зачастую у каждой из них была своя администрация низшего уровня. Официально в Советском Союзе насчитывалось 53 политико-административные единицы, определенные по этническому признаку, но поскольку в стране имеется около 100 отдельных этнических групп, то у половины национальностей своей территориальной единицы не было. Многие из этих этнических групп — удмурты, осетины, буряты, каракалпаки, ингуши, лаки и т. д. — малочисленны, и за пределами области их проживания о них знают только специалисты-лингвисты; другие, например, белоруссы, узбеки и казахи, многочисленны, а на Украине проживает более 50 млн. человек — больше, чем в Испании или в Польше. В каждой республике есть свои этнические меньшинства, в том числе и в самой России (татары, башкиры и 30 других национальностей). Как писал недавно эксперт по России Эдвард Кинан: «Очень немногие из пятнадцати советских республик однородны в той же мере, что и Северная Ирландия или Югославия...».

Основная сложность состояла не в пестроте культуры и языков, а в том, что многие из этих народов находились в напряженных отношениях со своими соседями и с метрополией. Сотни лет соперничества между различными группами кочевников, горцев и жителей равнин и следовавшие одна за другой волны миграций и завоеваний оказались сильнее, чем научный социализм. К различиям рас и языков зачастую добавлялись различия религий, как это произошло в Нагорном Карабахе. В некоторых районах соперничество было порождено депортацией целых народов (немцев Поволжья, крымских татар, донских казаков) и изменениями границ (в Молдавии) при Сталине. На протяжении десятилетий советское полицейское государство держало межэтническое напряжение под контролем. Официальная пропаганда необходимости единства советских народов перед угрозой фашистской и капиталистической агрессий также помогала маскировать межэтнические различия. Но после исчезновения угрозы со стороны Германии, окончания «холодной войны», дискредитации социалистической идеологии, когда в Москве заговорили о гласности и перестройке внутри страны и началось восстановление свобод в восточноевропейских государствах, «цемент», удерживавший различные нации Советского Союза вместе, начал крошиться.

Напряженные отношения между центром и периферией легко интерпретировать и как естественный результат четырехсотлетней экспансии России из московского центра. Хотя многие миллионы русских переехали в другие районы, в государства Прибалтики, в южные республики и на Дальний Восток, сохранилась основная дихотомия; этнически периферия Советского Союза была нерусской, часто очень далекой от русского центра страны.

> «Нерусские земли образуют широкую дугу, идущую от берегов Балтийского моря на северо-западе (Эстония, Латвия и Литва), к югу вдоль западных границ (Белоруссия, Украина и Молдавия); на востоке через Кавказский хребет (Армения, Грузия и Азербайджан); по Центральной Азии (области, населенные туркменами, узбеками, таджиками и киргизами) и по степям Казахстана; наконец — через азиатскую часть страны к Тихому океану (родина бурятов, тувинцев, алтайцев, хакассов и других народов)». *(Р. С. Клем)*

Эти этнические меньшинства, стремящиеся к независимости, сталкиваются теперь с 25—28 миллионами русских резидентов, которые — как французские колонисты в Алжире в 50-х гг.— безнадежно пытаются сохранить связи с Центром. К их ужасу, гласность и перестройка открыли, впервые с 1917—1920 годов, перспективу дискриминации со стороны более многочисленных нерусских соседей, полных решимости изменить государственный язык, систему общественного образования и все остальное. По мнению некоторых экспертов, не следует удивляться, если эта напряженность между большинством и меньшинством населения приведет к конфликтам, подобным тем, которые так часто происходили в нашем веке, когда народы, длительное время существовавшие в условиях имперского режима, после деколонизации осознавали свою отсталость.

Развитие таких центробежных настроений неизбежно должно было вызвать реакцию Центра. Консервативные силы в армии, КГБ и руководстве коммунистической партии призывали к восстановлению «законности и порядка» и обвиняли реформаторов в том, что те довели СССР до развала. Так, например, раздавались предостережения Украине, чтобы она не допускала дискриминации 12 млн. русских. Пробуждался также и старорусский национализм, вызревший за десятилетия недовольства по поводу «подкармливания» республик, а также и неприятия их культуры. С точки зрения сторонников этих настроений, нерусские регионы страны служат лишь помехой и их следует деколонизировать, может быть, пересмотрев при этом некоторые границы; поскольку сама Россия обладает огромными природными богатствами (нефтью, природным газом, минералами, лесом, алмазами), то в проигрыше окажутся неблагодарные прибалты и мусульмане. Существовал и несколько иной вариант этого отношения — предполагалось, что все республики должны были образовать свободное содружество, обсуждать торговые отношения на двусторонней основе и в большей мере контролировать свои собственные бюджеты (в том числе отчисления в конфедерацию). После провала консервативного путча в 1991 г. некоторые республики пошли по этому пути, в то время как другие воздержались от объединения, оберегая свой новообретенный суверенитет. Однако полная независимость таит в себе немалые трудности, особенно экономические, поскольку сталинское планирование предумышленно сделало республики зависимыми друг от друга. (Радиоприемники выпускались в Прибалтике, а детали для них, например, в Нагорном Карабахе, армянском анклаве в составе Азербайджана.) Таким образом, каждая республика была в силах навредить другим, даже ценой собственного неблагополучия.

Куда заведут республики эти процессы, предсказать невозможно. Независимость балтийских государств и некоторых мусульманских республик на юге может иметь не столь уж большое значение, поскольку этим приграничным областям по-прежнему придется договариваться о деятельных торговых взаимоотношениях с Москвой. Однако полная независимость больших, богатых ресурсами республик вроде Казахстана — не говоря уж об Украине, бывшей хлебной житнице и могучем источнике угля и промышленной продукции в СССР,— может стать тяжелым и, возможно, смертельным ударом по всем надеждам на реформированный союз. Из-за наличия этнических меньшинств независимость может вызвать потрясения, подобные тем, которые происходили на Индостанском полуострове в 1947 году. Правда, в Казахстане и Киргизии коренное население составляет лишь очень незначительное большинство, но на Украине миллионы русских рискуют потерять работу, если на шахтах и заводах произойдет «модернизация»,— а именно эту цену, вероятно, запросят Международный валютный фонд и другие международные экономические организации за принятие Украины в свои члены. Как поняли ранее в этом столетии англичане, если многонациональная империя превращается в содружество, сразу же становится все труднее контролировать идущие в нем процессы, а результаты этих процессов бывают гораздо более драматичными и заводят гораздо дальше, чем предполагалось изначально.

В то время как на протяжении 80-х годов появлялись все новые признаки ослабления СССР, консервативные элементы на Западе и внутри страны часто указывали, что сохраняющийся огромный военный потенциал по-прежнему будет оказывать решающее влияние на мировую политику. Однако и на прославленных советских Вооруженных силах отрицательно сказались невоенные процессы, описанные выше. Невозможность состязаться с Западом и Японией в области высоких технологий уменьшила военный потенциал СССР, снизила его способность противостоять изощренным видам вооружений, производимым в других странах. Вложение еще больших ресурсов в военную промышленность оказалось бы неоправданным с экономической точки зрения, к тому же эта мера была бы непопулярной среди широких кругов на-

селения. Демографические тенденции также сказывались на состоянии советских Вооруженных сил, поскольку приходилось призывать в армию все большее число новобранцев из этнических групп, с недоверием относящихся к России и даже не владевших ее языком. Задолго до распада СССР в республиках Прибалтики и на юге происходили массовые отказы от призыва, а Украина настаивала на том, чтобы «ее» части не использовались для подавления националистических выступлений. Даже Красная Армия, судя по всему, была бессильна против этих реакций распада. Наконец, какой бы ни была военная сила государства после заключения всех соглашений о контроле над вооружениями и добровольных сокращений численного состава вооруженных сил, непонятно, какую роль может играть военная сила в улаживании проблем, носящих в основном экономический, социальный и экологический характер.

С другой стороны, судьба Вооруженных сил и вооружений бывшего СССР имеет огромное значение не только для государств-наследников, но и для их соседей в Европе, и для США. Учитывая, что Россия и Украина то и дело возобновляют споры о принадлежности флота, что Украина и Казахстан уклоняются от уничтожения своих ядерных ракетных систем, что военное командование, республики и даже города торгуют танками, самолетами и снарядами — последние охотно приобретают маленькие республиканские армии и связанные с ними военизированные группировки (например, армия Приднестровской республики),— и в то же время миллионы не получающих жалованья и разочарованных военных теряют свои жилища, источники дохода и возможность работы по специальности,— Западу хорошо бы задуматься над тем, к какой катастрофе может привести крушение советской мощи при наличии всего этого военного потенциала.

Хотя все соглашаются с тем, что сегодняшний кризис не может продолжаться вечно, эти структурные проблемы настолько глубоко укоренились, что любое предложенное решение, либеральное или консервативное по сути, неизбежно вызывает контраргументы. Либерализация связей с нерусскими республиками может ослабить этот аспект кризиса, но может привести и к войнам за этническое господство. Ослабление централизованного контроля за экономикой периферии может способствовать стимулированию производства продовольствия и промышленных товаров и поддержке предпринимательства; но оно может привести и к резким протестам населения против роста цен, безработицы, региональных различий и к распаду системы межреспубликанской торговли. Однако возврат к командной экономике и принципам научного социализма ухудшит относительное экономическое положение того или иного региона в мире. Подавление гласности в любой из республик приведет к краху общественной морали, снижению творческого потенциала и внутренним конфликтам, особенно между националистами и русскими резидентами. Путч против руководства любой из республик скорее всего приведет к ее расколу на два лагеря, как это случилось в Грузии в 1991 году.

Из-за всей этой неопределенности западные прогнозисты рассматривают целый спектр возможных выходов из положения. Немногие сегодня надеются на то, что будет найдено «хорошее» решение тройного кризиса, с быстрым оживлением экономики, расцветом политической легитимности и прекращением межэтнических распрей. Согласно умеренно-оптимистическим прогнозам, Содружество сохранит свою целостность, а контроль за республиками со стороны Москвы ослабеет. Экономические реформы, направленные на поддержку свободной рыночной деятельности, могут дать смешанные результаты, но помогут избежать полного краха, а политическое и межпартийное брожение будет продолжаться, но без особых проявлений насилия. Это вряд ли позволит региону сравняться по уровню развития промышленности с восточноазиатскими странами, но экономика удержится «на плаву». Можно задуматься и о возможности менее оптимистического исхода событий, от срыва в гражданскую войну и внутреннюю дезинтеграцию до новых попыток консервативного государственного переворота. Некоторые ученые употребляют термин «Веймарская Россия», указывая, что разочарованное и разобщенное население будет все больше поддерживать использование крайних мер против внутренних беспорядков и действий различных этнических групп.

Однако, что бы ни происходило в государствах — наследниках Советского Союза, ясно, что они не подготовлены к новой форме участия в процессе изменений, идущем в мире. Напротив, каждый путь развития может принести свежие проблемы в уже потрясенные сообщества людей.

Например, сложное демографическое будущее Земли, со всеми потенциальными социальными и экономическими последствиями, находит свое отражение в этой части мира уже потому, что территориальная протяженность СССР позволяет отнести его одновременно

к «Северу» и к «Югу». Уже к началу 80-х годов демографическое будущее страны было настолько проблематичным, что эксперты все чаще описывали его в самых пессимистических тонах. Как утверждает один из них:

> «И краткосрочные и долгосрочные перспективы развития советского населения и людских ресурсов вплоть до конца столетия представляются весьма мрачными. Снижение рождаемости в стране и невероятный рост смертности, превосходящие все сделанные ранее прогнозы, уменьшение притока новых кадров в рабочую силу страны при крайне неравномерном ее распределении, относительное старение населения — все это не оставляет советскому правительству повода для особых упований в этой сфере». *(М. Фешбах)*

Самое большое влияние на экономику оказало то, что чистое увеличение численности рабочих — ключевое «вложение» на предыдущей стадии развития — резко снизилось, в то время как происходил рост числа ушедших на пенсию (или умерших до достижения пенсионного возраста), а общая рождаемость падала. Например, в 70-х годах численность работающих выросла на 22 млн. человек. В 80-х годах этот показатель снизился до 7,7 млн., а в 90-е годы продолжал снижаться, достигнув 5,7 млн. Если ухудшатся социальные и экономические условия и, следовательно, увеличится число людей, не желающих иметь детей, или же власти будут спокойно относиться к массовой эмиграции, падение этого показателя пойдет еще быстрее.

Хотя демографический спад происходит, в общем, повсеместно, он наносит непропорционально сильный удар по славянским народам Севера. То, что происходит сейчас и, скорее всего, будет происходить и в будущем, носит характер своеобразного «демографического реванша» со стороны колонизированных народов, особенно в южных мусульманских республиках, где показатели рождаемости сходны с ближневосточными. В среднем ежегодный прирост населения в этих республиках составляет 2,5—3,5%, а это в 3—5 раз больше, чем средний показатель прироста русского населения — 0,7%. Уже сейчас, по данным одного подсчета [1], русские составляют менее половины всего населения, впервые с момента установления большевистского режима. По данным того же подсчета, к 2000 году доля русских составит 46,4%, а затем будет неуклонно снижаться на протяжении всего XXI века, в то время как доля «небелого» населения в азиатских республиках будет расти.

Это, как предостерегает автор, «всего лишь прогнозы», но общая тенденция была ясна уже достаточно давно: «Уже в начале XXI века структура населения страны изменится, и вместо схемы «одно большинство — много меньшинств» мы будем иметь дело со многими меньшинствами». Еще до Горбачева демографические проблемы с каждым десятилетием все больше тревожили московское руководство. Сейчас, когда республики получили независимость, это может показаться не таким важным, но конституционные изменения сами по себе не помогут устранить вероятные последствия этих демографических тенденций: перемещение населения из перенаселенных южных республик на юг России и на Украину, более быстрый рост этнических меньшинств по сравнению с основными национальными группами, споры из-за ресурсов, рост религиозных противоречий и так далее.

Учитывая географические условия данного региона, на него, безусловно, будут всячески влиять и изменения окружающей среды. Например, глобальное потепление климата, если оно окажется значительным, приведет к еще большим трудностям земледелия в районах искусственного орошения и сдвинет зону земледелия еще больше к северу — что серьезно само по себе и без дополнительных осложнений, которые возникнут, если этот сдвиг затронет границы независимых республик (например, между Украиной и Россией). Области, расположенные в низинах, а таких очень много, пострадают из-за любого повышения уровня моря. Однако наиболее серьезным последствием повышения температуры может стать таяние вечной мерзлоты, которое приведет к выделению метана и переполнению рек. Более того, подобные изменения произойдут в районах, которые слишком бедны, чтобы обеспечить себе адекватную защиту. В настоящее время, когда истинные масштабы и последствия воздействия человека на природу еще только обсуждаются учеными, эти опасности могут представляться чисто теоретическими — и не настолько жгучими, как реальные проблемы с окружающей средой, уже стоящие перед политиками и общественностью. Последние стали следствием неразумных и произвольных

[1] По данным переписи 1979 г., русские составляли 52,4% всего населения СССР, но по подсчетам Бернстама («Тенденции развития советского населения», стр. 209) в эту цифру входили представители этнических меньшинств, живущие в РСФСР, а истинное число составляет 50,9%. К 1984 г. доля русских снизилась до 49,9%.

решений государственных плановиков, направленных на обеспечение всеобъемлющей индустриализации независимо от ее последствий, еще в сталинские времена. Как и в Восточной и в Центральной Европе, углеродные и другие выбросы засоряли атмосферу, наносили тяжелые повреждения лесам, увеличивали частоту заболеваний среди местного населения, бессильного остановить выполнение официальной политики. Реки и озера были загрязнены индустриальными и химическими стоками, продуктами переработки нефти, удобрениями, смывавшимися с перенасыщенных ими полей. Грандиозные планы строительства плотин или поворота рек для сооружения гидроэлектростанций привели к эрозиям почвы или (как это произошло вблизи Санкт-Петербурга) к опасному заболачиванию. Такие проблемы существуют на всей территории бывшего СССР, и многие из них лишь недавно стали достоянием общественности. В то же время всему миру известны ужасные последствия Чернобыльской катастрофы: гибель сотен взрослых и детей от облучения, загрязнение рек и озер, смертельный удар по местному земледелию — и все это обрушивается на общество, уже и так погрязшее в проблемах, не связанных с окружающей средой.

Эти новые бедствия еще больше отягощают демографический, этнический, политический и экономический элементы тройного советского кризиса. Хорошим примером этому может служить случай с уже обсуждавшимся обмелением Аральского моря. Окружающая среда затронута в этом случае потому, что реки, питающие море, нещадно использовались в целях ирригации, снижение уровня воды привело к интенсивному засаливанию почв, близлежащие населенные пункты остались без воды, окружающие территории стали превращаться в пустыню; единственным способом вернуть ситуацию к норме было бы прекращение всяческого использования воды в обширной орошаемой области на три ближайших десятилетия. Однако 33-миллионное население Средней Азии — за исключением Казахстана — испытывает жизненную зависимость от этой речной воды: узбекский хлопок, главный источник доходов республики, выращивается на орошаемых землях, которые уже сейчас начинают засаливаться, а прекращение орошения было бы смертельным ударом. Недостаток воды — главная причина бедности этого региона: уровень жизни в Средней Азии вполовину ниже от общенационального, и многие дети умирают от недоедания — хотя, по иронии судьбы, именно там население растет быстрее всего. Примерно 40% населения региона моложе 18 лет, и за ближайшие два десятилетия численность его может почти удвоиться, достигнув 60 млн., главным образом мусульман. Поэтому там, как и в Северной Африке и на Ближнем Востоке, легко предвидеть возникновение конфликтов в будущем, когда нехватка воды и падение эффективности земледелия столкнутся с демографическим скачком.

До недавнего времени Министерство мелиорации и водного хозяйства в Москве устанавливало, какой объем воды будет получать каждая из республик Средней Азии, а также требовало, чтобы каждая из них обеспечивала приток некоторого количества воды (разумеется, недостаточного) в Аральское море. После крушения Советского государства и расформирования министерства все эти соглашения стали нарушаться. Отчаянно пытаясь обеспечить себе нормальную жизнь, фермеры в верховьях рек забирают больше воды, что означает голодный паек для хозяйств, расположенных ниже по течению, в Узбекистане. А уровень Аральского моря продолжает падать.

Спасет ли положение вещей биотехнологическая революция в сельском хозяйстве? На первый взгляд данное решение кажется оптимальным: видоизмененные генетически сорта, способные противостоять засухе, производство и обработка пищевых продуктов *in vitro* для уменьшения нагрузки на почву, усиленное использование биомассы для обеспечения потребности в энергии и общее увеличение эффективности земледелия представляются ответом на мольбу о помощи. К тому же нет недостатка в русских ученых и технологах, специалистах по выращиванию сельскохозяйственных культур и по смежным дисциплинам. Однако нищим южным республикам будет трудно оплачивать патенты и другие расходы, не говоря уж о создании современных лабораторий, фабрик и обработке растений для широкомасштабной продукции. Кто будет финансировать эти предприятия и связанные с ними вложения в образование и в развитие инфраструктуры? Конечно, не лишенное средств правительство в Москве, борющееся с собственными проблемами и постепенно теряющее все связи с азиатскими республиками. Даже если какая-нибудь отважная западная компания возьмется за развитие биотехнологии земледелия, например, в Узбекистане, и сумеет преодолеть все прочие препятствия, кризис с водоснабжением все равно разрешить не удастся.

В общем, хотя и возможно улучше-

ние в некоторых областях сельского хозяйства при условии принятия новых биотехнологий (например, при использовании гормональных методов выращивания крупного рогатого скота для улучшения надоев в странах Прибалтики), бедственное положение советского земледелия свидетельствует о необходимости структурных реформ (деколлективизации, установления реалистических цен на продовольствие, улучшения инфраструктуры). Но даже если эти реформы произойдут, если продукция ферм будет увеличиваться теми же темпами, что и в Китае, а жизненный уровень ощутимо вырастет, по-прежнему сохранится стойкое нежелание использовать генетические методики выращивания скота и получения говядины и молока; а повсеместное принятие технологий, «дематериализующих» сельское хозяйство, может иметь непредсказуемые экономические и социальные последствия в тех областях, где больший процент населения занят в сельском хозяйстве при недостаточном выборе альтернативных рабочих мест.

Очень много общего с этой проблемой имеет и проблема готовности государств бывшего СССР принять революцию автоматизации, идущую из Восточной Азии. Несмотря на огромное число инженеров и техников и использование простейших роботов в ряде отраслей государственного сектора промышленности, трудно понять, каким образом Россия могла бы воспользоваться экономическими преимуществами, полученными в Японии благодаря роботизации. В то время как Япония стремилась автоматизировать производство из-за нехватки рабочей силы и японские работодатели охотно занимаются переподготовкой рабочих и переводят их на другие рабочие места, если прежние становятся ненужными из-за внедрения новых машин, в России и в других республиках существует постоянная недозанятость населения, которая может только усилиться при распространении автоматизации.

Более того, переориентация экономики республик на овладение новым, прекрасным миром роботов, биотехнологий, лазеров, оптики, телекоммуникаций и тому подобных новшеств в значительной мере зависит от наличия процветающего производства компьютеров. На деле это производство настолько не развито, а число ЭВМ так мало — в 1987 году в СССР было всего 100 000 персональных компьютеров по сравнению с более чем 5 млн., выпускаемыми в США *ежегодно*,— что для создания информационных систем, охватывающих все общество, понадобились бы огромные средства. Подобные изменения связаны с зависимостью от зарубежных приборов и технологических экспертиз, за которые необходимо платить, кроме того, они потребуют переподготовки большого числа работников; добавим к этому необходимость в адекватном программном обеспечении, а также и в эффективной сети обслуживания, чтобы обеспечить нормальную работу машин. В то время как русские плановики и иностранные советники пытаются разобраться с тем, как и откуда начать этот процесс, на другом берегу Тихого океана поток новых изобретений увеличивает пропасть между обществами с высокоразвитой технологией и остальным миром, преодолеть которую становится все труднее.

Наконец, любое движение в направлении высокотехнологичной экономики неизбежно столкнется с клубком проблем, приведших к краху СССР. Русский академик Андрей Ершов, энтузиаст превращения страны в начале XXI века в информационное сообщество, соглашается с «очевидной абсурдностью» подобной схемы в настоящее время:

> «Убогие условия жизни, созданные примитивным уравниванием заработной платы, трудности с обеспечением пищей и жильем, перегрузка и вызывающая тревогу деградация наших энергетических и транспортных структур, а также немыслимо высокая доля низкоквалифицированного и ручного труда в нашей экономике — все это элементы «реальной жизни», требующие принятия срочных мер и незамедлительной концентрации всех имеющихся ресурсов».

В подобных условиях, по мнению Ершова, разговоры о долгосрочной программе создания русского эквивалента (предположим) Калифорнии представляются чисто философскими, отвлеченными от существующего беспорядка и отсталости.

До перестройки своих экономик республики не смогут играть значительную роль в финансовой и коммуникационной революции или в сопутствующем им росте многонациональных корпораций — может быть, только в качестве поставщиков дешевой рабочей силы, как Мексика или Таиланд. Неспособность советского режима управлять распространением идей и образов через новые виды коммуникаций — или предупредить это распространение — способствовала в какой-то мере падению этого режима. Авторитарные режимы, установившиеся сейчас в некоторых республиках (например, в Грузии), также могут столкнуться с трудностями

в контроле над информацией, как бы они ни старались осуществить этот контроль. Но даже в случае победы гласности трудно представить себе казахский эквивалент Си-эн-эн или Би-би-си или украинского соперника Маккинси. Поскольку республикам не хватает конвертируемой валюты, международных банков, акционеров и электронных учреждений торговли, безграничный мир круглосуточного потока финансовой информации может показаться неуместным в текущих условиях.

Несколько лет назад «Экономист» едко замечал, что в 1913 году «в империалистической России реальная производительность одного человеко-часа была в 3 раза больше, чем в Японии, (но) почти 70 лет социализма были потрачены на то, чтобы постепенно откатиться назад, так что сегодня этот показатель составляет примерно четверть от японского». Распадающийся Советский Союз стал во многих отношениях антиподом Японии: большой по размерам и богатый ресурсами по сравнению со стесненным, бедным ресурсами островным государством; населенный самыми различными народами по сравнению с одной из наиболее однородных наций в мире (добившейся этого сознательно); социально разобщенный по сравнению с монолитным японским обществом, пронизанным чувством почтительности и высоким групповым сознанием; обделенный высокими технологиями и «дематериализованной» продукцией в той же мере, в какой Япония одарена ими; неспособный, по иронии судьбы, несмотря на социалистическое внимание к планированию, подготовиться к будущему в сравнении с явно целеустремленным движением Токио навстречу XXI веку. Как отмечали многие наблюдатели, огромная, индустриально отсталая, разнородная Российская империя была одним из наименее подходящих в мире мест для создания марксистского общества (если предположить, что создание такого общества вообще где-либо возможно). По тем же самым причинам наследники СССР представляются не очень хорошо подготовленными к взаимодействию с современными глобальными процессами изменения — то есть, в какой бы форме республики ни вошли в XXI век, им по-прежнему предстоит бороться со своей относительной отсталостью.

Эти выводы, конечно, могут показаться слишком пессимистичными. В настоящее время все, что мы видим: хаос, борьба, экономический крах, этническая дезинтеграция,— то же самое, что отмечали наблюдатели в 1918 году. Как могли они предугадать, что спустя десять лет или около того СССР начнет выпускать химическую продукцию, самолеты, грузовики, танки и станки и превзойдет по темпам роста все индустриально развитые страны? Продолжая эту же мысль, зададим вопрос: как могли западные поклонники сталинской централизованной экономики в 30-х годах знать, что в самой этой системе заложены семена ее собственного краха. Как любое общество на Земле, бывшие советские республики теоретически имеют шансы гармонически развиваться, вместо того чтобы переживать серьезный упадок и конвульсии. Тем не менее, ввиду существующего бедственного положения и возникающих новых задач, трудно поверить, что предстоящий путь будет усеян розами. А поскольку беспорядки в этом регионе вполне могут иметь последствия и для других стран — от нелегального распространения ядерных вооружений до невероятного роста экспорта опиума из южных республик (чтобы заработать твердую валюту),— со стороны западных демократических обществ было бы неразумно полагать, что крах «империи зла» не принесет им ничего, кроме выгоды.

Перевод с английского
ЕЛЕНЫ БОГАТЫРЕНКО

БОРИС ПИНСКЕР

ПРЕДСКАЗАНИЕ КАТАСТРОФЫ — ВСЕГДА БЕСТСЕЛЛЕР

Заметки о жанре прогноза

Работа прогнозиста требует: четких критериев, по которым можно было бы судить о состоянии объекта прогнозирования; знания факторов, в наибольшей степени влиявших в прошлом на состояние этого объекта, которые сохранят, предположительно, это влияние в будущем; нужно знать, наконец, соотношение между относи-

тельной силой (значением) этих факторов. При наличии таких условий оказывается возможен, например, технологический прогноз: какой тип летательных аппаратов (стиральных порошков, персональных компьютеров) будет наиболее популярен для обслуживания таких-то запросов такой-то группы потребителей.

Уже в области экономического прогноза все оказывается гораздо более зыбким и неопределенным. Принято считать, что экономический прогноз в принципе возможен, поскольку в области экономики все показатели измеримы (в деньгах или в натуре), критерии и цели субъектов хозяйствования достаточно определенны (производство наибольшего богатства: частным человеком, фирмой, государством), данные изобильны (экономическая статистика), а поскольку точное знание будущих тенденций дает обладателю этого знания ключи к личному богатству, эта сфера деятельности никогда не испытывала недостатка в ресурсах. Именно по этой причине в США, например, с начала XX века гигантские людские и материальные ресурсы были направлены на разработку методик предвидения важнейших экономических событий. (Стоит отметить, что эта иллюзия прогнозируемости мира экономической деятельности является своего рода дополнением (подобием, отражением) плановой иллюзии, в преследовании которой чуть не сломила себе (и всему миру) шею Россия. Ведь если будущее положение дел в мире может быть предвидено, то отчего же нельзя его запланировать? И наоборот: то, что поддается планированию, уж наверное несложно предсказать.) Как хорошо известно, даже такую в принципе несложную задачу, как предсказание точной даты перелома тенденций в движении биржевых цен (для плановой экономики аналогичная задача запланировать, например, производство достаточного количества запчастей к автомобилям), решить не удалось. А ведь этим делом занимались действительно первоклассные специалисты, в том числе лауреаты Нобелевской и других престижных премий, которые за несколько десятилетий работы так и не сумели повысить качество прогнозов (планов) относительно традиционного фольклорного уровня: вилами на воде писано. И причина здесь достаточно очевидна.

Основным фактором экономической жизни является человек, принимающий те или иные решения, исходя из субъективных представлений о собственном благе (о форме личного богатства), которое может быть достигнуто при данных, только ему лично известных и понятных обстоятельствах. Даже в рамках одной семьи (и в пределах одной человеческой жизни) представления о наилучшем и наихудшем практически никогда полностью не совпадают. Чего уж говорить о сколь-нибудь обширных образованиях — городах, отраслевых комплексах, странах, континентах, блоках и т. п.

Результаты конкретных действий и процессов в принципе непредсказуемы хотя бы потому, что любой успех (и любое поражение) радикально меняют мир и наше представление о мире, меняют и самый смысл прошлого, настоящего и будущего (и это относится не только к отдельным людям, но и к большим сообществам). Изменение законов о собственности, изменения налогового законодательства и прочее радикально меняют правила экономической (и политической) игры, что не может не затрагивать соотношения между всеми иными факторами, определяющими развитие общества.

Поскольку предметом данного методологического комментария является произведение особого жанра — анализ и прогноз тенденций глобального развития,— то необходимо учесть еще и следующее. По логике вещей, прогнозист должен быть грамотным и зрелым специалистом в своей области. Только хорошее профессиональное знание темы и материала, опыт профессиональной деятельности в определенной области и отточенная этим опытом интуиция могут служить руководством при отборе явлений и тенденций, которые в наибольшей степени будут определять будущее развитие в любой сколь угодно узкой сфере человеческой деятельности. И легко понять, что чем шире область жизни, являющаяся предметом анализа и прогнозирования, тем ближе оно к гаданию на кофейной гуще или на птичьей печени, чем к любому другому виду деятельности (и тем, соответственно, важнее профессионализм предсказателя). И если относительно самых общих, так называемых вековых, секулярных тенденций еще можно составить достаточно общие и относительно непротиворечивые суждения (например, в последние 10 тыс. лет производительность общественного труда довольно устойчиво повышалась, и нет оснований считать, что в будущем тысячелетии эта тенденция перестанет действовать, хотя во многих странах десятилетиями, по крайней мере, может господствовать обратная тенденция), то менее банальные и более конкретные высказывания почти сразу же разоблачаются как псевдонаучное мифотворчество.

Достаточно сослаться на скандальный провал известнейшей из последних попыток глобального прогноза — работы Римского клуба. В конце 60-х гг. группа лучших знатоков дела — математиков, специалистов по экономической статистике, специалистов по моделированию экономических процессов — составила модель для обсчета ресурсной обеспеченности быстро растущей мировой экономики. Были привлечены данные национальной и международной статистики о наличии разведанных запасов важнейших видов сырья, о динамике роста потребностей в них, о перспективах замены одного сырья другим и пр. и пр. Был получен скандально-сенсационный результат: мировая экономика

находится на пороге полного краха, потому что запасы важнейших видов сырья (нефть, газ, вода, плодородные почвы и пр.) практически истощены, и не позже начала 90-х годов мир станет свидетелем голода, холода, войн за источники энергии.

И что же? С начала 80-х годов мир действительно попал в петлю сырьевого кризиса, только несколько иного толка: разрыв между предложением сырья (практически любого) и спросом на него на рынке растет, цены на все виды сырья снижаются уже второе десятилетие подряд, и даже сокращение добычи (нефти, полиметаллических руд и др.) не в силах переломить эту тенденцию. За этот же период в США были выведены из сельскохозяйственного оборота и засеяны лесом площади, равные примерно половине зернового клина Казахстана (знаменитая целина).

Что же нам думать о таком своеобразном (и не слишком определенном) объекте анализа и прогноза, как мир в целом? Где выращивают подобных профессионалов? Может быть, в комитетах ООН и ЮНЕСКО, которые, кажется, за полвека не смогли удовлетворительно справиться ни с одной задачей, если не считать того, что многоцветная аллея флагштоков перед зданием ООН в Нью-Йорке способна при случае служить телерепортерам для иллюстрации какой-нибудь глубокой идеи — то ли о действительном единстве столь пестрого и разнообразного мира, то ли о глубокой и драматической расколотости этого мира, который мог бы быть единым, если бы не происки... (нужное вставить). А может быть, таких специалистов готовят в недрах правительственных канцелярий «последней мировой империи» — США? То есть в тех самых кругах, где не сумели даже своевременно воспринять уже случившиеся факты, например, развал коммунистического режима или возвышение российского президента и распад СССР?

Из сказанного не следует, что обоснованный научный прогноз вовсе невозможен. Нет, он возможен, и мир знает примеры вполне научных и точных предсказаний. Известнейший из примеров — предсказание неизбежного хозяйственного и политического краха социализма, осуществленное в 1921—1922 гг. независимо друг от друга двумя выдающимися экономистами: петербуржцем Б. Бруцкусом и венцем Л. Мизесом. В этом случае прогноз основывался на структурном анализе системы социализма, в первую очередь на анализе последствий того, что при социализме предполагалось уничтожение денег, рынков и частных собственников. Понятно, что при отказе от этих традиционных механизмов интеграции общества, достигшего стадии развитого разделения труда, делаются необходимыми другие механизмы интеграции и что этими другими механизмами могут быть только административный аппарат планирования (назначения целей хозяйственной деятельности) и управления. Понятно также, что такой аппарат, по неизбежности безразличный к выбору индивидуальных потребителей (будь это отдельные граждане или предприятия), может действовать только приемами жесткого административного принуждения. Также совершенно понятно, что плановому производству неизбежно сопутствует плановое (административное, то есть по произвольным критериям) распределение, а значит — непременно должны возникнуть дефицит практически всех благ, карточное снабжение, коррумпированность всех звеньев распределительного аппарата, коррумпированность общественных нравов, и пр. и пр. Это — образец системного, структурного подхода, исходящего из представления о внутренней логичности и взаимосвязанности мира именно как системы.

Можно также указать на знаменитую работу А. Смита «О богатстве народов», которая может рассматриваться как пример одного из самых блистательных прогнозов в истории человечества. В сущности, ведь Смит, вскрыв логику работы рынков и рыночной экономики, заложив основы современной экономической теории, совершенно адекватно описал основные черты общественной системы, которой должно принадлежать господствующее положение в мире: просто в силу того, что свободные люди, владеющие частной собственностью и наделенные всеми правами и ответственностью собственника, неизбежно должны оказаться более эффективными, производительными, изобретательными и предприимчивыми работниками, чем люди любого другого общества. В его время, да и сейчас, ни одно государство мира не было устроено в соответствии с принципами либеральной экономической теории. Если бы его теоретическая схема оказалась ложной, страны, выстраивающие свою экономическую политику по предложенным им принципам, оказались бы в бедственном положении. Поскольку теория оказалась верной, государства, способные наилучшим образом обеспечить свободу экономической и предпринимательской деятельности, оказались богаче, сильнее и могущественнее, чем те, в которых свобода и предприимчивость граждан не могли иметь такого же развития. Возможны, видимо, и другие примеры.

Книга проф. Кеннеди не относится ни к одному из возможных типов прогноза. Это не есть структурный, теоретически обоснованный анализ общественного устройства. Одновременно это сочинение не является работой узкого специалиста, уверенно анализирующего хорошо знакомую ему профессиональную область деятельности. Преподаватель новейшей истории, «специализирующийся на стратегических и международных проблемах современного мира» (из биографической справки на супер-

обложке книги), в силу самой специфики выбранного им объекта анализа (весь мир) был обречен на то, что результатом его труда окажется реферат, представляющий распространенные в журналистских кругах точки зрения. Публикуемая в журнале глава о проблемах России достаточно характерна в этом отношении.

Хотя в библиографическом списке практически нет российских авторов (кроме А. Аганбегяна), следившие за «перестроечными» публикациями последних лет сразу обнаружат, что перед ними некий обзор основных тем, обсуждавшихся в нашей прессе. Что, видимо, свидетельствует о единстве фонда претензий к советскому режиму. Приходится только сожалеть, что в этом международном фонде сведений и суждений автор обильно зачерпнул немало вздора.

Поскольку «нельзя объять необъятное», может быть, и не стоит уж слишком строго судить достаточно редкие откровенные «накладки». Так, на одной странице цитируется эксперт по России Эдвард Кинан: «Очень немногие из пятнадцати советских республик однородны (этнически.— *Б. П.)* в той же мере, что и Северная Ирландия или Югославия». А на другой мы читаем: «Страной, страдающей от самых резких межэтнических противоречий, является, бесспорно, бывшая Югославия» (Здесь цитируется эксперт, по-видимому, по Югославии, В. Мейер).

Намного чаще встречаются суждения такого рода: «В будущем можно смягчить (спад сельскохозяйственного производства.— *Б. П.)*, выделив крестьянам землю в долгосрочную аренду, но они, вероятнее всего, будут выращивать быстро окупающиеся... фрукты и овощи, а не... зерновые культуры». Почему, спрашивается, мужики, имеющие прочные права на землю и работающие на вольный рынок, откажутся от выращивания зерна, известно, должно быть, одному корреспонденту лондонской «Independent», из статьи которого проф. Кеннеди заимствовал это суждение. Журналист, естественно, не обязан понимать что-либо в процессах реформирования сельского хозяйства, в экономике, в логике человеческого поведения, наконец. Худо, что схожих по легкомысленному невежеству суждений в данной работе не так уж мало. Вот еще один пример.

Рассуждая о причинах возможных межнациональных конфликтов, автор говорит: «На Украине миллионы русских рискуют потерять работу, если на шахтах и заводах произойдет «модернизация»,— а именно эту цену, вероятно, запросят Международный валютный фонд и другие международные экономические организации за принятие Украины в свои члены». У читателя может возникнуть вопрос: что же, это Мировой банк и МВФ во всем виноваты? И если бы не они, то украинцы смогли бы до скончания века избегать «модернизации» Донбасса и своей крайне устаревшей и неэффективной тяжелой промышленности? Могли бы, конечно, если бы Россия и дальше взялась за счет своей нефти, газа и леса возмещать убытки шахт, производящих самый дорогой уголь в мире. Но с советской властью или без нее, в рамках СССР или на правах самостийности модернизация (и без кавычек) давно стояла на повестке дня. И при любых условиях массовая структурная перестройка чревата социальными конфликтами (и в случае Донбасса они могут принять форму межэтнических). В 60-х — 80-х гг. сокращали и перестраивали добывающую и тяжелую промышленность во Франции, в Германии, в Британии, в Штатах. Происходило все это шумно и весело: с забастовками, маршами протеста, драками с полицией, человеческими жертвами и пр. И совершенно верно отмечает автор: «Куда заведут республики эти процессы, предсказать невозможно». Почти ничего интересного (и действительно важного) на этом свете предсказать невозможно. В частности, в Британии годовая забастовка шахтеров вполне могла стать причиной падения кабинета Тэтчер и возврата Англии к строительству социализма. (И это был бы третий за 20 лет провал попытки реформировать угледобывающую промышленность и ввести сверхвоинственный профсоюз шахтеров в рамки гражданского общества.) Что же, это был бы аргумент против политики модернизации?

При рассмотрении демографических проблем, унаследованных Россией от СССР, отмечается, что ситуация, скорее всего, будет ухудшаться. «Если ухудшатся социальные и экономические условия и, следовательно, увеличится число людей, не желающих иметь детей, или же власти будут спокойно относиться к массовой эмиграции, падение этого показателя (прирост рабочих рук.— *Б. П.)* пойдет еще быстрее» — и это, естественно, оценивается как очень неблагоприятный фактор для будущего роста экономики. Но, оценивая перспективы роботизации промышленности в России, утверждается уже нечто прямо противоположное: «Япония стремилась автоматизировать производство из-за нехватки рабочей силы... в России... существует постоянная недозанятость населения, которая может только усилиться при распространении автоматизации».

Говоря об экологической ситуации в Средней Азии (поливные хлопковые плантации, для которых не хватает местных ресурсов воды, но почвы уже засолены и быстро теряют плодородность), автор отметает возможность какого-либо минимально удовлетворительного исхода этой действительно тяжелой и драматической ситуации и предвидит только дальнейшую деградацию (с возникновением локальных войн за перераспределение воды и пр.). Очень может быть, что все так и будет. В конце концов, если история чему-нибудь и учит, то лишь одному: большинство уроков остаются неусвоенными, а ресурсы глупости, алчности и злобности

почти безграничны. Но одновременно известно и то, что у человека всегда есть выбор и практически любая проблема может быть разрешена ко взаимной выгоде всех участников. Почему же, рассматривая возможность внедрения в Средней Азии современных биотехнологий, которые способны избавить регион от последствий нехватки воды, засух, нехватки плодородных земель, автор позволяет себе заявить: «Нищим южным республикам будет трудно оплачивать патенты и другие расходы, не говоря уж о создании современных лабораторий, фабрик... Кто будет финансировать эти предприятия и связанные с ними вложения в образование и в развитие инфраструктуры? ... Даже если какая-нибудь отважная западная компания возьмется за развитие биотехнологии земледелия... и сумеет преодолеть все прочие препятствия, кризис с водоснабжением все равно разрешить не удастся». Повторяю еще раз: очень может быть, что так оно все и будет. Но ведь необязательно! Известно, например, что уже сейчас сельскохозяйственные предприятия Израиля начали внедрять в некоторых хозяйствах Узбекистана современные технологии орошения, которые снижают потребность в воде в 7—10 раз и устраняют опасность засоления почв. Отчего бы не рассмотреть возможность того, что среднеазиатские республики сумеют избежать опасности бесконечных войн и установят благоприятный инвестиционный климат? Тогда сельскохозяйственные перспективы для этого региона окажутся никак не хуже, чем в нищей и безводной Палестине, земля которой — по компетентному суждению британских экспертов 1920—1930-х гг.— способна была прокормить не более 300—400 тыс. человек. Сейчас израильское сельское хозяйство кормит более 5 млн. человек и является одновременно крупной экспортной отраслью. Кстати говоря, эксперименты с новыми системами орошения осуществляются на вполне коммерческой основе: в случае успеха компания-инвестор получает некую долю от повышения урожайности и сокращения издержек. Почему по такой же схеме, хорошо отработанной и используемой во всем мире, не могут осуществляться и все другие проекты?

Можно представить, что у проф. Кеннеди и были веские основания считать, что большинство населения России и других бывших советских республик состоит из людей, подобных герою старого анекдота: «Выколю себе глаз, пусть у моей тещи будет зять кривой», но думаю, что дело в ином.

Помимо не очень хорошего понимания логики экономических процессов, причиной пристрастия к такого рода суждениям является то, что, так же как для газетчиков «единственно хорошая новость — это плохая новость», так и для предсказателей сбыт текста и общественное внимание обеспечиваются уровнем катастрофичности прогноза. «Хороший прогноз —это мрачный прогноз». У некоторых политологов, социологов (да и журналистов) эта особенность спроса рождает готовность снабжать мир предельно экстремистскими (и противоречивыми) текстами. И для политиков, и для обществоведов опасность катастрофы есть источник карьеры, славы и денег.

Впрочем, центральная идея книги проф. Кеннеди — представление о единстве мира и взаимосвязанности всех процессов — должна быть оценена как достаточно реалистическая и плодотворная. Не исключено, что со временем анализ реальных взаимосвязей и будет реализован на должном научном уровне.

Б. ХЛЕБНИКОВ

ПОЛДЕНЬ ГАЛАКТИКИ

О книге в прошлом и настоящем. Заметки германиста

ЮБИЛЕЙ НЕИЗВЕСТНОЙ ДАТЫ

Истории печатного и издательского дела посвящено огромное количество исследований, однако ее ранний этап остается во многом непроясненным. Например, до сих пор не установлена дата рождения Иоганна Гутенберга, изобретшего «европейский способ книгопечатания». Определен лишь вероятный промежуток между 1394 и 1404 годом. Зато и шестисотлетний юбилей Гутенберга можно отмечать целых десять лет, что вполне соответствует эпохальности великой коммуникативной революции, не менее значительной, нежели рождение языка или возникновение письменности.

Поражают та широта и стремительность, с которыми печатное дело распространялось по Европе. До конца XV века, то есть всего за несколько десятилетий, типографии появились не только в Германии, но и в Италии, Швейцарии, Франции, Бельгии, Венгрии, Польше, Чехии, Англии, Австрии, Дании, Швеции и Португалии. За это время типографии 252 городов Европы выпустили около 27 тысяч изданий общим тиражом 20 миллионов экземпляров.

Примечательно, что европейское печатное дело началось с коммерческих изданий, а самой первой книгой Гутенберга стал, видимо, учебник латинского языка, которому был обеспечен надежный, долгосрочный сбыт в достаточно больших количествах.

Собственно говоря, коммерческими по своему характеру были все печатные работы Гутенберга: календари, псалтыри, индульгенции... Даже знаменитую 42-строчную Библию он отпечатал сразу в двухстах экземплярах из расчета, что весь тираж удастся быстро распродать, чтобы не только окупить затраты, но и получить прибыль. Недаром рядом с первопечатником Гутенбергом стоит фигура Иоганна Фуста, которого по праву можно назвать первоиздателем.

Фуст, финансировавший затеянное совместно с Гутенбергом «книжное дело» крупной по той поре ссудой в 1 600 гульденов, вообще может считаться прообразом современного предпринимателя. Все в этом начинании было новым и на века опередило другие сферы массового товарного производства. Впрочем, роль издателя уже изначально не исчерпывалась чисто коммерческим подходом к делу, ибо книга — предмет и товар особый, а потому издателю неизменно приходилось соблюдать баланс между рынком и культурой, причем этот баланс всегда был не только проблемой осознания просветительской или культурной миссии, но и реальным залогом долговременного практического успеха.

Экспансия печатного дела оказалась столь мощной, что уже к началу XVI века раздались первые жалобы на избыток книг, на их перепроизводство и трудности сбыта. С тех пор эти жалобы не умолкали никогда, если не считать, конечно, периодов войн, мора и прочих стихийных бедствий или общественных катаклизмов. В этом смысле хорошо известный в нашей стране книжный дефицит есть феномен исторически исключительный.

Перенасыщение рынка печатной продукцией заставляло издателей искать выход за пределы традиционного репертуара, стимулировать новый спрос и новые читательские потребности. Острая конкуренция подталкивала издателя на больший риск, но риск необходимо было чем-то уравновешивать. Своего рода страховкой служило развитие издательского и авторского права, ибо без развитого права нет и цивилизованного рынка.

По-своему символично то обстоятельство, что одним из главных событий в биографии Гутенберга стала его тяжба с Фустом. Здесь не так важно, из-за чего они судились и кто из них был прав. Знаменателен сам факт: начало печатного и издательского дела положено не только типографским станком и финансовым кредитом, но и апелляцией к суду, к праву для разрешения конфликта по заключенному договору. Книжное дело и в этом отношении торило дорогу европейской цивилизации.

ГАЛАКТИКА ГУТЕНБЕРГА СЕГОДНЯ

В начале 60-х годов канадский исследователь средств массовой коммуникации Маршалл Маклюэн опубликовал

свою книгу «Галактика Гутенберга», где уже само название подчеркивает масштабность предмета авторских размышлений. История печатного дела действительно характеризуется астрономическими масштабами. Если наша галактика насчитывает около двухсот миллиардов звезд, то ведь и книг со времен Гутенберга напечатано, видимо, не меньше. В мире, по экспертным оценкам, до сих пор вышло примерно 40 миллионов книжных печатных изданий. Помножьте их на средний тираж, допустим, в 5 тысяч экземпляров — и получится то самое «галактическое число», не говоря уж о галактике журнальной или газетной. Впрочем, Маклюэн выступил с утверждением, что «эра Гутенберга» завершилась и на смену ей пришла «эра Маркони». Разгорелись жаркие споры о том, как сложится дальнейшая судьба печатного слова и какую угрозу несет для него телевидение.

Поначалу телевидение действительно быстро набирало силу. К 70-м годам оно уверенно заняло лидирующее место в структуре досуга у немцев, значительно опережая другие виды досуговых занятий. Однако к середине 80-х годов наступил окончательный перелом в пользу радио. Что же касается чтения, то несмотря на вполне ощутимые сдвиги, интерес немцев к газетам, журналам и книгам оставался достаточно стабильным.

Если в 1980 году средний западный немец ежедневно слушал радио 135 минут, то телевизору он уделял уже на 10 минут меньше, а на чтение газет, журналов и книг отводилась 71 минута. В 1990 году статистическая картина выглядела так: радио — 177 минут, телевидение — 133 минуты, чтение — 59 минут. Бывшие восточные немцы, ныне жители «новых земель», также предпочитают радио телевидению, а чтению они отдают немного больше времени.

Радио сумело закрепить свое лидерство, несмотря на то, что во многих немецких квартирах уже появилось по два телевизора и, благодаря кабельной и спутниковой связи, значительно увеличилось количество телевизионных каналов. Большая популярность радио объясняется, видимо, тем, что его можно слушать, так сказать, между делом, занимаясь домашним хозяйством или чем-то другим.

В радиопередачах, как выяснили социологи, немцев интересуют прежде всего новости, на втором месте находится музыка. В телепередачах наиболее высокий зрительский приоритет имеют информационные и развлекательные программы. Таким образом, новости, свежая информация оказались главной областью конкуренции между радио, телевидением и газетами, что не могло не отразиться на последних.

Газеты уступают в оперативности своим конкурентам, поэтому, видимо, их количество за последние тридцать лет сократилось. В 1990 году объединенная Германия насчитывала 1233 газеты. Зато увеличилось количество журналов с почти 7 тысяч в 1982 году до почти 9 тысяч в 1992 году, что происходило преимущественно за счет расширения спектра журнальных изданий, и теперь вряд ли найдется какая-либо сфера профессиональных или общественных интересов, досуговых занятий и увлечений, которые не были бы представлены хотя бы одним, а то и несколькими журналами, не говоря уж об изданиях универсального характера.

Что же касается книг, то лидером европейского, а возможно, и мирового книгоиздания сейчас является Великобритания, где ежегодный выпуск книг приближается к 80 тысячам наименований. В Германии за 1992 год было опубликовано 67 тысяч книжных изданий. Впрочем, следовало бы учесть, что ее непосредственные соседи, Австрия и Швейцария, выпускают свои книги на практически единый с Германией рынок, который пополняется таким образом ежегодно почти на 90 тысяч изданий.

Но состояние книжного рынка характеризуется не столько цифрами ежегодного выпуска, сколько показателями наличного ассортимента. Новейший сводный каталог немецких книг насчитывает 596 788 изданий. И любое из них можно приобрести либо сразу, либо сделать заказ, который будет исполнен на следующий день, от силы за несколько суток. При этом заказ принимают практически в каждом книжном магазине, где с помощью компьютера покупателю отыщут нужную книгу даже по неточным или неполным данным.

Больше того. В Германии ежегодно выпускается и сводный каталог распроданных книг, в котором сейчас фигурирует 260 тысяч изданий, опубликованных после 1986 года. Если издатель почувствует новый интерес к прежней книге, он вернется к ней.

НЕКОТОРЫЕ СРАВНЕНИЯ

Представления о немецкой печати могли быть, очевидно, гораздо отчетливей, если бы ее можно было сравнить с печатью российской. Но речь идет о вещах, во многом просто несопоставимых.

Дело даже не в том, что российская печать переживает сложный, переломный период. Возьмем, к примеру, бел-

летристику. По данным статистики, Россия выпустила в 1992 году рекордное количество беллетристических изданий — 6 714, а за вычетом детской художественной литературы — без малого 5 тысяч книг.

Но во-первых, следует учесть, что российские издатели широко практикуют дублирование книг. Хорошо известны случаи, когда один и тот же роман выходит одновременно в нескольких издательствах. Особенно не повезло в 1992 году роману К. Маккалоу «Поющие в терновнике», представленному сразу более чем тремя десятками изданий. Немногим меньше пострадали роман М. Митчелл «Унесенные ветром» и его продолжение, роман А. Риплей «Скарлетт». И здесь счет дублей идет на десятки. Чаще такое происходит с произведениями, не защищенными авторскими правами, но не брезгуют в России и пиратством. Исключив из общего числа беллетристических изданий дублированные, российский статистик получил бы существенно иные цифры, вероятно, вдвое или втрое более низкие, но какие именно — неизвестно.

Заимствование книг одного издательства другим происходит, разумеется, и в Германии, но там оно опирается на соответствующую уступку прав, т. е. носит упорядоченный характер и имеет гораздо меньшие масштабы, хотя точных немецких данных на сей счет также нет.

Во-вторых, любопытно заметить, что российское беллетристическое издание в среднем наполовину объемистее немецкого. Все объясняется довольно просто. Если в Германии (Англии, Франции и т. д.) каждую повесть или роман принято публиковать самостоятельно, то в России дело обстоит иначе. Достаточно просмотреть два-три номера еженедельника «Книжное обозрение», публикующего списки сигнальных экземпляров, чтобы убедиться, что добрая половина беллетристических изданий — «составные», т. е. состоят из нескольких романов и повестей.

Однако не стоит спешить с выводом, будто количество издаваемых за год произведений много больше числа выпускаемых книг. Ведь зачастую один и тот же роман кочует из состава в состав, и касается это отнюдь не только детективных сборников.

В-третьих, оценить реальное состояние книжного дела в России затруднительно из-за «фантомных» изданий. Если книга выходит малым тиражом, если информации о ней нет, если она не попадает хотя бы в основные библиотеки, если ее распространение ограничено каким-либо регионом или городом — короче говоря, если книга остается недоступной, то учет этого «фантома» государственной статистикой скорее искажает объективную картину, нежели проясняет ее. Во всяком случае, года три назад реальный ассортимент крупнейших книжных магазинов России доходил до двадцати тысяч наименований и даже превышал эти цифры. Ныне же предложение оптовых книжных ярмарок исчисляется от силы одной-двумя тысячами наименований. Есть ли смысл сравнивать их с более чем полумиллионным ассортиментом немецкого книжного рынка?

У немецкого книгоиздания совсем иные проблемы. Каждая немецкая книга, за редчайшим исключением, оказывается всегда и всюду в ситуации конкурентной. Рядом с ней на витрине или полке непременно стоят соперницы по теме и жанру. Планируя новую книгу, немецкий издатель прежде всего задается вопросами: за счет чего она сумеет выдержать конкуренцию? не повредит ли ее появление другим книгам того же издательства и того же автора?

Колебания годового выпуска книг в Германии могут показаться довольно значительными, и сами издатели, книготорговцы чутко реагируют на конъюнктурные подвижки. Однако если соотнести эти колебания с общим ассортиментом, т. е. со всем количеством книг, имеющихся в постоянном наличии, не говоря уж о резерве, то выясняется, что амплитуда колебаний не превышает одного-двух процентов.

Проблемой становится избыток книг. Он способен дезориентировать читателя, сбить его с толку, затруднить формирование, осознание своих интересов. Короче, когда читатель сталкивается с огромным разнообразием новинок национальной и мировой литературы, то возникает опасность, что выбор вообще не состоится или будет разочаровывающе случайным именно из-за избыточности предложения, а не из-за его недостаточности.

Итак, сравнение российского книгоиздания с немецким путем простых статистических сопоставлений весьма проблематично. Но, может быть, есть резон проводить сравнение опосредованно, через соотнесение пропорций книжного выпуска и его структур? Здесь оказывается, что мы до сих пор являемся в некоторых существенных отношениях едва ли не антиподами.

Так, еще три года назад более половины всех российских изданий приходилось на естественнонаучную, техническую, сельскохозяйственную и медицинскую литературу. Сейчас ее доля несколько снизилась, но все еще близка к половине, к тому же это самые дешевые книги, и выпускаются они почти исключительно государственными

издательствами за счет Федеральной программы или иных дотаций, без которых, по нашим представлениям, научная книга вообще обречена на исчезновение.

В Германии доля подобной литературы не превышает одной пятой от ежегодного выпуска. Кроме того, это самые дорогие издания. Так, если средняя цена на беллетристическую книгу составляет 16 марок, то естественнонаучная книга стоит вшестеро дороже, причем государство никоим образом не дотирует ее выпуск. Наоборот, беллетристические издательства Германии нередко обзаводятся собственной программой научной, технической или юридической литературы именно ради того, чтобы таким образом поддержать убыточную художественную литературу. Это в большой мере соответствует пропорциям книгоиздания таких стран, как Германия, Дания, Финляндия, Франция, Италия, Нидерланды, Швеция и Испания. Российское книгоиздание, особенно независимое, пытается обрести в условиях рынка собственную основу преимущественно за счет коммерческого выпуска беллетристики. К сожалению, духовное окормление страны продолжает осуществляться весьма однообразной пищей, хотя теперь и импортной, но несколько залежалой. Так или иначе, как показывает мировая практика, одна лишь развлекательная беллетристика не является долгосрочной и надежной основой книгоиздания в условиях свободного рынка, т. к. более других разделов литературы зависит от конъюнктурных колебаний, что уже вызывает ощутимое беспокойство коммерческих книгоиздателей России.

Обращение независимых российских издателей преимущественно к наиболее прибыльным книгам вполне объяснимо высокой инфляцией, условиями первоначального накопления капитала, да и просто желанием работать с максимальной рентабельностью. Однако сейчас даже крупный успех в этом деле еще не обеспечивает надежной перспективы. Принципиальное отличие российского книгоиздания от немецкого характеризуется, в частности, особенностями их правовой ситуации.

Главный капитал немецкого издательства — это принадлежащие ему права на публикацию тех или иных произведений, особенно права исключительные, которыми правообладатель может воспользоваться либо непосредственно, либо уступая лицензии своим партнерам. Порой небольшое издательство долгие годы живет с допечаток, переизданий или лицензионной продажи всего одной-двух книг. У российского издателя ситуация иная. Приобретение исключительных прав, накопление лицензионного ресурса, привлечение авторов к постоянному сотрудничеству, короче, все то, что в конечном счете и раскручивает механизм, работающий на общее расширение книгорыночного ассортимента, сдерживается в России целым рядом взаимосвязанных факторов — от отставания полиграфических и книгораспространительских технологий и инфраструктур до неразвитости самой системы издательского, авторского, да и вообще гражданского права.

Впрочем, не стоит забывать и о том, что на Западе при наличии развитого законодательства и эффективной системы правоохранительных органов куда действеннее оказывается так называемое обычное право или, попросту говоря, профессиональная этика. Это отнюдь не означает, что, допустим, среди немецких издателей не встречаются люди, склонные к авантюризму или плутовству. Но желание рисковать профессиональной репутацией обратно пропорционально ее вполне практической значимости в деловых отношениях. Немецкому издателю, полиграфисту, оптовику, розничному книготорговцу нельзя не печься о своей репутации. Современный рынок — такое разветвленное и сложное хитросплетение конкурентных и партнерских отношений, что молва распространяется по этой сети едва ли не со скоростью импульсов в нейронах. Может, когда-нибудь и в России будет легче верить на слово, потому что профессионалы поймут, что не сдержать обещание, обмануть другого — себе дороже.

ФРАНКФУРТСКАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА

Франкфурт-на-Майне и Лейпциг стали первыми немецкими городами, которые получили привилегию на проведение торговых ярмарок: Франкфурт — в 1240-м, Лейпциг — в 1268 году. Еще при жизни Гутенберга его бывший помощник Петер Шёффер, ставший первым крупным торговцем печатными книгами, избрал с 1462 года именно Франкфурт центром своей деятельности, сфера которой простиралась до Парижа и Балтики.

К концу XV века весенняя и осенняя Франкфуртские ярмарки стали местом встречи для печатников, издателей, книготорговцев и авторов со всей Европы. Те авторы, которые не могли приехать сами, пересылали сюда через своих издателей письма коллегам. Переписка с ярмарочной оказией долгое время оставалась едва ли не основной формой научных связей, так что Франкфуртская книжная ярмарка уже изначально имела большее значение, нежели просто проведение торгов.

Книги в те времена перевозили в бочках. На многих старинных гравюрах изображается погрузка книг в бочки или их выгрузка на берегу Майна перед Книжным переулком, где находились франкфуртские ярмарочные склады. Формы торговли менялись. Больше века преобладал прямой книгообмен. Привезший оптовую партию издатель или торговец обменивал ее на продукцию своих партнеров из других городов, а уж обменянные книги продавались по возвращении на месте за наличные деньги. Авторы также получали гонорары частью тиража. Собственные книги обменивались на чужие, таким образом пополнялись личные библиотеки и доходы.

Расчеты между партнерами, натуральные или денежные, осуществлялись с отсрочкой на полгода, чаще на год, нередко подведение взаимного итога отодвигалось и на гораздо более долгий срок. У книжников складывалась весьма характерная психология, сохранившая в этой гильдии свои особенности до наших дней: готовность подставить ножку конкуренту сочеталась с верностью договорным обязательствам, предпринимательская смелость, небоязнь крупного риска — с расчетливостью, осмотрительностью, выдержкой и долготерпением. Изрядная доля меркантилизма уравновешивалась, так сказать, профессиональным идеализмом, чуткостью к духовным настроениям и волнениям, способностью поверить в откровения еще не признанных мыслителей.

В начале XVII века лидерство у Франкфуртской книжной ярмарки перехватила Лейпцигская. В 1750 году вышел последний каталог Франкфуртской ярмарки, и без малого на два века Лейпциг стал единовластной книжной столицей Германии. Зато после второй мировой войны Франкфурт превратился в книжную метрополию всего мира.

Если мировой ежегодный выпуск книг исчисляется сейчас примерно 850 тысячами наименований, то на Франкфуртской книжной ярмарке выставляется свыше 350 тысяч изданий — такова ее представительность. На последней ярмарке выставлялось около 8,5 тысячи экспонатов из 96 стран.

Когда-то сюда для обмена или продажи привозились целые тиражи. Позднее стали демонстрироваться лишь образцы, с которыми можно было ознакомиться для заключения договора о последующих оптовых поставках. Сейчас ярмарка уже является даже не столько международным центром экспортно-импортных книготорговых операций, сколько местом главных лицензионных торгов. Здесь заключаются две трети всех международных лицензионных договоров, т. е. соглашений об уступке прав на переводные издания. К Франкфуртской ярмарке правообладатели охотно приурочивают аукционы по продаже субсидиарных прав.

Впрочем, все большее значение приобретает само по себе то обстоятельство, что во Франкфурте происходит общий сбор книжников со всего мира. По этому же поводу сюда съезжаются представители всех ведущих средств массовой информации. Франкфуртская ярмарка широко освещается специальными выпусками крупнейших газет и журналов, многочисленными радиопередачами и телевизионными программами.

Мировая литература стала для нас не абстрактным понятием, а вполне реальным фактом, основывающимся на практически одновременном появлении в разных странах новой книги снискавшего всемирную известность писателя. Мировые премьеры будущих супербестселлеров, уже переведенных на несколько языков, нередко происходят именно во Франкфурте с участием самого автора и прочих знаменитостей при большом стечении публики. Кстати сказать, всемирными супербестселлерами оказывались не только «ужасники» Стивена Кинга или высокоинтеллектуальный постмодерн Умберто Эко, но, к примеру, и серьезный космологический трактат «Краткая история времени», написанный физиком и математиком Стивеном Хоукингом (*Stephen W. Hawking*. A Brief History of Time. From the Big Bang to Black Holes). Рекламный потенциал франкфуртской ярмарки так велик, что сам по себе служит магнитом огромной притягательной силы.

Но и это, пожалуй, еще не все. Лауреат Нобелевской премии политэконом Фридрих фон Хайек сравнивал рынок с гигантским информационным устройством, которое, вбирая в себя совокупную информацию о результатах деятельности многочисленных товаропроизводителей и предпринимателей, а также о поведении еще более многочисленных потребителей и покупателей, перерабатывает эту информацию и регулирует состояние рынка. Именно таким огромным «компьютером» мирового книжного рынка и служит Франкфуртская ярмарка, где из многочисленных экспозиций, рекламных проспектов, но еще больше из встреч, деловых, приятельских и случайных разговоров, из официальной информации, молвы, слухов, сплетен и обмолвок, даже из выражений лиц, улыбок и взглядов, короче, из всех видов формального и неформального общения складываются оценка прошлого, энергетика настоящего и потенциал будущего.

Франкфуртская ярмарка ежегодно представляет одну из стран центральной экспозицией. На 45-й ярмарке был проведен эксперимент, ибо центральную экспозицию посвятили не отдельной стране, а языковому региону — Нидерландам и Фландрии. В 1994 году — на очереди Бразилия, что свидетельствует о признании ее успехов в книжном деле, а ведь Бразилия переживает период более затяжной и даже более высокой инфляции, нежели наша страна, так что опыт Бразилии, в том числе сохранение твердых отпускных цен на книгу (т. е. одна и та же книга везде продается конечному покупателю по цене объявленного издательством номинала, варьируется только торговая скидка), может оказаться для наших условий весьма поучительным. За Бразилией в 1995 году последует Австрия, и опять-таки будет интересно узнать, каким образом сравнительно небольшие австрийские издательства ухитряются выдерживать на практически едином рынке конкуренцию с немецкими издательствами, да еще наращивать выпуск книг.

Одним из важных мероприятий 45-й Франкфуртской книжной ярмарки была работа центра «Восток — Запад». Дело в том, что Биржевое объединение немецкой книготорговли приглашает для участия в ярмарке представителей восточноевропейских и развивающихся стран, особенно независимых издателей. Немцы вообще расходуют немало средств на проведение международных семинаров, собственных книжных выставок за рубежом и прочих мероприятий, которые призваны развивать сотрудничество, а в конечном счете — служить полномасштабной интеграции восточноевропейских и развивающихся стран в мировой книжный рынок. Вот и российские книжники приглашаются на Франкфуртскую и Лейпцигскую ярмарки, они получают возможность завязывать деловые контакты через центр «Восток — Запад», им предоставляются бесплатные стенды, им оказывается методическая помощь.

Все это делается совершенно бескорыстно, что не означает, разумеется, отсутствия вполне конкретных интересов. Угадать их нетрудно. Немцы, да и не только они, действительно заинтересованы в том, чтобы Россия обрела цивилизованный, развитой книжный рынок, который даст полноценных партнеров для экспортно-импортных связей и взаимовыгодной лицензионной торговли. Ведь в огромном потенциале российского рынка никто не сомневается, дело лишь за тем, как скорее и эффективнее раскрыть, освоить, реализовать этот потенциал.

Не случайно именно Россия стала первой страной, где создан немецкий Книжный информационный центр (КнИЦ). Он находится в Москве, в помещении Немецкого культурного центра им. Гёте. КнИЦ будет каждые полгода выставлять от полутора до двух тысяч новинок, выпущенных немецкими, отчасти австрийскими и швейцарскими издательствами. Речь идет как о художественной, так и о научной, технической, популярной, справочной литературе, а также о журнальной периодике. В Центре можно получить библиографическую справку о любом издании из тех 600 тысяч наименований, наличествующих на немецком книжном рынке, о которых говорилось выше, причем эти сведения будут ежегодно обновляться. Однако КнИЦ не собирается ограничиваться предоставлением информации, он стремится к активному посредничеству между российскими авторами, переводчиками, издателями, книготорговцами с их немецкими партнерами.

Но вернемся на Франкфуртскую книжную ярмарку, которая ежегодно служит нагляднейшим свидетельством того, что о закате эры Гутенберга говорить еще рано. Если Европа, на долю которой сейчас приходится более половины мирового книжного выпуска, возможно, уже приблизилась к полному насыщению книжного рынка, а кое-где даже испытывает его структурное перенасыщение, то другие континенты и регионы значительно повысили темпы развития своего книгоиздания. Особенно это относится к Азии и прежде всего к таким странам, как Китай, Южная Корея и Япония (впрочем, последняя еще в начале века принадлежала к числу ведущих книжных держав мира). Пожалуй, можно сказать, что книга переживает сейчас свой галактический полдень.

Но это отнюдь не значит, что совершенно безоблачно хотя бы ее ближайшее будущее. Печатным изданиям — книге, журналу и газете приходилось и приходится вести борьбу за существование на многих фронтах, в том числе и на полях междуусобных сражений.

Так, если беллетристическая книга к середине нашего века одержала почти повсеместную — за редкими исключениями, к которым принадлежит Россия,— историческую победу над литературным журналом, то сейчас научный журнал заметно теснит научную книгу. В свою очередь, научная периодика испытывает давление компьютерных, электронных сетей научной коммуникации, по которым расширяется и интенсифицируется обмен препринтами. Публицистической, политической и популярной книге трудно соперничать с еженедельной газетой

или журналом, где достаточно объемная, а главное — емкая статья, снимая «пенки» с любой темы, может погубить ее развернутое книжное изложение.

Кстати, об электронике. На 45-й Франкфуртской ярмарке впервые работал раздел электронной книги, которой предсказываются огромные перспективы. Успех нынешней экспозиции был бесспорным. Это следует хотя бы из количества заявок на 1994 год. Вместо прежних 170 участников уже поспешили заявиться 400 издательств, занимающихся электронной книгой, и вероятно, их будет еще больше. Разумеется, перевод на электронные носители грозит далеко не любому печатному изданию. Но сборники законодательных актов и юридических комментариев, телефонные и адресные справочники, возможно, перестанут существовать в традиционном, привычном нам виде. А это, надо сказать, может оказаться изрядным потрясением для полиграфии и бумажной промышленности. Те, кто бывал за границей, знают, что толстенные телефонные справочники, да еще по несколько томов, лежат в каждой телефонной будке и в каждой квартире. На них уходит больше половины всей бумаги, расходующейся для книжного дела. Так что введение электронных справочников и специальной читающей аппаратуры, чем уже занимаются ведомства связи, действительно может совершить революцию.

Мы уже говорили о том, что за всю мировую историю книгопечатания со времен Гутенберга издано около 40 миллионов книг. Половина из них пришлась на последние полвека. Есть все основания предположить, что уже в следующие пятьдесят лет общее число книжных изданий удвоится, хотя часть литературы (например, справочной и научной), вероятно, трансформируется за счет перехода на новые носители и другие коммуникационные технологии. Вероятно, экспансия книги вообще не беспредельна, но сейчас, повторим, есть ощущение того, что книга переживает свой галактический полдень.

Не случайно Умберто Эко, автор замечательного романа «Имя розы», посвященного Книге, сказал недавно, что новое поколение уже растет, уткнувшись не в экраны телевизоров, а в дисплеи компьютеров.

На дисплеях же возникают слова, и это вновь возвращает нас в галактику Гутенберга.

■

АЛЕКСАНДР ГЕНИС

ГИПЕРТЕКСТ — МАШИНА РЕАЛЬНОСТИ

Говоря о сочинении американского писателя Майкла Джойса «Полдень», приходится избегать слова «книга», ибо книги как таковой здесь нет и быть не может. «Полдень» можно прочесть только при помощи компьютера. В иной форме этот роман не существует, поэтому надо договориться о терминах, отделяющих новый культурный феномен от привычных видов художественного творчества. В русском языке можно использовать ту же греческую приставку, что и в английском,— «гипер». Так получатся термины из литературоведческого словаря уже XXI века: «гипертекст», «гиперлитература», «гиперроман». «Гипер» означает «над, сверх, по ту сторону», соответственно гипертекст — это сверхтекст, поднявшийся над обычным, чтобы увести читателя по ту сторону печатной страницы.

Гиперлитературой пока занимаются лишь несколько энтузиастов — кентавры «физико-лирики», сопрягающие изящную словесность с компьютерной техникой. Самый известный среди них — Майкл Джойс, автор первого и лучшего гиперромана «Полдень». Это произведение представляет собой дискет для персонального компьютера. На дискете содержатся 539 условных страниц, которые можно читать подряд, как обычные книги. Но соль в другом. В гиперромане есть еще 951 «связка». Каждая из них — альтернативный путь, уводящий сюжет в сторону. Чтобы активизировать «связку», читатель должен подчеркнуть на экране заинтересовавшее его слово. После этого текст «раздвинется», впустит в себя новый эпизод, рассказывающий, допустим, предысторию героя.

Устройство гипертекста так же трудно объяснить, как описать игру на пианино тем, кто ее никогда не слышал, да и самого инструмента не видал. Аналогию можно продолжить: чтобы читать гиперроман, надо хоть немного учиться этому. У разных читателей, как и у разных пианистов, чтение, или «исполнение», текста будет разным. Успех зависит от усилий, опыта и даже таланта.

При всем том «Полдень» обладает признаками обыкновенного романа — здесь есть сюжет, герой, интрига, пейзаж, начало (с концом, финалом, правда, все обстоит сложнее). Есть тут и авторский персонаж, есть эмоции, рассуждения, лирические и философские отступления, смерть, любовь, толика эротики, причем откровенность сцен зависит от читателя.

Герой «Полдня» — поэт Питер, который служит в фирме, принадлежащей его приятелю и счастливому сопернику Вертеру. Фабула строится вокруг автомобильной катастрофы, в которой, как подозревает Питер, погибли его сын и бывшая жена. Однако, возможно, авария — плод иллюзии рефлектирующего героя, раздавленного чувством вины перед семьей, которую он не сумел спасти от распада.

Надо помнить, что сюжета в таком виде в «Полдне» нет, это лишь искусственная реконструкция, модель, «чучело» гиперромана. Пересказ, будучи лишь плоскостной проекцией трехмерного изображения, так же похож на сам гипертекст, как окружность — на шар или квадрат на куб. Гипертекст уводит нас в объемный мир компьютерного пространства. Так, «Полдень» начинается сценой в ресторане, где обедают Питер и Вертер. Они обсуждают жену первого, с которой теперь встречается второй. Тут читатель прерывает беседу двух персонажей и вызывает на экран ее предмет — жену героя. За ней тянутся новые персонажи и новые детали. Из этого путешествия можно вернуться к началу, но можно и забыть о дебюте, направляя историю по одной из многих фабульных тропинок, из которых ткется повествовательное полотно. Поэтому, кстати, нельзя определить конечный объем гиперромана — Джойс говорит, что его «Полдень» читают в среднем около сорока часов.

В описании все это кажется игрой, вроде кроссворда, но фрагменты текста Майкла Джойса, появляющиеся на экране, отнюдь не располагают к бездумному досугу. Это напряженный, «густой», стилистически изощренный текст, эмоционально вовлекающий читателя в действо. Более того, тут возникают особые художественные эффекты. Игры с «Полднем» создают странное впечатление подглядывания за настоящей, а не вымышленной жизнью. В обычной книге пока длится эпизод с одним персонажем, другие пребывают неизвестно где, а тут — очень даже известно. В любую секунду мы можем оторваться от действия и заглянуть в другое пространство, чтобы узнать, чем занимаются остальные герои «Полдня». Читатель обладает всепроникающим зрением — способностью видеть всю конструкцию гиперромана сразу и насквозь.

По-моему, такого же эффекта добивается, наверное, гениальный режиссер Анатолий Васильев. Его спектакль «Бесы» принадлежал уже не театру, а гипертеатру. Васильев ставил Достоевского в обычном многоэтажном здании. В каждом коридоре, комнате, квартире играли разные сцены, а зритель бродил по дому как хотел, наслаждаясь спектаклем

в произвольном порядке, то есть сам составляя себе зрелище.

Нечто подобное происходило и в книге Саши Соколова «Школа для дураков», где писатель экспериментирует с «одновременным», напоминающим голограмму сюжетом, разрушающим причинно-временную последовательность.

Другая отечественная аналогия гипертексту — постмодернистский роман Галковского «Бесконечный тупик», в котором автор разрушает линейную последовательность событий, раздвигая сюжет примечаниями, как раздвигают подзорную трубу или разнимают матрешку.

Присутствие таких экстравагантных произведений и в русской культуре говорит о том, что появление гиперискусства уже назрело. Так, рождению кинематографа предшествовали структурные изменения в самых разных видах творчества. Сегодня компьютер дает техническую оснастку для нового витка художественной эволюции или даже революции. Автор гиперромана, оторвавшись от плоского печатного листа, погружает читателя в текст, как в бассейн. Здесь, бродя по третьему измерению, открытому для литературы компьютером, мы перестаем быть пассивными читателями, чтобы занять место соавтора. Гиперлитература придает буквальный смысл знаменитому, а теперь, как выяснилось, и пророческому высказыванию Набокова: «Шедевр любого писателя — его читатель».

Технические и литературные осложнения, связанные с гипертекстами, могут вызвать естественный вопрос: зачем? Зачем все это? Кому мешает старая добрая книга с началом и концом, книга, которая дает шанс отдохнуть с автором, а не трудиться наравне с ним. Короче: стоит ли овчинка выделки?

Пока, пожалуй, и правда не стоит. Однако «Полдень» — только первый текст новой литературы. По этому поводу американский писатель Роберт Кувер, руководитель единственной творческой лаборатории гипертекстов, сказал, что «от Гутенберга до «Дон Кихота» прошло полтора столетия, а тут счет идет не на годы, а на месяцы».

Гиперлитература — еще эмбрион, зародыш нового искусства. Но скоро — думаю, уже в следующем поколении — она составит серьезную конкуренцию старым книгам. К этому есть несколько предпосылок.

Во-первых, гипертексты способны привлечь к литературе новую генерацию читателей — нынешних подростков, выросших не на книгах, как мы, а на электронной информации, на телевизоре, видеоиграх, компьютерах. Мы не представляем себе литературу вне книжной культуры, но стоит напомнить, что литература намного древнее не только книг, но и самой письменности. В обществах, не знавших письма, изящная словесность в виде фольклора, мифов, магических ритуалов играла более важную роль, чем в нашем. Так что книга — лишь одна из форм существования литературы, а значит, и на смену книги может прийти что-то другое. Например, гиперкнига.

Во-вторых, гиперлитература коренным образом меняет отношения читателя с писателем, превращая их в соавторов. Такая тенденция — стремление к «интерактивности» — заметна во всей современной культуре. Массовое общество по своей природе стремится к тотальной демократизации, так что, может быть, гиперискусство возьмет на себя роль искупителя грехов массовой культуры? Тут следует упомянуть выдающегося сербского писателя, верного кандидата в нобелевские лауреаты Милорада Павича, которого считают своим пророком авторы гиперлитературы. Недавно он закончил пьесу «День и вечность». В ней предусматривается сразу девять вариантов сюжетного развития, что позволяет театрам, режиссерам и даже зрителям участвовать не только в интерпретации, но и в конструировании спектакля.

Есть, наконец, и третья, главная, предпосылка к развитию гиперлитературы. Любое произведение — будь то частушка, детектив, эпическая поэма или философская повесть — создает некую действительность. Текст — машина, производящая реальность. Так, классический роман XIX века трактовал литературный сюжет как человеческую судьбу. Книга становилась тождественна жизни, персонажи и живые люди казались взаимозаменяемыми. В реальности, которую вырабатывала такая литература, существовала вся русская критика — от Белинского до Лакшина. Тем не менее уже Мандельштам заметил, что в XX веке эта машина стала давать сбои. Старая романная причинно-следственная связь, обеспечивающая роман линейным сюжетом, не соответствует новому времени, когда, по знаменитому выражению Мандельштама, люди оказались выброшенными из своих судеб, как шары из бильярдных луз. Сегодня, накануне третьего тысячелетия, этот процесс истощения реальности завершается. Постмодернизм обнаружил, что «сырой», природной, натуральной действительности вокруг нас не осталось. Это проблема экологии культуры. Как нет на Земле уже первозданной, не затронутой человеческой деятельностью природы, так нет и девственной реальности, не преображенной культурой. Мы живем в мире имиджей, миражей, которые сами же и производим. Нам никак не пробиться к подлинной действительности, в существовании которой мы к тому же далеко не уверены. Остается лишь одно — учиться ориентироваться среди бесконечных иллюзий (что-то вроде правил поведения в комнате смеха). И тут у гиперискусства большое будущее, ибо это не только мощный механизм, вырабатывающий реальность, но и тонкий навигационный инструмент, помогающий прокладывать курс в странном мире грядущего.

КНИГА ДОЛЖНА НАЙТИ СВОЕГО ЧИТАТЕЛЯ

(Директор издательства «Художественная литература» Г. А. АНДЖАПАРИДЗЕ о своем издательстве)

Корреспондент. Георгий Андреевич, читатели среднего и старшего поколения привыкли считать «Худлит» крупнейшим издательством страны, издающим художественную литературу. Теперь ваше издательство теснят новые — «Терра», «Северо-Запад», «Олимп — П. П. П.», «Вагриус»...

Г. Анджапаридзе. Да, и надо сказать, что с этими новыми издательствами мы стараемся максимально сотрудничать. Дело в том, что идет процесс демонополизации. Конечно, в условиях рынка, когда цены были отпущены, государственные издательства оказались в трагическом положении. Оборотных средств не было — их поглотили убыточные издания, финансировавшиеся за счет «Худлита». Остановилось производство большого пласта книг (среди них двухтомник Ходасевича, для выпуска которого необходимо 75 миллионов). Издательства душат налоги: налог на добавленную стоимость составляет 20% — такого налога на издательства нет ни в одной стране. Достаточно сказать, что на рубле издательство зарабатывает 6 копеек. Тем не менее издательство живо и не отказывается от своих традиционных задач.

Мы гордимся тем, что издали авторскую поэтическую книжку прекрасного переводчика Семена Липкина, стихи Марии Петровых, Наума Коржавина.

Если говорить о литературе зарубежной, то наиболее «коммерческим» изданием был, пожалуй, трехтомник Агаты Кристи.

«Худлит» остается государственным издательством, поэтому если федеральная программа Комитета Российской Федерации по печати будет действовать, то «застопорившиеся» собрания сочинений Гофмана, Фейхтвангера, Гамсуна начнут печататься снова.

С помощью этой программы выходит собрание сочинений Грэма Грина, состав которого мы успели согласовать с автором во время его последнего приезда в Москву.

Издательство стремится к тому, чтобы книга нашла своего читателя. Поэтому мы открыли при издательстве киоск, где можно купить без наценок (по оптовым ценам) все издания «Худлита» и ряда других издательств, в том числе все наши собрания сочинений, независимо от того, где на них подписывались, но по предъявлении подписной квитанции. Здесь же продаются книги Марселя Эме, Колетт, сказки, первая на русском языке развернутая биография Солженицына, написанная французом Жоржем Нива.

Из выпущенных в последнее время книг хочется отметить три китайские: собранную М. И. Басмановым книгу лирики китайских поэтесс с I по XX век, иллюстрированную китайскими гравюрами; знаменитый роман «Цветы сливы в золотой вазе» и книгу «Из жизни императрицы» (о жене Мао).

Что касается западной литературы, то любопытным представляется вышедший тиражом 10 000 экземпляров роман шведского писателя Челя Юханссона «Лицо Гоголя», написанный от лица самого Гоголя.

Корреспондент. Каковы планы издательства на ближайшее будущее?

Г. Анджапаридзе. В 1994 году будет опубликован Екклесиаст, проиллюстрированный картинами Эрнста Неизвестного, навеянными чтением Екклесиаста.

Надеемся, что выйдут «Коллекционер» Фаулза, дорогое издание «Махабхараты», «Мастер и Маргарита» с иллюстрациями Маркевича.

У издательства есть договор с английским автором на рукопись продолжения «Саги о Форсайтах», которая выйдет в Англии в мае 1994 года. Действие книги доведено до времени после второй мировой войны, сведены все линии романа Голсуорси. Это добротная, интересная литература.

Ведутся переговоры об издании собрания сочинений «королевы детектива», знаменитой английской писательницы Ф. Д. Джеймс. Вы печатали ее роман «Неестественные причины» [1].

Как видите, несмотря на все трудности, мы продолжаем работать и, насколько это возможно, остаемся верны своей основной тематике.

---

[1] См. «ИЛ», № 11-12, 1992.

❖ У КНИЖНОЙ ВИТРИНЫ

ПИТЕР АКРОЙД

Дом доктора Ди

Peter Ackroyd. **The House of Doctor Dee. «Hamish Hamilton»**

Доктор Джон Ди — колоритнейшая личность второй половины XVI века. В его послужном списке университеты Кембридж, Сорбонна, а также Манчестерский колледж. Его награждали и изгоняли, чествовали и обвиняли в измене. Внушителен перечень его профессий: театральный художник, геометр, химик, археолог, шифровальщик, картограф, философ, алхимик, астролог, языковед, знаток гадания по магическому кристаллу. Он был одним из первых проектировщиков Британской библиотеки и главным придворным советником по научным открытиям.

Феноменальный доктор Ди стал центральным персонажем новой книги Питера Акройда (перевод его романа «Завещание Оскара Уайльда» см. «ИЛ», 1993, № 11).

По сюжету романа, владельцем особнячка замысловатой архитектуры, где некогда жил доктор Ди, становится, уже в наше время, молодой книговед Мэтью Палмер. Заинтересовавшись унаследованным антиквариатом, Палмер по сохранившимся рукописям восстанавливает картину некогда разыгравшейся здесь трагедии и узнает о существовании доктора Ди, превратившегося в призрака-карлика. В конце концов Палмер и Ди встречаются в тесном запертом гараже. Таков финальный узел, в который завязываются две сюжетные нити длиной в семь глав каждая, с вплетенными в них эпизодами видений.

АНДРЕ БРИНК

Напротив

André Brink. **On the Contrary. «Secker and Warbung»**

Один из крупнейших писателей ЮАР Андре Бринк в новом романе углубляется в историю своей страны. В 1730-е годы на мыс Доброй Надежды попадает искатель приключений из Орлеана, француз Эстьенн Барбье. Он и есть главное лицо в этом романе, имеющем подробный подзаголовок: «О жизни известного бунтовщика, вояки, путешественника, исследователя, ученого, строителя, летописца, знатока латыни, воздыхателя и обманщика». Барбье возглавляет бунт колонистов-африканеров против произвола коррумпированных чиновников и в итоге оказывается в тюрьме, где ожидает казни.

Там, в заключении, он и пишет свое послание. У этого письма нет даты, нет последовательности: более трехсот отдельных фрагментов повествуют о бурных и разнообразных злоключениях главного героя. Он сыграл заметную роль в торговле африканеров с племенами готтентотов, а затем — в предательстве и уничтожении аборигенов. Кроме того, Барбье участвовал в трех экспедициях в самые дебри Африки. В отличие от его письма в официальном путевом журнале не были упомянуты ужасные эпизоды истребления местных жителей и природы, которые учинил отряд под предводительством самолюбивого лейтенанта Аллеманна. В ключевой сцене романа описано, как во время первой экспедиции, на закате, Барбье в одиночку встречает единорога и убивает его. Для Андре Бринка эта встреча символизирует столкновение европейского и африканского в истории «черного континента».

МИШЕЛЬ БРОДО

Мой друг Пьеро

Michel Braudeau. Mon ami Pierrot. «Seuil»

Если предыдущий роман современного французского писателя Мишеля Бродо «Книга Джона» затрагивал проблему взаимоотношений взрослого человека и сына его друзей — подростка, то в новой книге аналогичный дуэт главных героев состоит из отца и сына. Сын (Мишель), давно уже выросший, пишет о своем отце (Пьере), недавно скончавшемся.

В отрочестве у Мишеля было немало проблем с отцом: логический ум Бродо-старшего, инженера, плохо сочетался с душевным складом слишком впечатлительного и «слишком много читавшего» мальчика. По мере того как разворачиваются воспоминания Бродо-младшего, исчезают недоразумения, и Пьер становится тем «другом Пьеро», с которым можно поделиться бесчисленными мальчишескими тайнами; можно даже признаться, как с одиннадцати до тринадцати лет сын был по-настоящему влюблен в отца.

Когда-то индийский предсказатель напророчил Пьеру Бродо, что его фимилия будет на страницах газет и журналов. Благодаря сыну, ставшему известным писателем, это предсказание сбылось не раз. Выдержанный в классическом духе воспоминаний о детских и отроческих годах роман Мишеля Бродо явился, по мнению критиков, одним из самых тонких и волнующих произведений минувшего года. Не случайно он был среди пяти финалистов Гонкуровской премии 1993 года.

ГАБРИЭЛА ВОМАН

«Пожалуйста, не умирайте»

Gabriele Wohmann. Bitte nicht sterben. «Piper»

Новый роман немецкой писательницы посвящен теме любви. И хотя в нем нет невероятно бешеной страсти и экзотического вожделения, чувство, о котором поведала главная героиня, весьма необычно, ибо она питает его к трем дряхлым, седым старухам. Матери рассказчицы девяносто один год; возраст двух тетушек, ее сестер, также — образно говоря — библейский. Но именно у них, стоящих на пороге смерти, их дочь и племянница находит для себя защиту от внешнего мира и питательную среду — словно младенец во чреве. Семейный очаг, домашний уют, опека близких согревают ее, дают отдохновение.

В этом летаргическом существовании — с мелкими заботами и радостями, с домашними пирогами и милой болтовней за чашкой кофе, с отгороженностью от чуждой и далекой действительности — есть своя прелесть. Однако от шуток бодрящихся старушек подчас веет тленом; чересчур тесное семейное гнездышко отдает затхлостью; а размеренный уклад жизни более напоминает однообразие унылого бытия. Проявляемые на этом фоне теплые родственные отношения зачастую предстают довольно нарочитыми. Роман «Пожалуйста, не умирайте» можно назвать исповедью-стоном, исповедью-мольбой человека, испытавшего редкую, анахроническую привязанность к своим престарелым близким.

БОДО КИРХХОФ

В противоход

Bodo Kirchhoff. Gegen die Laufrichtung. «Suhrkamp»

Бодо Кирххоф принадлежит к поколению литераторов, родившихся в середине XX века и встретивших 1968 год студентами. Однако если Фридрих Кристиан Делиус, Бригитта Кронауэр, Кристоф Хайн и другие опубликовали свои наиболее значительные произведения в 80-е годы, Бодо Кирххоф утвердил себя как серьезный автор лишь с выходом в 1990 году романа «Инфанта», переведенного на ряд языков.

Сюжет новеллы «В противоход» перекликается с новеллой «Три лилии» чешского писателя XIX века Яна Неруды. Там действие происходит в кафе: в самый разгар танцевальных увеселений молодая женщина узнает о смерти матери, и один из присутствующих молодых людей считает своим долгом избавить ее от душевных мук сексуальным путем. В повести Кирххофа тридцатилетний теннисист Йонас, только что освобожденный из тюрьмы, знакомится в одном из кафе Франкфурта с девушкой по имени Кристина. Для Йонаса это место связано с драматическим прошлым: здесь он убил любовника жены. Кристине же уготовано судьбой узнать здесь о смерти своей тетки. После телефонного разговора она неожиданно отправляется с Йонасом снимать нервное напряжение тем же способом. К столику партнеров по любовному экспромту подсаживается самонадеянно-напыщенный романист. Он грозится отбить Кристину у Йонаса — и тот совершает новое убийство. Такую развязку в духе садистского бурлеска получает известный сюжет у немецкого автора конца XX века.

ЖАК-АЛЕН ЛЕЖЕР

Жакоб Жакоби

Jack-Alain Leger. Jacob Jacobi. «Julliard»

Сорокапятилетний французский писатель Жак-Ален Лежер успешно работает в самых разных жанрах: исторические романы, воспоминания, дневники. Международную известность ему принес бестселлер «Монсиньор» (1976—1981). Такие темы, как война, концлагеря, закат нашей цивилизации, присутствуют в произведениях Ж.-А. Лежера постоянно. Есть они и в романе «Жакоб Жакоби».

Главный герой (Жакоб Жакоби, или Жак) — лауреат Нобелевской премии мира, литератор, политик, государственный деятель. Всю жизнь его терзают воспоминания детства: во время войны он уцелел в концлагере, где погибли его мать и бабка. И с самого детства он, еврей, должен был пробивать себе дорогу в жизни. Потребность в самоутверждении толкнула его к литературному труду, но тут выяснилось, что Жакоби, будучи великолепным рассказчиком, совершенно не умеет писать.

Так у Жакоби появляется «литературный негр» — Лежер Лазар, он же Дзандзаро, он же Биби. Этот человек не только более двадцати лет пишет книги за Жакоби — их судьбы тесно переплетаются. Оба любят одну и ту же женщину, и Лазар настолько хорошо изучил Жакоби, что даже после его смерти продолжает публиковать под его фамилией глубоко личные записи. Финал романа неожидан: последняя страница — эпилог — написана рассказчиком, по его признанию, в клинике для душевнобольных.

АМИН МААЛУФ

Утес Таниоса

Amin Maalouf. Le Rocher de Tanios. «Grasset»

Удостоенный Гонкуровской премии 1993 года, этот роман известного франкоязычного ливанского писателя затейлив и пестр, как восточный ковер. В нем есть и историческая правда, и художественные «миражи в пустыне», и детективные хитросплетения, и любовные интриги, и семейно-бытовая мелодрама, и трагическая судьба.

Действие происходит в Ливане в 30-е годы XIX века, во времена египетского владычества. В горной деревушке живет юноша по имени Таниос — дитя любви местного шейха и жены его придворного. Мнимый отец находится во власти Эроса: охваченный ревностью, он убивает соперника, почтенного старца, и сам кончает жизнь на виселице. Участь его сына менее сурова: изгнание, а затем победоносное возвращение (Таниос становится местным правителем). Однажды ему прихо-

дится судить отца своей возлюбленной. Но самосуд вершится быстрее, и провинившегося убивают, что знаменует для Таниоса конец всего — и любви, и карьеры.

Пресытившись властью и запутавшись в жизни, Таниос оказывается на критическом распутье. В мрачных раздумьях отправляется он на одинокий утес, возвышающийся над морем. Поглотило ли оно несчастного, или он сам бросился в пучину — о том легенда об утесе Таниоса хранит молчание, как и история, поведанная Амином Маалуфом.

МАНУЭЛЬ ВАСКЕС МОНТАЛЬБАН

Олимпийский саботаж

Manuel Vázques Montalbán. Sabotaje olímpico. «Planeta»

С публикацией романа «Я убил Кеннеди» (1970) у бельгийца Эркюля Пуаро и англичанина Шерлока Холмса появился каталонский собрат — Пепе Карвальо. Литературная судьба этого сыщика сложилась удачно: он стал героем доброго десятка произведений М. В. Монтальбана, дожив и до недавно вышедшей книги «Олимпийский саботаж».

Суть нового дела, которое расследует сеньор Карвальо, явствует из названия. Круг персонажей весьма многочислен: герои предыдущих книг, новые действующие лица, исторические личности (король Испании Хуан Карлос, президент МОК Хуан Антонио Самаранч). Соответственно коктейлеобразен и сюжет романа: подлинные события Барселонской олимпиады перемешаны с художественным вымыслом, доходящим до фантазий в духе Уолта Диснея.

Подобное сочетание жанров и выбор темы вполне объяснимы: ведь Мануэль Васкес Монтальбан — поэт, эссеист, журналист, романист — уроженец Барселоны. Олимпийским играм — точнее, подготовке к ним — посвящена и его предыдущая книга «Греческий лабиринт». В «Олимпийском саботаже» столица Игр представлена год спустя, когда краски празднества потускнели, а жители унаследовали от Олимпиады лишь новые экономические проблемы.

ДЖОЙС КЭРОЛ ОУТС

Светящиеся гнилушки

Joyce Carol Oates. Foxfire. «Macmillan»

«Светящиеся гнилушки» — это название не только новой книги известной американской писательницы (о ее предыдущем романе см. «ИЛ», 1992, № 10), но и шайки, состоящей исключительно из девушек. О ней-то и рассказывает Мэдди, ныне — ассистентка астронома. Вспоминая такие уже далекие 1950-е годы, Мэдди воскрешает собственное прошлое и историю этой необычной девичьей банды, летописцем которой она являлась.

В ту пору нередки и в каком-то смысле даже модны были полупреступные группировки из бунтующих, отбившихся от рук парней. Однако едва ли реально существовало что-либо наподобие «Светящихся гнилушек». Это, скорее, плод фантазии целого поколения девушек, не желавших долее везде и во всем быть на вторых ролях. Тем не менее в посвящении к книге Дж. К. Оутс поименно перечисляет шестерых подруг. Эта грозная шестерка, возглавляемая девицей по кличке «Нога», ревностно соблюдает во время своих «подвигов» все правила преступного мира. Впрочем, попытки «Светящихся гнилушек» мстить похотливым старикам оборачиваются фарсом, а предпринятое ими похищение с целью получить выкуп с треском проваливается. Юные гангстерши понимают, что и в тюрьме, куда попадает «Нога», и в окружающей их жизни единственное оставшееся им оружие — секс и насилие; но и оно в конечном счете оборачивается против них.

ПОЛ ТЕРУ

Миллрой-фокусник

Paul Theroux. Millroy the Magician. «Hamish Hamilton»

Этот роман тематически дополняет более раннюю книгу американского писателя Пола Теру «Комариный берег». Герои обоих произведений — трагикомичные проповедники-самоучки, которые пытаются устроить себе рай на земле. Историю о евангелисте Фоксе поведал его сын; рассказ о фокуснике Миллрое ведет его тринадцатилетняя помощница Джилли Фарина. Очарованная его выступлением на бостонской ярмарке, девочка охотно следует за ним, оставив отца-пьяницу и захудалый вагончик, в котором жила. Фокусов в романе описано немного, но они впечатляют: например, изо рта недругов Миллроя появляются крысы, которых он затем превращает в стакан с водой, а воду выпивает.

Впрочем, самый интересный фокус — это превращение дородного факира Миллроя в проповедника растительной пищи. Пробившись на телеэкран, новоиспеченный ведущий детской религиозной передачи увещевает Америку стать на путь вегетарианства, ссылаясь, разумеется, на по-своему истолкованные сюжеты из Библии.

ВОЛЬФГАНГ ХИЛЬБИГ

«Я»

Wolfgang Hilbig. «Ich». «Fischer»

Интеллигенция, в частности литераторы, на службе у «штази» — этой проблемой отмечено творчество многих писателей из бывшей Восточной Германии. Ведь практически все они попали в сети секретного ведомства в качестве либо осведомителя, либо жертвы, либо того и другого разом. Высланный из ГДР еще в 1985 году Вольфганг Хильбиг выбрал средний между автобиографией и беллетристикой вариант, который реализовал в своем первом романе «Задание» (1989). В романе «Я» картина окончательного упадка в этой части Германии представлена глазами главного героя — некоего писателя М. В., ставшего агентом по кличке Камберт. Повествование ведется от лица этого персонажа; впрочем, двойная жизнь заставляет его со-

мниться в подлинности своей личности, что отражено в названии книги — взятом в кавычки местоимении.

Камберт-агент — фигура противоречивая. Ему, человеку образованному, претит жаргонный язык «штази», не говоря уже об обязанности шпионить за собратьями по перу. Стандартного доносчика из него не получилось, хотя — при всей своей вдумчивости и проницательности — к диссидентству М. В. также не пришел. Любопытны выводы, к которым автор подвел своего героя, подолгу — на манер персонажей Кафки — размышляющего в тиши одиночества: годы режимной системы отозвались в людях, помимо апатии и депрессии, ненавистью. Но обращена она не на правительство с его пустыми обещаниями, не на партийных бонз с их двойной моралью, а на сексотов — на эти гадкие тени, неотступно следующие за человеком.

КЭРОЛ ШИЛДЗ

Каменные дневники

Carol Shields. The Stone Diaries. «Random House»

В 1987 году роман «Мери Сванн» канадской писательницы Кэрол Шилдз выдвигался на присуждение высшей литературной награды в Канаде — премии Генерал-губернатора. В 1993 году эту премию получила ее десятая книга, «Каменные дневники», которая, кроме того, была среди финалистов британской премии «Букер».

«Каменные дневники» — это история жизни самой обыкновенной канадки Дейзи Гудуилл. Книга представляет собой сочетание биографии, автобиографии и художественной прозы. Дополнительную реальность дневникам придают включенные в книгу фотографии представителей нескольких поколений семьи Дейзи. Главная героиня родилась в провинции Манитоба в 1905 году и прожила отпущенные ей 80 лет без особых потрясений: замужество, дети, болезни, домашние дела. Но именно в этой обыденности Кэрол Шилдз ищет и находит приметы уникальности судьбы каждого человека.

На протяжении всего романа автор использует две основные тематические и образные линии: во всем присутствуют цветы и камни. Имя главной героини означает «маргаритка»; она играет в карты с подругами Ирис и Лили; фамилия ее матери Стоун («камень»); ее отец — каменщик, муж — ботаник, а сама она ведет в газете колонку для садоводов. В конце романа эти линии как бы сливаются: внучатая племянница главной героини становится палеоботаником — специалистом по окаменелым цветам.

МАРГАРЕТ ЭТВУД

Невеста-разбойница

Margaret Atwood. The Robber Bride. «McClelland and Stewart»

Название новому роману-бестселлеру известной канадской писательнице помогла найти сказка-страшилка братьев Гримм «Жених-разбойник». В ней богатый и красивый людоед заманивает девушек в свое лесное логово, где пожирает их. Эту сказку одна из героинь романа читает дочкам-двойняшкам своей подруги. Девочки просят переименовать сказку в «Невесту-разбойницу», не меняя при этом пола жертв.

Обилие женских персонажей характерно для произведений М. Этвуд, ибо женщины — давнишний объект ее пристального внимания: мужчины — лишь статисты, фон, на котором разворачиваются события. Три подружки с университетских времен встречаются в ресторанчике с занятным названием «До отвала». Тони — военный историк, преподаватель Торонтского университета; Хэрис — обитательница одного из островов озера Онтарио, проповедующая пользу соков и настоек; Роз — издательница женского журнала. В этом ресторанчике они, жертвы, встречают и свою бывшую однокурсницу («невесту-разбойницу») Зинию, которую давно считали умершей.

В ходе ретроспективного рассказа о каждой из трех героинь обнаруживается, что они, как ни боролись со злой силой Зинии — этого попеременного олицетворения Ричарда III, Яго, Распутина и Мадонны,— потеряли и мужчин, и деньги, и время, и присутствие духа. Появилась женоненавистница Зиния неизвестно откуда: она выдает себя за осиротевшую дочь то русских эмигрантов, то румынских цыган, то немецких евреев. Очевидно другое: Зиния из тех, кто жаждет заполучить то, чего не имеет, а получив, презирает свою добычу.

УОЛТЕР ЛАКЁР

Черная сотня

Walter Laqueur. Black Hundred. «Harper Collins»

Профессор Уолтер Лакёр — один из самых авторитетных зарубежных историков-славистов, известный исследователь идеологических корней фашизма, председатель Международного исследовательского совета при Центре стратегических исследований в Вашингтоне. «ИЛ» печатала главы из его книг «Долгий путь к свободе» (1990, № 2) и «Россия и Германия» (1991, № 5). Последняя работа У. Лакёра посвящена «второму пришествию» крайне правых в России после распада Советского Союза. Автор прослеживает историю движения от появления в XIX веке славянофилов и подлинной «Черной сотни» до наших дней. Используя многочисленные, в том числе редкие, документы, материалы советской и современной русской прессы, У. Лакёр исследует экономические, социальные и политические взгляды различных групп правого спектра — от «Памяти» до монархистов, от возрождающегося казачества до «новых националистов», роль религии и церкви в их идеологии.

ЖОРЖ НИВА

Взгляд на Россию, год первый

Georges Nivat. Impressions de Russie, l'An Un. «de Fallois/L'Age d'Homme»

Жорж Нива по праву считается виднейшим русистом Швейцарии: он учился в Москве,

более двадцати лет преподает в Женевском университете, где заведует кафедрой славистики, перевел на французский произведения Пастернака, Мандельштама, Белого, Солженицына. Осенью 1992 года профессор вновь приехал в Россию: побывал в Крыму и на Урале, посетил Тверь и другие старинные русские города, плавал на пароходе по Волге. Ученый путешествовал и пешком, и на автомобилях и автобусах, и поездом в плацкартном вагоне. В Екатеринбурге он, по просьбе местных филологов, провел лекцию-семинар о творчестве Солженицына, о котором написал несколько книг.

О самых разных переменах, случившихся в России после распада советской империи, Жорж Нива рассказывает в своей новой книге. Она выходит одновременно с его исследованием «Россия — Европа, конец раскола».

ОКТАВИО ПАС

Удвоенная страсть

Octavio Paz. La llama doble. «Seix Barral»

В своей первой книге «Лабиринт одиночества», вышедшей более сорока лет назад, Октавио Пас писал о сущности такого явления и чувства, как Любовь. В нынешнем году мексиканскому поэту и эссеисту исполняется восемьдесят лет. Однако он не утратил интереса к этой теме и как литератор, и как читатель. Нобелевский лауреат с удвоенной страстью размышляет о Мире Любви на двухстах с лишним страницах новой книги.

Свое главное предложение — прежде всего размежевать понятия «любовь», «сексуальность», «эротизм» — автор излагает лишь на сто пятой странице. Но по сути он пытается реализовать его с самого начала повествования: когда совершает теоретический экскурс в греческую классику; когда заглядывает в историю Древнего Рима и Александрии — показать, как возникла любовь урбанизированная; когда посещает Францию — родоначальницу куртуазного амурного стиля.

Далее исследователь обращается к философии Гегеля, сюрреализму Бретона, к современным мировоззренческим теориям. По его наблюдениям, сегодняшнее представление о любви складывается из идеи исключительности и четырех контрапунктов: преграды — их преодоление, власть — покорность, рок — свобода, душа — тело. Сейчас сутолока жизни превратила любовь в развлечение, а деньги сделали из нее рабыню, горестно заключает Октавио Пас, призывая людей переосмыслить это отношение.

ХАНС МАГНУС ЭНЦЕНСБЕРГЕР

Перспективы гражданской войны

Hans Magnus Enzensberger. Aussichten auf den Bürgerkrieg. «Suhrkamp»

Состояние мира — это состояние, в котором притаилась война. Определение, которое некогда дал Георг Фридрих Юнгер, могло бы послужить эпиграфом к философской книге шестидесятичетырехлетнего немецкого поэта и эссеиста. В ней Х. М. Энценсбергер анализирует современную политическую ситуацию, прогнозирует ее развитие. Перефразируя название одного из его предыдущих произведений — «Короткое лето анархии» (1972),— авторскую оценку позволительно выразить так: короткое лето утопии нового мирового порядка, который наступил в 1989 году с распадом социалистического лагеря, сменилось кошмарным сном нового беспорядка под знаком гражданской войны.

Современный человек, скорее, выберет ничто, нежели ничего не выберет. Эта мысль Ницше находит еще одно подтверждение у Х. М. Энценсбергера при анализе симптомов мирового беспорядка. Трагедия Афганистана, югославская драма, прочие случаи политических конфликтов, переросших в войну бандитских формирований, и есть проявление этого жуткого выбора. Он сделан единственно ради власти; а уничтожать все ненавистное, даже ценой самоуничтожения,— для человека, видимо, скорее правило, нежели исключение, констатирует исследователь. В этом свете и современная классовая борьба, и национально-освободительное движение представляются зажигательной смесью из слепой агрессивности и саморазрушения.

Такую мрачную картину грядущего нарисовал в своей книге-бестселлере Х. М. Энценсбергер.

❖ АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

ИНГМАР БЕРГМАН (INGMAR BERGMAN; род. в 1918 г.) — шведский драматург, эссеист, мастер кино- и театральной режиссуры. Автор десяти пьес, киноповестей, эссе, рецензий. На сценах Швеции и других стран мира им поставлено более семидесяти спектаклей, сорок пять фильмов — в основном по собственным сценариям. Мировое признание Бергману-кинорежиссеру принесли фильмы «Улыбки летней ночи» (1955), «Седьмая печать» (1957), «Земляничная поляна» (1957), «Вечер шутов», «Как в зеркале», «Молчание», «Шепоты и крик» и др. На русский язык переведены книги: «И. Бергман. Статьи. Рецензии. Сценарии. Интервью» (М., 1969), «Бергман о Бергмане» (М., 1988) включает также сценарии фильмов «Седьмая печать» и «Фанни и Александр»; киноповести «Улыбки летней ночи», «Змеиное яйцо», «Осенняя соната» напечатаны в «Библиотеке журнала «Иностранная литература» (1988), автобиографическая книга «Laterna Magica» — в «ИЛ» (1989, № 9, 10, 11).
Роман «Благие намерения» вышел в Швеции в 1988 году («Den goda viljan», Stockholm, Nursted, 1988).

ПАВЕЛ КОГОУТ (PAVEL KOHOUT; род. в 1928 г.) — чешский драматург, поэт, прозаик. Автор поэтических сборников «Стихи и песни» («Verše a písně», 1952), «Время любви и борьбы» («Čas lásky a boje», 1954), пьес «Сентябрьские ночи» («Zářijové noci», 1956), «Такая любовь» («Taková láska», 1957; напечатана в «ИЛ», 1957, № 12), «Прощай, печаль!» («Sbohem, smutku!», 1957), «Третья сестра» («Třeti sestra», 1960; поставлена во МХАТе в 1962 г. под названием «Дом, где мы родились»), «Август, Август, август» («August, August, august», 1968), «Жалкий убийца» («Ubohý vrah», 1972), книги «Из дневника контрреволюционера» («Z deníku kontrarevolucionáře», 1969), романов «Женщина-палач» («Katyně», 1978), «Где зарыта собака» («Kde je zakopán pes», 1987), «Урок танца и любви» («Hodina tance a lásky», 1989) и др.
Перевод пьесы «Мерзость» выполнен по первому изданию на чешском языке: Pavel Kohout. Atest. Marast. Praha, Dilia, 1990.

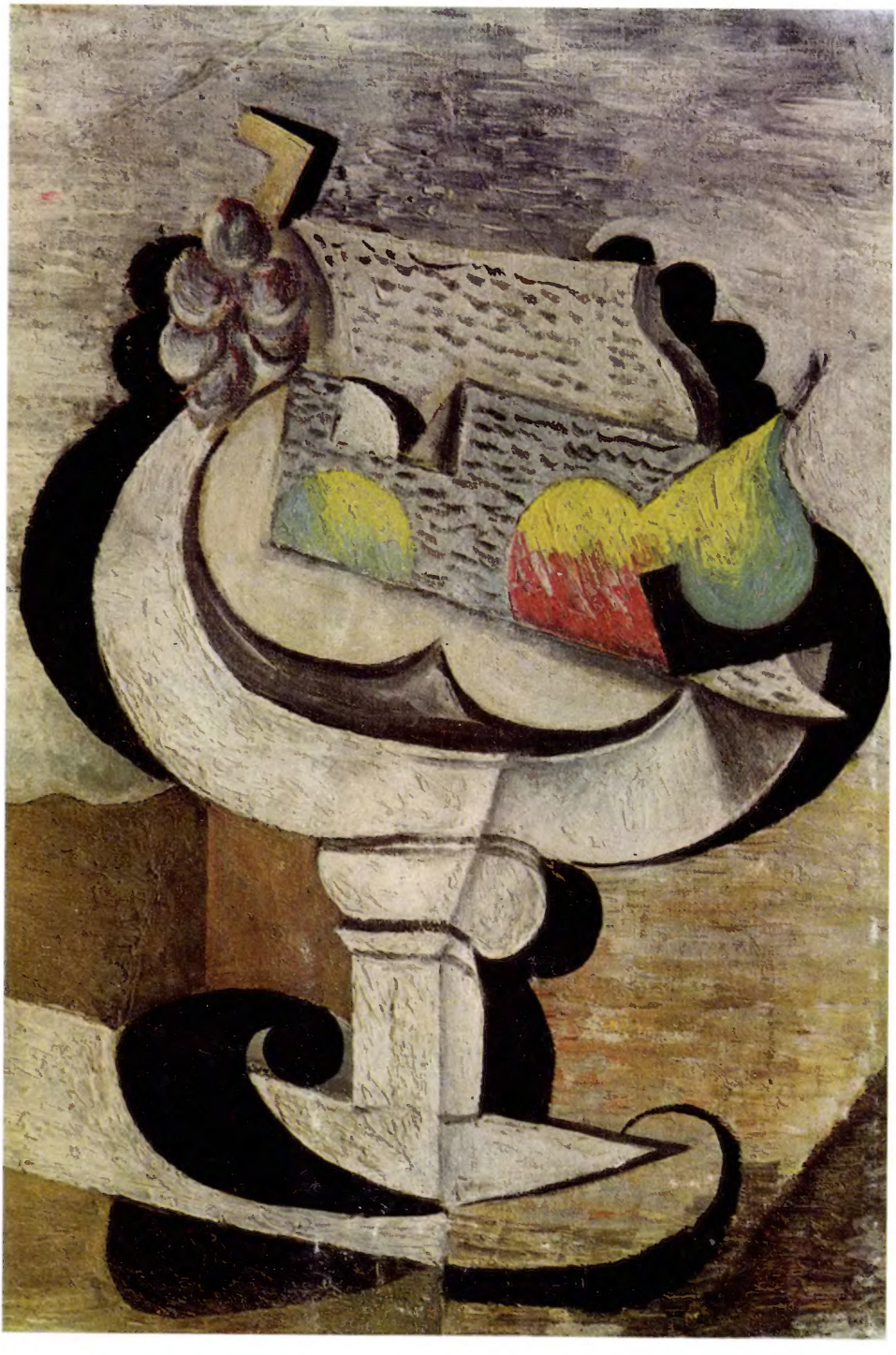
МАЛЕВИЧ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1928 г.) — литературовед, специалист по чешской и словацкой литературе, кандидат филологических наук, переводчик. Автор книг «Карел Чапек» (1968), «Владислав Ванчура» (1973). В «ИЛ» выступал как переводчик К. Чапека, И. Ольбрахта, И. Дубской, И. Вихры, а также как автор вступительных статей и рецензий.

МЭРИ МОРРИС (MARY MORRIS) — американская писательница, профессор Принстонского университета, член Правления американского ПЕН-клуба. Автор сборника рассказов «Исчезающие животные и др. рассказы» («Vanishing Animals & Other Stories», 1979), отмеченного премией американской Академии и Института литературы и искусства, романа «Перекресток» («Crossroads», 1983). Рассказ «Отдых в складчину» («Summer Share») взят из сборника «Автобус мечты» («The Bus of Dreams». Boston, Houghton Mifflin Company, 1985).

■ Переводчики:

АФИНОГЕНОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА — переводчик со скандинавских языков. В ее переводах публиковались новеллы и пьесы Августа Стриндберга «Игра снов», «Пляска смерти», «На пути в Дамаск», романы «Местечко Сегельфосс» и «Дети века» Кнута Гамсуна, пьеса «Ночь Трибад» и роман «Библиотека капитана Немо» Пера Улофа Энквиста, книги «Laterna Magica» («ИЛ», 1989, № 9, 10, 11) и «Картины» («Искусство кино», 1993, № 1—7) Ингмара Бергмана, роман «Лицо Гоголя» Челя Юханссона и др.

КАМЕНСКАЯ ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА — переводчик с чешского и словацкого языков. В ее переводах издавалось несколько классических произведений чешской и словацкой литературы XIX—XX вв. В «ИЛ» напечатаны переводы стихов Мирослава Флориана, Милана Руфуса, памфлет Карела Чапека «Скандальная афера Йозефа Голоушека» (совместно с О. Малевичем; 1967, № 9), рассказы Эдуарда Петишки (1976, № 3), главы из книги Богуслава Шнайдера «Золотой треугольник» (1987, № 3, 4, 5) и др.

3.12.57

ИНДЕКС 70394